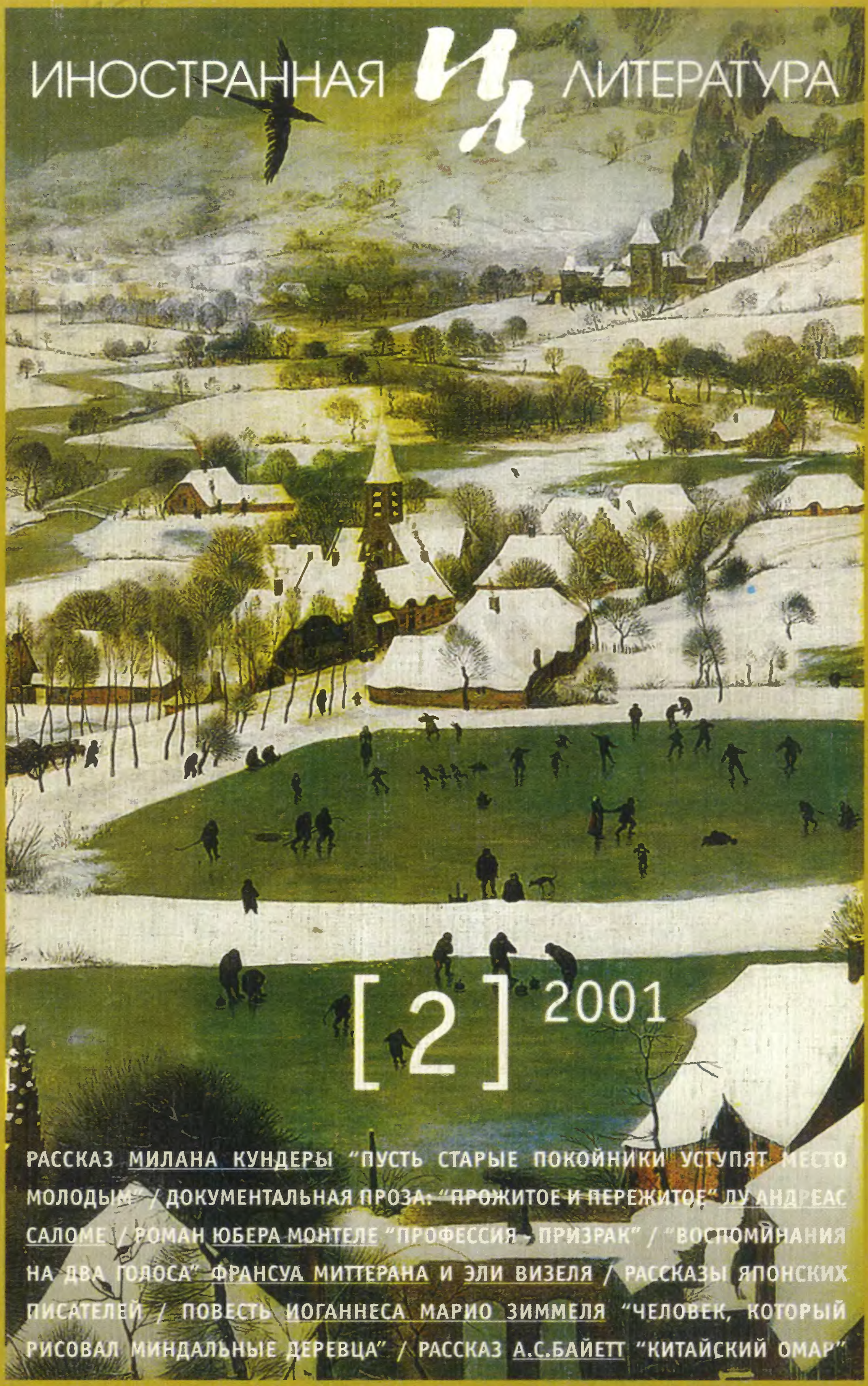
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА



[2] 2001

РАССКАЗ МИЛАНА КУНДЕРЫ "ПУСТЬ СТАРЫЕ ПОКОЙНИКИ УСТУПЯТ МЕСТО МОЛОДЫМ" / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: "ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ" ЛУ АНДРЕАС САЛОМЕ / РОМАН ЮБЕРА МОНТЕЛЕ "ПРОФЕССИЯ - ПРИЗРАК" / "ВОСПОМИНАНИЯ НА ДВА ГОЛОСА" ФРАНСУА МИТТЕРАНА И ЭЛИ ВИЗЕЛЯ / РАССКАЗЫ ЯПОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ / ПОВЕСТЬ ИОГАННЕСА МАРИО ЗИММЕЛЯ "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ РИСОВАЛ МИНДАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЦА" / РАССКАЗ А.С.БАЙЕТТ "КИТАЙСКИЙ ОМАР"

Основан в 1891 году

[2]

2001

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 А. С. Байетт. *Китайский омар.* Рассказ. Перевод с английского Ольги Варшавер

19 Милан Кундера. *Пусть старые покойники уступят место молодым покойникам.* Рассказ. Перевод с чешского Нины Шульгиной

31 Юбер Монтеле. *Профессия – призрак.* Роман. Перевод с французского Юлианы Яхниной

123 Японские рассказы. Киёко Мурата. *Сиоманэки.* Хироми Каваками. *Медвежий бог.* Перевод с японского Г. Дуткиной

138 Луиш-Манюэль. *Стихи.* Перевод с французского Ирины Кузнецовой и Ирины Волевич. Вступление И. Кузнецовой

142 Иоганнес Марио Зиммель. *Человек, который рисовал миндальные деревца.* Повесть. Перевод с немецкого С. Фридлянд

Документальная проза 180 Лу Андреас-Саломе. *Прожитое и пережитое. Воспоминания о некоторых событиях моей жизни.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого и вступление В. Седельника

227 Джон Робертс. *"Говорите прямо в канделябр". Культурная политика Британии и России в 1973–2000 годах.* Отрывки из книги. Перевод с английского Л. Ю. Столяровой

Статьи, эссе 242 Франсуа Миттеран. Эли Визель. *Воспоминания на два голоса.* Главы из книги. Перевод с французского Н. Сперанской

Среди книг 272 А. Ермонский. *Литературный памятник президенту.* Сергей Ромашко. *Вера, факты и воображение*

Курьер "ИЛ" 279

Авторы номера 284

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Из общего тиража
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
1 700 экземпляров;
Министерство культуры
РФ выкупает для
библиотек 1000
экземпляров.

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

А. С. Байетт

Китайский омар

Рассказ

Перевод с английского Ольги Варшавер

ПЕРИОДЫ отчаянного украшательства у владельцев "Восточного лотоса" чередовались с периодами полного запустения и равнодушия к интерьеру. Доктор Химмельблау поняла это давно, поскольку обедала здесь, чаще всего в одиночестве, уже лет этак семь. Место оказалось удобным: до излюбленных ею магазинов рукой подать, а еще рядом Национальная галерея, Королевская академия и Британский музей. Главное же, само заведение скромное, уютное, без претензий. Ей все тут нравилось, по душе были даже потертые сиденья, на которых кое-где потрескалась искусственная кожа. Можно приткнуть где-нибудь возле себя тяжеленные сумки с книгами и дать отдых усталым костям.

Сколько она помнит здешнее убранство, окна всегда обрамлены зеленью, спутанной будто лианы, и с годами эти заросли становятся все гуще и живописнее. На резных листьях скапливается все больше пыли, и они все теснее жмутся к стеклу: старые — темно-зеленые, молодые — желтоватые и глянцевые. Оконное стекло деформирует их, изгибает, но им все нипочем. Иногда на подоконнике появляется аквариум с пестрыми рыбками и потом, так же внезапно, исчезает. Вот сейчас, например, его нет. Зато есть бутылки с соевым соусом, стеклянные коробочки, из которых одна за другой пропадают зубочистки, а еще блестящие хромированные подставки, из которых так же медленно и неизбежно пропадают салфетки.

© A. S. Byatt 1993
© О. Варшавер. Перевод, 2001

Прямо перед входом стоит низкий квадратный алтарь, выложенный ярко-нефритовой керамической плиткой, а внутри его, в позе лотоса, удобно уложив просторное брюхо на просторные колени, сидит бронзовый не то божок, не то мудрец-отшельник. Перед ним, в алых стеклянных плошках, горят фонарики и дымятся благовонные палочки. На фигурку время от времени нацепляют бумажные гирлянды, красные и золотые. Доктору Химмельблау нравится эта какофония цвета: почти равно насыщенные, сочные — сине-зеленый и густо-алый. А божка она побаивается: непонятно, кто он такой, но уже точно не элемент декора, ему тут явно поклоняются.

Сегодня в ресторанчике появился новый предмет: поглубже, за алтарем, но не доходя до вешалок и столов. Новехонький футляр вроде музейного, дно — из лакированного черного дерева, крышка и боковые стенки — из стекла, сантиметров по двадцать высотой. Он покоился на четырех ножках и доходил доктору Химмельблау, даме среднего роста, до пояса. В таких обычно выставляют миниатюры, драгоценности или керамику.

Доктор Химмельблау рассеянно заглянула в ярко освещенное нутро футляра. Дно оказалось устлано свирепо-изумрудной искусственной травой, которую так любят на своих витринах зеленщики и владельцы похоронных бюро.

По периметру на открытых двустворчатых ракушках лежали сырые гребешки, их жемчужная плоть потихоньку тускнела, а на фоне бьющей зелени играли оранжево-розоватые полукольца молоки.

В середине, в самой что ни на есть середине помещался живой омар, а по бокам — два живых краба. Все трое шевелились, постоянно и едва уловимо. Черный омар медленно водил усищами и подергивал лапками, их последним сочленением, но не мог продвинуться ни на шаг. Силился приподнять огромные клешни, но они были слишком тяжелы. Мышцы его хвоста то напрягались, то сокращались, то снова беспомощно опадали. Один из крабов, тот, что поменьше, прилежно и неустанно раскачивал себя из стороны в сторону. Челюсти крабов постоянно двигались, точно чикали ножницы. Все три чудища крутили еще подвижными, живыми глазищами на тонких черешках. Открытые их рты изрыгали неслышные миру звуки: шипение, бульканье, вздохи, крики. Панцири крабов были матовые, кирпично-кремовые, кончики клешней посверкивали, как спелые виноградины, на мохнатых лапках проступал тусклый, землистого оттенка рисунок. Зато омар был иссиня-черным и блестящим, таким он был всегда, но скоро таким не будет. Всем им было больно жить в этом прозрачном воздухе, и на мгновение доктор Химмельблау ощутила их боль каждой своей косточкой. И омар, и крабы пялились на нее, но, скорее всего, не видели. Резко развернувшись, она прошла в глубь "Восточного лотоса". Ей вдруг подумалось, что гребешки, должно быть, тоже в каком-то смысле живые.

Пожилой китаец — она прекрасно знала их всех, но не по именам — приветливо улыбнулся, забрал у нее плащ. Доктор Химмельблау попросила накрыть на двоих. Ее усадили за обычный столик, принесли еще одну плошку, ложечку и палочки. Включили ненавязчивую электронную музыку. Приятно. Когда ее включили впервые, доктор Химмельблау оторопела и схватилась за сердце: неужели все-таки вертеп, а не мирный тихий уголок? На фоне этого дребезжания даже лапша утратила сочность и вкус. Однако на второй или третий раз доктор Химмельблау начала

различать мелодии — банальные западные песенки о безоблачном счастье, только в джазовой обработке и на чужом, вероятно кантонском, наречии. "Как утро прекрасно! Я словно лечу! Я верю — все будет, как я захочу!" Да-да, знакомые слова, но непонятно-гнусавые, сопровождаемые бренчанием и чем-то вроде гонга и ударов колокола. Ей эта песенка никогда не нравилась. Но в конце концов именно в ней для доктора Химмельблау воплотилось представление о покое и светлой радости бытия. Перебор, гонг, колокольчики... Этакий межкультурный феномен, смешение Запада с Востоком. Теперь эти звуки обещали изысканные яства, тепло, сладостную сытость. Пожилой китаец принес зеленый чай в ее любимом, почти прозрачном фарфоровом чайнике очень тонкой работы, по белоснежным его бокам пущены крошечные, едва видные голубые цветочки.

Доктор Химмельблау пришла рано. И волновалась из-за предстоящей встречи. С сегодняшним своим гостем она лично не знакома, хотя, конечно, видела — и во плоти, и на телеэкране; ей доводилось слушать его лекции о Беллини, Тициане, Мантенье, Пикассо, Матиссе. Его стиль был высокопарен и претенциозен. Молодые коллеги доктора Химмельблау причисляли его к пустозвонам и путаникам. Но она этого мнения не разделяла. Она полагала, что Перри Дисс всегда говорит по существу и не толчет воду в ступе, а подобное качество, с ее точки зрения — хотя, возможно, одинокие интеллектуалки предпенсионного возраста судят предвзято, — так вот, с ее точки зрения подобное качество ныне встречается крайне редко. Она, кстати, считала, что многие из ее коллег вообще не *любят* живопись. А Перри Дисс любит. Любит — как хруст спелых яблок под зубами, как нежную плоть, как солнечный свет. Да, это рассуждение в его стиле. Ох уж эта извечная профессиональная задача, особенно для людей ее поколения: как обрести свой стиль? У нее, Герды Химмельблау, своего стиля никогда не имелось, имелась лишь дотошная, едкая аккуратность, которая — не в пример стилю — так легко дается женщинам с ее внешностью, то есть с намеком на некоторую внутреннюю суховатость. Не сухость — это было бы уже слишком, — а именно суховатость. Характеристика сдержанная, но вполне положительная. У нее были длинные и густые каштановые волосы, стянутые на затылке в пучок. Костюмы она носила темные, мягких, но не совсем обычных оттенков: цвета спелого терна, сажи, черных тюльпанов, мха... Блузки женственные, облегающие, без бантов и оборочек, в ясных чистых тонах: бледно-лимонном, густо-кремовом, барвинковом или цвета затухающего пламени. Одежда округляла формы, но тело под нею — кому, как не хозяйке, это знать — было жестким и угловатым, совсем как ее римский профиль и поджатые губы вечного судьи.

Она вынула из сумочки документ. Конечно, копия сохранила далеко не все особенности оригинала: тут не видны жирные, вероятно масляные, пятна; там потерялось что-то бурое, вроде смазанного по краям кровоподтека; а здесь, помнится, было абсолютно симметричное пятно, похожее на жука-рогача, — такие получаются, если перегнуть вдвое страницу с кляксой и промокнуть. Зато ксерокс воспроизвел все крошечные картинки на полях и в самом тексте, который был окаймлен петлистой рамочкой, тщательно выведенной черной тушью. Сверху крупными прописными буквами значилось:

ДЕКАНУ ЖЕНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
ДОКТОРУ ГЕРДЕ ХИММЕЛЬБЛАУ,

а дальше, меленько:

от пегги ноллетт, женщины и студентки.

Начиналось письмо так:

Я хотела бы изложить офисальную жалобу на ЗНАМЕНИТОГО ЗАЕЗЖЕГО ПРОФЕССОРА, которого факультет счел возможным назначить руководителем моей научной работы, дизертации по теме *"Женское тело и Матис"*.

По моему мнению, которое я уже прокомментировала всем кто захотел выслушать а именно Дагу Марксу, Трейси Авизон, Энни Мэнсон а также вам доктор Герда Химмельблау такому человеку ни в коем нельзя было поручать руководство подобной работой, поскольку он ни в коей не сочувствует феминистской тематике. Он — так называемый ЭКСПЕРТ по так называемому МАСТЕРУ МОДЕРНИЗМА, но что он знает о Женщине или внутренних порывах Женского Тела, которое доныне хранило молчание и лишь сейчас обретает голос?

Дальше следовала серия крошечных карандашных рисунков, которые доктор Химмельблау, рассматривая оригинал, опознала как губы: не то ротовые, не то вагинальные; одни приоткрытые, другие — закрытые наглухо, третьи — испещренные волосками, и все — бесстыдно-жадные.

Его критика всего мною написанного никчемна и одновременно чрезвычайно агрессивна и деструктивна. Он не понимает что мой проект внеистричен что он *не должен включать в себя* опсание так называемого развития так называемого стиля или подхода Матиса поскольку мои утверждения по сути его *ниспровергают* и поданы под *теоретическим* углом, с привлчением соврменных критических методов, для которых хронология жизни Матиса или порядок сотврения им своих "шедевров" не имеют *абсолютно никакого значения.*

Однако хоть я и намревалась начать с излжения моих теортических взглядов я все же настаиваю на обвинении ЗЗП в *сексуальных домогательствах* я могу и готова привести все спесфические подробности поверьте мне доктор Химмельблау но сначала я обрисую случвшееся кратко чтобы вы поняли что *так оно и было.*

Я еще не оправилась от шока поэтому прошу прстить некторую бессвязность.

Все началось с моих всегдашних споров с ЗЗП. Он спросил, почему я не написала следующий кусок дизертации, а я сказала что плохо себя чувствовала и занималась собственым творчеством, вы ведь знаете, что я учусь по двум спесальностям, и оценки за творчские работы важны не меньше, чем оценки по истории искусства, а я как раз достигла очень ответственной стадии в моей Работе. Но я все-таки написала о том, как Матис изврщает Женское Тело, в особенности спесфически женские органы: груди, влагалище, половые губы и т. д. и т. п., а также как он наращивает Плоть на опрделенных местах Тела, которые особенно привлекают мужчин, но женщины при этом лишаются пдвижности — например он создает огромные, непомерно раздутые бедра или выпяченный вперед живот. Со временем я обзательно свяжу эти наблюдения со всей

традицией избражения женщин-рабынь и одалисок, но я еще не исследовала этот вопрос достаточно подробно.

Кроме того, его Женщины не имеют черт лица, их лица пусты, точно у кукол, и мне кажется это зловещим.

Так или иначе, я рассказала ЗЗП, в каком напрвлении намерена двигаться, хотя действительно написала очень мало, но он начал со мной спорить и договорился до того, что я отношусь к Матису враждебно и с ненавистью. Я ответила, что это не есть значмая критика моей работы и что сам Матис враждебно и с ненавистью относился к женщинам. На это он сказал, что Матис женщин любил и вожделел (!!!!) к ним, я вставила *"вот именно"*, но он не уловил издевки и продлжал осаживать унижать втаптывать меня в грязь. И даже если бы ничего худшего не случилось разве это – наставник? Он уверял меня что я наврняка провалюсь на защите а разве так должен вести себя научный рукводитель? Я была так расстроена просто убита и тут он похлопал меня по плечу и вроде как стал утешать. Ну я и объяснила как поглщена своим творчством и что моя работа – а это серия инзталляций под названием "От извращений к правде" – является частью моей критики Матиса. И тогда он *благосклонно* согласился взглянуть на мои произведения, поскольку, мол, готов поставить мне более высокий балл, если мое собствнное творчество обогащает мои идеи о Матисе. И добавил еще, что студентам-художникам часто бывает затрднительно выразить себя словами, хотя сам он находит язык "столь же чуственным инструментом, сколь кисть и краски". (Я могла бы конечно сказать пару слов об его литературном стиле, но воздержусь.) [Последнее предложение было густо замарано, но читалось легко.]

Вот так, *любезно,* он соизволил прийти ко мне в студию, чтобы посмотреть мою работу. Я сразу поняла что ему не понравилось что ему все это отвратительно. Чему ж тут удивляться? Мое тврчество не стрмится угодить всем и каждому. Он однако пытался сохранить хорошую мину при плохой игре: повосхищался парой-тройкой *неконзептуальных* работ и даже выдавил из себя что воздух в студии напоен мощью чувств. Я пыталась объяснить что цель проекта: пересмотр, переделка, коренное исправление Матиса. У меня есть объемная конзтрукция из проволоки, алебастра и пластилина – называется "Сопротивление мадам Матис", – и там избражено, как во время войны его жену и дочь пытают в застенках гестапо – а ведь так оно и было! – а он сидит себе в позе Будды и кромзает ножницами бумажки для апликаций. Ему не сообщили, что их пытают, чтоб – не дай бог! – не отвлечь от *работы.* Когда я об этом узнала, меня чуть не стошнило. И у моих гестаповцев точно такие же ножницы.

Потом вдруг ЗЗП сменил офисальный тон на интимный. Приобнял меня, сказал, что *на мне слишком много одежды,* что вся она давящих, тяжелых тонов и что он советует мне все это снять и *ощутить, как воздух омывает тело.* Сказал, что хочет увидеть меня в ярком и что *я очень красивая девушка* – если дам себе волю. Я ответила, что моя одежда – мое кредо, а он заявил, что это очень печальное кредо и начал целовать меня, ласкать – вплоть до самых интимных частей тела это было отвртительно и я не стану все это описывать хотя могла бы уж вы поверьте доктор Химмельблау если понадбится я изложу все до мельчайших подробностей просто сейчас меня еще трясет и я еще не оправилась от шока. Чем сильнее я отбивалась тем настойчивей он лез под одежды и прижмался но потом я пригрозила что при первой возможнсти вызову полицию и тут он одумался и сказал что *в старые добрые времена человеческое тепло и чуственность* соединяли художника и модель прямо в студии я добавила "только не в моей студии" а он сказал "увы" и ушел добавив на прощание что я *почти наверняка* завалюсь по обеим спезальностям.

Сложив документ, Герда Химмельблау убрала его в сумочку и достала присланное с ним вместе личное письмо.

Дорогая доктор Химмельблау!

Посылаю вам жалобу с описанием ужаса, который я пержила. Пжалуйста, отнеситесь к этой жалобе внимательно и, пжалуйста, помогите мне. Я так нещастна, я совсем утратила веру в себя, целыми днями лежу в постели и не знаю, есть ли смысл вставать и что-та делать. Обычно я живу ради творчства, но меня очень легко сбить, лишить желания творить. Порой все кажется таким мрачным и безсмысленным, что я смеюсь, истерически смеюсь от собствнных идиотских потуг с провлокой и пластилином. Зачем вить, зачем лепить? — спрашиваю я себя и не нахожу ответа. И я тогда думаю, что лучше б мне умереть, а после ужаса, который я только что пержила, я все больше склоняюсь к тому, что смерть — это единзтвенный выход. Психтерапевт из полуклиники сказал, что надо просто выпрстаться из этого и жить дальше, но ему-та откуда знать? Он не умеет слушать, ему невдомек, что могут сделать другие люди, если — как он выразился — сумеют выпрстаться из этого, да и из чего "этого", в конце-та концов? Из черных мешков, куда засовывают трупы? Я видела их по телевизору. Наверно, мое никчемное тело лучше всего подходит для такого вот мешка. Пршу вас, помогите мне, доктор Химмельблау. Я сама себя боюсь, а прзрение окружающих — последняя капля, мне не выпрстаться, выпрстаться...

Ваша с надеждой
Пегги Ноллетт

Мимо увитого зеленью окна прошел Перегрин Дисс. Он был высок и держался очень прямо — точно столп. Еще вполне густые седые волосы были аккуратно зачесаны. Плащ кашемировый, оливкового цвета, с черным бархатным воротником. На трость — черную, лакированную, с серебряным набалдашником — он не опирался, просто изящно ею помахивал. Войдя в помещение, но еще не заметив Герды Химмельблау, он остановился возле божка, а потом долго и серьезно разглядывал омара, крабов и гребешков. Закончив наконец осмотр, он уважительно кивнул, словно признавая их право на существование, и двинулся к вешалкам. Молодая китаянка тут же подхватила плащ и трость. Оглядевшись, он заметил даму, пригласившую его в ресторан. Кроме них, в этот ранний час здесь никого и не было.

— Доктор Химмельблау?

— Здравствуйте, профессор Дисс. Садитесь, пожалуйста. Я как-то не сообразила спросить: быть может, вы не любите китайскую кухню? Я-то просто подумала, что это место так удобно расположено...

— Китайская кухня — разумеется, в достойном исполнении — одно из величайших достижений цивилизации. Такая изысканность, такой букет и одновременно такая простота! И ее так благосклонно принимает стареющий желудок.

— Здешняя кухня мне очень нравится. С первого раза всех тонкостей даже не уловить. И я заметила, что среди завсегдатаев много настоящих китайцев, ходят целыми семьями, а это добрый знак. К тому же рыба и овощи всегда свежие.

— Тогда прошу вас быть моим проводником сквозь дебри этого меню. Я, разумеется, активный сторонник неизведанного, но здесь риско-

вать боюсь, поскольку "хрустящие жареные потроха" вкушать не готов. А вам нравятся устрицы на пару с имбирем и зеленым лучком? Такой насыщенный и в то же время нежнейший вкус...

— Я никогда не пробовала...

— Очень рекомендую. Они даже отдаленно не напоминают холодных устриц, уж не знаю, по душе они вам или нет. А как у них обстоит с блюдами из утки?..

Они мило болтали, составляя заказ с изящными вариациями: тут мазок обжигающего чили, там призрачный, сладостный аромат личи, слоистая явственность черной фасоли, первобытная земляная хрусткость проращенных бобов. Герда Химмельблау глядела на собеседника, невольно пытаясь вообразить его в роли насильника из рассказа Пегги Ноллетт. Загорелая кожа еще упруга — ни одутловатости, ни вислых складок, — лишь сеть глубоких благородных морщин бороздит лоб, щеки, шею, ноздри, уголки глаз и рта и даже губы. Глаза совершенно васильковые, удивительные, пусть слегка выцветшие, подернутые дымкой и чуть красноватые, но в тридцатые годы, когда он был молод, они, вероятно, сияли совершенно неотразимо. Под стать им яркий васильковый галстук из плотного шелка — наверно, он как раз того оттенка, какого были когда-то глаза. Впрочем, почему были?.. Костюм вельветовый, темно-слюдяного цвета. На руке украшенный лазуритом перстень с печаткой; руки еще красивы, хотя, как и лицо, изрезаны морщинами. В этом человеке прихотливо соединялись утонченная разборчивость и пристрастие древних к излишествам и разврату. Герда Химмельблау кое-что знала о его жизни, впрочем все это сплетни, ставшие всеобщим достоянием.

Документ она достала, едва принесли первое блюдо: блестящие голубовато-зеленые водоросли с креветками и прижаренными хлебцами с кунжутными семечками. Начала она так:

— Я получила довольно неприятное письмо и вынуждена его с вами обсудить. Мне подумалось, что лучше говорить в, скажем так, неофициальной обстановке. Не знаю, известно ли вам, о чем пойдет речь...

Перри Дисс быстро пробежал глазами письмо и залпом выпил едва начатую кружку пива. Пожилой китаец тут же принес новую.

— Несчастная сучка, — вздохнул Перри Дисс. — Какая страшная каша у нее в голове. Я бы, ей-богу, приговорил к смерти того, кто усмотрел в ней искру таланта и направил на эту стезю.

Не произноси слово "сучка", поморщившись, мысленно приказала ему Герда Химмельблау.

— Вы помните описанный в жалобе эпизод? — осторожно поинтересовалась она.

— В какой-то мере, в какой-то мере... В предложенной здесь трактовке он мало узнаваем. Мы действительно встречались на прошлой неделе, чтобы обсудить отсутствие прогресса в ее диссертации; я бы сказал, наблюдается даже некоторый регресс — по сравнению с заявкой, которую я, впрочем, и в первоначальном виде не одобрил бы, так что никакой ответственности не несу. На сегодняшний день она позабыла даже то немногое, что якобы знала о Матиссе прежде. Не представляю, как можно дать ей ученую степень: она невежественна, ленива и с тупым упрямством движется неизвестно куда. Я счел своим долгом ей об этом сообщить. Доктор, мой опыт подсказывает, что наша с вами безмерная доброта наносит ленивым и невежественным студентам непоправимый

вред. Мы носимся с ними как с писаной торбой, чуть ли грудью не кормим и не осмеливаемся просто назвать бездарь бездарью.

— Что ж, вполне возможно. Но она конкретно утверждает... Вы приходили к ней в студию...

— Да-да. Пришел однажды. Я не так жесток, как можно подумать. Я хотел заронить в ее душу сомнение. И эта часть ее повествования до некоторой степени похожа на правду, то есть на ту часть этих пренеприятнейших событий, которую я почитаю правдой. Я действительно говорил о том, что художники зачастую неспособны выразить себя вербально. Любой, кто проработал в этой сфере столько лет, подтвердит, что некоторые умеют оперировать словами, другие же — только материалами. Интересно, что не всегда заранее скажешь, кто к какой категории относится... Так или иначе, я пришел к ней в студию, чтобы взглянуть на ее так называемую Работу. Вот ведь напасть — еще одно слово-прилипала. "Так называемая". Расхожий современный термин для абсолютного уничижения.

— Ну и?..

— Ее работы ужасны! Отвратительны. Кощунственны. Вся студия — в которой бедняжка к тому же ест и спит — увешана дешевыми репродукциями Матисса. *Сон. Розовая обнаженная женщина. Голубая обнаженная женщина. Большое синее платье. Музыка. Художник и его модель. Зорба на террасе.* И все до единой загажены. Каким-то веществом органического происхождения, доктор, возможно, кровью или тушеным мясом, или испражнениями, да-да, я склоняюсь к последней версии, поскольку откуда ж в этой убогой конуре взяться более достойной грязи? Иногда она намеренно изменяет, искажает контуры тел или лиц своей пачкотней, иногда сажает кляксы, словно закидывает картину помидорами — может, и правда помидорами? — и еще яйцами. Но иногда картины просто исполосованы. Дерьмом в форме свастики! Это отвратительно. И убого.

— Отвращать и кощунствовать — ее цель, и она своего добилась, — беспристрастно произнесла Герда Химмельблау.

— И что из этого? Разве цель — оправдание? — рев Перри Дисса испугал молодую китаянку, которая подошла зажечь восковые горелки под подставкой для тарелок. Девушка шарахнулась в сторону.

— В последнее время искусство традиционно несет элемент протеста, — заметила доктор Химмельблау.

— Традиционного протеста, — громогласно уточнил Перри Дисс, и шея его налилась кровью. — Это в порядке вещей. Я и сам протестовал в былые дни, да и все мы не без греха, человек вообще не может состояться, если не внесет свою лепту в эпатаж, не подразнит гусей. Но в нашем случае я не приемлю совсем иное: претенциозную дешевку и леность! И мне кажется — уж простите, доктор, — что эти какашки оскорбляют как раз то, что я почитаю священным, да-да, священным, хоть над этим словом наша маленькая сучка будет наверняка хохотать до упаду. Пускай бы она могла просто скопировать эти шедевры, эти сияющие... ну да ладно... так вот, если б она сумела хоть что-то *сделать*, если б разобралась в оттенках голубого, розового, белого, оранжевого и черного, да-да, черного! — и после этого почувствовала неодолимое желание осквернить картины, что ж, я уважал бы ее протест.

— Кстати, поосторожнее со словом "шедевры", — пробормотала доктор Химмельблау.

— Да знаю я эти реверансы, знаю. А вы все-таки послушайте! У нее же ушло не больше получаса, чтобы все загадить! Полчаса на все про все! И дольше эта дура на Матисса в жизни не смотрела! Она толком не помнит ни одного полотна, из наших бесед это ясно как день! Весь Матисс в ее воспаленном воображении сливается в одно чудовищное женское тело, пышущее мужской агрессией. Она ничего не видит! Ей не дано! И мы присвоим ей диплом за полчаса дерьмометания?

— Матисс, — вставила Герда Химмельблау, — иногда клал мазок и надолго задумывался, убирал холст на недели и даже месяцы, пока не поймет, куда класть следующий.

— Мне это известно.

— А вдруг... распределение... гм... испражнений на картине тоже требовало определенных размышлений? Вдруг она думала, куда класть следующую порцию?

— Чушь. Искусство я всегда отличу. И, поверьте, я внимательно выискивал хоть какую-то изюминку. Хотя бы юмор, визуальный юмор, рассчитанный на то, чтобы вызвать улыбку. Ничегошеньки! Намазано, наплюхано как попало. Ужас!

— Сделано в расчете вас растревожить. Цель достигнута.

— Доктор Химмельблау, а вы, собственно, на чьей стороне? Кстати, я читал вашу монографию о Мантенье. Примите самые лестные отзывы, это настоящий chef-d'oeuvre[1]. А вот работы Пегги Ноллетт... Вам хоть доводилось их видеть?

— Я не болельщик, профессор Дисс, я декан женского студенческого сообщества. Я получила официальную жалобу и должна принять официальные меры. Сейчас такие времена, что это может оказаться крайне неприятным для меня, для факультета, для всего университета и для вас, профессор. Посвящая вас в ситуацию неофициальным образом, я превышаю свои полномочия. Но мне очень важно знать ваш ответ на конкретные обвинения. Что до Пегги Ноллетт — да, я ее видела. Довольно часто. И однажды видела ее работы.

— В таком случае... Вы сами понимаете, что... ну, не мог я... гм... заигрывать с ней так, как она описывает. У нее не кожа, а картофельная кожура! И само тело — гниющая картофелина. Оно гниет — там, внутри, под всеми этими рубашками, жилетками, вязаными балахонами и тюремными тряпками. А ее руки и ноги вы видели? Забинтованы как у мумии, перетянуты ремешками, веревками, закованы в поганые налокотники и наколенники... Да еще эти черные шоферские перчатки с крагами! И везде пряжки, пряжки, пряжки... Так и ждешь, что из-под них засочится какая-нибудь желтоватая гадость и она разотрет ее о картину "Радость жизни". А волосы! Она же несколько лет не мыла голову! Хранит, как старую засаленную сковородку, и не дай бог на этот жир попадет хоть капля воды! Неужели вы допускаете, доктор, что я до нее дотронулся?

— Да, представить трудно...

— Невозможно. Конечно, я вполне мог посоветовать ей поснимать с себя все лишнее, мог даже опрометчиво — думая, как вы понимаете, спасти картофелину — сказать что-то о воздухе, омывающем тело. Но, уверяю вас, не более того. Я пытался — вопреки собственному инстинкту —

1. Шедевр (*франц.*). (*Здесь и далее – прим.перев.*)

общаться с ней как с человеческим существом. А все прочее — плод ее больного воображения. Надеюсь, вы мне верите, доктор Химмельблау. Собственно, вы — тот единственный почти свидетель, которого я могу призвать для защиты.

— Я вам верю, — коротко вздохнув, произнесла Герда Химмельблау.

— Тогда давайте поставим на этом точку, — сказал Перри Дисс. — Давайте вкушать эти изысканные яства и говорить о вещах более приятных, чем Пегги Ноллетт. В жизни не пробовал более вкусных креветок.

— К сожалению, все не так просто. Если она не отзовет жалобу, вам обоим придется давать показания в Сенате университета. Университет, кстати, обязан, если вы изъявите такое желание, нанять вам адвокатов самого высокого класса: это правило сохранилось с былых времен, когда у университетских сенатов была реальная власть и деньги. Но обстановка сейчас такова, что правда никого не интересует, и, боюсь, вам не миновать неприятностей. Вас могут уволить — могут и не уволить, — но так или иначе, поднимется волна протестов против вас лично, ваших научных трудов и вашего пребывания в университете. И проректор испугается, что вся эта шумиха подорвет финансирование и факультет, единственный в Лондоне факультет, дающий сразу две художественные специальности, придется закрыть. Хозяева университета ждут доходов, и мы, естественно, не являемся направлением "главного удара", наши студенты не привлекают экспортеров...

— Кстати, почему нет? Не все же они — Пегги Ноллетт. Что до меня... возьмите-ка еще бамбуковых побегов и проращенных бобов... что до меня, я хотел было сказать, что готов немедленно подать в отставку и уберечь вас от дальнейших неприятностей. Но я не готов. Потому что не потакаю лжецам и шантажистам. И потому что эта девица — *не художник,* она *не умеет работать,* она *не видит,* и ей ни в коем случае нельзя дать диплом. И потому что Матисс — это Матисс.

— Спасибо, — Герда Химмельблау освободила на тарелке место для овощей. — Да-да, конечно, — добавила она в ответ на декларацию Перри Дисса. Некоторое время они просто молча ели. Голосок в динамике все выводил "прекрасное утро" на кантонском наречии.

— Пегги Ноллетт нездорова, — произнесла доктор Химмельблау. — Нездорова и психически, и физически. Она страдает анорексией. И заворачивается в эти тряпки, как в кокон, чтобы скрыть, что вконец отощала и превратилась в совершенный скелет.

— Так, значит, не картошка, а вилка. Спица. Вешалка. Понятно...

— И у нее депрессия. Как минимум, две попытки самоубийства, — о них мне, по крайней мере, известно.

— Серьезные попытки?

— Разве отличишь? Может, и увенчались бы успехом, если б о них знало поменьше народу. А так, конечно, спасли.

— Ясно. Но вы, надеюсь, понимаете, что это ничего не меняет. Она бесталанна, не умеет работать, не видит...

— Но будь она здорова...

— Вы правда в это верите?

— Нет. Нет оснований.

Перри Дисс придвинул к себе мисочку с рисом.

— В Китае я научился в конце любой трапезы есть чистый рис, без всяких добавок, ощущая на языке каждое зернышко. Вкус свежесваренного риса — один из самых изумительных в мире. Уж не знаю, каков на

вкус рис, если ничем другим не питаться, если голодать. Наверно, он тоже вкусен, одуряюще вкусен, только совсем по-иному... Но этот вкус не описать...

Герда Химмельблау тоже положила себе рису и, аккуратно подцепив палочками, попробовала.

— Да, вы правы.

— Но при чем тут Матисс?! — снова не выдержал профессор. — Я знаю, что девица больна, от нее даже пахнет болезнью. И поэтому, хотя бы поэтому дико предположить, что кто-то... что я... способен до нее дотронуться.

— Знаете, декан женского студенческого сообщества поневоле получает немало сторонних знаний, — задумчиво начала доктор Химмельблау. — Например, об анорексии. Болезнь развивается из ненависти к собственному "я" и непомерной сосредоточенности на себе, на своем теле и, в особенности, на образе собственного тела. Все мы имеем некое представление о своей оболочке, но в данном случае представление это гипертрофировано. Одна моя знакомая, психиатр, в сотрудничестве с вашей коллегой из художественного колледжа издала серию рисунков, в некотором смысле медицинское пособие, очень и очень полезное. Больная анорексией изображена перед зеркалом. Мы видим торчащие ребра и обвислую кожу, а она — в зеркале — видит себя состоящей из одних выпуклостей: чудовищно толстые ляжки, задница, щеки... Для меня эти рисунки многое прояснили.

— Ну понятно. Мы видим вешалку и спицу, а она — пузатую картофелину и увесистую тыкву. Занятный образ... Может получиться интересная картина.

— Прошу вас, не надо. Несчастные так страдают.

— Не думайте, что я такой черствый и легкомысленный, доктор Химмельблау. Я — серьезный художник, во всяком случае, был таковым. Если замысел картины рождается из тяжелой жизненной драмы — это не зазорно. Особенно если драма так визуально отчетлива...

— Простите. Я просто пытаюсь понять, что делать. Несчастная девочка хочет лишить себя жизни. Хочет *не быть*.

— Понимаю. Но при чем тут Матисс? Если ее так занимают плотские ужасы, пускай опоражнивает судна у лежачих больных, слушает крики рожениц, работает в хосписе. А если ей приспичило заниматься искусством, пускай перекраивает Джакометти в Майоля или, наоборот, пускай займется Пикассо, этим старым козлом, который по природной злобе творил с женским телом несусветные вещи. Но при чем тут Матисс?

— Именно по этой причине. Он пишет тихую благодать. Luxe, calme et volupté. Разве Пегги Ноллетт может вынести роскошь, покой и сладострастье?

— Когда я был молод, в период моих собственных Sturm und Drang[1], мне это все было откровенно скучно. Помню, я заметил кому-то — кажется, жене, — что Матисс *прост и плосок*. Какой же я был идиот! Но потом, в один прекрасный день, я прозрел. И понял, как трудно это увидеть и какая мощь таится в каждом штрихе. Не *утешение*, доктор, а *жизненная сила и мощь*.

И он продекламировал, откинувшись в кресле и глядя в никуда:

1. Буря и натиск (*нем.*)

Дитя, сестра моя!
Уедем в те края,
Где мы с тобой не разлучаться сможем,
Где для любви — века,
Где даже смерть легка,
В краю желанном, на тебя похожем.
Там красота, там гармоничный строй,
Там сладострастье, роскошь и покой.[1]

Герда Химмельблау, в чьей жизни было так мало luxe, calme et volupté, была разом и тронута и обескуражена его вдохновенным экстазом. Но произнесла довольно сухо:

— У этих свойств Матисса всегда находились противники. Поборники феминизма — и художники, и критики — не любили его за то, что вся мирная панорама бытия напоена у него мужским эротизмом. А марксисты — за чистосердечное признание, что он пишет в угоду богачам.

— Предпринимателям и интеллигенции, — уточнил Перри Дисс.

— Интеллигенция радует марксистов ничуть не больше.

— Послушайте, — сказал Перри Дисс. — Ваша мисс Ноллетт жаждет шокировать. И шокирует примитивным дерьмом. А Матисс был хитроумен, сложен, неистов, сдержан и точно знал, что всегда обязан отдавать себе отчет в том, что он собственно делает. И знал, что самым шокирующим будет признание, что он пишет "в угоду предпринимателям и для собственного комфорта". Его знаменитое сравнение живописи с покойным креслом — самая изощренная провокация, какую только знал мир. Да закидайте дерьмом весь Центр Помпиду — и то вам не удастся шокировать столько людей, сколько удалось шокировать Матиссу одним лишь этим заявлением. Тех, кто не знает контекста, до сих пор колотит от ужаса.

— Напомните контекст, — попросила Герда Химмельблау.

— "О чем я мечтаю, так это об искусстве гармоничном, чистом, тихом, которое не будет поднимать неприятных тем, не будет беспокоить, которое предназначено для тех, кто работает головой, для предпринимателей и писателей, оно призвано умиротворить, успокоить их ум — как покойное кресло, дающее отдых усталому телу..."

— Что ж, взгляд достаточно *однобок*, и оспорить его — задача благородная, — заметила Герда Химмельблау.

— Благородная, но возникающая исключительно от непонимания. Кто, в сущности, понимает, что есть наслаждение? Только старики, вроде меня, которые уже забыли, когда у них не ныли кости, но помнят, как взбегали когда-то в горку — упруго, размашисто, как упруг и размашист красный цвет на полотне "Красная мастерская художника". А еще слепцы, которым вернули зрение, и у них кружится голова от листвы, от аляповатых пластмассовых кружек и *страшной синевы* неба. Наслаждение — это просто жизнь, доктор, но у большинства из нас ее нет, или ее немного, или в ней все перепутано, поэтому, увидев эти краски — синие, розовые, оранжевые, пунцовые, — нам следует пасть ниц и усердно молиться. Потому что это — истина. Кто отличит истинно покойное кресло? Только больной костным раком или человек после пыток, уж они-то знают...

1. Шарль Бодлер. Приглашение к путешествию. Перевод И. Озеровой.

— Что же будет с Пегги Ноллетт? — спросила вдруг доктор Химмельблау. — Как она все это увидит, если так хочет умереть?

— Женщина, жаждущая обвинить мужчину в изнасиловании, вряд ли всерьез думает о смерти. Она захочет насладиться триумфом, чтобы поверженный извивался у ее ног, прося пощады.

— Профессор Дисс, она совсем запуталась. И посылает нам всевозможные сигналы: зовет на помощь, угрожает...

— Марает отвратительные картинки...

— На самом деле она вполне способна наглотаться таблеток и оставить письмо, где обвинит вас, да и меня заодно, в ужасных посягательствах, в бесчувственности, в преследованиях...

— Давайте в таком случае называть вещи своими именами: она мстительна и злобна.

— Вы слишком верите в человеческую природу. И склонны все упрощать, как человек с очень здоровой психикой. Отчаянье такой же рычаг, как злоба. Они дополняют друг друга.

— И все от недостатка воображения.

— Ну, разумеется. Разумеется... Вообрази самоубийцы этот ужас... боль тех, кто остался... в пику кому они ушли... они бы этого не сделали...

Ее голос изменился. Она знала об этом. Перри Дисс не ответил, а просто, слегка нахмурясь, глядел на нее в упор. И Герда Химмельблау — во исполнение договора, который заключила когда-то с собственной дотошностью и правдивостью, — произнесла:

— Разумеется, когда доходишь до определенной черты, на место другого себя уже не ставишь. Все предельно ясно, просто, и выход один... Один-единственный выход...

— Да, верно. Вокруг все будто высвечено или, как вы говорите, предельно ясно. Ты словно в белом ящике, белой комнате, без дверей и окон. Смотришь сквозь недвижную чистейшую воду — или нет, скорее, сквозь лед; ты в белой комнате, как в ледяной глыбе. И сделать можно только одно. Все ясно и просто. Как вы говорите.

Они глядели друг на друга. Перри Дисс побледнел. Притих. Задумался.

Бывает так: двое разговаривают, не важно — где и когда, обычным цивилизованным образом, о чем-то вполне обыденном или даже о тонких материях. А внутри каждого течет темный поток бессвязных мыслей, тайных страхов, необузданных страстей, благодати, надежд, потерь — невидимый и неслышимый, поток течет внутри вместе с беседой. Но внезапно один из собеседников или оба сразу увидят, услышат, учуют это движение — в себе или, значительно реже, в другом. И вот поток — уже водопад, он низвергается вниз, в темноту. Меняется все, даже воздух становится гуще, хотя внешне беседа течет безмятежно, и на ее поверхности — ни кругов, ни ряби.

Душа Герды Химмельблау снова свивается в тугой узел ужаса, тихого ужаса, который, точно рак, разрастается у нее внутри в последние годы. Перед глазами снова — и сопротивляться этому бесполезно! — ее подруга Кей. Сидит в громоздком больничном кресле с покрывалом; длинная рубашка завязана сзади, поверх — полосатый как полотенце халат. Кей на Герду не глядит. Сидит, поджав губы. Взгляд затуманен лекарствами. На белизне рубашки — свежие алые пятна: лишь уколы шприца прино-

сят Кей покой. Герда говорит: "Помнишь, мы в четверг идем на концерт?" — "Ничего не знаю. Какой концерт?" Кей по-прежнему упрямо перечит, но уже с запинкой, почти без сил. И вдруг исподтишка взглядывает на Герду — недобро, даже злобно. Герда любила в жизни лишь одного человека: свою одноклассницу и подругу Кей. Сама она замужем так и не побывала, зато была свидетельницей на свадьбе Кей, которая, благополучно выйдя замуж, вырастила троих детей. Милая, мягкая, любительница цветов и книг, мастерица печь пироги, она была нежно привязана к мужу, к детям, к Герде. Для Герды же простота и здравомыслие подруги были якорем — чтобы не потонуть в этом безумном мире. В юности Герду обычно называли "нервной" и добавляли, что, "не будь рядом Кей Леверетт, она бы наверняка свихнулась". Но однажды старшую дочку Кей нашли в отцовском сарае — в петле. Она оставила записку: задразнили одноклассники. Смерть дочери стала смертью Кей — но не сразу. Такая смерть подкрадывается медленно и поражает жестоко. С годами Кей словно приняла на себя страдания девочки, и они ее доконали. Как-то она сказала Герде — причем походя, так что та даже не вслушалась поначалу: "Я включила газ и пролежала у плиты весь день, но ничего не вышло". Потом, поливая цветы, она "случайно" выпала из окошка. Потом, при переходе улицы, ее случайно задел автобус. "Я просто ступаю на мостовую и закрываю глаза", — пояснила она Герде, а та велела не дурить и пожалеть водителей. Потом случилась передозировка кодеина. Потом — тщательно накопленная пригоршня снотворных таблеток. А неделю спустя Герда увидела ее в больничном кресле. Смерть на этот раз победила. Безумие и было смертью.

Старая китаянка убрала со стола черные от густого фасолевого соуса тарелки, остывший рис, несъеденную свеклу.

Помнится, раньше, когда боль Кей была, как казалось, острее и естественнее, а на самом деле — слабее и выносимее, Кей сказала: "Я никогда не понимала, как люди на это решаются. А теперь все так ясно, словно другого пути и нет. Понимаешь?" "Нет. Не понимаю, — ответила Герда с трезвым, здравым напором. — Нельзя так поступать с близкими. Не имеешь права". "Возможно, — отозвалась Кей. — Но это не важно". "И слушать тебя не хочу, — перебила Герда. — Хотя самоубийство — болезнь незаразная".

Оказалось, заразная. Теперь-то она знает. Потому что настал ее черед. Она уже заигрывает с грузовиками: не глядя ступает на дорогу прямо перед этими громыхающими махинами. Однажды она приняла на ночь кучу таблеток и стала ждать: проснется ли утром. Проснулась. И отправилась, как сомнамбула, на работу. При этом она по-прежнему полагала, что позыв к смерти порочен и надо сопротивляться. Но временами все вокруг становилось ослепительно просто и ясно. Мир обесцвечивался, и единственным пятном на его белизне было ее собственное сознание. Оно все время начеку, но это всего лишь пятно, и его так легко стереть. И боль кончится.

Она смотрела на Перри Дисса, а он — на нее, полуприкрыв глаза, но пристально, неотрывно. Он так точно описал ее белую комнату. Он там бывал? У него есть своя? Он знает. Он знает про нее, Герду, а она — про него. Как, откуда, когда он узнал — не важно. В конце концов, он прожил долгую жизнь. В молодости, во время бомбежки потерял жену. Вокруг его имени всегда витал ореол скандала: художник любил натурщиц, но не профессионалок, а юных девочек из уважаемых, достойных семей.

Потом оказался ответчиком в тяжелейшем, грязном, полном ненависти бракоразводном процессе. И был, между прочим, крупным художником. Ну, почти крупным. Теперь он не в моде. Его не воспринимают всерьез. И внутри у него, как у Герды Химмельблау, ледяная, ослепительно белая комната, где сидит его боль, его собственная Кей — озлобленная, с заплетающимся языком, в больничном кресле.

Пожилой китаец принес блюдо с апельсиновыми дольками. Яркими, готовыми лопнуть от нутряного напора сладчайшего сока, который пульсировал в вытянутых, точно слезки, оранжевых ячейках. Перри Дисс придвинул к ней блюдо, и она увидела на его запястьях старые, глубокие, аккуратные шрамы.

— Апельсин — воистину райский фрукт. И Матисс был первым, кто понял его цвет вполне. Не находите? В апельсине сочетается все: свет, тень, оранжевое на голубом, на зеленом, на черном... Я ведь однажды навещал Матисса, сразу после войны, он тогда снимал квартиру в Ницце. Я в те дни был преисполнен надежд, восхищался им, сердился на него, намеревался скоро, совсем скоро взять над ним верх: вот пойму это, да вот еще то... Так и не понял. А он был уже тяжко болен, после операции, и монашки, которые за ним ухаживали, называли его "воскресший из мертвых"... В квартире оказалось мрачно, темно: занавески задернуты, даже ставни наглухо закрыты. Я поразился. Мне-то представлялось, что он живет, купается в свете, дышит им. Я так и выпалил не раздумывая: "Как вы можете закрываться от света?" А он спокойно, вежливо растолковал — мол, врачи поговаривают, что ему грозит потеря зрения. И он заранее готовит себя к полной темноте. И добавил: "Кроме того, свет — черного цвета". Помните картину "Черная дверь"? Молодая женщина в белой с красноватым отливом рубашке и пестром лимонно-кадмиевом пеньюаре сидит, откинувшись в полосатом кресле, у нее охряно-желтые волосы, чуть сбоку окно, оттуда льется свет, а сзади, повыше — черная дверь. Почти никто не умел так писать черный цвет. Почти никто.

Герда Химмельблау надкусила апельсиновую дольку. Сладко. Она сказала:

— Он писал: "Я, когда работаю, верю в Бога".

— Он также писал: "Когда я работаю, я — Бог". Что-то в этом есть... Знаете, родители надеялись, что я стану священником. Но я не смог полюбить религию, чей главный символ — человеческое тело, прибитое гвоздями над алтарем. Нет, я выбираю "Танец"!

Герда Химмельблау засобиралась. Но Перри Дисс продолжал:

— Потому-то я и сказал вам, совершенно как на духу: эта девица оскверняет то, что я почитаю священным. Что с нею делать? Я тоже не хочу, чтобы она наказала нас всех, наложив на себя руки, но я не готов потакать оскорблениям, лености...

Герде Химмельблау вдруг представилось бледное, как очищенная картошка, лицо Пегги Ноллетт. Она сидела в белой комнате, набрякшие веки были едва раздвинуты, и сквозь щели злобно и хитро пялились маленькие глазки. А еще Герда Химмельблау увидела золотые апельсины, розовые руки и ноги, изгиб синего чехла от скрипки, и все это — в черной комнате. Надо сделать выбор. Но что бы она ни выбрала, эти яркие формы будут по-прежнему сиять в темноте.

— Есть очень простое решение. Пегги нужен — и всегда был нужен, просто этому сопротивлялось факультетское начальство, — так вот, ей

нужен научный руководитель такого же толка, сходных взглядов, так же политизированный, допустим, Трейси Авизон, которая...

— ... позволит ей получить диплом да еще благословит на дальнейшее творчество в том же духе. Это полное поражение.

— Да. Вопрос в том, насколько важна победа. Для вас. Для меня. Для факультета. Да и для Пегги Ноллетт.

— Важна. И одновременно — никому не нужна. Но вдруг девица все же прозреет? — сказал Перри Дисс.

Из ресторана они вышли вместе. Перри Дисс поблагодарил доктора Химмельблау за угощение и компанию. Ее же снедало беспокойство. Что-то случилось с ее белой комнатой, с ее ледяной глыбой, но что именно — было пока непонятно. Перри Дисс остановился у стеклянного футляра с омаром, крабами и гребешками. Последние уже решительно умерли и подернулись жемчужной пеленой грядущего распада. Омар с крабами были еще живы, только им все давалось труднее, медленнее, хотя они еще дышали — с бульканьем и свистом — и пошевеливали лапками и клешнями, и пучили глаза. Под собственными ребрами, в собственной черепной коробке Герда Химмельблау вдруг ощутила боль этой чужой, вышедшей из моря плоти. Она корчилась под панцирями, которые уже не блестели, не лоснились, а тускнели и блекли на глазах.

— Отвратительное зрелище, — проговорил Перри Дисс. — И в то же время, заметьте, в то же самое время мне это абсолютно безразлично. Понимаете?

— Понимаю. — Она правда понимала. Жестоко, недостижимо, чувственно и ясно. Снова заиграла музыка. "Как утро прекрасно! Я словно лечу! Я верю — все будет, как я захочу!"

Приподнявшись на цыпочки, она сделала что-то неслыханное: поцеловала Перри Дисса в мягкую щеку.

— Спасибо, — сказала она. — За все.

— Берегите себя, — ответил он.

— Да... Хорошо. Обещаю.

Милан Кундера

Пусть старые покойники уступят место молодым покойникам

Рассказ

Перевод с чешского Нины Шульгиной

1

ОН возвращался домой по улице маленького чешского городка, где проживал уже несколько лет, смирившись с не очень шумной жизнью, болтливыми соседями и монотонным хамством на службе, — шел, ничего не замечая вокруг (как ходят по дороге, сто раз пройденной), и чуть было не разминулся с ней. Зато она узнала его еще издали и, идя навстречу, смотрела на него с мягкой улыбкой, которая лишь в последнюю минуту, когда они едва не разошлись, достигла сигнального устройства в его памяти и вырвала его из дремотного оцепенения.

"Я не узнал вас!" — сказал он в оправдание, но это была нелепая обмолвка, мгновенно коснувшаяся мучительной темы, какую лучше было не затрагивать: за пятнадцать лет, что они не виделись, оба изрядно постарели. "Я так изменилась?" — спросила она, и хотя он, сказав "нет", солгал, ложь была не совсем полной, ибо эта легкая улыбка (целомудренно и сдержанно настроенная на волну какого-то вечного восторга) приплыла к нему сейчас из дали многих лет ничем не замутненной и ослепила его: она столь зримо пробудила в нем прошлый облик женщины, что ему пришлось сделать над собой немалое усилие, дабы отвлечься от него и увидеть ее теперешней: это была уже почти старая женщина.

© Milan Kundera, 1969
© Н. Шульгина. Перевод, 2001

Он спросил ее, куда она держит путь и какие у нее планы, и она ответила, что ей пришлось улаживать кой-какие дела и что теперь ничего не остается, как ждать вечернего поезда, который отвезет ее назад в Прагу. Он выразил радость по поводу их нежданной встречи и пригласил ее (поскольку оба сошлись на том, что здешние две кофейни битком набиты и грязны) в свою холостяцкую квартирку, расположенную неподалеку, где есть кофе и чай, а главное — порядок и покой.

2

Этот день с самого начала складывался для нее неудачно. Ее супруг (тридцать лет назад, после свадьбы, она жила с ним в этом городе, потом переехала в Прагу, где десять лет тому он скончался), согласно странному его завещанию, был похоронен на здешнем кладбище. Она тогда же оплатила могилу на десять лет вперед и лишь недавно с испугом вспомнила, что забыла продлить истекший срок аренды. Сперва подумала было написать в местную кладбищенскую контору, но зная, сколь бесконечна и напрасна переписка с конторщиками, приехала сюда сама.

Дорогу к могиле мужа она нашла бы с закрытыми глазами, но почему-то сегодня ей казалось, будто на кладбище она впервые. Не находя могилы, она решила было, что заблудилась. Только спустя какое-то время поняла: точно на том же месте, где стоял серый песчаниковый памятник с выгравированным позолоченным именем ее мужа (она безошибочно узнала две соседние могилы), теперь стоял памятник черного мрамора с совершено иным, вытисненным золочеными буквами именем.

Возмущенная донельзя, она пошла в кладбищенскую контору. Там ей объявили, что по окончании аренды могилы ликвидируются автоматически. В ответ на ее упреки, что ее, мол, заранее не предупредили о необходимости срочно продлить аренду, ей сказали, что кладбище небольшое и что *старым покойникам приходится уступать место молодым покойникам.* Негодуя и превозмогая рыдания, она укорила их в полном пренебрежении к таким понятиям, как человечность и уважение к людям, но тут же осознала, что разговор бесполезен и, так же как она не смогла воспрепятствовать смерти мужа, она бессильна помешать и его второй смерти — смерти "старого покойника", которому теперь запрещено существовать даже как покойнику.

А в городе к ее печали стало примешиваться и чувство тревожной озабоченности: как объяснить сыну исчезновение отцовской могилы и оправдаться перед ним в своем упущении. В конце концов ее придавила усталость: чем заполнить долгие часы до отхода поезда? В городе уже не осталось друзей, да и сам город так изменился за прошедшее время, что уже ничто не тянуло к сентиментальной прогулке: некогда знакомые места предстали перед ней в совершенно чужом обличии. Вот почему она с благодарностью приняла приглашение неожиданно попавшегося на ее пути старого (полузабытого) друга: в его доме она смогла вымыть руки, а потом, сидя в мягком кресле (болели ноги), осматривать комнату и слушать, как в отгороженной ширмой кухоньке булькает кипяток для кофе.

3

Когда ему стукнуло тридцать пять, он вдруг обнаружил, что на темени заметно поредели волосы. Это была еще не явная лысина, но она уже

вполне обозначилась (под волосами просвечивала кожа): да, лысина неминуема и близка. Конечно, смешно из-за поредевших волос делать великую драму, однако он понимал, что с появлением лысины изменится и лицо, а стало быть, и жизнь его теперешнего облика (причем без сомнения лучшего) близится к концу.

И тут он стал размышлять над тем, каковы же, собственно, плоды жизни этого ускользающего (волосатого) облика, что этому облику довелось испытать и чем насладиться, и его ошеломило сознание, что хорошего было всего ничего; эта мысль вогнала его в краску; да, стало стыдно: какой позор прожить на земле так долго и испытать так мало!

Что, впрочем, он имел в виду, говоря себе, что испытал так мало? Мыслил ли он под этим путешествия, работу, общественную деятельность, спорт, женщин? Вероятно, он подразумевал под этим все, но главное, конечно, женщин, ибо если в иных сферах его жизнь и была удручающе убогой, то вины своей он тут не чувствовал: не виноват же он в том, что его профессия малоинтересна и бесперспективна; что для путешествий нет ни денег, ни благосклонных кадровых рекомендаций; не виноват же он, наконец, и в том, что в двадцать лет повредил мениск и вынужден был бросить любимые виды спорта. Однако мир женщин был для него миром относительной свободы, и уж здесь ему не на что было пенять; нечем было отговариваться; здесь он мог проявить свои богатые возможности; так женщины стали для него единственным оправданным мерилом *полноты* жизни.

Да вот беда: именно с женщинами дело почему-то не ладилось: до двадцати пяти (хотя он был привлекательным юношей) его сковывало волнение; потом он влюбился, женился и в течение семи лет убеждал себя, что в одной женщине можно обрести эротическую бесконечность; затем развелся, апология единственной женщины (как и иллюзия бесконечности) растаяла, и на ее место пришло властное желание обладать женщинами (пестрой конечностью их множества), однако, увы, сильно приторможенное скудными финансами (приходилось платить алименты бывшей жене на содержание ребенка, с которым ему дозволялось видеться один-два раза в год) и условиями маленького города, в котором любопытство соседей столь же безгранично, сколь невелик выбор женщин.

А время неслось неудержимо; и вот однажды он стоял в ванной перед зеркалом, висевшим над умывальником, и, держа в руке над головой круглое зеркальце, в ужасе разглядывал уже вполне отчетливую лысину; ее вид, огорошив его (без подготовки) своей внезапностью, открыл ему банальную истину: упущенного не наверстать. Он впал в хроническую тоску, его стали посещать даже мысли о самоубийстве. Разумеется (и это надо подчеркнуть, дабы не заподозрить в нем истерика или глупца): сознавая их комичность, он был уверен, что никогда не претворит их в жизнь (давился от смеха, когда представлял себе свое прощальное письмо: *Не в силах мириться с лысиной. Прощайте!*), но достаточно и того, что эти мысли, какими бы платоническими они ни были, все же приходили ему в голову. Попробуем понять его: они звучали в нем примерно так, как звучит в марафонце необоримое желание выйти из забега, когда он вдруг на ходу обнаруживает, что позорно (причем по своей вине, из-за собственных промахов) проигрывает его. И он также, считая свой забег проигранным, не желал длить его дольше.

А сейчас, склонившись над маленьким столиком и ставя одну чашку перед диваном (куда вскоре сядет сам), другую – перед удобным креслом, в которую сидела гостья, он говорил себе, что во всей этой истории есть некий злой умысел: женщину, в которую годы назад был по уши влюблен и которую тогда же (по своей вине, из-за собственных промахов) упустил, он встречает в таком мрачном расположении духа и в тот момент, когда уже ничего нельзя наверстать.

4

Она едва ли могла догадаться, что видится ему той, *которая ускользнула от него*; она ведь никогда не забывала о той ночи, которую они провели вместе, помнила его тогдашний облик (ему было двадцать, он не умел одеваться, краснел и забавлял ее своим мальчишеством), помнила и самое себя (ей тогда было почти сорок, и какая-то жажда красоты толкала ее в объятия чужих мужчин, но одновременно и гнала прочь от них; она ведь всегда представляла свою жизнь непременно похожей на *красивый танец* и боялась превратить супружескую измену в отвратительную привычку).

Да, она предписала себе красоту, как иные предписывают себе нравственные устои; если бы она обнаружила в своей жизни уродство, то, верно, впала бы в отчаяние. И сознавая сейчас, что по прошествии пятнадцати лет должна казаться хозяину дома старой (со всеми уродствами, присущими старости), она решила сразу заслонить свое лицо воображаемым веером и осыпала собеседника торопливыми вопросами: спросила, как он попал в этот город, спросила о его работе; похвалила его уютную гарсоньерку, вид из окна на городские крыши (сказала, что при всей обыденности вида, в нем есть воздушность и простор); назвала авторов нескольких импрессионистских картин, застекленные репродукции которых украшали стены (впрочем, назвать их было нетрудно: в квартирах бедных чешских интеллектуалов вы наверняка обнаружили бы одни и те же дешевые репродукции); затем, поднявшись с кресла с чашкой недопитого кофе и наклонившись над маленьким письменным столом, над которым на полочке стояло несколько фотографий (сразу приметила, что среди них не было ни одной фотографии молодой женщины), спросила, не принадлежит ли старое женское лицо на одной из них его матери (он подтвердил).

Потом и он спросил, что она имела в виду, когда при встрече с ним сказала, что приехала в город уладить кое-какие дела. Ей ужасно не хотелось говорить о кладбище (чувствовала себя здесь, на шестом этаже, не только высоко над крышами, но и блаженно вознесенной над своей жизнью); однако по его упорному настоянию в конце концов призналась (лишь очень коротко, ибо развязность торопливой откровенности всегда претила ей), что много лет назад жила здесь с мужем, что он похоронен на здешнем кладбище (о сносе памятника умолчала) и что вот уже десять лет, как она каждый год приезжает сюда с сыном на День поминовения.

5

"Каждый год?" Это открытие огорчило его, и он снова подумал о некоем злом умысле; ведь повстречай он ее здесь шестью годами раньше,

когда приехал сюда, все можно было бы спасти: старость не отметила бы ее так, ее внешность не столь печально отличалась бы от образа той женщины, какую он любил пятнадцать лет назад; он еще сумел бы, преодолев различие, воспринять оба образа (прошлый и нынешний) как единый. Но теперь один безнадежно отставал от другого.

Она допила кофе, разговорилась, а он пробовал точно определить меру ее перемены, по причине которой она ускользает от него *во второй раз*: ее лицо покрылось морщинами (слою пудры не под силу было устранить их); шея увяла (высокому воротнику не под силу было скрыть это); щеки обвисли; в волосах (пусть это было даже красиво!) пробивалась седина; однако куда больше его внимание приковали руки (увы, они не поддавались ни пудре, ни гриму): руки, покрытые синей паутиной жил, вдруг превратились в мужские.

Сожаление смешивалось в нем со злостью, и он, возымев охоту утопить в алкоголе их запоздалую встречу, спросил, не желает ли она рюмку коньяка (в шкафчике за шторой стояла початая бутылка); она отказалась, и ему припомнилось, что и тогда, многие годы назад, она почти не пила: возможно, не хотела позволить алкоголю разрушить изысканную сдержанность своих манер. Увидев изящный жест руки, которым она отклонила его предложение, он понял, что очарование вкуса, волшебство, ласковость обхождения, покорявшие его в прошлом, не потускнели в ней, хотя и скрыты под маской старости, и сами по себе, хотя и зарешечены ею, еще вполне притягательны.

Мысль, что она *зарешечена старостью,* пронизала его беспредельной жалостью, сделавшей ее близкой (эту некогда блистательную женщину, перед которой немел язык), и захотелось поговорить с ней по-дружески, неторопливо, долго, в этаком голубоватом настроении меланхолического смирения. И он действительно разговорился (и говорил действительно долго) и в конце концов завел речь о своих невеселых мыслях, в последние годы посещавших его. Разумеется, он ни словом не обмолвился о появившейся лысине (как и она, кстати, умолчала о снесенной могиле); но призрак лысины подвигнул его на псевдофилософские сентенции о том, что время летит быстрее, чем успеваешь жить, что жизнь ужасна, ибо все в ней отмечено неминуемой гибелью; в ответ на подобные излияния он ждал от гостьи участливого отклика, но не дождался.

"Я не люблю таких разговоров, — сказала она чуть ли не резко. — Все, что вы говорите, ужасно поверхностно".

6

Она терпеть не могла разговоров о старении и смерти: они касались того физического уродства, которому она противилась. Не без волнения она повторяла хозяину дома, что его взгляды *поверхностны*; человек — это ведь нечто большее, чем дряхлеющее с годами тело, главное — плод его трудов, то, что он оставляет для других. В самом деле эта мысль возникла в ней не сейчас, а еще тогда, когда тридцать лет назад она влюбилась в своего будущего мужа, который был девятнадцатью годами старше; и она всегда испытывала к нему искреннее уважение (несмотря на все свои измены, о которых он либо не знал, либо не хотел знать), стараясь убедить себя, что его интеллект и значимость полностью уравновешивают тяжкое бремя лет.

"Какой еще плод трудов, скажите на милость! Какой плод трудов мы здесь оставляем!" – с горьким смешком возразил ей хозяин дома.

Она не хотела ссылаться на покойного мужа, хотя твердо верила в незыблемую ценность всего того, что он совершил; она лишь сказала, что любой человек создает в своей жизни нечто, пусть даже совсем скромное, и что в этом и только в этом его назначение; потом заговорила о себе: она работает в одном Доме культуры на окраине Праги, организует лекции и поэтические вечера; говорила (с воодушевлением, показавшимся ему наигранным) о "благодарных лицах" слушателей, а затем сразу же переключилась на тему о том, как прекрасно иметь сына и наблюдать, как ее собственные черты (сын похож на нее) преображаются в лицо мужчины; как прекрасно одарить его всем, чем только может мать одарить сына, а потом тихо исчезнуть из его жизни во имя ее же продолжения.

И о сыне заговорила она не случайно: весь этот день он стоял перед глазами и укоризненно напоминал об утреннем провале на кладбище; удивительно было: ни одному мужчине она никогда не позволяла взять над ней верх, и только собственный сын каким-то неведомым способом завладел ее волей. Впрочем, кладбищенская неудача потому так и расстроила ее, что она, чувствуя свою вину перед ним, боялась его попреков. Она уже давно стала догадываться, что если сын и следит ревниво за тем, как она чтит память мужа (именно он всегда настаивал, чтобы на каждый День поминовения они не забывали съездить на кладбище!), то причиной тому не столько любовь к покойному отцу, сколько желание терроризировать ее, мать, указать ей на положенные вдовьи границы; и хотя сам он никогда не выражал этого открыто, а она старалась (безуспешно) об этом не думать, все было именно так: ему отвратительна была одна мысль, что сексуальная жизнь матери может еще продолжаться, ему претило то, что еще оставалось в ней (по крайней мере как возможность и шанс) сексуального; а поскольку понятие сексуальности связано с понятием молодости, ему претило в ней все, что еще сохранялось моложавым; он был уже не ребенок, и моложавость матери (в сочетании с ее агрессивной заботой) мешала ему естественно воспринимать молодость девушек, уже вызывавших его интерес; ему хотелось, чтобы мать была старой, лишь от такой он мог сносить любовь, лишь такую любить. И она, сознавая порой, что так, в сущности, он толкает ее к могиле, в конце концов покорилась ему, капитулировала под его натиском и стала даже идеализировать свою покорность, уговаривая себя, что красота ее жизни и состоит именно в этом тихом исчезновении ради продолжения другой жизни. И теперь в оправдание этой идеализации (без которой морщины на лице жгли бы ее еще больше) она со столь нежданной горячностью вела спор с хозяином дома.

Но хозяин дома вдруг перегнулся через разделявший их столик, погладил ее по руке и сказал: "Простите меня за мои слова. Вы же знаете, я всегда был глупцом".

7

Их спор не рассердил его, напротив, гостья вновь предстала перед ним в своем былом подобии; в ее протесте против мрачных разговоров (разве это не был прежде всего протест против уродливости и безвкусия?) он узнавал ее такой, какой знал когда-то, и его мыслями все боль-

ше завладевал ее давний облик и их давняя история, и теперь он лишь желал себе, чтобы ничто не нарушило этой голубой, столь благоприятной для разговора атмосферы (потому-то он и погладил ее по руке и назвал себя глупцом) и он сумел бы сказать ей о том, что представлялось ему сейчас важным: об их истории; он ведь был убежден, что пережил с ней что-то необыкновенное, о чем она даже не подозревает и для чего он сам будет с трудом подыскивать точные слова.

Она, наверное, уже и не помнит, как они познакомились, видимо, однажды она оказалась в компании его студенческих друзей, но захудалое пражское кафе, где они впервые были одни, она, конечно, достаточно хорошо помнит: он сидел против нее в плюшевом боксе подавленный и молчаливый и вместе с тем опьяненный изящными намеками, какими она выказывала ему свою приязнь. Он пытался представить себе (хотя ничуть не надеялся, что эти видения когда-нибудь претворятся в жизнь), как она будет выглядеть, если он станет целовать ее, раздевать и любить, но воображение отказывало ему. Да, удивительно: тысячу раз он пытался представить ее в агонии телесной любви, но все напрасно; ее лицо по-прежнему было обращено к нему своей спокойной и мягкой улыбкой, и он не мог (даже упорнейшим усилием воображения) искривить его гримасой любовного экстаза. *Она совершенно не поддавалась силе его воображения.*

И тогда случилось то, что никогда больше не повторилось: он лицом к лицу оказался перед *невообразимым.* Он, видимо, переживал тот короткий (*райский*) период, когда воображение еще недостаточно насыщено опытом, еще не стало рутиной, мало знает и мало умеет, и потому все еще остается место для невообразимого; и если невообразимое должно претвориться в реальность (без помощи вообразимого, без мостика представлений), человек теряет почву под ногами и начинает чувствовать головокружение. И он действительно почувствовал такое головокружение, когда она после нескольких встреч, так и не укрепивших его решимости, начала столь подробно и с таким многозначительным любопытством расспрашивать его о комнате в студенческом общежитии, что он был чуть ли не вынужден ее туда пригласить.

Комнатушка в общежитии, которую он делил с товарищем, пообещавшим ему за стопку рома вернуться только после полуночи, мало походила на его нынешнюю квартиру: две железные кровати, два стула, шкаф, слепящая лампа без абажура, ужасный кавардак. Он едва успел навести порядок, как ровно в семь часов (это была примета ее благовоспитанности — она всегда приходила вовремя) раздался стук в дверь. Стоял сентябрь, и уже начинало темнеть. Они сели на край кровати и стали целоваться. Стемнело еще больше, но зажигать свет он не хотел, рад был, что не виден во тьме и, значит, смущение, которое непременно охватит его, когда он начнет перед ней раздеваться, останется незамеченным. (Кое-как он еще умел расстегивать женщинам блузку, сам же раздевался у них на глазах со стыдливой поспешностью.) Однако на этот раз он долго не решался расстегнуть ей первую пуговицу (ему казалось, что процесс раздевания должен сопровождаться какими-то изящными и элегантными жестами, известными лишь мужчинам *опытным,* он же боялся обнаружить свою неопытность); в конце концов она сама встала и спросила с улыбкой: "Не пора ли мне сбросить этот панцирь?.." и начала раздеваться; но в комнате было темно, и он видел лишь тени ее движений. Он тоже торопливо разделся, но обрел кой-какую уверенность лишь тог-

да, когда они предались (благодаря ее терпению) любви. Он смотрел ей в лицо, но в полумраке совершенно ускользало его выражение, он даже не различал ее черт. Он сожалел, что темно, но в ту минуту представлялось невозможным оторваться от нее и подойти к двери, чтобы повернуть выключатель; он продолжал напряженно вглядываться в нее, но по-прежнему не узнавал; казалось, он отдается любви с кем-то другим, с кем-то фиктивным или с кем-то и вовсе неконкретным, безликим.

Потом она оседлала его (он видел лишь ее вознесшуюся тень) и, извиваясь бедрами, стала говорить что-то сдавленным голосом, шепотом, причем было неясно, говорит ли она это ему или себе. Не разбирая слов, он спросил, что она говорит. Но она продолжала что-то шептать, и он, даже прижав ее к себе вновь, так и не смог разобрать ее шепота.

8

Она слушала хозяина дома и с каждым мигом все больше погружалась в детали давно забытые: тогда, например, она носила голубой костюмчик из легкой летней ткани, в котором выглядела ангельски невинной (да, она вспомнила этот костюмчик), в волосы вкалывала большой костяной гребень, придававший ей величественно старомодный вид, в кафе всегда заказывала чай с ромом (ее единственное спиртное прегрешение), и эти воспоминания приятно уносили ее прочь от кладбища, от разрушенной могилы, от натертых ступней, прочь от Дома культуры и укоризненных глаз сына. Что ж, мелькнула мысль, пусть я такая, какая есть, но если частица моей молодости продолжает жить в этом человеке, значит, жила я не напрасно; и следом мелькнула мысль, что это новое подтверждение ее взглядов: человек ценен тем, чем он возвышается над собой, тем, чем он преступает границы самого себя, чем живет в других и для других.

Она слушала и, когда он временами гладил ее по руке, не сопротивлялась; это поглаживание сливалось с покойно ласковым настроением, в котором протекал разговор, и содержало в себе обезоруживающую неопределенность (кому оно принадлежало? Той, *о которой* говорится, или той, *которой* говорится?); впрочем, мужчина, гладивший ее, нравился ей; она даже подумала, что теперь он нравится ей больше, чем тот юноша пятнадцатилетней давности, чье мальчишество, если она хорошо помнит, несколько тяготило ее.

А когда он в своем рассказе коснулся того, как над ним возвышалась ее извивавшаяся тень и как он напрасно пытался понять ее шепот, и потом вдруг сделал минутную паузу, она (бездумно, словно он знал те слова и хотел спустя годы напомнить их ей как некую забытую тайну) тихо спросила: “А что я говорила тогда?”

9

“Не знаю”, — ответил он. Он не знал; она тогда ускользала не только от его воображения, но и от его восприятия; ускользала от его зрения и слуха. Когда он зажег в комнате свет, она была уже одета, на ней снова все было гладким, ослепительным, совершенным, и он напрасно искал связь между ее освещенным лицом и лицом, которое минуту назад рисо-

валось ему в темноте. В тот день они и расстаться еще не успели, как он уже вспоминал о ней, пытаясь представить себе ее (невидимое) лицо и (невидимое) тело в те минуты, когда они любили друг друга. Но все безуспешно; она все время ускользала от его воображения.

Он решил, что в следующий раз будет любить ее при ярком свете. Однако следующего раза уже не было. С той встречи она искусно и деликатно избегала его, и он весь отдался сомнениям и безнадежности: хотя их любовная близость и была прекрасной, да, скорее всего, но он знал и то, каким несносным он, верно, казался ей *до этого*, и ему делалось стыдно; он наконец понял, что она умышленно избегает его, и перестал добиваться встречи.

"Скажите, почему вы тогда избегали меня?"

"Ах, оставьте, прошу вас, — сказала она нежнейшим голосом. — Это было так давно, откуда мне знать... — но он продолжал настаивать, и она добавила: — Зачем все время возвращаться к прошлому? Достаточно и того, что нам приходится уделять ему столько времени вопреки своему желанию". Она сказала это лишь затем, чтобы как-то прекратить его настояния (и, возможно, последняя фраза, сказанная с легким вздохом, относилась к утреннему посещению кладбища), но он воспринял ее слова иначе: они словно призваны были резко и нацеленно открыть ему столь очевидную вещь, что нет двух женщин (прошлой и нынешней), а есть лишь одна и та же женщина и что эта женщина, которая пятнадцать лет тому ушла от него, сейчас здесь, рядом, стоит только протянуть руку.

"Вы правы, настоящее важнее", — сказал он многозначительно и очень внимательно посмотрел в ее улыбающееся лицо — между полуоткрытыми губами белел безупречный ряд зубов; вмиг мелькнуло воспоминание: тогда в студенческой комнате она взяла в рот его пальцы и так сильно укусила их, что ему стало больно; однако при этом он невольно ощутил и до сих пор живо помнит, что наверху сбоку у нее не было зубов (тогда это не оттолкнуло его, напротив, этот небольшой изъян говорил о ее возрасте, привлекавшем и возбуждавшем его). А теперь в просвете между зубами и уголком рта все зубы были целы, причем удивительной белизны; это поразило его: два образа вновь разошлись, и он, противясь тому и пытаясь усилием воли вновь слить их воедино, сказал: "Вы в самом деле не хотите коньяку?" и когда она, очаровательно улыбаясь и слегка подняв брови, отрицательно покачала головой, он зашел за ширму, достал бутылку коньяка и, приложив ко рту, стал быстро отхлебывать. Потом сообразив, что по его дыханию она могла бы догадаться о его тайной провинности, взял две рюмки и бутылку и внес их в комнату. Она снова покачала головой. "Ну хотя бы символически, — сказал он и налил в обе рюмки. Чокнулся с ней: — За то, чтобы я говорил о вас только в настоящем времени!" Он выпил рюмку, она лишь омочила губы; он подсел к ней на край кресла и взял ее за руки.

10

Она никак не думала, когда шла в его гарсоньерку, что дело может дойти до *этого* прикосновения, и в первую минуту испугалась: словно это прикосновение случилось раньше, чем она сумела к нему подготовиться (эту *постоянную готовность*, столь знакомую зрелой женщине, она давно утратила); (в этом испуге, пожалуй, можно найти нечто общее с испугом

молодой девушки, которую впервые поцеловали: если девушка *еще* не подготовлена, а сама она *уже* не подготовлена, то эти "еще" и "уже" таинственным образом сродни друг другу, как бывают сродни странности старости и детства). Потом он пересадил ее с кресла на тахту, прижал к себе, стал гладить ее тело, и она почувствовала себя в его руках какой-то бесформенно мягкой (да, именно мягкой, потому что тело ее давно покинула та повелевающая чувственность, которая щедро одаривает женщин ритмом сжатия и расслабления, а также энергией бесчисленных ласк).

Его прикосновения, однако, вскоре рассеяли ее мгновенный испуг, и она, столь далекая от той прекрасной зрелой женщины, в один миг стала ею, обретя прежнее самоощущение, сознание, прежнюю уверенность эротически опытной женщины, и эта уверенность была тем сильнее, что она давно ее не ощущала; ее тело, минутой раньше застигнутое врасплох, испуганное, пассивное, мягкое, вдруг ожило и стало отвечать хозяину дома уже своими прикосновениями, и она, чувствуя их осознанную точность, наслаждалась ими; эти прикосновения, манера, в какой она прижималась лицом к его телу, мягкие движения, какими отвечала на его объятия, — все это она воспринимала не как нечто заученное, нечто, что она умеет и что сейчас с холодным удовлетворением воспроизводит, а как что-то *органическое*, с чем опьяненно и восторженно сливается, будто это была ее родная планета (ах, планета красоты!), с которой она была выселена и на которую сейчас торжественно возвращается.

Ее сын был сейчас бесконечно далеко; когда хозяин дома взял ее за руки, в уголке сознания мелькнул образ сына как некое предостережение, но тотчас истаял, и во всем необъятном мире остались лишь она и мужчина, который гладил ее и обнимал. Но когда он губами приник к ее губам и языком хотел раскрыть ей рот, все вдруг разом опрокинулось: она очнулась. Крепко сжала зубы (почувствовала горькую чужеродность протеза — он вонзился в нёбо и, казалось, заполонил весь рот) и не поддалась ему; мягко отстранив его, сказала: "Нет. В самом деле, прошу вас, лучше не надо".

Однако он не сдавался, и она, взяв его за руки и вновь повторив свое "нет", сказала (говорить было трудно, но она знала, что должна говорить, коли взывает к его послушанию), что им уже поздно предаваться любви; напомнила ему о своем возрасте; если они займутся любовью, она может опротиветь ему, и это повергнет ее в отчаяние, ибо то, что он говорил ей о них двоих, для нее было неизмеримо прекрасно и важно; тело ее смертно, оно дряхлеет, но теперь она знает, что от него осталось нечто нематериальное, то, что подобно светящему лучу звезды, которая уже погасла; надо ли печалиться, что она стареет, если ее молодость сохранилась в ком-то нетронутой. "Вы в своей душе воздвигли мне памятник. Нельзя допустить, чтобы он рухнул. Поймите меня, говорила она, сопротивляясь. Не надо. Нет, не надо".

11

Он стал уверять ее, что она все еще красива, что ничего, по сути, не изменилось, что человек всегда остается самим собой, но он понимал, что обманывает ее и что правда на ее стороне: он ведь прекрасно знал свою чрезмерную чувствительность к внешним изъянам женского тела, даже свою год от года растущую брезгливость к ним, заставлявшую его в

последнее время все чаще заглядываться на более молодых, а следовательно (как с горечью отмечал он), на более пустых и глупых женщин; да, сомневаться не приходится: физическая близость, если он добьется своего, вызовет в нем отвращение, и это отвращение осквернит не только настоящую минуту, но и образ некогда любимой женщины, образ, сохраненный в памяти как драгоценность.

Все это он знал, все это витало в мыслях, но много ли значат мысли в сравнении с желанием, устремленным лишь к одной цели: женщина, чья былая недосягаемость и невообразимость мучили его целых пятнадцать лет, эта женщина сейчас здесь; наконец он сможет увидеть ее при ярком свете, наконец он сможет по теперешнему ее телу прочесть ее прежнее тело, по теперешним чертам — прежние черты. Наконец он сможет прочесть ее (невообразимую) мимику и содрогание в минуты любви.

Он обнял ее за плечи и посмотрел ей в глаза: "Не сопротивляйтесь мне. Какой смысл сопротивляться!"

12

Но она снова покачала головой, понимая, что сопротивление ее вовсе не бессмысленно, она ведь знает мужчин и их отношение к женскому телу, знает, что даже самый пылкий любовный идеализм не спасает тело от ужасной силы воздействия; хотя ее фигура все еще сохраняла природные пропорции, а в платье и вовсе выглядела молодой, она не заблуждалась: стоит ей раздеться, как обнажится морщинистость ее шеи и откроется шрам, оставшийся после операции желудка десять лет назад.

И по мере того как она возвращалась к осознанию своего нынешнего телесного облика, из которого только что высвободилась, со дна улицы стали подниматься к окну комнаты (до сих пор казавшейся ей высоко вознесенной над ее жизнью) треволнения сегодняшнего утра, они, постепенно заполоняя комнату, оседали на застекленных репродукциях, на кресле, на столе, на пустой кофейной чашке, а их шествием предводило лицо сына; увидев его, она залилась краской и замкнулась в своей скорлупе: безумная, она уж было хотела свернуть с уготованной ей сыном дороги, по которой до сих пор шла с улыбкой и восторгом, хотела было (хоть на миг) свернуть с нее, а теперь должна смириться и признать, что это единственная предназначенная ей дорога. Лицо сына было таким насмешливым, что она, сгорая со стыда, почувствовала, как становится у него на глазах меньше и меньше, пока, униженная, не превращается всего лишь в шрам на своем животе.

Хозяин дома, держа ее за плечи, вновь повторил: "Какой смысл сопротивляться", а она продолжала механически качать головой, ибо видела сейчас не хозяина дома, а своего недруга-сына, ненавистного тем больше, чем меньше и униженней ощущала себя. Она слышала, как он попрекает ее разрушенной могилой, но тут вдруг из хаоса памяти, вне всякой логики, выплыла фраза, которую она злобно бросила ему в лицо: *"Мальчик мой, старые покойники должны уступить место молодым покойникам!"*

13

Он ничуть не сомневался в том, что все это и вправду закончится отвращением, ведь уже сейчас при одном взгляде на нее (взгляде пытли-

вом и проницательном) в нем рождалось определенное отвращение; но, как ни удивительно, оно не мешало ему, а, напротив, дразнило и возбуждало, словно он вожделел этого отвращения: жажда обладания сближалась в нем с жаждой отвращения; жажда прочесть по ее телу наконец то, что так долго ему не дано было знать, смешивалась с жаждой это прочтенное мигом обесценить.

Откуда это в нем? Осознавал он это или нет, но сейчас ему представился исключительный случай: его гостья могла возместить ему все, что было у него отнято, что ускользнуло от него, что прошло мимо, все, без чего таким невыносимым казался его возраст, отмеченный редеющими волосами и печально убогим итогом; и он, осознавая или только смутно ощущая это, мог теперь все эти недоступные ему радости лишить смысла и цвета (ибо именно их несказанная цветистость делала его жизнь столь печально бесцветной), мог открыть, что они ничтожны, что они лишь химера, угасание и меняющий личину прах, он мог отомстить им, унизить их, уничтожить.

"Не сопротивляйтесь", — повторял он, пытаясь привлечь ее к себе.

14

Она все время видела насмешливое лицо сына и, когда хозяин дома силой привлек ее к себе, сказала: "Прошу вас, оставьте меня на минуту", и высвободилась; не хотела оборвать то, что вертелось в голове: старые покойники должны уступить место молодым, а памятники — вздор, и ее памятник, который этот человек, что рядом с ней, воздвиг в своей душе пятнадцать лет назад, — вздор, и памятник мужа — вздор, да, мой мальчик, все памятники — вздор, говорила она сыну и с мстительным наслаждением смотрела, как его лицо морщится и искажается криком: "Ты никогда так не говорила, мать!" Конечно, она знала, что никогда так не говорила, но эта минута была озарена светом, преображающим все вокруг:

Какой смысл памятники предпочитать жизни? Ее собственный памятник имеет для нее лишь один-единственный смысл: сейчас она может опрокинуть его ради своего презренного тела; мужчина, который сидит рядом, нравится ей, он молод и, вероятно (даже наверняка), он последний мужчина, который нравится ей и с которым она может предаться любви; и это единственно важное; если потом он и почувствует к ней отвращение и ее памятник в его душе рухнет — ей безразлично; ведь памятник существует вне ее, так же как вне ее и его душа и его память, а все, что существует вне ее, ей безразлично. "Ты никогда так не говорила, мать!" — слышала она сыновний выкрик, но оставила его без внимания. Она улыбалась.

"Вы правы, какой смысл сопротивляться", — сказала она тихо и встала. Затем начала медленно расстегивать платье. До вечера оставалось еще много времени. Комната на сей раз была залита ярким светом.

Юбер Монтеле

Профессия – призрак

Роман

Перевод с французского Юлианы Яхниной

Посвящается Флоранс, Беатрис, Изабель, Пьеру, Эмманюэлю и ангелочку Жану, порхающему по всему дому.

Я появляюсь на свет и спасаюсь бегством

В ту пору, дорогие мои внуки, наша родная Шотландия была еще более зеленой, чем теперь; ее реки, ручейки и озера были более чистыми, небо – более безоблачным, люди – более экономными, а юбочки горцев и знаменитая клетчатая ткань шотландка – более дешевыми, да и качеством получше.

То были прекрасные времена короля Эдуарда, седьмого по счету, времена моей ранней юности.

В ту пору работящему парнишке, почитающему родителей, легче было выбиться в люди.

И все же мне пришлось попотеть...

Вы, наверно, знаете, что матушка моя умерла при моем рождении, нынешней осенью минет тому восемьдесят лет. (Как бежит время!) Так что знал я ее только понаслышке – по тому, что рассказывали о ней отец и самые старшие из моих двенадцати братьев и сестер.

Матушка завещала нам множество поговорок, в которых отразилась ее мудрость, и в частности самую главную, самую драгоценную из всех поговорок, потому что ею нас сподобил Господь наш Иисус Христос: "Довольно для каждого дня своей заботы". Матушка и в самом деле зани-

© Éditions Fernand Nathan, 1990
© Ю. Яхнина. Перевод, 2001
Роман выйдет отдельным изданием в издательстве "Время".

малась мелочами повседневной жизни и ни о чем другом не беспокоилась. Превосходная была женщина, порой мне не терпится с ней встретиться. Как бы мне хотелось услышать наконец ее милый голос, который отзвучал для меня так рано!

Преждевременное исчезновение матушки стало первым и самым большим из моих несчастий. Если верить тому,что говорили вокруг, после ее смерти все сразу переменилось. Кормилица меня забросила. У сестер подгорала овсяная каша, и они стали кокетками. Наш садик зарос сорняками. Собаку забывали покормить, и она стала злющей. А мой отец, наоборот, становился все более добрым — слишком добрым.

По-моему, я уже рассказывал вам, что батюшка был разнорабочим на большом винокуренном заводе на берегу реки Спей в графстве Мори, где доводится до совершенства самое бархатистое шотландское виски "Ройял хайлендер" — "Королевский горец". Обязанностью батюшки было катить дубовые бочки, в которых виски потихоньку стареет, при случае переносить ящики с лучшими сортами солода, подметать, когда ожидались посетители. Мой дорогой отец был мастером на все руки. Все-то у него спорилось.

Но горе иногда плохой советчик. Оплакивая нашу матушку, отец начал пить. Чем больше он плакал, тем больше пил, чтобы подпитать источник слез. По утрам, до того как уйти на работу в предрассветную мглу, он был достойным, строгим человеком, который говорил громким и твердым голосом и по справедливости раздавал тумаки. Вечером, у теплого очага, он сажал нас по очереди к себе на колени и без разбору раздавал поцелуи, обливая горючими слезами свою черную бороду, и от нашего дорогого батюшки веяло славным запахом виски.

В тот день, когда мне исполнилось восемь лет, батюшка, борода которого к тому времени стала совсем седой, лишился работы. Из бедности мы сразу низверглись в нищету. Хлеба не хватало. И отец, безжалостно лишенный виски, умер в горьком разочаровании. Всю жизнь он едва сводил концы с концами, а теперь ему самому пришел конец. Да упокоит Господь его невинную душу, пропитанную ароматом "Ройял хайлендер"!

Налейте-ка мне еще стаканчик... Слишком уж все это грустно.

Отец завещал мне одно рассуждение, в котором в то же время содержался совет, да такой разумный, что я думаю, уж не развился ли у батюшки дар предвидения. Бывало, сожмет он мои запястья своими мозолистыми руками и скажет улыбаясь: "Ты родился тринадцатым, милый мой Джон. Кое-кто станет тебе говорить, что это несчастливая примета, другие, наоборот, что счастливая. Верь-ка лучше этим последним. Настоящий шотландец бывает суеверным только тогда, когда это ему выгодно".

Одна поговорка и одно рассуждение — вот все, что мне досталось в наследство от родителей. Что ж, пожалуй, я был побогаче многих других.

Судебный исполнитель с самым равнодушным видом описал наше имущество, и члены семьи разбрелись кто куда.

С тяжелым сердцем покинул я наш маленький дом на зеленом берегу Спей, комнатушку, которую я все эти годы делил со своими двумя братьями, кухоньку, где свадебная фотография моих родителей так долго взирала на наши трапезы. Несмотря на свое малолетство, я догадывался, что бедным быть лучше у себя дома, нежели в доме ближнего.

Господин пастор был так добр, что подыскал мне работу у местного кузнеца, мистера Гринвуда, которому нужен был подмастерье и который славился своим необыкновенным милосердием. А мистер Гринвуд был так добр, что пристроил меня бесплатным учеником в ближайшую школу к мистеру Баунти, который славился милосердием почти столь же необыкновенным, хотя оно и не распространялось на одного из его учеников.

Мистер Гринвуд отвел мне место для спанья на мешках из-под картошки в углу своей кузницы. Зимними ночами кузнечный горн затухал слишком рано, а летними — слишком поздно. Воспитывали меня ударами палок, но зато на Рождество мне причитались три шиллинга — две трети этой суммы мистер Гринвуд откладывал в сберегательный банк Элгина до моего совершеннолетия.

Когда мне не приходилось бороться с кузнечными мехами, я бежал к мистеру Баунти, который бил меня по пальцам или по щиколоткам длинной линейкой, жесткой, как несправедливость, и черной, как грех. Но зато накануне каникул мне причитался альбом за четыре пенса, потому что я всегда успевал лучше всех в своем классе.

Товарищи мне завидовали, их родители злились, так что мои способности только приносили мне еще горшие мучения.

Я тогда еще не знал, что, если хочешь отличиться, надо сначала разбогатеть. А я был сиротой, да притом нищим, меня пригрели и обучали из милости — и конечно я стал для всех козлом отпущения. В целой Шотландии не было более заброшенного и несчастного ребенка — так, во всяком случае, полагал я по скудости воображения.

После четырех лет такого прозябания я стал тощим, как щепка, и подвижным, как хорек; я умел читать, писать и подковывать лошадей, знал наизусть отрывки из Шекспира и Священного Писания. Но при этом мало-помалу дошел до самого мрачного отчаяния. Детское отчаяние ужасно. Ребенок ведь не сознает, сколько жизней он в себе носит, сколько нового и интересного может с ним приключиться на его веку. Время течет для него медленнее, чем для взрослых, и потому он страдает вдвойне...

Как-то вечером в январе, когда на улице стоял трескучий мороз, в дверь кузницы постучала беззубая старуха и сказала, что за тарелку жидкого супа готова нам погадать. Предсказав мистеру Гринвуду, потом его жене миссис Гринвуд и трем их лодырям-сыновьям благополучие, такое же жиденькое, как суп, которым ее угостили, колдунья внимательно поглядела на мою правую ладонь слезящимися от пламени очага глазами и сказала:

— А ты, дружок, создан для жизни в замке. Боже мой, сколько же больших замков уместилось на этой ладошке!

Члены семейства Гринвудов прыснули. Мистер Гринвуд шутливо заметил, что уж, верно, мне предстоит стать выездным лакеем в замке Блэр-Атолл или Инверэри. А может, у Виктора-Александра Брюса, девятого графа Элгина. А не то и в Балморале у самого короля. И все захохотали еще пуще.

— Нет, — уточнила колдунья, обшаривая взглядом мою ладонь. — Не быть ему ни слугой, ни гостем, ни хозяином.

— А что же ему тогда остается? — скрипучим голосом осведомилась мистрис Гринвуд. — Может, Джон станет в этих пресловутых замках борзой, попугаем, павлином или ослом?

— Ни человеком, ни ангелом, ни животным. А сказать больше я не имею права и потому молчу.

Месяц за месяцем перебирал я в памяти странные слова старухиного предсказания, и это придавало мне духу и в кузнице, и в школе, несмотря на то что меня, как нетрудно догадаться, осыпали насмешками.

Но 1 мая 1906 года норовистая лошадь ловким ударом копыта сломала мне левую ногу сразу в двух местах. Поскольку покалечила меня лошадь, мистер Гринвуд вызвал ко мне ветеринара, услуги которого стоили дешевле, чем услуги врача. Кости срослись кривовато, и я стал прихрамывать.

Это прискорбное происшествие оказалось последней каплей, переполнившей чашу моих горестей. Я решил бежать чего бы мне это ни стоило и как бы это ни было опасно. Мысль о бегстве поддерживала меня, суля надежду стать пастухом на высокогорье соседнего графства Инвернесс — кто станет меня там разыскивать? И вообще, не лучше ли водить компанию с овцами, чем с людьми?

Нога моя вскоре перестала болеть. Лето было в разгаре. Но я все еще колебался.

Однако 4 августа мистер Гринвуд ловким ударом заступа убил единственного моего друга, безымянную кошку, кривую на один глаз и очень ко мне привязанную, убил под тем предлогом, что она черная, а это дурная примета. И я больше не колебался.

В ночь с субботы 4 августа на воскресенье 5 августа я сбежал в горы, оставив, однако, на столе в общей комнате записку, чтобы все домочадцы прочитали ее, прежде чем пойдут в церковь слушать пастора:

Дорогой мистер Гринвуд!

По своему милосердию вы плохо кормили меня и плохо одевали. Я по своему милосердию хорошо работал на вас без всякой платы. Вы у меня в долгу, но я откланиваюсь. Ухожу, чтобы начать жизнь в замке. Джон.

Последнюю фразу я добавил нарочно, чтобы мистер Гринвуд совсем уж полез на стенку. Я был не таким дураком, чтобы позволить задурить себе голову.

Весь мой багаж состоял из узелка, в который я положил немного латаного белья, а все мое богатство хранилось в карманах — это был ножик, коробок спичек да немного мелочи, которую мне давали на чай, — водки я не пил и чаевые не пропил. Мой багаж стоил моего богатства. А от роду мне было двенадцать лет и тринадцать дней.

Из осторожности я решил идти к Инвернессу не берегом Спей — эти места были густо населены, и я мог повстречать здесь полицейский патруль; я двинулся через сонные горные деревушки, провожаемый ворчаньем цепных собак, которое не сулило ничего доброго. Чем выше поднимался я по ухабистым тропинкам, тем заметнее хмельная отвага, охватившая меня в минуту бегства, сменялась усталостью и даже страхом: ночь была светлой как раз настолько, чтобы в каждом сучке, каждой ветке мне чудилась смутная угроза. Когда я дошел уже до границ Инвернесса, перед самым рассветом над долиной пронеслась вдруг стая летучих мышей, которых я принял за вампиров и так перепугался, что спрятался на мельнице, где меня сморил сон.

Летний зной выкурил меня с мельницы, и тут я обнаружил, что вокруг, насколько хватает глаз, тянутся высокогорные пастбища, там и сям

размеченные пятнышками коров или овец. Но прежде всего я обнаружил, что умираю от голода и жажды.

Целую неделю бродил я по горам и долинам Хайленда, пил воду из ручейков, выпрашивал кусок хлеба и немного сыра на фермах, спал под открытым небом или на каком-нибудь гумне и напрасно предлагал себя в услужение: я был слишком мал, да и рекомендаций у меня не было. Надежда навсегда избавиться от адской жизни у мистера Гринвуда гнала меня все дальше. Но даже если я не попадусь полицейским, избегну порки, кузницы и ударов линейки, что со мной станет? Не сменил ли я надежность рабства на свободу бездомной собаки?

В воскресенье 12 августа я оказался в долине, по которой тянулись леса и хлебные поля и где, казалось, живут люди более зажиточные, чем в окрестных горах, и здесь меня, совершенно обессиленного и павшего духом, застиг ливень с грозой.

Проходя берегом довольно обширного озера, я увидел девочку с зонтиком, которая пасла небольшое стадо коз. Я спросил у нее, далеко ли до ближайшего города.

— Миль двенадцать, — сказала девочка. — Но если ты ищешь, где укрыться, тут совсем рядом замок Малвенор. Видишь справа среди деревьев башню и высокие ворота?

Я поспешил в ту сторону. Замок был построен на полуострове, соединенном с берегом узкой полоской земли, которую перегораживала стена высотой в четыре моих роста. На первый взгляд казалось, что тюрьма и та гостеприимней, чем это сооружение. Но вокруг раскинулся парк, и в его ограде были и в самом деле прорублены ворота — они были широко распахнуты, а за ними открывалась величественная аллея, которая вела прямо к замку. Столетние деревья по обе стороны аллеи сплетали свои ветви, тянувшиеся ко мне словно руки. Когда-то я любовался такими лиственными навесами на опушках сказочных замков, изображенных на картинках в альбомах за четыре пенса, которыми награждал меня мистер Баунти.

Я хотел было укрыться под деревьями, но привратник из своей будочки устремил на меня пристальный взгляд. Тогда я решил прошмыгнуть мимо, ускорил шаги, но он вдруг поощрительно крикнул мне: "Поторопитесь, молодой человек! Скоро шесть часов вечера: начинается последняя экскурсия".

Можно подумать, меня здесь ждали! Но как бы там ни было, под крышей уж наверно лучше, чем под открытым небом...

Итак, я зашагал к замку Малвенор, серая масса которого проглядывала сквозь пелену дождя в просвете зеленого туннеля. Замок становился все ближе, и наконец в конце аллеи, за просторной лужайкой, которая отделяла его от тенистого парка, я увидел простое прямоугольное здание, по четырем углам которого высились башни, с виду более старинные, чем оно само. Три из этих башен, заросшие плющом, казалось, вот-вот рухнут. Но четвертая, правая башня, подножия которой мне не было видно, сохранила свою островерхую крышу и вознеслась высоко над всей остальной постройкой.

Замок был окружен широким рвом, вода в который наверняка поступала из озера. Но вместо средневекового подъемного моста от середины фасада через ров был переброшен каменный мост.

Описать Малвенор более подробно я не сумею, дорогие мои внуки, — по прихоти судьбы мне больше ни разу не пришлось любоваться

замком снаружи. Стоя под проливным дождем, я разглядывал свою будущую тюрьму в первый и последний раз.

Подойдя к мосту, я в нерешительности остановился, хотя громадная, обитая гвоздями двустворчатая дверь была приоткрыта и словно приглашала меня войти. Но слева перед конюшнями стояла в ожидании дюжина господских карет с более или менее роскошной упряжью, а под навесом, где укрылись кучера, сгрудились велосипеды — похоже было, что замок открыт для людей разных сословий.

Налетел очередной ливневый шквал. Дождь припустил, и, подгоняемый им, я юркнул в приоткрытую дверь.

Необыкновенная экскурсия

Я отважился войти в громадный сводчатый зал, где терпеливо дожидались две сильно отличавшиеся друг от друга группы: по одну сторону — десяток джентльменов с женами и детьми, приехавших в экипажах и потому в чистой обуви; по другую — простолюдины, прибывшие на велосипедах или пешком в более или менее зашлепанных ботинках.

Я скромно направился ко второй группе, но тут ледяной голос попросил меня вернуться к двери и вытереть ноги. Я машинально поднял голову: передо мной стоял высокий, грузный и жирный дворецкий с бакенбардами — в черном фраке с белой манишкой он походил на громадную расфранченную ласточку. И эта ласточка с высоты своего полета мерила меня взглядом, полным явного отвращения: узелок как у железнодорожного рабочего, в волосах солома, одежда в лохмотьях, на мраморные плиты пола стекают потоки дождевой воды, а дырявые башмаки оставляют чудовищные следы.

Я смущенно поспешил вытереть ноги.

А потом, съежившись, снова направился к более скромной группе, надеясь поскорее в ней затеряться, но тут передо мной снова вырос дворецкий, который властно вручил мне билет и потребовал за вход два шиллинга шесть пенсов.

— Вход платный? — наивно удивился я.

Ответом мне был общий смех, только лицо дворецкого оставалось неподвижным, как застывший жир.

Величина названной суммы повергла меня в шок, но отступать было поздно. Я стал шарить по карманам в поисках наличности... О ужас! Сколько я ни считал и ни пересчитывал монеты, мне все равно не хватало двух пенсов. Я чуть не плакал.

После тягостного молчания дворецкий испустил глубокий вздох и повернулся ко мне спиной. Я укрылся среди бедняков.

Наконец мой гонитель извлек из кармана часы и экскурсия под его руководством и с его комментариями началась.

— Леди и джентльмены, мы находимся в помещении кордегардии замка Малвенор, которая была построена в XIII веке, в XIV веке сгорела, была почти совсем разрушена в XV веке во время войны Алой и Белой Розы и перестроена в первые годы XVI века. Полюбуйтесь остатками готической капители, вырезанной из цельного камня, полюбуйтесь деревянной резьбой в стиле Тюдоров по корнуэльскому дубу, гобеленами из Фландрии, оригиналы которых находятся в Брюсселе, точной ко-

пией турнирных доспехов с насечкой, подаренных Генриху VIII французским королем Франциском I – жемчужиной мадридской armeria[1]. Справа от монументального камина, сложенного из строительного камня, работы неизвестного мастера, вы видите картину, написанную, по-видимому, одним из учеников Рубенса; полагают, что на ней изображена выходящая из волн Венера. Обратите внимание на прекрасную композицию прически, на тонкую цветовую гамму веера и прозрачную моделировку пупка, имеющего форму морской раковины. Под шедевром стоит кресло, украшенное изящной резьбой, – говорят, сидя в этом кресле, Мария Стюарт принимала в 1567 году клятву верности от Бенджамина Свордфиша, четвертого маркиза Малвенора. Над камином вы видите в медальоне гордый многовековый девиз Свордфишей. Он написан по-французски, но по духу он шотландский, и перевести его можно так:

БОЛЬШАЯ НАЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ.

А над каминной полкой на латинском языке выведен современный либеральный девиз последнего носителя титула, члена палаты лордов и пэра Сесила Свордфиша, которому мы обязаны тем, что замок Малвенор открыт для посещений:

POPULO POPULO POPULO,

что можно перевести так:

НАРОДУ, С ПОМОЩЬЮ НАРОДА, ДЛЯ НАРОДА.

Лестница с двойным поворотом ведет в частные апартаменты...

Гид произносил свою речь с высокомерной и откровенно скучающей миной. Чувствовалось, что он повторял ее уже сотни раз своим тягучим и важным голосом. Я очень скоро перестал его слушать: сраженный усталостью, очень кстати стиснутый двумя толстыми дамами, убаюканный незнакомыми и непонятными словами, я спал, стоя в облаках пара, который в теплом помещении стал подниматься от пледов и пальто.

Из забытья меня вывело общее движение – мы перемещались в левое крыло. Помню анфиладу гостиных и громадную библиотеку, где наш гид предложил нам полюбоваться Библией 1503 года, которую на своем загадочном языке он охарактеризовал как "почти инкунабулу".

Позднее я узнал, что инкунабулами называют книги, вышедшие до 1500 года, столь же ценные, сколь редкие.

Потом мы повернули назад, к правому флигелю, дабы оценить большую квадратную бильярдную, а следом за тем продолговатую столовую, которая восходила едва ли не к королеве Елизавете I.

В бильярдной в ящике красного дерева покоился кий, которым, если верить нашему гиду, "4 июля 1776 года от Рождества Христова Его Величество король Георг III, до того как его поразила неизлечимая неврастения, выиграл шесть очков у Кларенса Свордфиша, одиннадцатого маркиза Малвенора".

Я понятия не имел о том, что именно 4 июля 1776 года была провозглашена независимость Соединенных Штатов Америки, и еще не знал, какую удивительную роль в моей судьбе вскоре предстоит сыграть одному американскому гражданину.

До сих пор помню, как в столовой дворецкий такими словами представил нам одну из витрин: "Серебро, когда-то стоявшее на этих полках, ввиду его неоценимой стоимости, помещено в надежное место и замене-

1. Оружейной палаты (*исп.*).

но Делфтским фаянсом. Тем не менее ради вас вот на этой подушечке небесно-голубого цвета оставлен маленький вермелевый молочник, выполненный в 1749 году ювелиром короля Людовика XV, Беланже. Один этот предмет оценен почти в тысячу гиней!"

Я в жизни не видывал таких чудес и даже не представлял себе, что они существуют. Пить из молочника стоимостью в тысячу гиней! Иначе говоря — поскольку в гинее двадцать один шиллинг — стоимостью в тысячу сто пятьдесят фунтов стерлингов! Но по своему невежеству я не мог делать таких сложных вычислений и потому был не столько потрясен, сколько озадачен, как людоед, увидевший вилку. К тому же мне по-прежнему страшно хотелось спать.

Но экскурсия еще не окончилась....

К моему величайшему удивлению, почтительная процессия, по-прежнему возглавляемая неутомимым дворецким, двинулась не к выходу, а из столовой перешла в великолепную кухню, безлюдную и безмолвную, словно замок Спящей красавицы.

Ну и кухня! В ней свободно мог целиком поместиться домик моих родителей! До сих пор вижу перед собой батарею сверкающих печей, вертела, снабженные часами, лари для хранения хлеба, начищенную медную посуду, сияющую как заходящее солнце, буфетную. Ах, эта буфетная! Все полки в ней были заставлены блюдами с холодным мясом, паштетами и пирожными. При виде их я совершенно проснулся.

Но едва я успел окинуть взглядом все это великолепие, как толпа, следовавшая за невозмутимым дворецким, увлекла меня дальше, к стрельчатому проему, к которому вело несколько ступенек. Остановившись на первой из них, наш гид заявил:

— Темный коридор, который вы видите за моей спиной, — единственный ход, ведущий из замка в самую почтенную башню, строительство которой было закончено в 1254 году по плану тамплиеров на деньги, собранные для крестового похода. Тамплиеры злоупотребили доверием верующих, и это стало источником проклятия, которое привело к насильственной смерти всех сменявших одного за другим обитателей этой башни. В 1321 году капитан гвардии Мэллори был найден в подвале утопленным в бочке бордоского вина. В 1416 году в комнате на первом этаже от отчаяния повесился француз барон Шантемерль: взятый в плен при Азенкуре в октябре за год до этого, он не мог заплатить выкупа, и его перестали кормить. В 1492 году в комнате второго этажа, отравленная таинственной рукой, умерла некая особа, имя и пол которой остаются загадкой для историков. Все эти три комнаты в настоящее время реставрируются и потому закрыты для посещений публики. Но мы с вами увидим самую знаменитую комнату, расположенную на третьем этаже. Пройдя шесть шагов по коридору, мы окажемся на площадке скользкой, полутемной лестницы, которая освещается только скупым светом бойниц. Возьмите, пожалуйста, за руку детей!..

Мы гуськом проникли в башню и по винтовой лестнице, по которой двум взрослым не подняться бок о бок, вскарабкались на второй, потом на третий этаж, чтобы наконец оказаться в скудно обставленной комнате почти круглой формы. Здесь стояла кровать под балдахином, маленький столик черного дерева и на мольберте — картина.

Когда все набились в комнату, дворецкий снова заговорил с особенной важностью в голосе:

— На этом мольберте вы видите портрет во весь рост Артура Сворд-фиша, пятого маркиза Малвенора, рядом с его любимым пони — портрет этот приписывают одному из непосредственных предшественников славившегося изяществом живописной манеры гениального Ван Дейка. — Он выразительно понизил голос. — Именно здесь 19 августа 1588 года несчастный ребенок был убит рапирой, когда он играл в бильбоке с тайным посланцем французского короля Генриха III. У кровати, где Артур упал, чтобы больше уже не встать, красным мелом обведены очертания его тела. На столике в шкатулке, выстланной малиновым бархатом, покоится роковое бильбоке, на котором все еще видна кровь жертвы. Пожалуйста, не трогайте руками: эта вещь почти подлинная!..

Отведя взгляд от ужасной реликвии, я стал рассматривать портрет Артура с такой симпатией, что на мгновение из моей памяти даже улетучилось воспоминание о буфетной. Еще один ребенок, которому не повезло! Умереть таким молодым с игрушкой в руке! Хотя краски на холсте были темные и уже смеркалось, мне показалось, что Артур на меня похож: такие же тонкие и мягкие черты лица, вылепленные преждевременными невзгодами.

Гроза за окном усиливалась, роковую комнату озаряли вспышки молний, а дворецкий совсем уже загробным голосом добавил:

— После этой четвертой кончины, такой внезапной и трагической, никто не осмеливался ночевать в этой башне. И с тех пор — этот факт подтвержден лучшими шотландскими путеводителями и даже французским "Голубым путеводителем" — неотмщенный призрак Артура бродит по Малвенорскому замку. Скажу больше: 19 августа, при грозовой погоде, бывает, что на бильбоке иногда выступает свежая кровь...

Присутствующие задрожали, хотя 19 августа было еще впереди. Но дата эта грозно и стремительно приближалась. Молодая дама под вуалью испустила сдавленный крик, какой-то ребенок заплакал. Мне стало не по себе.

Мы спустились по лестнице, предаваясь мрачным раздумьям.

На первом этаже башни наш гид открыл массивную скрипучую дверь, которая через узкий каменный мостик вела в сад и к озеру, уже окутанному сумраком.

— Старинное предание гласит,— сказал дворецкий, — что, когда до полуночи оставалось четверть часа, убийца, прятавшийся на чердаке, спустился вниз и убил Артура на глазах перепуганного француза, с которым юный лорд играл в бильбоке. Убийце так не терпелось пролить кровь, что он даже не дождался, когда пробьет ровно полночь, как это обычно принято в приличных замках, имеющих определенную репутацию. Согласно тому же преданию, злодей бежал через этот потайной ход, бросив в наполненный водой ров свою рапиру из толедской стали, словно для того, чтобы смыть с нее преступление. Рапира все еще покоится на дне этого рва среди столетних карпов. Не наклоняйтесь — ров очень глубокий!.. Поскольку погода плохая, я выведу вас через главный вход, который ближе к конюшням и к вашим экипажам.

Я с прискорбием снова прошествовал мимо обильной буфетной. По мере приближения к выходу мрачное настроение экскурсантов рассеивалось и дворецкого засыпали вопросами о призраке Артура. Он отвечал очень сдержанно, с видом знатока, который не хочет говорить всего, что знает. Может, тут были замешаны какие-то ужасные семейные тайны и он не считал себя вправе их разглашать?

Наконец доверенный служитель с достоинством занял свое место у больших дверей кордегардии, и я с непереносимым стыдом заметил, что каждый посетитель, выходя, сует ему в руку какую-то мелочь.

А на улице шел бесконечный дождь, дело близилось к ночи...

В *ловушке вместе с призраком, и может, даже не с одним*

Вот тут-то в меня и закралось неодолимое искушение... Погода была такая ужасная, час такой поздний, мне так хотелось есть, я так устал — почему бы тайком не прокрасться через все еще безлюдный правый флигель Малвенорского замка в кухню и в прилегающую к ней башню? Там находится битком набитая едой буфетная и укромный чердак. Что мне еще нужно? Ну а завтра, воспользовавшись какой-нибудь экскурсией, я без труда под шумок покину замок.

Само собой, мне не очень улыбалось провести ночь над комнатой Артура в башне, которая была проклята с той самой минуты, как ее построили. По правде сказать, при мысли об этом душа у меня уходила в пятки. Но с другой стороны, буфетная склоняла чашу весов в свою пользу. Призрак — это был риск, не поддающийся точному измерению, зато буфетная была аппетитной реальностью.

Пока дворецкий ощупывал чаевые с видом министра, который снисходит к просителям, я мало-помалу замедлил шаги и вскоре очутился в хвосте группы. Потом остановился и стал самым последним. Потом на цыпочках попятился, свернул в какой-то коридор и, к своему величайшему облегчению, потерял дворецкого из виду.

Тогда я повернулся кругом и со всех ног бросился к вожделенной буфетной, не удостоив даже взглядом бамбуковый кий короля Георга и вермелевый молочник короля Людовика XV.

Буфетная пребывала в прежнем своем великолепии, и, облизываясь от восторга, я на мгновение залюбовался ее видом, не зная, с чего начать...

И вдруг угрызения совести приковали меня к месту. До сей поры я еще ни разу не брал ничего чужого. Похвально ли позволить себе угощаться таким образом? Впрочем, если я возьму понемножку от каждого блюда, кто сможет это заметить? Кусочек холодной баранины, глоток мятного соуса, ломтик фаршированного ягненка в желе, кружок деревенской колбасы, самую малость паштета из дрозда, толику копченой лососины или форели, обрезок сыра, ложечку пудинга...

Несомненно, я бы не устоял перед таким обилием искушений и впал в грех ранее, чем мне было написано на роду, если бы не задрожал от четких звуков голоса дворецкого:

— Последняя экскурсия окончена, Ваша светлость. Крысы покинули корабль.

Слуга, вставший у нижней ступени лестницы, которая вела из кордегардии, несомненно обращался к своему хозяину — тот подстерегал его на верхнем этаже главного здания, нетерпеливо поджидая минуту, когда

сможет спуститься на первый этаж, пользоваться которым ему несколько часов мешали экскурсии.

И тут я услышал удивительный разговор на два голоса: первым был голос дворецкого, ставший вдруг почтительным, вторым — громкий и суровый голос лорда Сесила, последнего носителя титула:

— Все крысы, мой добрый Джеймс?

— Все до одной, Ваша светлость.

— Молочник на месте?

— На месте, Ваша светлость. Я не спускаю с него глаз.

— Какая сегодня выручка?

— Четырнадцать гиней восемь шиллингов четыре пенса, Ваша светлость.

— Ну-ка, поглядим... Сто двадцать одна крыса по два шиллинга шесть пенсов — это будет четырнадцать гиней восемь шиллингов шесть пенсов. Шесть, а не четыре, Джеймс. Недостает двух пенсов.

— Знаю, Ваша светлость. Мне пришлось поверить в долг, хотя этот долг никогда не будет возвращен.

— В какие печальные времена мы живем! А выручка все падает...

— Грустные времена, Ваша светлость.

— Да поможет нам Бог! Будем надеяться, что следующее воскресенье окажется удачнее. Можете распорядиться накрыть стол для холодного ужина.

Я был потрясен способностями лорда Сесила считать в уме и, конечно, мог бы кое-что сообразить — вы-то наверняка уже все сообразили на спокойную голову.

Но в рискованном положении, в каком я очутился, мое внимание привлек в первую очередь самый тревожный факт: исторические экскурсии проводились не ежедневно, как я слишком поспешно предположил, а только по воскресеньям. Мне грозило остаться пленником в Малвенорском замке целую неделю. Каким образом такому маленькому крысенку, как я, сбежать с этой галеры?

Аппетит у меня пропал, да и не время было сейчас спокойно заниматься едой — шаги приближались...

Я поспешил укрыться в башне. Но у подножия витой лестницы, где мрак совсем сгустился, я на мгновение оробел. Что ждет меня наверху? Какое загробное видение? Какое проклятие? Вырвусь ли я живым из этого приюта убийцы?

Но тут мне вспомнилось здравое рассуждение моего отца, и оно меня подбодрило. “Не бойся призраков, мой милый Джон, — говорил отец, — пока они не ущипнули тебя своими крючковатыми пальцами. Со мной этого до сих пор не случалось. Все призраки, которых мне пришлось видеть, знай себе летали да болтали — ну что твоя бабочка или соловей. Это были истинные джентльмены, совершенно никчемные и совсем не злые, и, казалось, им так же скучно в другом мире, как когда-то было в этом...”

Я взял себя в руки, с бьющимся сердцем взобрался на четвертый этаж и, толкнув шаткую дверь, очутился на чердаке.

Последние лучи дневного света, проникавшие через маленькие оконца, придавали какие-то диковинные очертания груде странного старья, накопившегося здесь от многих поколений, вдыхали в него какую-то меланхолическую и тревожную жизнь. Опутанные паутиной, здесь вперемешку валялись: выброшенная мебель, которую, очевидно, вташи-

ли сюда по витой лестнице, сломанные игрушки, допотопная швейная машина, старые чемоданы и баулы, пустые пузырьки из-под микстур, помятые чайники и разбитые лампы, поношенные платья из всех приходов и даже римский гипсовый бюст с отбитым носом...

Захлопнув за собой дверь, я бросился на ворох пыльного тряпья и, горюя о своем несостоявшемся ужине, незаметно уснул.

Разбудила меня, наверно, тишина. Дождь перестал барабанить по черепице над моей головой; умолк и гром и вообще всякие звуки. В очистившемся от облаков небе сверкала полная луна, освещавшая успокоенную природу, где, казалось, нет следа ни людей, ни зверей. Всеобщий покой был таким глубоким, что я не решился надеть башмаки и в одних чулках, бесшумно, как Краснокожий в своих мокасинах, подкрался к окну, чтобы поглядеть на окрестности.

Открывшийся передо мной в мягком лунном свете вид был прекрасен. В самом низу, как раз под моим окном, сад подходил к озеру, заключенному в оправу гор. Увидев Полярную звезду, я понял, что фасад замка, смотревший на озеро, выходил на север. Я обследовал свои владения, выглядывая то в одно слуховое окошко, то в другое. На востоке виднелись мощные хребты Грампианских гор, но с других сторон рельеф немного понижался и на залитом лунным светом зеленом фоне темнели пятна крыш каких-то деревень. До сих пор я прозябал в унижении, а теперь вдруг вознесся над всем пространством графства на высоту самой высокой башни замка!

Но меня терзал неутолимый голод...

Связав шнурками башмаки, я повесил их на шею и, прихватив свой узелок, направился к кухне.

Я очень надеялся воспользоваться тем, что проснулся среди ночи, и, подкрепившись, выбраться из Малвенора. Днем меня бы тут же схватили. Но под покровом темноты наверняка нетрудно было незаметно пробраться до ограды парка, а потом перелезть через нее, вскарабкавшись на дерево.

В таких размышлениях я приблизился к буфетной. Несмотря на лунный свет, который, впрочем, уже бледнел, возвещая приближение зари, в замке было очень темно, и чтобы лучше увидеть разносолы, которые мне предстояло отведать, я чиркнул спичкой...

Какое разочарование! Буфетная была пуста!

Тщетно шарил я вокруг сначала при свете спичек, а потом и при огарке свечи, которую нашел в шкафу, — я снова и снова убеждался в печальной действительности... Ящики были полны фарфоровой и стеклянной посуды, столовых приборов, пряностей и приправ, но никаких следов хотя бы маленькой баночки варенья. Из съестного в роскошной кухне нашелся только обернутый полотенцем кусок сырого бараньего окорока да несколько сухих корок на дне хлебницы.

Полив наименее черствую из них оливковым маслом, я с грустью ее прожевал. Небо уже наказывало меня за мое гурманство.

Большие часы с маятником показывали половину пятого утра. Пора было уносить ноги из этих мест, где я мог умереть голодной смертью, как Тантал среди искушений.

Но потайной ход на первом этаже, который днем, очевидно, служил черным ходом, теперь был перекрыт — дверь заперли на ключ, а ключа в замке́ не оказалось. В чулках, со свечой в руке прокрался я через пус-

тые и безмолвные покои к двустворчатым дверям кордегардии... Они тоже оказались на запоре!

Очевидно, лорд Сесил опасался, как бы какой-нибудь лакей или кухарка не воспользовались потемками, чтобы сбежать с его вермелевым молочником или натворить каких-нибудь других беззаконий.

Все больше досадуя, я решил быстро обойти весь первый этаж Малвенора, чтобы найти еще один выход, но в итоге оказался в том самом месте, с которого начал обход, и совсем упал духом — даже окна были забраны толстыми решетками, не говоря уже о том, что замок опоясывал ров, наполненный водой.

Я опустился на кресло Марии Стюарт под выходящей из волн Венерой с веером и предался горьким раздумьям: я оказался в ловушке и был обречен провести бесконечную неделю в этом своеобразном музее, где все ставило меня в тупик и где заморить червячка было неразрешимой задачей. Мне ничего не оставалось, как вернуться на свой чердак.

Проходя через большую елизаветинскую столовую, я вдруг случайно обратил внимание на дверь, которую не приметил во время своего обхода, — она по-видимому, сообщалась с каким-то помещением, которое почтенный дворецкий не пожелал нам показать.

Заинтригованный, я тихонько толкнул эту дверь и обнаружил за ней средних размеров комнату — знай я в ту пору фамилию краснодеревщика Чиппендейла, я сказал бы, что ее обставил этот господин. Впрочем, и отсюда я не мог бы сбежать...

Но слабый луч восходящего солнца, которое только-только поднялось из-за Грампианских вершин и проникало в комнату через выходящее на восток окно, осветил во всем его великолепии большое румяное яблоко, как видно забытое кем-то у кровати на столике с гнутыми ножками.

Завороженный этой неожиданной находкой, я как во сне подошел к яблоку, взвесил его на руке, понюхал и вгрызся в него зубами. Мякоть была душистая, сочная — воистину яблоко из кущ земного рая!

Я уже нацелился откусить еще кусочек, как вдруг услышал рядом с собой глухой стон, словно это возопила моя потревоженная совесть. И тут с большой, утопающей в сумраке кровати справа от меня начала, колыхаясь, подниматься беловатая фигура.

Яблоко выпало из моей дрожащей руки на мраморный столик... где лежала челюсть скелета, готовая меня укусить!

После того как я услышал стон и передо мной явился призрак в белом, вы без труда представите, насколько я был потрясен видом этой ухмыляющейся челюсти! Не веря больше ни своим глазам, ни ушам, совершенно обезумев от страха, я дал стрекача. Но в довершение несчастий, резко повернувшись спиной к свету в комнате и без того темной, я споткнулся о какой-то странный предмет, вероятно мебель, но одушевленную и движущуюся, и это еще усугубило мой ужас, хотя казалось, дальше некуда. Однако у меня хватило присутствия духа закрыть за собой дверь в тщетной надежде хоть на несколько секунд задержать преследующее меня по пятам чудовище. Задыхаясь, с колотящимся сердцем, я одним духом домчался до своей башни.

У подножия лестницы из-за потемок мне пришлось вновь зажечь свечу, которую я погасил в конце своего обхода, поскольку стало рассветать. Пламя осветило дверь, за которой господин де Шантемерль умер одновременно и от голода, и от удушья. Поднявшись на второй этаж, я

миновал комнату, где в 1492 году содеяла свое черное дело отрава. Когда я добрался до чердака, ноги меня уже не держали. Какого черта я поддался слабости и надкусил это проклятое яблоко? И как я мог быть так неосторожен, что выбрал убежищем эту зловещую башню, из которой мне не выбраться живьем?

Поскольку замок и его окрестности продолжали упорно хранить безмолвие и никто не попытался взять штурмом мое последнее укрепление, я немного отдышался и начал успокаиваться.

В течение, наверно, двух часов, пока становилось все светлее и светлее, я кружил по чердаку, навострив уши и неслышно ступая, и пытался уразуметь, каков смысл пережитого мной потрясения и к каким последствиям оно может привести. С кем я имел дело — с призраком Артура? с каким-то другим призраком? а может, их было несколько? В глубине души я чувствовал некоторую симпатию к призраку Артура — его я испугался бы меньше, чем других. Но если, на беду, их тут бродит множество, едва ли меня порадует общение с оголодавшим призраком сьера де Шантемерля, с пропитанным бордоским вином призраком капитана Мэллори или с напичканным ядом призраком со второго этажа. Артур, по словам Джеймса, который, видимо, знал это по опыту и говорил как человек сведущий, был не отмщен. Собратья Артура тоже имели веские основания чувствовать себя неудовлетворенными. Так чего же я мог ждать от четырех неудовлетворенных призраков, которых я потревожил в их логове?..

И вдруг из все еще сонных недр Малвенора до меня донесся душераздирающий, пронзительный вопль — я прирос к месту, и кровь застыла у меня в жилах. Вопль захлебнулся, потом возобновился с новой силой, стал еще громче, еще отчаяннее... Ох, дорогие мои внучата! Какое ужасное воспоминание!

Я в панике искал какую-нибудь дыру, чтобы в нее забиться, и, втянув голову в плечи, спрятался в короб из ивовой лозы, закрывшись его крышкой. Так поступают перепуганные страусы — потому-то их так легко поймать.

Призрак пойман

Долго сидел я, дрожа от страха, в этом пропахшем плесенью коробе. Наконец, немного осмелев, приподнял крышку: было уже совсем светло, чердак заливали солнечные лучи, а из кухни, где, наверно, готовили завтрак, поднимался смутный гул. Я готов был сейчас проглотить вчерашний кусок баранины прямо сырым, да вдобавок меня начала мучить жажда.

Оставив свои башмаки и узелок в коробе, я тихонько спустился по лестнице. По мере того как я приближался к источнику звуков и запахов, они становились все отчетливее: звон посуды, перекличка голосов, дух яичницы, аромат бекона...

Не осмеливаясь спуститься ниже, я замер посреди узкой лестницы между первым и вторым этажами. Впрочем, спускаться ниже нужды не было — отсюда, сидя на ступеньке, я мог довольно отчетливо слышать все, что говорится на кухне. Наверно, некоторую роль тут играл резо-

нанс, но впрочем, деревенские жители часто имеют обыкновение говорить громко и властно.

Зычный, уверенный голос кухарки чередовался со звонким, но робким голоском ее помощницы.

— ...Уж поверь мне, милая Китти, все было в точности как я говорю! Ночью — трудно сказать, в котором часу, но все равно, что было, то было, — челюсть леди Памелы откусила кусок яблока, да притом с такой силой, что и поверить трудно.

— Понимаю, мистрис Биггот.

— Мэтр Дашснок, как настоящий Шерлок Холмс, не преминул самолично и очень тщательно сравнить след укуса с челюстью и заявил всем, что они поразительно совпадают.

— Понимаю, мистрис Биггот.

— А вам известно, что мэтр Дашснок — это не первый встречный. Он не только наставник господина Уинстона, он к тому же, и прежде всего, член-корреспондент Королевского общества спиритов в Эдинбурге и многих других подобных обществ. По части призраков он раритет!

— Понимаю, мистрис Биггот.

— ...а может, авторитет. Не помню, как это называется... Ты, как и все, должна была слышать, как закричала леди Памела, проснувшись и обнаружив,что под покровом ночи ее челюсть впилась в яблоко. Не каждое утро случаются такие истории, уж поверь мне.

— Конечно, мистрис Биггот.

— А ведь леди Памела в свои восемьдесят пять лет сохранила совершенно ясную голову... А где твоя голова, Китти? Три яйца для господина Уинстона!.. А вот и другое обстоятельство, еще более загадочное, если только это возможно. Потому-то леди Памела и закричала еще громче. Кресло на колесиках, которое, когда она заснула сном праведницы, стояло у ее изголовья, в семь часов утра оказалось у камина. Ты догадываешься, что это означает, Китти?

— Мм... да, мистрис Биггот.

— Похоже, призрак, который вышел из камина, был очень дряхлым и ему понадобилось кресло на колесиках, чтобы добраться до яблока, и вставная челюсть, чтобы его надкусить...Так, по крайней мере, утверждает мэтр Дашснок.

— Стало быть, это приходил не Артур?

— А с кем же еще могла иметь дело леди Памела? Насколько мне известно, впредь до новых приказаний здесь есть только один призрак — Артура. Но Артур мог состариться, дочь моя. Все мы стареем. Почему же с призраками должно быть по-другому? А? Почему, я тебя спрашиваю?

— Конечно, мистрис Биггот! А что говорит лорд Сесил?

— Лорд Сесил, как всегда, разыгрывает вольнодумца. Джеймс, который всей душой предан хозяину, как эхо повторяет его насмешки. У двойняшек вообще другое на уме, а мистеру Уинстону — дело известное — лишь бы только поесть. Так или иначе, все они не хотят смотреть правде в глаза, и напрасно: когда имеешь дело с таким хитрым призраком, как наш Артур, надо держать ухо востро. Ты, конечно, согласна со мной, Китти?

— Конечно, мистрис Биггот.

— Увы, это еще не все! Мне осталось рассказать тебе, может быть, самое тревожное...

— Вы меня пугаете, мистрис Биггот!

— Представь себе, после грозы лошади стали беспокоиться, и под утро Гедеону пришлось встать с постели. Животные в иных случаях знают куда больше нашего, а лошади, дрессированные блохи и азиатские слоны, говорят, отличаются особенным умом... Короче, из окна своей комнаты рядом с конюшнями Гедеон увидел блуждающий огонек, который кружил по первому этажу Малвенора.

— О боже!

— Понимаешь, что это означает, Китти?

— Я вся дрожу, мистрис Биггот!

— В последний раз мы видели здесь блуждающие огоньки, если не ошибаюсь, пять лет назад, когда умерла королева.

— Совершенно верно, мистрис Биггот.

— Я жду больших несчастий, Китти... Но не бойся. Я здесь, у меня большой опыт, я сумею тебя защитить. Принеси-ка мне лучше йоркширской ветчины из кладовой — тот окорок, который почат. Если только Артур его не прикончил...

И тут же у входа в башню послышались шаги Китти — я рассудил, что будет благоразумнее вернуться на чердак.

Я привык верить тому, что говорят взрослые, а мистрис Биггот говорила с таким убеждением, что мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поверить ее словам. Легко ли мне было представить себе, что я мог так сильно напугать леди Памелу и некоторых слуг в замке в то самое время, когда сам я был напуган куда больше! К счастью, я довольно быстро убедил себя в том, что переполох вызвал не кто иной, как я, убедил себя с тем большей легкостью, что сделанное открытие меня утешило. Ну и дурак же я был, испугавшись собственного воображения!

Я бы, наверно, даже посмеялся над происшедшим, если бы у меня была надежда плотно позавтракать. Последняя фраза мистрис Биггот пробудила во мне некоторые надежды.

По-моему, никогда еще день не тянулся для меня так долго, как в ожидании той минуты, когда я без опаски смогу проникнуть в сказочные закрома, где дремлет йоркширская ветчина. После завтрака начали мыть посуду. Потом стали готовить обед. Потом пообедали слуги, за ними хозяева. Потом стали мыть обеденную посуду. Потом слуги пили чай, потом пили чай хозяева. Потом стали готовить ужин. Потом поужинали слуги, потом хозяева. Потом стали мыть посуду после ужина... С ума можно было сойти! В этой кухне жизнь не прекращалась ни на минуту.

Чтобы заглушить голод, жажду и тоску, мне оставалось только разглядывать окрестности из окон моего насеста и отваживаться на осторожные разведывательные вылазки до нижних ступенек лестницы.

Все разговоры на кухне вертелись вокруг событий минувшей ночи, невольным виновником которых я стал. Два выездных лакея, попавших под влияние Джеймса, позволили себе недоверчиво посмеиваться. Но мистрис Биггот, Китти, три горничные и конюх Гедеон неколебимо верили в то, что Артур существует и действует и что шотландские призраки во всех отношениях могут дать сто очков вперед призракам английским, ирландским или уэльским. Кучер Макфарлейн от заключений воздерживался. Я слышал, как за обедом он наставительно произнес: "По части призраков я следую принципу wait and see. Только так: подождем — увидим! А я пока еще ничего не видел".

Что думает привратник Макинтош, который вместе с семьей жил в комнатке при главном входе, и трое садовников, которые работали поденно под его надзором, сказать было трудно.

В полдень, ободренные хорошей погодой, хозяева вышли пить чай на берегу озера, до которого от моего наблюдательного пункта было не более четырехсот футов.

На чердаке валялся маленький бинокль, вид которого меня очень позабавил, — он был из слоновой кости, по которой прошла трещина, и со складной ручкой. Окажись рядом какая-нибудь светская дама, она могла бы мне объяснить, что это театральный бинокль.

С помощью этого инструмента я долго с любопытством наблюдал, как господа пьют чай, как слуги снуют от черного хода к поблескивающему озеру, как леди Памела перемещается в своем кресле на колесиках, которое, как видно, перестало ее пугать, и как челюсти разного возраста пережевывают печенья и тарталетки, — у меня слюнки текли...

Быстрее всех и всех усерднее жевал толстый мальчик лет тринадцати-четырнадцати, в чьей бульдожьей физиономии было что-то располагающее и благодушное. Это, без сомнения, был юный мистер Уинстон, самый последний Свордфиш, наследник титула.

Его отец, лорд Сесил, длинный и сухощавый субъект с унылым лошадиным лицом, совершенно механически поглощал пищу — у него был озабоченный вид человека, который до последнего пенни подсчитывает стоимость добра, исчезающего в желудках его сотрапезников.

Леди Памела — судя по словам мистрис Биггот, двоюродная бабка маркиза по матери — как птичка клевала еду своей пресловутой челюстью, побывавшей в руках у призрака. У нее была славная физиономия, похожая на сморщенное зимнее яблочко.

Две сестрицы-близнецы предпочли полднику бадминтон. Белокурые, тоненькие, восхитительные, они играли с серьезным выражением лиц: их что-то беспокоило — может, то, что им уже шестнадцать или семнадцать лет, а может, то, что они похожи друг на друга как две капли воды из озера. Опять-таки по словам мистрис Биггот, их звали Алиса и Агата — путаницу еще усугубляло то, что их имена начинались с одной и той же буквы.

Матушки Уинстона, Алисы и Агаты видно не было. Намек Джеймса, который я уловил во время обеда, внушил мне опасение, что ее, как и мою матушку, уже прибрал Господь. И наверно, обе дамы, глядя из рая в лорнет, наверняка, побольше моего бинокля, на этот пикник, обменивались мнениями...

— ... До чего же грязен и плохо одет ваш маленький Джон, дорогая! Просто ужас! Как можно являться в таком виде в благопристойный замок...

Матушка понурила голову.

Я отошел от окна и встал перед треснувшим зеркалом узкого, изъеденного червями шкафа. Госпожа маркиза, без всякого сомнения, была права.

Я осмотрел тряпье, которым был завален чердак, чтобы найти себе одежду по размеру. Но тряпье было в самом жалком виде. По счастью, я вскоре наткнулся на два чемодана, в которых лежали наряды, очевидно служившие для костюмированных балов или карнавалов. Была здесь одежда для взрослых и одежда для детей, одежда всех размеров, пожелтевшая и выцветшая от времени, но в остальном вполне пригодная.

Примерив пять или шесть костюмов, я заколебался в выборе между двумя из них — оба были мне необыкновенно к лицу: первый — роскошное одеяние индийского принца с тюрбаном, украшенным эгреткой, второй — одежда трубадура. Я выбрал второй — он все-таки больше подходил к обстоятельствам.

В итоге я оказался одет на редкость элегантно — темно-зеленый камзол с перламутровыми пуговицами, светло-зеленые штаны в обтяжку и того же цвета башмаки с загнутыми носами; черная бархатная шапочка, украшенная громадным фальшивым изумрудом и настоящим павлиньим пером.

Чтобы окончательно укрепить свой дух, я надел через плечо кожаную перевязь, подвесив к ней шпагу, которая так заржавела, что не вылезала из ножен. Конечно, перевязь была мне велика, а шпага слишком длинна, но это только придавало мне еще более грозный вид.

Переодевшись в этот костюм, я осуществил свою давнишнюю мечту, которая казалась несбыточной. Я почувствовал себя другим, словно родители произвели меня на свет в лучшие времена, когда у детей не было других забот, как только появляться на людях в самом выгодном для себя свете.

Но боже мой, как мне хотелось есть и пить! Я ни минуты не колеблясь променял бы свой изумруд на блюдо чечевицы и отдал бы свою шпагу за стакан воды!

На мгновение я вернулся к окошку, выходившему в сад и на озеро. Солнце уже клонилось к закату, освещая группу, на которую я теперь, благодаря своему новому одеянию, взирал с бóльшим достоинством.

Я снова вооружился театральным биноклем, чтобы разглядеть тощего человека в черном, который был похож не то на священника, не то на школьного учителя, — согнув спину, он стоял перед разлегшимся в шезлонге лордом Сесилом и что-то ему говорил.

Потом человек в черном направился к замку вместе с мистером Уинстоном, который понурив голову нехотя следовал за ним. Тут мне удалось получше разглядеть остроконечную желчную физиономию с шершавой кожей и воинственным носом, оседланным очками с толстыми стеклами. Человек был уродлив как обезьяна и странным образом напоминал мистера Баунти. Вне всякого сомнения, передо мной был мэтр Дашснок, наставник бедняги Уинстона.

Во время ужина я, чтобы убить время, снова спустился вниз послушать отголоски разговоров, которые вели слуги.

Сидя в темноте, я слушал, как они вновь обсуждают призрак Артура и все его загадочные особенности, и вдруг до кухни явственно донеслись отчаянные крики, хорошо мне знакомые, — так кричат дети, которых секут, — и слуги, естественно, заговорили громче, чтобы слышать друг друга.

На мгновение я подумал было, что это дает о себе знать Артур и к его крикам в этот час все так привыкли, что уже не обращают на них внимания. Но вскоре до меня дошло, что это мэтр Дашснок взялся за Уинстона, и я оказался столь эгоистичным, что меня это, пожалуй, даже успокоило.

В старые времена, дорогие мои внуки, в Англии детей били их родители и их учителя, лакеев и подмастерьев били их хозяева, жен — их мужья, а матросов били по приказу капитанов. Детей бедняков били, чтобы они вели себя смирно, детей богатых — чтобы они стали умнее.

Англия родилась и выросла под кнутом, будь то трость наставника или корабельная плетка-девятихвостка. Люди с мрачным складом ума скажут вам сегодня, что с тех пор как англичан перестали бить их соотечественники, это стали делать иностранцы. Не мне об этом судить..

Раздался еще более прозительный вопль Уинстона. Услышав его, дворецкий досадливо заметил:

— Ну и концерт у нас нынче вечером! В мое время дети из благородных семей сносили побои молча — говорят, так когда-то поступали юные спартанцы. Но все приходит в упадок. Чего нам ждать от этого Уинстона? Как по-вашему, мистрис Биггот?

— Вообще-то говоря, мэтр Дашснок слишком уж усердствует, хочет угодить лорду Сесилу. У бедного мальчугана скоро на заду кожи не останется...

Тут послышался голос, который я приписал кучеру Гедеону:

— Наш Уинстон потому такой неженка, что при его обжорстве площадь, обтянутая кожей, у него в два раза больше обычного!

Общий хохот, громкий и грубый, перекрыл жалобные стоны жертвы, которую я не мог не пожалеть, зная по опыту, каково ей приходится. Но если детей богатых бьют так же, как и детей бедняков, к чему тогда вообще быть богатым?

Я пойман призраком

Наконец болтовня на кухне умолкла и там воцарилась полная тишина. Некоторое время я посидел на ступеньке, вдыхая дивные ароматы, которые с самого утра распространялись по лестнице. Я мог бы с точностью перечислить все блюда, которые были за день съедены в замке!

Когда я решил, что весь Малвенорский замок уснул крепким сном, я ощупью спустился на нижнюю площадку и убедился, что в кухне все огни погашены, а вокруг царит густой мрак летней ночи, еще не освещенной луной.

Поскольку кухня выходила на северо-восток, а конюшни находились с северо-западной стороны, я мог зажечь огарок свечи, не рискуя встревожить Гедеона.

На пиршестве, которое я намеревался задать самому себе, я хотел блистать чистотой и великолепием. Поэтому, утолив жажду, я вымылся горячей водой, стоявшей на одной из кухонных печей, с мылом, предназначенным для мытья посуды. Впрочем, красоту я навел на себя наспех — меня не покидала мысль о йоркширской ветчине.

За ветчиной Китти ходила в башню. Вот почему я решил обследовать все ее этажи, начиная с комнаты на втором, которая находилась как раз под той, где совершилось преступление в стиле 1588 года и где не было ничего съедобного, разве что бильбоке.

И вдруг сердце у меня сжалось от страшной мысли: что если кладовая заперта на ключ? Нет, судьба не может быть такой жестокой!

Дверь во второй этаж открылась без труда. Прикрывая рукой слабый, дрожащий огонек моего огарка, я вошел в ту самую комнату, где шла реставрация и где в год открытия Америки неведомый яд...

Шутник Джеймс!.. Передо мной лежали мешки с картошкой, мукой и разными крупами — как видно, дань арендаторов Малвенора, а что ка-

сается яда, то по полу были разбросаны катышки крысиной отравы. Но ветчины не было и в помине.

Дверь на первом этаже как раз против потайного хода тоже была не заперта, и тут вдруг — о чудо! — я оказался в самом настоящем сказочном мире, как Али-Баба в пещере сорока разбойников, ломившейся от сокровищ! Я был потрясен до глубины души. Там, где, истерзанный голодом, повесился сьер де Шантемерль, громоздились горы копченого мяса, ветчины, всевозможных паштетов, сала, бекона, лососины всех видов, знакомые и незнакомые мне консервы, варенья, сыры, фрукты. Я уже не говорю о яйцах и овощах. С такими запасами можно было выдержать любую осаду. Словом, настоящей кладовой замка была башня, которую я избрал своим убежищем!

Прогулка среди этих чудес, количество которых еще преувеличивал мой аппетит, так потрясла меня, мальчишку, который всегда жил впроголодь, что воображение мое разыгралось: почему бы мне, в конце концов, не остаться в Малвеноре на неделю, на месяц, на годы?

В замке было все, чтобы наедаться досыта, умываться горячей водой (новая для меня роскошь), наряжаться по-королевски и как мне вздумается и даже читать книги, которые можно было заимствовать в библиотеке! Я мог как сыр в масле кататься да еще уплетать сыр с маслом за обе щеки!

Но мой восторг быстро угас. У меня хватало здравого смысла, чтобы понимать, как много значит для каждого из нас простой разговор, простое человеческое присутствие. Даже такой лицемерный палач, жадный и жестокий, как мистер Гринвуд, все-таки был представителем семейства лишенных оперения двуногих, среди которых Создатель назначил мне родиться. Проведя некоторое время в полном одиночестве, не стану ли я скучать по его голосу и, как знать — по его палке? Разве можно назвать счастливой жизнь того, кому приходится прятаться и кому не с кем поделиться ни радостью, ни горем?

Дверь тихонько скрипнула. Я тотчас задул свечу и одним прыжком оказался позади свиной туши, подвешенной к балке за задние ноги в ожидании, когда ее разделают.

Дверь распахнулась, и, глянув одним глазком из своего убежища, я увидел, как в комнату, освещенный блуждающим огоньком, вошел призрак весь в белом и двинулся прямо на меня, угрожающе сверкая ножом.

Горло у меня перехватило, я зажмурился, чтобы избавиться от жуткого видения...

Когда я решился открыть глаза, я увидел мистера Уинстона в ночной рубашке и шлепанцах, он переходил с места на место, от ветчины к паштету, от паштета к лососине, спокойно, степенно, с сосредоточенным видом человека, предающегося любимому занятию. Задержавшись у очередного яства, Уинстон ставил куда-нибудь свою свечу и ловко отхватывал очередной кусочек, демонстрируя мастерство, которое показывало, что ему это не впервой. У него достало сообразительности лакомиться от блюд уже початых, где было бы незаметно, что он ими поживился. Но я с восхищением увидел также, как он перевернул нетронутый паштет, чтобы со сноровкой опытного хирурга поскоблить его с донышка.

По мере гастрономических передвижений Уинстона я под ненадежным прикрытием свиной туши перемещался тоже, стараясь сделаться незаметным, но острые загнутые концы моих башмаков выглядывали

из-под морды животного, и не будь посетитель столь рассеянным, уверенным в себе и бесстыжим, он заметил бы меня гораздо раньше.

Наконец неизбежное свершилось: одно неуклюжее движение, и я носом к носу столкнулся с Уинстоном.

От неожиданности Уинстон вначале не столько испугался, сколько обомлел. Но почти сразу ошеломленный невероятным видением бедный малый с набитым ртом самым жалким образом затрясся, свеча в его руке задрожала, а шлепанцы приросли к полу.

Я сам был слишком взволнован, чтобы попытаться еще больше напугать моего хозяина какой-нибудь недостойной джентльмена выходкой. Наоборот, я постарался успокоить Уинстона, ласково и дружелюбно его уговаривая. Я вкратце изложил ему то, что я только что поведал вам: как я родился в безвестной семье, как в самом раннем детстве на меня обрушились горькие беды, как я совсем недавно сбежал от мистера Гринвуда, как целую неделю бродил по Хайленду, как удивительным образом оказался пленником в замке, на который неожиданно набрел, как случайно начал выступать в роли призрака и как я голоден.

По вполне понятным причинам, связанным не столько с бессердечием Уинстона, сколько с обстоятельствами, чем больше я упирал на мои горести, тем увереннее он становился, на его лице заиграл румянец, он ожил и даже в какой-то мере развеселился — несомненно, от облегчения.

А когда он под самым моим носом отрезал себе тоненький, как папиросная бумага, ломтик йоркширской ветчины и без всяких церемоний его слопал, я понял, что он окончательно пришел в себя.

— Ну и ну,— наконец добродушно проговорил Уинстон, — и нагнал же ты на меня страха! И как только тебе в голову взбрело напялить на себя пыльные тряпки, о которых все и думать забыли, и превратиться в пришельца из минувших веков? Я сразу подумал, что это призрак Артура спустился вниз, чтобы за компанию со мной... Ведь от призрака, который способен надкусить яблоко тети Памелы, можно ждать чего угодно!

— Честное слово, мистер Уинстон, я сделал это не нарочно.

— Надо было нарочно этого не делать, как любит повторять мой отец. Попадись ты ему, он надрал бы тебе уши.

Но тут Уинстон, наверно, подумал, что по части яблок и ветчины он и сам не без греха, потому что голос его смягчился.

— Пойми, мой милый, встретить призрака, когда ты в призраков не веришь, в высшей степени неприятно и даже жутко. Нелегко такое вынести. Вот, к примеру, тетя Памела, которая вечерами по воскресеньям занимается спиритизмом, чтобы вызвать дух Артура и спросить его, чего он хочет, очень быстро оправилась от потрясения. И теперь даже гордится приключением, которое ей пришлось пережить. Но у меня по твоей милости едва не пропал аппетит.

Всем своим видом выражая отвращение, Уинстон кончиком своего ножа отколупнул немного паштета из жаворонков, который отправился той же дорогой, что и ветчина.

Я попытался переменить тему разговора:

— Не хочу быть нескромным, мистер Уинстон, но возможно ли, чтобы в такой час ночи голод мог привести сюда молодого человека из столь благородной семьи и наделенного такими достоинствами?

Немного подумав над моим вопросом, как если бы он и впрямь был очень глубокомысленным, Уинстон наконец испустил долгий вздох и ответил:

— Вопросы никогда не бывают нескромными, дорогой Джон. Нескромными могут быть только ответы. Увы, всей Шотландии известно: нынешние трапезы в Малвеноре — лишь бледная тень того, что было когда-то.

— Не может быть!

— Может! Этим и объясняется мое появление в здешних местах. Признаюсь, меня слишком часто тянет сюда, потому что я постоянно хочу есть, а иногда, как сегодня вечером, просто умираю с голоду.

— Ушам своим не верю, мистер Уинстон!

— Твое удивление меня не удивляет. Ты родился среди бедняков, они привыкли, что им нечего есть, да и выпить удается не часто. Блюдо фасоли или бобов должно казаться тебе пиршеством... Но знай, приятель, что когда-то в Малвеноре было сорок человек прислуги, в том числе шеф-повар француз и кондитер из Вены с поварятами, которые летом или во время охотничьего сезона обслуживали званые обеды на пятьдесят персон. Сливочное масло выписывали из Шаранты, гусиную печень — из Перигора или из Эльзаса, икру — с Каспийского моря или с Волги. Наш винный погреб был одним из лучших в Британии, бургундские вина были более чем отменные, а "Мутон-Ротшильд" того сорта, который пивал Дизраэли. Но эти времена канули в прошлое. Отец мой потерял миллион фунтов стерлингов в англо-бурской войне, потому что противостоявшим друг другу армиям пришла досадная мысль избрать театром военных действий его плантации и рудники. Остальные деньги растаяли в рискованных спекуляциях, их унесли армянский заем, белая краска Испанского Конго, синий перуанский краситель. Нам пришлось распроститься с особняком в Лондоне и круглый год жить здесь с очень небольшим штатом прислуги. Четыре пятых наших владений проданы, самая красивая мебель, коллекция картин и предметов искусства перешли в другие руки. А от нашего знаменитого серебра остался только символический молочник. Это нищета, Джон.

— Боже мой!

— Даже приданое моих сестер отец проиграл на скачках. А меня взяли из Итона, потому что нечем было платить за учебу. Моя бедная матушка с горя умерла.

— Кто бы мог подумать!

— Твое сочувствие трогает меня, Джон. Меня и вправду жаль. Я пленник дома, который клонится к разорению, где слуги, стоящие у кормушки, питаются лучше, чем хозяева, где я живу впроголодь под неусыпным надзором. Одна из последних фантазий моего отца — добиться, чтобы я похудел. Вот уже много лет меня мучает голод. Мне мало той пищи, что мне дают, но главное, меня не устраивает ее качество. Впрочем, боюсь, ты меня не поймешь.

— Я всей душой стараюсь, мистер Уинстон!

— Ты славный малый, на твою долю тоже выпали невзгоды. Нам будет легко найти общий язык. Но тебе повезло — ты ничего не потерял, потому что ничего не имел. Благодари небо за эту милость, Джон.

— Я каждый день благодарю его за то, что мне не выпали еще худшие испытания!

— Худшего долго ждать не приходится: сегодня вечером мэтр Дашснок оставил меня без ужина.

Душераздирающие жалобы Уинстона помогли мне уяснить некоторые обстоятельства — они бросились бы мне в глаза и раньше, будь у ме-

ня больше жизненного опыта. Бедняк среди бедняков, я очутился в некотором роде в мире бедняков среди богачей. У блестящей медали существовала оборотная сторона.

Поскольку Уинстон стыдливо умолчал о порке, мне недостало жестокости намекнуть ему на эту подробность. Я только вежливо спросил, чем вызвано такое из ряда вон выходящее наказание.

Пухлые щеки Уинстона затряслись от злости, а буравчики маленьких глаз стали метать яростные молнии.

— Во всем виноват французский епископ XVII века, некий Фенелон, и его "Приключения Телемака", по которым мэтр Дашнок заставляет меня учить французский — он считает, что именно на таком языке и надо говорить. Мэтр Дашнок неотступно меня преследует и не упускает случая с налету проверить мои знания. Вот и сегодня, когда мы собирались усесться за стол, чтобы поесть ростбиф, напоминающий резиновую подошву, и гуся, скончавшегося от старости, он вдруг спросил меня по-французски, а произношение у него, надо сказать, чудовищное: "Кто Пенелопа Телемаку?" А я расслышал это как странную фразу: "Что лопали Маки?" Ну, я и стал рассуждать о шотландских семьях и кланах, о том, что они любили есть, тем более что я вообще предпочитаю говорить о том, что хорошо знаю. Заметь, что мэтр Дашнок предоставил мне врать вволю и только потом взорвался. Это злобный тип, вроде твоего Баунти, — хорошо бы ему сдохнуть с голода перед кучей снеди.

Я ничегошеньки не понял из этой истории с Маками и Телемаками, но чтобы самому прежде времени не сдохнуть с голода, следовало немедля позаботиться о моем собственном ужине. Посему я попросил Уинстона позволить мне поучаствовать в его трапезе.

Против всякого ожидания Уинстон заколебался.

— Если я окажу тебе эту милость, как бы ты меня не подставил. У мистрис Биггот глаза рыси, память лошадиная, и вдобавок она ведет счет всему.

Немного стесняясь, я поведал Уинстону, что еще до того, как имел честь с ним познакомиться, я и сам додумался до его осмотрительной техники дегустации, а теперь, когда я увидел, как он применяет ее на практике, у меня уже не будет никаких оправданий, если я совершу хоть малейшую оплошность.

— Это было бы ужасно, Джон. Конечно, мой отец — сама доброта, но его строгость во много раз превосходит его доброту, а с тех пор как удача повернулась к нам спиной, характер у него совсем испортился.

— Я буду есть... как призрак Артура, мистер Уинстон.

— Отлично! Сдается мне, ты парень сообразительный и разумный — глаза у тебя живые, руки ловкие, а ноги быстрые. По правде говоря, я не против, чтобы ты просидел в Малвеноре до будущего воскресенья. Мне здесь так одиноко! Сестры мои — вертушки, они думают только о том, как бы не потолстеть. Им не придет в голову согрешить — господи помилуй, куда им, с тем, что у них осталось от приданого! Кроме тебя мне не с кем поговорить. Разве плохо встречаться по вечерам здесь, в этой благоухающей кладовой, чтобы обмениваться дневными впечатлениями и лакомыми кусочками?

— Это было бы чудесно, мистер Уинстон. Просто волшебная сказка!

— Зови меня Уинни, как все друзья, которых у меня нет.

— Договорились, Уинни.

Сбежав из кузни, я оказался за ужином в замке, в обществе представителя аристократической семьи, который удостоил меня своей дружбой. Не было ли это началом блистательной карьеры, в которой обедам и друзьям предстояло множиться, как евангельским хлебам и рыбам?

Очень дорогая дружба

Восхищенный нашим уговором, я расстегнул камзол и вытащил свой маленький ножик. Чтобы продемонстрировать Уинстону, что я усвоил его урок, я перевернул вверх дном скромный деревенский паштет, как перевертывают черепаху, и, пока мой хозяин и друг любезно светил мне подрагивающей свечкой, начал со всеми мыслимыми предосторожностями соскабливать с паштета тоненький слой.

Прискорбный пример Уинстона лишил меня всяких угрызений. Но мой ангел-хранитель не дремал.

— А знаешь, милый Джон, пожалуй, ты еще до ужина смог бы оказать мне большую услугу. Эта мысль пришла мне в голову, когда я увидел тебя в костюме XV века. Почти современник Артура — всего каких-нибудь сто лет разницы. Но разве это имеет значение? Ты просто на диво элегантен!

На меня, расслабившегося в ароматном и аппетитном тепле кладовой, слова Уинстона подействовали как холодный душ. Но разве я мог в моем положении хоть в чем-нибудь ему отказать?

Принужденно улыбаясь, я сложил свой ножик. А Уинстон, всецело захваченный свой идеей, продолжал:

— Я только что отдал мэтру Дашноку латинское сочинение о смерти царя Митридата — знаешь, был такой странный тип, который ел отраву? Работа, мне, пожалуй, не очень удалась. Боюсь, я начал невпопад, продолжил вкривь и вкось, а кончил шиворот-навыворот. Если только не случится чуда, мэтр Дашнок будет завтра в жутком настроении. Он придает огромное значение латыни — на его взгляд, именно в ней заключается самая благородная разница между джентльменом и простолюдином. Это мэтр Дашнок сочинил дурацкий девиз: "POPULO POPULO POPULO", который украшает кордегардию и в подметки не годится прежнему девизу. — И немного поколебавшись, Уинстон добавил: — Ты, наверно, догадался, что этот негодяй иногда поднимает на меня руку?

Дипломатия советовала разыграть невинность.

— Уинни! Как я мог даже подумать такое?— воскликнул я.

— Увы, дорогой Джон. В этом несправедливом и плохо устроенном мире бьют не только детей бедняков. А с тех пор как ты надкусил яблоко тети Памелы, мне тем более угрожает опасность.

Тут я искренне удивился:

— Почему? Какая тут связь?

— Сегодня утром, когда над отцом совершали бритвенную процедуру, он вызвал меня к себе. "Уж не ты ли, случаем, покусился на несчастное яблоко? Подобного рода зловещая съестная шутка вполне в твоем духе". Я клялся, что я ни при чем, и отец мне поверил. Но мэтр Дашнок верит только самому себе, а на мой счет питает серьезные подозрения — они сыграли существенную роль в том, что он так гнусно со мной обошелся.

— А ему-то что за дело до этого яблока?

— Мэтр Дашснок слывет знатоком оккультных наук и зарабатывает на этом кое-какие деньги. Это он опубликовал в Глазго в издательстве "Гоуст энд Джайб" труды под названием "Наши семейные призраки", "Призраки и супружеская жизнь", "Призраки полнолуния", "История призраков для самых маленьких ", "Исторические призраки Шотландии и Оркнейских островов" и свой главный труд "Как сфотографировать эктоплазму" — техническую инструкцию, над которой все потешались.

Я впервые услышал слово "эктоплазма" и спросил у Уинстона, что это такое.

— Эктоплазму, дорогой Джон, не надо путать с протоплазмой, хотя порой эктоплазма может выступать в роли протоплазмы. Эктоплазма — это материализовавшийся призрак, материализовавшийся настолько, что его можно не только увидеть и услышать, но даже пощупать. Мэтр Дашснок убежден, что наш Артур должен обладать всеми свойствами добротной эктоплазмы. Сам понимаешь, как его прельщает мысль о призраке, вооруженном вставной челюстью, и как, напротив, его возмущает подозрение, что над ним могли зло подшутить, могли надуть, чтобы выставить на посмешище.

— Но я-то тут чем могу помочь, дорогой Уинни?

Наследник титула подошел ко мне ближе и с благородным достоинством произнес:

— Ты можешь все, Джон. Поскольку ты без всякого умысла мог стать призраком и так талантливо и успешно его сыграл — кто тебе мешает и в самом деле им стать?

Предложение Уинстона внушило мне некоторую тревогу.

— Вы хотите... — с трудом выдавил я, — гм... чтобы я раза два-три прокричал что-нибудь в коридорах Малвенора? К примеру, "ку-ку" или "ух-ух"?

— Изумительно! Неподражаемо! Но этого мало — надо добавить еще что-нибудь более осязаемое, неопровержимое. Иначе мэтр Дашснок тем более решит, что это я. Словом, ты должен по дружбе выкинуть что-нибудь такое, что окончательно снимет с меня всякие подозрения. Ну же, не корчи такую мину — это не по-дружески.

Я стал вяло убеждать Уинстона в моей готовности исполнить его замысел, и тогда он пустился в подробные объяснения:

— Восемь слуг, которые у нас остались для работы по дому, живут на чердаке главного здания. Там же на втором этаже расположены хозяйские комнаты и комнаты для приезжих гостей — правда, теперь у нас гостей не бывает. Если подняться по большой лестнице от кордегардии на этот самый этаж, ты окажешься в большом бальном или же банкетном зале, от него направо и налево тянутся два длинных коридора, куда выходят прежние парадные покои, в которых теперь и мебели-то почти не осталось. В самой глубине правого коридора находятся турецкие уборные — их оборудовал Мередит Свордфиш, двенадцатый маркиз Малвенор, в 1805 году, в год Трафальгарской битвы, когда маркиз вернулся из Стамбула, где был послом. В глубине левого, западного коридора находится кабинет естественной истории с коллекцией минералов, насекомых и животных — одни в виде чучел, другие заспиртованы. В этот кабинет выходят две комнаты, расположенные одна против другой: с северной стороны комната мэтра Дашснока, с южной — моя. Представляешь?

— Э-э-э... да.

— Обрати внимание, Джон — на втором этаже живем только мы с мэтром Дашноком, а тетя Памела, поскольку она инвалид, живет на первом и тоже одна. Кстати, дверь в ее комнату никогда не запирается, чтобы в случае необходимости можно было бы сразу прийти ей на помощь. Мэтр Дашнок, сведущий в физике и химии, оборудовал систему электрической сигнализации на батарейках, так что старая леди в случае нужды может вызвать слуг. Свою комнату мэтр Дашнок тоже никогда не запирает. Догадываешься почему?

— Э-э-э ... нет.

— Мэтр Дашнок мечтает сфотографировать эктоплазму, поэтому задвижка не должна быть помехой гостю. Артур мог бы усмотреть в такой предосторожности знак недоверия, несовместимый с правилами гостеприимства.

Я начинал все яснее понимать, куда клонит Уинстон, и его затея заранее бросала меня в дрожь.

И вдруг мне пришла в голову простейшая мысль, которая меня немного приободрила.

— Послушайте, Уинни. Если я не ошибаюсь, в темноте или при слабом свете керосиновой лампы фотографировать нельзя.

— В ногах кровати мэтра Дашнока постоянно стоит на треножнике аппарат, американский "фолдинг" с мехами — его объектив направлен на дверь. Чтобы сделать снимок, достаточно нажать грушу на конце гибкого провода, подсоединенного к диафрагме. Провод настолько длинен, что груша всегда под рукой у мэтра Дашнока, когда он работает за письменным столом. А ложась спать, он кладет грушу рядом с ночником, который всегда горит на столике у изголовья. Призрак может войти в любую минуту — нельзя же его упустить! Чтобы запечатлеть на сверхчувствительной пластинке своего "фолдинга" ночные эктоплазмы — а визитеры, несомненно, появятся скорее всего ночью, — мэтр Дашнок снабдил свой аппарат приспособлением, которое сам изобрел, сам смастерил и которое собирается запатентовать: в этой конструкции проявилась вся его сноровка по части ненужного и бессмысленного. Речь идет о стеклянной колбе, наполненной кислородом и активированным углем, который должен абсорбировать все остатки воздуха. В колбу помещена также металлическая лента из горючего металла, который называется магний. Как только шторка диафрагмы открывается, магний вспыхивает от электрической искры (ток поступает через комбинацию батареек) и, сгорая в кислороде, дает короткий и яркий свет — если угодно, вспышку. В принципе такого освещения вполне достаточно, чтобы сфотографировать любую эктоплазму, которая пожелает позировать. Вот уже несколько лет мэтр Дашнок проверяет на ночь свои батарейки и ложится спать в надежде, которая никогда не оправдывается. Единственное, о чем я прошу тебя, Джон, это чтобы ты дал себя сфотографировать. Большого труда это не составит и будет лучшим способом по-джентльменски отблагодарить меня за щедрое гостеприимство, какое я тебе оказываю.

Я молчал, как мышь, пойманная в мышеловку.

А Уинстон продолжал настойчивым и вкрадчивым тоном:

— Представляешь, как будет счастлив мэтр Дашнок, наконец-то вознагражденный за свое героическое терпение и публично восторжество-

вавший над скептиками и насмешниками. И главное, представь, как буду счастлив я: тут уж никто и не вспомнит о латинских сочинениях!

— А вы уверены, Уинни, что нет никакого риска? — спросил я со вздохом.

— Какой риск? Я сам провожу тебя со свечой до двери мэтра Дашснока, поскольку эктоплазме не подобает являться со свечой в руке. И я прикрою твое отступление. Как только ты удерешь и скроешься в кладовой, чтобы подкрепиться, я брошусь в ночной рубашке в комнату к мэтру Дашноку, весь дрожа прижмусь к нему и слабым голосом сообщу, что, выйдя из турецкой уборной, наткнулся в коридоре на зеленоватую эктоплазму Артура. Мой перепуганный вид произведет на мэтра Дашснока тем большее впечатление, что до сих пор я никогда не верил в призраков. Поэтому он в первую очередь займется мной, а не тобой — ему будет стыдно, что он меня напрасно подозревал, и он возрадуется, что я не имею ничего общего с призраком Свордфишей. А ты, когда будешь отступать, пожалуйста, не забудь испустить несколько классических стонов и уханий, чтобы они окончательно подтвердили мою неоспоримую невиновность. Так какой же, по-твоему, тут может быть риск?

— А все-таки, Уинни, мне немного страшно.

— Тебе нечего бояться мэтра Дашснока, потому что он верит в призраков, и тебе нечего бояться призраков, потому что призрак — ТЫ САМ!

— Правда, я и забыл.

— Как ты еще молод! Впрочем, я и сам был таким два года назад.

И, схватив за руку, Уинстон потащил меня за собой.

К моему удивлению, он сначала привел меня наверх, в комнату, где так трагически простился с жизнью Артур. Там Уинстон схватил бильбоке и самым непринужденным образом вручил его мне, хотя я инстинктивно отшатнулся.

— Отец купил это бильбоке за три гинеи на барахолке в Абердине, чтобы придать правдоподобия воскресным экскурсиям, которые очень поблекли оттого, что вся ценная обстановка была распродана. А подлинное бильбоке сгорело во время пожара в 1635 году. Очень важно, Джон, чтобы на фотографии у тебя была в руках эта игрушка — она подтвердит твою подлинность. Но только не забудь принести ее обратно. Ведь это гвоздь осмотра!

Спускаясь по лестнице с бильбоке в руках, я спросил у Уинстона, почему лорд Сесил так дорожит этими экскурсиями. На это Уинстон ответил мне печально и с некоторым смущением:

— Знай же, мой маленький Джон, что, открывая для публичных посещений такой замок, как Малвенор, прославленный в истории Шотландии, мы получаем право на субсидию, которая позволяет нам кое-как ремонтировать крышу. А на деньги, получаемые за вход, мы содержим прислугу. Отца уязвляет такое положение, но что делать? Нужда свой закон пишет.

Я уже готов был покинуть мое убежище, башню, ставшую для меня и спальней и столовой, как вдруг попятился:

— Нет, честное слово, не могу. Дорогой Уинни, потребуйте от меня чего-нибудь другого. Чего угодно, но только не этого! Да разве же привидения позволяют, чтобы их фотографировали?

— Кто-нибудь всегда бывает первым... — Поднеся свечу к моему лицу, Уинстон вгляделся в меня критическим взглядом. — Надо подкрепить

твой дух, как когда-то подкрепляли свой солдаты Веллингтона перед битвой при Ватерлоо, где, кстати, лил проливной дождь, что явствует из самого названия этого места. Подкрепляющее имеется в погребе у капитана Мэллори...

Винтовая лестница спускалась вниз в сырой сводчатый подвал — неожиданная встреча с Уинстоном помешала мне добраться до него раньше. Здесь стояли бочонки с пивом для повседневного употребления; в ящиках с перегородками, отдыхая после долгого странствия, лежали на боку многочисленные винные бутылки́, а еще тут были ящики с ликерами, виски и марочным пивом.

— Виски — это для призраков-стариканов, — со смехом успокоил меня Уинстон. — Но в этой коробке есть кое-что более для тебя подходящее. — И он извлек из коробки, уже вскрытой, маленькую бутылочку. — Эту жидкость мы можем потреблять без страха: Джеймс отдает ей должное — на это мистрис Биггот закрывает глаза. Кстати, эта жидкость полезна для здоровья. Видишь, на этикетке написано: "Guiness is good for you!"[1] Так что спорить не о чем!

Я выдул прямо из горлышка первую бутылку "Гинесса" — она показалась мне горькой. Вторая понравилась мне больше.

— Тебе когда-нибудь приходилось пить пиво, Джон?

— Очень редко.

— Тогда двух бутылок довольно.

После двух бутылок "Гинесса" почти на пустой желудок, я почувствовал, что ко мне возвращается уверенность, и, чтобы поскорей покончить с делом, сам потребовал, чтобы мы отправились к фотографу.

Большое испытание ради маленькой фотографии

Несмотря на вновь обретенную решимость, у подножия идущей от кордегардии величавой лестницы меня охватила минутная слабость. Второй, еще более сильный ее приступ я ощутил, проходя по кабинету естественной истории, где птицы замерли в своем полете, млекопитающие застыли на бегу, где изогнулись ящерицы, свернулись в колбах змеи и на булавках распростерли крылышки распятые бабочки. А вдруг по мановению фотографа все эти твари оживут и бросятся за мной омерзительной стаей?

Наконец с помощью Уинстона, который то подталкивал меня, то тянул за руку, я добрался до двери мэтра Дашснока.

— Должен тебя предупредить, — зашептал тут Уинстон, — что сон у мэтра Дашснока очень крепкий, а это, конечно, серьезная помеха для охотника за призраками. Вот почему полгода назад он обзавелся собачонкой, таксой, которую зовут Юпитер. Эта такса спит под кроватью хозяина и будит его яростным лаем, как только ей почудится что-нибудь необычное. Таким образом мэтр Дашснок уже дважды делал снимки при вспышке магния — в первый раз на фотографии получился сквозняк, во

1. "Гинесс — это то, что вам нужно" (*англ.*).

второй раз сам лающий Юпитер. Но ты не бойся таксы — это не собака, это будильник.

— А этот Юпитер, он и вправду маленький? — прошептал я.

— Да это же написано на двери!

Уинстон поднял свечу и осветил мраморную дощечку, на которой читалась старинная надпись:

CAVE CANEM-CANEM MATERCULAE SUAE.

Пришлось мне признаться, что я не знаю латыни, и тогда Уинстон по доброте душевной перевел:

— Это означает: "Берегись любимого песика " или "Берегись любимой собачонки". Мэтр Дашснок никак не может решить, как правильнее — "собачонка" или "песик". Он купил эту мраморную дощечку в Помпеях, когда был наставником детей лорда Билвизи, купил за кусок хлеба, так что я сомневаюсь насчет ее подлинности. Но зато доподлинно знаю, что "любимая собачонка" или "любимый песик" и в самом деле крошечный.

После чего, обняв меня, Уинстон шепнул мне в самое ухо:

— Смелее, Джон! Macte animo! — как любит говорить мэтр Дашснок. Я никогда не забуду, что ты для меня делаешь. Отныне мы друзья до гроба.

И Уинстон со свечой исчез в коридоре, оставив меня в темноте — только из-под двери мэтра Дашснока сочился слабый свет, как видно и впрямь от ночника, а тусклое мерцание в другом конце коридора указывало мне, в каком направлении я могу спастись бегством.

Сжимая в правой руке бильбоке, левой я тихонько приоткрыл дверь, взывая к милосердию Божиему. Мне предстояло встретиться лицом к лицу с тем, кто всех страшнее для подростка, — с учителем, привыкшим к ремню: в детстве пороли его самого и он был жертвой, в зрелом возрасте он сделался палачом и стал пороть других.

Палач Уинстона в ночном колпаке с помпоном, который он напялил на себя несмотря на жару, лежал на спине и глухо храпел — ночник освещал его профиль. Справа от кровати на стуле чернел костюм учителя, залоснившийся от старости, и белели длинные рваные подштанники. Слева на прикроватном столике рядом с ночником и очками в самом деле красовалась вышеописанная груша. А в изножье кровати своим объективом, похожим на глаз громадного зверя, на меня уставился фотоаппарат "фолдинг".

Я сделал три шага вперед и встал в выигрышную позу: бильбоке поднято на должную высоту, пальцы сжимают эфес шпаги, перо на шапочке воинственно торчит.

Если вы спросите меня, дорогие мои внуки, как я мог знать, что перо на моей шляпе стоит торчком, когда упомянутая шапочка была у меня на голове, я отвечу вам, что рассказчик имеет право иногда молоть вздор. Впрочем, никто бы несуразицы не заметил, если бы в силу своей редкостной честности рассказчик сам не обратил на нее внимание почтеннейшей публики, рассчитывая на снисхождение.

Но напрасны были мои старания — сколько я ни позировал, все оставалось спокойным. Если такса не проснется, не проснется и мэтр Дашснок. Но если собаку не мог разбудить храп мэтра Дашснока, стало быть, зверюга туга на ухо.

Отчаявшись, я стал звать собаку:

— Юпитер! Фью-фью-фью! Посмотри, кто пришел.

Никакого впечатления. Я насвистывал все громче и громче — меня вдохновляла нерушимая дружба Уинстона и его вера в мою храбрость. Все напрасно.

Я не знал, что еще предпринять. И вдруг из-под кровати, где Юпитер продолжал осторожно прятаться, раздался громкий истерический лай. Никто не лает так упоенно и заливисто, как маленькие собачонки, — ведь ни на что другое им не хватает храбрости.

Я своего добился, и даже с лихвой: пронзительный лай поверг меня в такой ужас, что мне пришлось призвать на помощь всю свою решимость, чтобы не дать стрекача. Тем более что сцена оживала с невероятной быстротой — если не за счет собаки, то за счет ее хозяина.

Внезапно разбуженный храпун действовал как хорошо смазанная машина. Похоже, ночной лай его собачонки вызвал в нем краткую серию рефлекторных движений, как в опытах профессора Павлова, с той только разницей, что в Малвеноре отделение слюны вызывал не человек у собаки, а собака у человека, приманивая его не кормежкой, а эктоплазмой...

Первый импульс: приподняться на кровати и занять позу внимательного наблюдателя.

Второй импульс: водрузить на нос очки, чтобы лучше видеть.

Третий импульс: на всякий случай схватить грушу.

Все эти движения были проделаны в считанные секунды. Если учитель и спал глубоким сном, то проснулся он в мгновение ока.

Мгновенное воскрешение мэтра Дашснока снова повергло меня в шок, к тому же свое действие начало оказывать выпитое пиво. От шока в соединении с пивом на меня напала икота. Икота тем более ужасная, что я имел основания сомневаться, совместима ли она с моей ролью. И чем больше я ужасался, тем судорожнее икал. Совершенно потеряв голову, я прирос к месту.

Мэтр Дашснок со своей стороны являл собой весьма странное зрелище.

Сначала на его гнусной физиономии при виде меня отразилось глубочайшее изумление. Ты можешь каждый вечер поджидать эктоплазму, лезть из кожи вон, чтобы заманить ее в ловушку, и все же, увидев ее, ты невольно обомлеешь. Вера редко бывает настолько глубокой, как это кажется на первый взгляд.

Потом уродливая физиономия учителя осветилась восторгом и почти похорошела. Специалисты, не говоря уже о невеждах, уверяли, что мэтру Дашснoку никогда не запечатлеть призрака на светочувствительной пластинке своего аппарата, — и вот этот призрак наконец к нему явился, причем призрак объемный, отчетливый, предупредительный, первоклассная эктоплазма, и к тому же на редкость услужливая. Можно было надеяться, что снимок удастся на славу.

К тому же призрак, хлебнувший лишку, наверняка менее прозрачен, чем призрак с пустым желудком. Такая консистенция эктоплазмы позволит произвести более глубокое исследование.

Но потом восторг учителя сменился беспокойством, тревогой, смятением, и, продолжая икать, я заметил, как на лице мэтра Дашснока проступает испуг.

Быть может, ему передался мой собственный страх. Но скорее всего его напугала моя икота.

Мэтр Дашснок, без сомнения, вычитал из книг, усвоил и запомнил множество столь же достоверных, сколь удивительных подробностей, касающихся призраков, эктоплазм, оборотней, гномов, домовых и прочей нечистой силы, и наверняка старался предугадать, каким будет первое появление ее представителя, которого он, если повезет, быть может, первым в мире запечатлеет на фотоснимке. Обосновавшись в Малвеноре, он, конечно же, заранее рисовал в своем воображении, как будут выглядеть некоторые типические эктоплазмы: Артур, закутанный в простыню, с черными провалами вместо глаз и традиционной цепью; Артур-скелет с прыгающими челюстями, которые издают соответствующий лязг; Артур образца елизаветинской эпохи с брыжами вокруг шеи и рапирой в сердце.

Но Артур в башмаках с загнутыми носами, Артур в костюме XV века, на сто лет опережающем ожидаемую программу, и главное, главное, Артур, сотрясаемый икотой, — такой Артур опрокидывал все возможные предвидения и вызывал неодолимое душевное смятение.

В начале нашего века, дорогие мои внуки, люди верили в здравый смысл и, желая следовать ему в повседневной жизни, тем более ждали его проявлений от призраков.

Чем сильнее я икал, тем больше искажались черты мэтра Дашснока. Такса продолжала надсаживаться лаем, а ее хозяина, столкнувшегося с загробным пьянством, охватывал незапланированный ужас. Выходит, все научные данные о призраках, собранные мэтром Дашноком, оказались вздором? Неужели от него утаили важные особенности эктоплазм?

Наконец нервы мэтра Дашснока не выдержали, он забился под одеяло, и его жалобные вопли слились с визгом его собаки.

Нажать на грушу он забыл!

Я в полном смысле слова остолбенел. Что скажет Уинстон?

Выбора у меня не было. Нетвердой поступью добрел я до груши, схватил ее, снова стал перед объективом и, стиснув правой рукой мое подержанное бильбоке, другой рукой нажал пусковой механизм, сначала инстинктивно зажмурившись.

Сквозь опущенные веки мои глаза ослепила белая молния. Я выпустил из рук грушу и дал дёру, даже не позаботившись закрыть за собой дверь.

Вырвав свечу из рук Уинстона, я шепнул ему на бегу:

— Все вышло не так.

— То есть как это? Что это значит?

— Он так перепугался, что мне пришлось самому себя сфотографировать!

Дребезжащий голос мэтра Дашснока, взывающего о помощи, дал нам понять, что наш разговор слишком затянулся. И я предоставил Уинстону самому выпутываться как знает из создавшегося положения.

Скатываясь по первым ступеням лестницы так быстро, как только мог, чтобы при этом не задуть свечу, я вдруг услышал за своей спиной отчаянные вопли Уинстона:

— На помощь, мэтр Дашснок! Я только что видел Артура с громадной шпагой! Помогите! На помощь!

Крики Уинстона напомнили мне его просьбу, и, продолжая спускаться по лестнице, я в свою очередь несколько раз прокричал “У–ух! У–ух!

У–ух!" настолько выразительно, что напугал сам себя и мое выступление закончилось полузадушенным стоном.

Можно себе представить, какое живописное зрелище, наверно, являли взору Юпитера дрожащие в объятиях друг у друга мэтр Дашснок и Уинстон!

Но, пробегая по кухне, я вдруг почувствовал, что кто-то следует за мной, — это оказалась такса!

Я остановился — такса перестала семенить. Я пустился дальше — она за мной.

Собака была мне здесь совершенно некстати. Если она побежит за мной до самой башни, она потом приведет туда других. Я попытался ее напугать. Но таксы призраков не боятся — они ведь не знают, что такое призрак. С той минуты, как Юпитер проснулся, он сразу учуял человека! И мои попытки нагнать на него страху привели только к тому, что пес устроил настоящий концерт, захлебываясь яростным лаем. Положение с каждой минутой ухудшалось.

И тут я увидел в буфетной ножку индейки, обглоданную почти до кости, и бросил ее собаке. Но даже зажав в пасти кость, такса продолжала преследовать меня по пятам. На редкость любознательная собака!

А между тем до меня стали долетать тревожные звуки. Мы с Уинстоном и мэтром Дашсноком подняли на ноги весь замок.

Доконал меня голос леди Памелы, чья комната была отделена от кухни только шириной столовой.

— Что случилось? Я слышала голос Артура! Я его узнала! Артур, где вы? Почему вы прячетесь? Артур! У-ух, у-ух!

Еще минута — и все бросятся к леди Памеле. Надо было срочно запереть куда-нибудь таксу или привязать ее. Но чем?

Я потерял голову. Шум приближался. В двух шагах от меня собака грызла кость, на которой обнаружила остатки лакомого мяса. Изменив тактику и шепча всякие ласковые слова, я незаметно подкрался к таксе, а потом бросился на нее и, по счастью, ухватил за ошейник. И недолго думая запер разъяренную собаку, так и не выпустившую из пасти кость, в буфетной.

Поспешно унося ноги, я подумал, что Юпитер вскоре созовет обитателей замка в кухню и мой ужин в кладовой снова придется отложить до лучших времен. Как тут было не отчаяться! Я умирал с голоду.

Искушение было слишком велико — надо захватить с собой хоть что-нибудь, чем можно заморить червячка. Я открыл буфетную, с трудом отнял кость у собаки и снова запер таксу под ее яростный визг.

Уже давно пора было укрыться на чердаке.

Там я с горечью принялся обгладывать кость. Хотя моя голова была отуманена пивными парами, у меня все-таки хватило здравого смысла, чтобы оценить всю опасность положения. Вот уже вторую ночь проводил я на почти пустой желудок в этой тюрьме, для одних позолоченной, для других лишившейся даже своего серебра, оспаривая пропитание у собаки, с минуту на минуту ожидая катастрофы. Сама дружба Уинстона — отнюдь, впрочем, не бескорыстная — была чревата еще дополнительной опасностью. Я был пленником замка и зависел от Уинстона! Как далеко еще до следующего воскресенья, когда я смогу убежать!

Раздираемый жестокими страхами, я улегся спать в короб из ивовых прутьев, который, как это ни смешно, внушал мне нелепое чувство безопасности.

Лорд Сесил охотится на призрака

Утром все, казалось, успокоилось, и я решил водворить бильбоке на его место, в шкатулку. При ярком свете дня портрет Артура и его пони, написанный предшественником Ван Дейка, выглядел совсем по-другому. Лицо мальчика казалось более веселым, взгляд пони — более оживленным.

Немного приободрившись, я спустился ниже и уселся на облюбованную мной ступеньку, чтобы еще разок послушать, о чем говорится в кухне. Снова наступил час завтрака с его привычными звуками, с его аппетитными запахами.

— ...Помои вынесешь попозже, Китти, — послышался громкий голос мистрис Биггот.

— Но почему?

— Потому что двое ворот замка заперты на ключ до полудня, а ключи — в кармане у Джеймса.

— Чего ради, мистрис Биггот?

— Прихоть лорда Сесила. Его светлость вообразил, будто призрак, которого, пренебрегая страшной опасностью, благодаря своему таланту и учености сумел сфотографировать мэтр Дашснок, на самом деле — призрак во плоти и крови.

— Но у призраков нет плоти и крови.

— Не стану с тобой спорить.

— Признаюсь, я ничего не понимаю, мистрис Биггот.

— Его лордство, Китти, после долгих размышлений пришел к выводу, что в минувшее воскресенье в Малвенор вместе с экскурсантами пробрался какой-то мальчишка, устроивший себе здесь пристанище. Если хочешь, своего рода squatter.

— Но это же чепуха! Такой мальчишка прежде всего постарался бы спрятаться. Дал бы он себя фотографировать! Да еще в образе призрака!

— Это совершенно очевидно, милая Китти. Но попробуй втолковать это лорду Сесилу. Хотела бы я услышать, что он тебе скажет! А пока что решено: как только Его светлость закончит свой туалет и все позавтракают, Малвенор обыщут сверху донизу, проверят каждый уголок. Мало того: Макфарлейн, Гедеон, Макинтош и все работающие сегодня садовники будут нести караул вокруг дома, наблюдая за крышей, чтобы наш squatter не вздумал укрыться там во время поисков. Лорд Сесил желает добыть призрака, по собственному выражению Его светлости, "живым или мертвым". Представляешь?

Кто как не я себе это представлял!

У меня не хватило духу слушать дальше, я поспешил на чердак и там в отчаянии стал ломать себе голову — где найти надежный тайник. По меньшей мере час прошел в неописуемых муках. Если меня схватят, лорд Сесил и мэтр Дашснок, хотя и по разным причинам, учинят надо мной одну и ту же расправу, и притом самую варварскую. И Уинстону ме-

ня не вызволить — ему придется попотеть, чтобы самому избежать порки.

Истощив свое воображение и так ничего и не придумав, я упал на колени и, молитвенно сложив руки, обратил взоры к небу. И тут мой взгляд приковала к себе громадная балка в двадцати футах над моей головой. Не это ли ответ на мою молитву?

В правом углу эта балка пересекалась с другой балкой таких же размеров — дубовая крестовина и поддерживала всю конструкцию крыши. Если бы мне удалось туда взобраться... Но как?

Стена, когда-то покрытая штукатуркой, была слишком гладкой — по ней не вскарабкаешься. А лестницы или какой-нибудь другой подходящей мебели на чердаке не было.

И тут, слоняясь по чердаку, я увидел порванные паруса, канаты и другие корабельные снасти — свидетельства того времени, когда хозяева Малвенора плавали по озеру на яхте. Теперь оставалось только соединить канаты с балками, а я надеялся, что моим преследователям такая мысль в голову не придет.

Я привязал к концу каната мои старые ботинки, и после многих бесплодных попыток мне удалось перебросить этот снаряд через одну из балок. Закрепив на балке канат скользящим узлом, я смогу без труда взобраться по нему наверх.

О том, чтобы оставить на полу мой наряд трубадура, который сразу же выдал бы мое присутствие, не могло быть и речи. Но зато разбросать мои собственные лохмотья, башмаки и ненужное белье среди такого же старого хлама можно было, ничем не рискуя. Оставался вопрос, как быть с индюшачьей костью, такой же уликой, как мое облачение XV века.

Поразмыслив, я взобрался по канату, сжимая кость в зубах, — впрочем, я обглодал ее накануне так, как это могло бы сделать целое полчище муравьев. Устроившись поудобнее на балке, я развязал скользящую петлю и спрятал канат и кость в углублении между балками. Потом вытянулся у стены, там, где балки казались особенно широкими, а сумрак особенно густым. Первый раз в жизни был какой-то прок от моей худобы!

Ни жив ни мертв стал я ждать решения своей участи. Все ли предосторожности я принял, не упустил ли чего-нибудь? Доберется ли лорд Сесил со своей рыщущей сворой до чердака? А вдруг, уверенный в том, что меня все равно поймают, Уинстон выдаст себя, а заодно и меня? От всех этих вопросов меня бросало в дрожь.

Солнце близилось к зениту, свет постепенно затоплял весь чердак, и я начал задыхаться от жары. Ближе к полудню вражеское войско ворвалось в башню, шум обыска приближался, поднимаясь с этажа на этаж, и вдруг, перекрывая топот многочисленных ног, на чердаке загремел голос самого лорда Сесила:

— В других местах его нет, в этом мы убедились. Стало быть, он здесь. Это ясно как дважды два. Ищите хорошенько! Осмотрите все сундуки, всю мебель, перетряхните всю одежду. Да не забудьте паруса нашего "Эльсинора". Надо положить этому конец. Ведь это скандал! Видана ли подобная наглость!

Ярость лорда Сесила нагнала на меня еще пущего страха.

Прошло четверть часа, которые показались мне вечностью, потом я услышал негромкое покашливание, и голос дворецкого произнес:

— Вы сами убедились, Ваша светлость, — маленького негодяя здесь нет.

— Гм, да, к сожалению, убедился. Но где же он в таком случае?

Воцарилось молчание. Его нарушил лорд Сесил:

— Что вы там рассматриваете, Джеймс?

— Рассматриваю верхние балки, Ваша светлость. Порочный дьяволенок вполне мог укрыться в этом убежище под крышей.

— Для этого у него должна была быть лестница. Если вы сумеете поднять по винтовым ступеням приставную лестницу в двадцать пять футов высотой, я разрешаю вам взобраться по ней и поглядеть. Но может, у вашего дьяволенка есть крылья, Джеймс?

Сердце, замершее у меня в груди, стало биться опять.

— Ваша светлость совершенно правы. Я сказал глупость. Но я просто не знаю, что сказать.

— Ну так и молчите, черт возьми.

Вновь воцарилась тишина, а потом маркиз Малвенор загремел еще более гневно:

— Хотелось бы мне прояснить еще одну загадку. Если мы не нашли плута, хоть и перевернули все вверх дном, мы, разрази меня гром, должны были найти хотя бы кусок индейки, который он своровал! Великолепное индюшачье бедро с большим куском мяса на нем не может вот так взять и испариться! Хотя бы кость-то уж должна была остаться. Знаю, что в буфетной оказалось одной таксой больше и одной костью меньше, чем можно было ждать, но пес не мог сожрать кость — она вышла бы из него спереди или сзади.

Робкий голос поспешил подтвердить:

— Ваша светлость тысячу раз правы. Мой Юпитер на это не способен. Я отвечаю за него, как за самого себя, Ваше лордство.

— Поскольку вы отвечаете за своего пса, Дашснок, будьте любезны объяснить мне, что он делал в час пятнадцать ночи в буфетной? Там ли должна находиться такса, принадлежащая наставнику? Canem-canem materculae suae?

Захваченный врасплох этим довольно-таки безжалостным нападением, мэтр Дашснок начал запинаться:

— С... с некоторых пор... в замке Малвенор... происходят... странные вещи, Ваша светлость...

— Спасибо, что сообщили мне новость!

— История с яблоком леди Памелы, странное перемещение ее кресла на колесиках, пленение Юпитера и сопутствующее ему исчезновение индюшачьей кости, страшные крики, которые мы услышали после разоблачительной вспышки магния... У всего этого должна быть общая причина... общее объяснение...

— Избавьте меня от переливаний из пустого в порожнее! Мне слишком хорошо известны ваши теории. Я поверю в них, когда призраки начнут есть индюшатину, а случится это после дождичка в четверг!

Хотя мэтра Дашснока попросили не высказываться на щекотливую тему, у него хватило храбрости возразить. То была храбрость малых сих, побежденных, которые отстаивают права своей совести и своей науки перед лицом властей предержащих. Мэтр Дашснок посвятил оккультным наукам лучшие минуты своей жизни, и никто не мог заставить его замолчать!

Учтивым, мягким и сдержанным тоном, тоном, рассчитанным на ведение поучительных диалогов, в котором, однако, слышалась нерушимая и благородная твердость, мэтр Дашснок заметил:

— Индюшачья кость могла исчезнуть путем левитации, Ваше лордство.

Любопытство толкнуло лорда Сесила поддержать дискуссию.

— Левитация? Что вы имеете в виду ?

— Левитация — от латинского levis, что значит "легкий".

— Я изучал латынь. Спасибо, мэтр Дашснок.

— Простите, Ваша светлость. Мое объяснение, конечно же, предназначалось Уинстону... Так вот, левитация — это когда предмет двигается сам собой, под воздействием духов, демонов, медиумов или по неизвестной причине. Подобные случаи исследованы множеством специалистов и подтверждены многочисленными свидетельствами надежных очевидцев.

— Veritatem similiter ludificant bona fides aut mala fides!

— Уинстон, переведите то, что сказал ваш батюшка на таком безукоризненном языке.

— Гм... Как добросовестные, так и недобросовестные люди равно пренебрегают истиной.

— Правильно. Так вот, я ex bona fide, то есть совершенно добросовестно, хотел сказать, что левитация бывает горизонтальная, вертикальная, круговая и по косой... Перемещение кресла леди Памелы является примером поперечной левитации. А...

— А прыжок вашего Юпитера в буфетную? Это что, тоже пример левитации?

— Надеюсь, Ваше лордство.

— А странный призрак без головы, который сам себя фотографирует с грушей в руке? Вы хотите, чтобы я поверил, будто это настоящий призрак?

— Я уже объяснял Вашему лордству, я не виноват, что произошел небольшой сдвиг кадра. Эктоплазма лорда Артура действовала по собственному усмотрению, с той особой непринужденностью, какая свойственна таким привидениям. Нынешней ночью я без промедлений поспешил проявить этот уникальный снимок и сам был страшно удивлен.

Я был удивлен не меньше мэтра Дашснока. Второпях я, как видно, слишком близко подошел к объективу. Впрочем, новость меня не огорчила. Если бы на снимке отчетливо получилась моя физиономия, Джеймс мог бы меня узнать, и в воскресенье, когда я намеревался улизнуть из замка, наша встреча освежила бы его память. Случай помог мне избежать величайшей неосторожности, о которой мы с Уинстоном не подумали.

И тут лорд Сесил высказал довольно здравое соображение.

— Хорошо, мэтр Дашснок. Поскольку вы считаете себя знатоком так называемых оккультных наук, скажите, пожалуйста, где вы видели, чтобы призрак внезапно повел себя столь экстравагантно, как наш Артур, который в течение многих поколений держался с отменной скромностью?

На что мэтр Дашснок отвечал по меньшей мере столь же рассудительно:

— Наука, Ваше лордство, изучает прошлое, изучает то, что уже произошло. А не будущее и те неожиданности, которые оно способно пре-

поднести. Кто может предвидеть, какие фантазии придут в голову призраку в эпоху всеобщей модернизации?

Уинстон, который, очевидно, понял, что беседа принимает благоприятный для нас с ним оборот, решил внести в нее свою маленькую лепту.

— Мне кажется, дорогой батюшка, что, если бы плут, которого вы себе вообразили, съел бы индюшачью кость, он бы ею подавился. И тогда за неимением кости мы обнаружили бы труп.

— Логично, Уинстон. Но поскольку во всей этой истории нет ни капли логики, я спрашиваю себя: куда нас может завести твоя логика? Должен, однако, воздать тебе должное в одном отношении: во всем Малвеноре ты единственный способен сожрать бедро индюшки вместе с костью не подавившись и не заболев.

Кто-то приглушенно фыркнул.

А Уинстон отважился добавить самым лицемерным и безобидным тоном:

— Я просто хотел дать понять, что, если плутишка невидим, это значит, что его просто не существует. И единственный настоящий плут — это негодник Артур. Похоже, что факты подтверждают мнение моего дорогого учителя, мэтра Дашснока. А не в том ли состоит главное достоинство британцев и шотландцев, что они всегда опираются на факты? Вы знаете, дорогой батюшка, как при всем моем глубоком почтении к учености мэтра Дашснока мне не хотелось соглашаться с его теориями, но теперь признаюсь — я поколеблен.

— Спасибо, что ты так решительно поддержал меня, Уинстон. Кажется, скоро во всем Малвеноре только у меня одного и останется голова на плечах. Призрак и тот ее потерял! Но при том, что здесь у нас происходит, хотел бы я знать, долго ли мне самому удастся сохранять здравый рассудок. Хватит дискуссий об эктоплазмах и домашней птице! Идемте обедать. Леди Памела, наверно, волнуется...

Караван двинулся к лестнице, и шаги замерли вдали...

Я был спасен! Но надолго ли?

Уинстон начинает верить в призраков

Я натерпелся такого страху, что не сразу решился покинуть мое тесное и неудобное убежище. То и дело раздавался какой-нибудь шум, и меня бросало в жар и в холод. Поэтому я все оттягивал решение спуститься и просидел наверху несколько часов.

Я был вознагражден за свою осторожность. Солнце уже садилось, когда крадущиеся шаги вывели меня из дремотного состояния, в котором я пребывал на своей верхотуре, под раскаленной черепицей. То были шаги одинокого гостя, который предпринял розыски на свой страх и риск и то и дело горестно вздыхал. Наконец беспокойство гостя дошло до предела, и он, как видно не отдавая себе в этом отчета, стал разговаривать сам с собой. Я с громадным облегчением узнал голос Уинстона.

— Но куда же он все-таки подевался? Он должен быть здесь, на чердаке. А вдруг он провалился в какую-нибудь дыру и потерял сознание? Но никаких дыр тут нет. Ох и дурак же я был, что поверил этому хромому

бродяжке! И надо же было ему стянуть индюшачью ножку! И собаку запер в буфетной! И сфотографировал сам себя, да еще без головы! Такого недотепу в два счета поймают. Не раньше, так позже. В хорошую я вляпался историю! И все ради латинского сочинения. Ну и болван же я!

Эти рассуждения меня огорчили, но не слишком. Мне не впервой было разочаровываться, да и в дальнейшем меня еще не раз разочаровывали мои разнообразные друзья. К большинству наших друзей применимо одно общее правило — не стоит подслушивать, когда они говорят сами с собой.

Но я не мог удержаться, чтобы не схитрить и не воспользоваться своим преимуществом — тем, что я находился наверху и был невидимкой: я начал тихонько завывать, но в этой просторной круглой комнате звуки раздавались как бы ниоткуда и отовсюду.

Довольный тем, что нашел меня, и смущенный вырвавшимися у него словами, Уинстон отозвался дрогнувшим голосом:

— Это ты, Джон? Ну слава богу!

— Уу-уу.

— Ладно, я понял. Вылезай из своего тайника.

— Уу-уу.

— Слушай, Джон, это вовсе не смешно.

— Уу-уу.

— Нам теперь не до шуток, Джон.

— Уу-уу-уу.

— Вылезай же наконец.

— Уу-уу-уу.

— Джон, это ты?

— Уу-уу-уу.

— Ты это или нет?

— Уу-уу-уу-уу.

— Не старайся, я не боюсь.

— Уу-уу-уу-уу.

— Меня этим не напугаешь.

— Уу-уу-уу-уу-уу.

— Кто это?

— Уу-уу-уу-уу-уу-уу.

— Э-э... есть там... кто-то?

— Уу-уу-уу-уу-уу-уу.

Своими довольно однообразными, но выразительными возгласами я заставил недоверчивого Уинстона зауважать оккультные науки. Впрочем, эти науки весьма неопределенны, так что лучше их обсуждать невнятными словами. А Уинстон как раз и дошел до нужного состояния и очень забавно лепетал что-то невразумительное.

Я же, продолжая использовать свое преимущество, еле слышно прошептал:

— Это Артур.

— К-к-кто?

— Артур. Негодник Артур. Уу-уу.

— Н-не-г-го... г-год-д...

— Вы сами недавно это сказали.

— А вы при этом были?

— Я здесь всегда. Но почему вы назвали меня негодником, Уинстон? Что я вам сделал?

— Да н-нет... ничего... Я... я просто так сказал...

— Вы думали, я глухой? Станьте на колени, Уинстон, и просите прощения. Иначе вы исчезнете, как Джон, которого я с собой прихватил.

Уинстона вдруг озарило:

— Джон! Да это же ты! Шутник несчастный!

— Уу-уу-уу. Не усугубляйте своей вины. Придется вам разделить участь Джона...

— Ой, нет, нет, ни за что!

Озарение Уинстона было недолгим.

— Ну раз вы не хотите отправиться за ним, я вам его пришлю.

— Да, да, пожалуйста. Лучше так!

— Тогда ступайте в мою комнату и возьмите в руки мое бильбоке. Иначе я отправлю Джона к лорду Сесилу.

— Лечу, Артур!

— Ваше лордство!

— Лечу, Ва... Ваше лордство! Простите меня!

— Простите меня, Ваше лордство!

— Да, конечно. Конечно. До свидания...

Уинстон так торопился поскорее убраться с чердака, что сам не понимал, что говорит.

Мне очень хотелось предстать наконец перед Уинстоном, чтобы насладиться смущением этого эгоиста. Но суровая школа мистера Баунти научила меня, что не следует задевать понапрасну чужое самолюбие. Незадачливым противникам всегда надо оставлять лазейку. Как говорят китайцы, "надо дать им возможность сохранить лицо". В 1927 году в замке Зябких ласточек в Гонконге, принадлежавшем миллионеру из кантона У-чи Чи-тай, мне пришлось удостовериться в справедливости этого наблюдения. Но это уже другая история, как говаривал покойный Киплинг...

Я спустился на пол с помощью веревки, которую на всякий случай не отвязал от балки.

От переживаний и от жары я так вспотел в костюме трубадура, что почувствовал непреодолимое желание заменить его на одежду более подходящую к сезону — римскую тунику, отороченную красной каймой, которая роскошно выделялась на белизне легкой ткани, открытые сандалии и позолоченный лавровый венок.

И поспешил на свидание с Уинстоном, не сомневаясь в том, что он поджидает меня в комнате Артура.

По виду Уинстона было заметно, что он очень нервничает: он положил руку на бильбоке, явно не зная, что с ним делать, и был похож на жирную курицу, которая вдруг увидела нож.

Чтобы избежать щекотливых объяснений или хотя бы их оттянуть, я сам начал с вопроса:

— Что вы тут делаете с этим бильбоке, Уинни?

— Но... откуда ты узнал, что я здесь?

— Да просто услышал ваши шаги, которые меня разбудили.

— Интересно! Где же это ты спал?

— Внизу, на мешке с зерном.

— Что?

— Ну да, на чердаке было так жарко, что я спустился поспать двумя этажами ниже. А что вас так удивляет?

Уинстону удалось на мгновение поменяться со мной ролями и начать меня допрашивать, но мои ответы лишь повергли его в полнейшую растерянность.

— Постой, Джон, постой. По-моему, я грежу. Кладовую, где хранятся зерно и мука и откуда ты якобы явился, обитатели замка во главе с моим отцом в моем присутствии перерыли снизу доверху. Я сам видел, что тебя там не было.

Я в свою очередь изобразил полнейшее изумление:

— Что мне на это сказать, Уинни? Я спал... А чего ради обыскивали кладовую?

— Как это чего ради? Да из-за всех этих твоих выходок! Иначе и быть не могло. Мой отец и Джеймс не так наивны, как мэтр Дашснок. Не станешь же ты уверять, будто не заметил, какая суматоха творится в замке?

— Я спал... Очевидно, после всего того, что я пережил у фотографа, я спал очень крепко.

— Нечего мне зубы заговаривать! Не втирай мне очки.

Я ломал себе голову, что бы такое придумать, чтобы не признаваться в том, что я прятался на балке.

— Может, это "Гинесс" превратил меня в невидимку?

— Уверяю тебя, еще никогда ни на кого пиво не оказывало такого действия.

— А, знаю! Это вспышка магния. Наверняка все дело в ней.

— Ты смеешься надо мной, Джон! Хотел бы я знать почему.

— А что вам известно, Уинни, о свойствах раскаленного магния? Может, и в самом деле мощная вспышка стирает на какое-то время контуры и краски? Наверно, я встал слишком близко к объективу... А правда, что вы знаете об этом таинственном магнии?

— То, что рассказывал мэтр Дашснок. Это редкий металл, пока еще мало изученный и редко используемый.

— Вот видите!

— Вообще-то и впрямь мэтр Дашснок — один из первых, а может, и самый первый, кто использовал магний для ночного фотографирования. Когда хочешь быть новатором, а культуры не хватает, всегда возможны неожиданности.

— Вот именно!

Уинстон, несомненно, начал мне верить. Тем более что научное объяснение, очевидно, показалось ему убедительней оккультного. В 1900 году в науку верили все.

— Но все же, милый Джон, когда ты вышел от мэтра Дашснока, ты не был невидимкой.

— Наверно, это то, что называется замедленным действием.

— Гм... может быть. Пожалуй. К тому же в кладовой слуги наверняка перетаскивали с места на места не все мешки с зерном.

— Конечно!

Уинни хлопнул себя по лбу:

— Я кое-что вспомнил, Джон. Представь, однажды мэтр Дашснок случайно по ошибке сфотографировал свою собаку. И она потом пропала на целые сутки. Он тогда очень беспокоился.

— Ух ты!

— Это неоспоримый факт, Джон. Приходится его признать.

— А вы не думаете, что собака просто испугалась вспышки?

— Нет, нет! Это было действие магния. Теперь я готов спорить на что угодно. А в общем, нам на редкость повезло. Еще немного... Но твои нелепые промахи обернулись даже к нашей выгоде, поскольку тебя не поймали. Отныне у моего отца и Джеймса есть все основания верить, что никакой squatter во плоти и крови не нашел пристанища в Малвеноре, и если только ты не наделаешь теперь каких-нибудь глупостей, мы можем наслаждаться неожиданным спокойствием. Но я должен признаться, ты меня напугал! Пока продолжался этот бесконечный, тщательный обыск, с меня семь потов сошло. Я, наверно, похудел на два-три фунта. Ну да ладно... Объясни мне только, чего ради ты запер в буфетной таксу, заменив ею индюшачью ножку? Мне бы очень хотелось знать. После всех моих наставлений и твоих обещаний что на тебя нашло?

Чтобы понять, почему я совершил эту маленькую кражу, которой я, впрочем, немного стыдился, надо было знать, что такое голод, настоящий голод, а не тот, от которого страдал благородный Уинстон. Я не мог решиться признаться ему в своем некрасивом поступке. Но так как трудно было говорить о собаке, обойдя молчанием кость, я решил просто разыграть совершенную невинность:

— О чем это вы? Вы хотите меня уверить, будто я заменил в буфетной какую-то кость на собаку?

Уинстон так и подскочил:

— Что? Это не ты?

— С какой стати я стал бы это делать? Объясните мне, пожалуйста.

— Это я прошу тебя мне объяснить.

— Если вы в свои четырнадцать лет не находите разумного объяснения, откуда же знать мне в мои двенадцать?

Уинстон был сражен. Бильбоке, которое он по рассеянности продолжал вертеть в руках, вдруг, как видно, показалось ему тяжелым, и он положил его обратно в шкатулку.

— То, что ты мне сейчас сказал, Джон, — наконец пробормотал Уинни, — очень... очень серьезно.

Сначала я удивился словам Уинстона, но потом понял, что они означают, и мне стало немного смешно, хотя я и не подал виду.

— Если это был не ты, Джон, ты догадываешься... кто это был?

— Нет.

— Догадываешься! Ты просто боишься сказать.

Я не только не улыбнулся, но состроил испуганную гримасу и выдохнул:

— Это... это... негодник Артур!

— Выходит, что так...

— Но вы же не верите в призраков, Уинстон?

— Как сказал Гамлет, "есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". Да и в самом деле, почему старые легенды про нашего Артура не могут быть правдивыми?

— Вы меня пугаете, Уинни.

— Между нами говоря, мне даже недавно почудилось, будто на чердаке... Артур говорил со мной...

— Что?

— Да! Сначала я почти убедил себя, что у меня просто слуховая галлюцинация. Но после того, что ты мне рассказал, мои сомнения рассеялись.

— Вы вправду пугаете меня, Уинни.

Уинстон вспомнил, что он старше меня, и взял себя в руки.

— Не стоит впадать в панику. Артур еще никому не причинил вреда. Это семейный призрак. Конечно, он любит пошутить. Но ведь его убили в том возрасте, когда дети охотно проказничают.

— И ведь он как раз играл в бильбоке!

— Вот именно. К тому же мертвецы всегда играют с костями, пусть даже это индюшачья кость.

— Привычка... Вы меня немного успокоили, Уинни. Вот что значит быть взрослым!

Уинстон важно выпятил грудь и вдруг проявил трогательную заботливость обо мне:

— А успел ли ты вчера поужинать во всей этой суматохе?

— Увы, нет, Уинни! Но сейчас не время. Я и так удивляюсь, как вам удалось подняться ко мне, не попавшись на глаза мистрис Биггот...

— Все очень просто. Охота за призраком вынудила нас обойтись на обед без горячего блюда, точно так же как и вчера, когда нам после окончания экскурсии подавали холодный ужин. А значит, ели мы наспех и посуды было немного. В кухне еще по крайней мере целый час никого не будет. Я вообще ничем не занят, мэтр Дашснок предоставил мне полную свободу: он трудится над отпечатками своей исторической фотографии — хочет разослать их своим коллегам, в газеты и... не знаю уж куда. Он вообще находится в совершенном трансе. Так что, если хочешь, путь в кладовую открыт. Я и сам не прочь немного подкрепиться...

Я не верил своему счастью!

Две невинные девушки под угрозой брачных уз

В этой самой кладовке, внимая любезным советам Уинстона и на сей раз заглушив почти все угрызения совести, я вкусил самую незабываемую трапезу в своей жизни. Чтобы получить настоящее наслаждение от еды, надо достаточно долго поголодать. Никогда потом не испытывал я такого удовольствия. Но не стану описывать подробности этого пиршества а-ля фуршет из сострадания к детям, которые и сегодня живут впроголодь.

Перепархивая от одного лакомства к другому, я успел рассказать Уинни, какое стечение непредвиденных обстоятельств вынудило меня сфотографировать самого себя, посчитав это наиболее разумным. И Уинни признал, что на моем месте поступил бы точно так же.

А что фотография оказалась без головы (я сделал вид, что впервые об этом слышу) — это даже к лучшему, к такому выводу мы пришли.

Уинстон мало-помалу расслабился, а я еще поднял его настроение, когда осведомился насчет латинского сочинения.

— Неслыханная удача, милый Джон. И ею я обязан тебе, так что и за это спасибо тебе большое. В восемь часов утра мэтр Дашснок, держа мое сочинение на колене, проверил его за три минуты и поставил мне ноль — такой хорошей отметки по латыни у меня еще не было.

— Вы шутите, Уинни?

— Ничуть. Слабым ученикам надо ставить отметки меньше ноля, иначе у них создастся превратное представление об уровне их знаний, а это может им повредить. Так, во всяком случае, утверждает мэтр Дашснок, который обратил в свою веру моего отца. Я из кожи лез вон, чтобы подняться от минус сорока четырех до минус двенадцати. Но я не думал, что так скоро достигну ноля.

Я поздравил Уинстона с досрочными достижениями и выразил живейшую радость по поводу того, что мэтр Дашснок отныне настроен столь благожелательно.

— Мэтр Дашснок в упоении, Джон. Он грезит о славе. И он был польщен, что его пригласили отобедать с нами.

— А разве он не всегда ест с вами за одним столом?

— Мэтр Дашснок больше чем слуга, но все же не вполне гость. Поэтому обыкновенно он ест у себя в комнате в обществе своей таксы. Но нынче утром нам подали холодный завтрак без всяких церемоний. А мой отец был не прочь порасспросить специалиста по призракам. Он даже обратился к мэтру Дашснoку с просьбой дать ему почитать кое-какие фундаментальные труды об эктоплазмах.

Поворот во взглядах лорда Сесила был весьма знаменателен и перекликался с настроениями Уинстона.

Я спросил, как себя чувствует леди Памела.

— Она полна энтузиазма, мой милый. Кучер распускал порочащие ее слухи, будто она сама надкусила яблоко и палкой отодвинула кресло, не соображая, что делает. Но твоя фотография, которую утром все рвали друг у друга из рук, рассеяла сомнения. К тому же свой первый визит Артур нанес ей. Само собой, она ждет повторного визита и ничуть его не боится. Словом, ты осчастливил трех человек, Джон, в том числе и меня. Лишь бы так шло и дальше!

У нас еще оставалось время, чтобы спуститься в винный погреб, где Уинстон выпил пива "Гинесс", но я удовольствовался минеральной водой.

После стольких волнений очень хотелось отвлечься и пошутить.

— А знаете, Уинстон, что понравилось бы в этом погребе воскресным туристам? Большая бочка с бордоским! В бочке шесть литров вина урожая тысяча трехсотого года, а поверх плавает шляпа гвардейского капитана Мэллори!

Уинстон рассмеялся от души.

— Дивное было бы зрелище, Джон! Но лучшее — враг хорошего. Мы и так ходим по краю.

Я любезно осведомился о сестрах Уинстона. Уинстон помрачнел.

— Они нервничают. Их заботит не столько Артур, сколько то, что скоро приедет их жених — он будет здесь через несколько дней.

— Их жених?

— Ну да, он не отличает их друг от друга.

— На которой же из них он женится?

— Какая разница, ведь увезет он обеих.

— То есть как это?

Уинстон, допивавший свое пиво, как будто колебался, стоит ли посвящать меня в подробности. Наконец он решился и продолжал, сильно понизив голос:

— Чтобы показать, насколько я тебе доверяю, Джон, я открою тебе важный семейный секрет. Упомянутый жених, некий Бейбилес Трубоди, даже не шотландец, он нажил состояние на брючных пуговицах в предместьях Бирмингема и женится на бесприданницах Алисе и Агате из чистого снобизма. Сестры-близнецы будут жить у него по очереди, по девять месяцев каждая. Поскольку они похожи как две капли воды, никто из посторонних не заметит подмены, и приличия будут соблюдены. Уразумел, в чем смысл всей этой комбинации? Мой разорившийся отец удачно пристроит разом обеих дочерей, а Трубоди, хитрая лиса, платит один раз, а получает двойной барыш. Да и моим сестрам все же приятней быть замужем через день, чем оставаться старыми девами.

Я был просто потрясен. Какая ужасная участь ожидала двух юных цветущих девушек, которые в нарядных розовых платьях играли недавно в бадминтон на зеленой лужайке!

С опаской, которую легко понять, я спросил, сколько лет будущему мужу.

— О, всего пятьдесят с небольшим. Но поскольку он носит корсет и парик, при выигрышном освещении ему не дашь и сорока девяти.

Я ужасался все больше. У меня было мало опыта — а уж тем более опыта великосветского! — и я не догадывался, что насмешник Уинстон надо мной потешается. И одну-то из сестер-близнецов чудовищно было выдавать за такого жениха, а уж тем более немыслимо было выдать за него обеих!

Будь я немного проницательней, я понял бы и другое: своими шуточками Уинстон старался защититься от горя, какое ему причиняла мысль, что одна из его сестер должна выйти замуж за того, кого она не любит. Он мрачно шутил, чтобы не расплакаться.

Но, видя отчаяние на моем лице, Уинстон добавил:

— Успокойся, мои сестры на дух его не выносят, от него, кстати, разит козлиным духом, нафталином и сигарами. Они устроят ему такую жизнь, что меня удивит, если он дотянет до старости.

— Но надо помешать этому браку, Уинни! — вскричал я.

— Как быть, если в кармане у тебя ни гроша? Сначала приходится продавать серебряную посуду, а потом дочерей. Это дело обычное. Аристократы редко заключают браки по любви, Джон. Любовь, беззаботная жизнь — это привилегия простого народа, который не сознает своего счастья. Саму леди Памелу выдали замуж пятнадцати лет от роду за полковника индийской армии, который, хоть и был насквозь проспиртован, сохранился довольно плохо, но, к счастью, умер от желтухи в брачную ночь. Правда, с тех пор тетя Памела трижды выходила замуж по любви, и каждый следующий муж был моложе предыдущего. — Уинстон помрачнел еще больше. — Поскольку у леди Памелы припрятаны кое-какие денежки в кубышке, в семье всерьез поговаривают о том, чтобы через несколько лет я на ней женился с разрешения Вестминстерского архиепископа. А пока я смазываю маслом колесики ее кресла.

Тут на моем лице изобразилось полнейшее недоверие, и Уинстон почувствовал, что слишком далеко зашел в своем розыгрыше.

— Ладно, об этом браке не будем. Но что может быть ужаснее замужества, грозящего моим сестрам? Впрочем, переменим тему. Все это слишком грустно.

И в самом деле, в этот день мы больше этой темы не касались. Но я не мог о ней не думать.

Я сбежал от мистера Гринвуда в ночь с 4 на 5 августа, в Малвенор я пришел после полудня 12 августа, а поесть мне удалось только днем 14 августа!

С этих пор в моей жизни в замке установился определенный распорядок, который я старался соблюдать, чтобы легче было дожидаться 19 августа, когда толпа воскресных экскурсантов должна была дать мне возможность вырваться на свободу без труда и ничем не рискуя. Просыпался я поздно, а днем коротал время, озирая окрестности или глядя в небо из слухового окошка на моем чердаке, или же читал книги, которые по ночам брал в громадной библиотеке на первом этаже, где пыль тревожили только во время воскресных экскурсий.

Первым делом я с жадностью проглотил "Робинзона Крузо". Он привел меня в восторг. Чем я не Робинзон? Только не на острове, а в Малвенорском замке. А Уинстон был моим Пятницей. Его было очень легко представить в роли людоеда. Наверняка его сдерживают только остатки христианской веры... Но как бы он поступил со мной, если бы у него под рукой не оказалось другой пищи?

Потом я прочел "Путешествия Гулливера", над которыми тоже призадумался. Разве я, мальчишка, не чувствовал себя в Малвеноре как в стране великанов, чьи нравы, обычаи, мысли и цели мне порой было очень трудно понять?

Потом я с замиранием сердца прочел "Остров сокровищ", "Дэвида Копперфилда", "Последнего из могикан", "Пуритан" Вальтера Скотта и много других книг.

В замке Малвенор я и приобрел вкус к чтению и начал заниматься самообразованием, а если ты не ленив, это самая лучшая школа. Не будь книг, что бы сталось со мной при моей профессии, когда работать приходится тайно, редко и понемногу?

Чтобы умыться и привести себя в порядок, к полуночи я спускался в кухню в той одежде, в которой ходил в этот день и которую выбирал смотря по настроению и по погоде. Потом я переходил в смежную с ней кладовую, чтобы поесть, — обстоятельства позволяли мне делать это всего раз в день, но зато пиршество мое иногда продолжалось часами: я отведывал понемногу от всех яств, а это способствует пищеварению и обеспечивает хороший сон.

Эти ежедневные мелкие кражи должны были вызвать у меня угрызения совести, но я их вовсе не испытывал, несмотря на безукоризненное моральное воспитание, которое я получил. Между тем уворованные лакомства были олицетворением самого черного и самого опасного зла, ведь когда зло предстает в виде маленьких искушений, ему особенно трудно противостоять и легче всего приобрести неискоренимую привычку уступать искушению.

Поверьте мне, дорогие мои внуки, — это говорит вам старый пуританин!

Мое поведение было тем более безобразным, что я обкрадывал британского лорда и пэра, который, несмотря на все свои несчастья, был гораздо богаче меня. Провидение поручило богачей честности и заботам бедняков, чтобы богатые могли без помех создавать себе рай на земле. В Писании говорится, что богатые будут всегда, а Писание знает, что говорит. Значит, мы должны мириться с этой категорией людей и содержать их по мере сил и возможностей.

Но должен смиренно признаться, что уразумел эту истину, только когда сам разбогател благодаря своему труду и в особенности своей удаче.

Уинстон часто приходил составить мне компанию, сообщая последние новости о том, что происходит в доме, учил меня, в какой последовательности истинный гурман отведывает разные блюда, и подкреплял мои усилия своим дурным примером.

Мало-помалу я лучше узнавал Уинстона — у него был компанейский и совершенно беззлобный нрав.

Поужинав при свечах, Уинстон отправлялся спать в комнату по соседству со своим учителем, сон которого был таким крепким, а я, чтобы улучшить пищеварение, совершал прогулку по первому этажу, стараясь ступать особенно неслышным шагом возле двери леди Памелы, которая, по слухам, отличалась очень чутким сном.

В детстве все предметы кажутся гораздо больше, чем на самом деле, а ночные тени еще увеличивают то, чего ты не видишь. Неудивительно, что Малвенорский замок казался мне огромным. Тем более что до сей поры я жил в маленьких домишках. Дом моих бедных родителей и дом мистера Гринвуда оба уместились бы в одной только кордегардии.

На самом же деле, как я уже говорил, Малвенор был замком средней величины, который очень плохо содержали преданные, но слишком малочисленные слуги. Впоследствии я оказал честь своим посещением и своим талантом жилищам куда более роскошным, где и прислуги было вдоволь. Но не будем забегать вперед.

Мало-помалу я перестал бояться темноты, не боялся и тогда, когда горел огарок свечи, хотя он придавал потемкам еще более зловещий вид. Поскольку по ночам я передвигался ощупью, как крот или светлячок, я запомнил, где что стоит, и чувствовал себя почти как дома.

Глубокая мысль Уинстона, которую он высказал до того, как я напугал его голосом негодника Артура и загадками буфетной, укрепляла мое спокойствие и уверенность: пока никто не докажет обратного, сказал Уинстон, единственный призрак, бродящий по Малвенору, — это я! Если я перепугаюсь, не значит ли это, что я испугался собственной тени?

Днем в среду 15 августа мой дневной сон был прерван грохотом автомобиля, который становился все громче, — казалось, машина вот-вот врежется в Малвенорский замок. Я бросился к своему наблюдательному посту и увидел машину с откидным верхом — как лошадь на полном скаку, она неслась к парадному входу в замок. Остановился этот роскошный экипаж с медной отделкой, надраенной, как кастрюли мистрис Биггот, у каменного мостика. Из машины вышли шофер и лакей, они открыли задние дверцы, и из них появились два господина, навстречу которым почти тотчас вышли Джеймс, лорд Сесил, близнецы и Уинстон.

Когда автомобилисты сняли громадные очки, я в свой театральный бинокль разглядел, что одному из приезжих было лет пятьдесят, другой казался помоложе и поживее. Пятидесятилетний был, без сомнения, женихом несчастных близняшек-сестер, о котором Уинстон рассказал мне накануне. Но кто был его спутник?

Словно в знак траура по злосчастной судьбе Алисы и Агаты, небо затянули черные тучи. Поэтому чай пили не у озера, а в доме. И я до полуночи не смог удовлетворить свое жгучее любопытство.

Потусторонняя беседа

Когда я снова увидел Уинстона, вид у него был озабоченный и даже подавленный.

— Ужасный вечер, дорогой Джон! Трубоди наконец остановил свой выбор на Алисе. Отец прикрепил ей к волосам голубой бант, чтобы жених мог ее узнать. Алиса в отчаянии, зато Агата вздохнула с облегчением.

— Вы хотите сказать, что Трубоди начнет с Алисы?

Уинстон непонимающе уставился на меня. Он уже позабыл свою зловещую шутку, но мой невинный вопрос напомнил ему о ней.

— Гм... да, само собой. Агата получит драгоценную отсрочку. Но так или иначе, обед в кои-то веки был великолепный. Сегодня я не пойду с тобой в кладовку. Разве что съем ложечку-другую апельсинового джема, просто чтобы тебе не было так одиноко.

Я спросил Уинни, кто был второй приезжий джентльмен.

— Его нельзя назвать настоящим джентльменом. Это журналист из эдинбургской газеты "Труба", мэтр Дашснок заарканил его по телефону. Мэтр Дашснок поспешил оповестить о своих фотографических достижениях всю Англию, он рассылал телеграммы, а если ему казалось, что телеграммы идут слишком долго, он названивал по телефону.

— И лорд Сесил ему разрешил?

— Отец очень раздосадован. Он боится, что дело тут нечисто и, если обман вскроется, скандала не миновать. С другой стороны, он не уверен, что это обман, а так как всякая реклама может пойти нам на пользу, он предоставляет событиям идти своим чередом — что ему еще остается? Я и сам весьма обеспокоен. Эта дурацкая история, судя по всему, будет иметь неожиданное продолжение. Если мы попадемся теперь, это нам дорого обойдется.

— А вы не пытались угомонить мэтра Дашснока, Уинни?

— Еще бы! Как не пытался! Но фанатики не замечают, когда над ними смеются. Понимаешь, эта фотография — свет его подслеповатых очей, его позднее дитя. Такое долгожданное! Теперь он желает, чтобы весь мир разделил с ним его радость. Я принес тебе один отпечаток...

Если не считать, что на фотографии не было головы, снимок был очень четким, только "историческое" бильбоке было несколько смазано.

— Если бы я был уверен, Джон, — сказал Уинстон с некоторым смущением, — что в воскресенье ты уберешься отсюда, мне было бы спокойнее. Я говорю так в твоих же собственных интересах!

Я подтвердил, что и сам намерен поскорее убраться из замка. Но чтобы позлить Уинстона, добавил:

— Однако я не могу обещать, что милорд Артур опять не примется за свое. Вы же знаете, какой у него характер — капризный, непредсказуемый.

— Ой, тьфу-тьфу-тьфу, типун тебе на язык! Два призрака, настоящий и поддельный, — право же, это многовато для одного замка. Так или иначе, поклянись мне, что будешь вести себя очень осторожно. Настали опасные времена, Джон. Мы на вулкане. Я бы очень хотел, чтобы до того, как ты покинешь замок, пребывание в нем Трубоди и этого журналиста (забыл, как его зовут) прошло спокойно. А потом будь что будет —

мне все равно! Вещественное доказательство — corpus delicti, как выражается мэтр Дашснок, — к тому времени исчезнет.

Я охотно дал клятву, которой у меня требовал Уинстон, и из чистого любопытства спросил:

— А эти два господина не верят в призраков?

— Трубоди, наверно, будет польщен, что станет членом семьи, в которой водятся призраки. Ему ведь известно, что призрак — это знак аристократизма. Вряд ли он отыщет привидение на своей фабрике в Бирмингеме. Что касается журналиста... Ага! Вспомнил! его зовут Факс... нет, кажется, Фикс или Фокс, а может, Фукс... Не важно. Пусть будет Смит. Так вот, этот Смит привел множество здравых соображений, оспаривающих существование призраков. Но тетя Памела его устыдила. Она рьяная болельщица Артура. Она едва ли не ждет, что он ей позвонит по телефону.

— А в комнате леди Памелы есть телефон?

— Да, один из аппаратов. В ее годы это ведь развлечение. Она непрестанно названивает своим приятельницам, которые живут в Шотландии, в Англии, вообще по всему свету, ей присылают огромные счета — к счастью, ей есть чем их оплатить. Другой аппарат находится в кабинете у отца на третьем этаже. Папа установил телефон как раз незадолго перед тем, как разорился, так что он смог весьма дорогостоящим способом час за часом следить за собственным разорением... Но что смыслишь в разорении ты, одетый нынче вечером в костюм индийского принца? Поговорим о чем-нибудь другом. Эта тема слишком грустная.

Леди Памела и в самом деле была удивительной особой.

Уинстон покинул меня раньше обычного, а я, как всегда, стал совершать свою обычную прогулку после еды по первому этажу. На улице похолодало. Снова начался ветер, зарядил дождь. Я был рад, что надел на себя индийский хитон, более теплый, чем римская туника, а чалма защищала меня от сквозняков.

Возвращаясь на кухню через столовую, я заметил щелку света под дверью леди Памелы, которая, как видно, читала, чтобы заснуть.

Вдруг, поскользнувшись не знаю уж на чем — наверно, на каких-то объедках мерзкого обеда в честь помолвки, — я толкнул стул с высокой спинкой, тот от удара пошатнулся и с грохотом упал на пол.

Пронзительный голос леди Памелы пригвоздил меня к месту:

— Это вы, Артур? Не отпирайтесь, это бесполезно — я знаю, что это вы. Зайдите ко мне немедленно! Мне надо с вами поговорить...

Дело принимало скверный оборот. Я попытался отбить у леди Памелы охоту разговаривать с призраком, при этом подкрепляя ее упорную веру в него:

— Уу-уу-уу...

Но из боязни поднять на ноги всех в доме я завывал слишком тихо. Поэтому я немного прибавил звук:

— Уу-уу-уу-уу-уу...

— Оставьте ваши глупые шутки! Сейчас не время откусывать яблоки и изображать сову. Придете вы наконец или нет? Я начинаю сердиться.

Леди Памела говорила таким громким голосом, что могла кого-нибудь разбудить. Поставив свечу на стол, я подошел к ее двери и прошептал:

— Да, дорогая тетя Памела, это я, Артур. Успокойтесь. Вам пора спать. Угомон уже всех уложил в постель.

— Мне спать не пора! Войдите и садитесь.

— Я напугаю вас, тетя Памела.

— Я боюсь только проделок, которые мне не по возрасту. А серьезных разговоров я не боялась никогда.

В ее словах была неумолимая логика. Я пошел на некоторые уступки:

— Давайте договоримся: я приоткрою дверь, и мы тихонечко побеседуем, сохраняя хладнокровие.

— В чем же дело? Чего вы ждете?

Приоткрыв дверь, я заглянул в нее одним глазком. Леди Памела в обшитом кружевами чепце и в ночной кофте полулежала в кровати с книгой на коленях и нетронутым яблоком у изголовья. Но из кокетства она вставила свою искусственную челюсть и, отложив в сторону очки, разглядывала меня в лорнет.

— Вы ведь не допустите этого, Артур?

Что она имела в виду? На всякий случай я поспешил ее успокоить, заверив, хотя и в весьма неопределенных выражениях, что не допущу.

— А каким образом вы возьметесь за дело? Ну-ка?

Мой ответ был еще менее вразумительным.

— Похоже, вы не решаетесь действовать, Артур. Но входите же! Неудобно разговаривать таким образом — это меня раздражает.

— А вы не боитесь? Вы уверены?

— С какой стати я буду бояться мальчика из нашей семьи? Оттого, что вы умерли? Я тоже скоро умру и не стану бояться себя из-за такой ерунды.

Леди Памела была неумолима. Пришлось войти. Тщательно закрыв за собой дверь, я устроился на табурете рядом с ее кроватью, держась почтительно и внимательно, но мечтая поскорее выбраться из этого осиного гнезда.

— Что это за карнавальный наряд, Артур? Надеюсь, вы не показываетесь в таком туземном виде кому попало?

Леди Памела мерила меня строгим взглядом. Ее благородное морщинистое лицо, повидавшее стольких мужей и столько всякой всячины, хранило следы замечательной красоты, а за стеклами черепахового лорнета поблескивали живые глаза.

— Я... я всегда любил переодеваться, тетя Памела. А здесь у меня так мало развлечений... Но само собой, при встрече с посторонними я надеваю костюм, соответствующий моей эпохе... или близкой к ней.

— Вы меня успокоили. Вы должны блюсти родовую честь, Артур. Но успокойте же меня окончательно — когда вы прогоните отсюда этого недостойного Трубоди?

Только тут я понял, насколько серьезно обеспокоена леди Памела, понял тем более, что вполне разделял ее беспокойство.

— Не можете же вы потерпеть, Артур, чтобы моя маленькая Алиса, очаровательное, нежное дитя, которая всегда щебетала как птичка, попала в липкие лапы этого толстого лысого лавочника? К тому же это мезальянс! Немыслимый неравный брак! Но Сесил и слышать ни о чем не хочет. Вот мне и приходится обращаться к вам.

— Понятно, тетя Памела.

— Вот это слова от глубины сердца! Теперь я узнаю вас, Артур. По-моему, дорогой мой мальчик, если вы лично скажете этому жалкому типу,

что он совершенно не подходит в мужья Алисе, этого будет вполне достаточно. После такого откровенного объяснения не думаю, чтобы у него хватило наглости настаивать... Как по-вашему?

— Мм... да... в самом деле... маловероятно...

— Совершенно невероятно! Жители Бирмингема страшно боятся призраков — их ведь там у них нет.

Чтобы окончательно убедить меня в том, как своевременно будет мое вмешательство, леди Памела начала подробно перечислять выдающиеся достоинства Алисы и не менее выдающиеся недостатки жениха, который к тому же до сих пор, и это известно всем, не расстался со своей старой наложницей.

Я не понял, какие налоги недоплатил Трубоди, если он никак не может расстаться с наложницей, но все равно решил, что он поступает некрасиво. Мое негодование очень понравилось леди Памеле.

— Значит, мы договорились, Артур? Вы подниметесь наверх и скажете пару теплых слов этому Бейбилесу Трубоди, а потом вернетесь и сообщите мне, как было дело. Вообще я была бы рада почаще беседовать с вами. Мне так одиноко в Малвеноре. Сесил проводит со мной время по необходимости, потому что зарится на мое наследство. Уинстон ластится ко мне, чтобы выудить у меня шоколадку. Только Алиса и Агата слушают меня с искренней нежностью. Конечно, я повторяю всегда одни и те же истории. Но вы-то их не знаете, Артур. За те годы, что мне остались, вы услышите от меня кое-что для вас новенькое.

— Спасибо, тетя Памела, обязательно. Но если я буду к вам приходить, вы не должны этим хвастаться. Это будет наш с вами секрет.

— Даю вам слово, Артур. А пока что окажите мне еще одну любезность и объявите Сесилу, что вы думаете об этом постыдном браке. Лишняя предосторожность не помешает.

— Тетя Памела, это в самом деле лишнее!

— Допустим, видеться с ним вам неприятно. Но не зря же тут стоит телефон. Иногда одной удачной фразы довольно, чтобы добиться цели.

— Но вы же дали мне слово.

— Насчет телефона у нас речи не было. Но не заговаривайте мне зубы.

С этими словами леди Памела сняла трубку стоявшего рядом телефона и нажала на рычаг.

У меня дух захватило. Что мне было делать?

— Алло, Сесил? Я не помешала? А-а, вы подсчитываете расходы! Ничего, это подождет. У меня здесь случайно находится Артур, который сгорает от нетерпения перемолвиться с вами парой слов насчет наших семейных дел... Да, именно Артур, первая буква "А", как "Алиса". Передаю ему трубку.

Леди Памела протянула мне трубку, из которой гремели яростные возгласы. У меня язык прилип к гортани.

— "Этот Трубоди — грубый и неотесанный парвеню", — продиктовала мне леди Памела. — Ну же, Артур, не тяните!

Я механически повторил ее слова, — лорд Сесил онемел.

— "Он женится на нашей маленькой Алисе не раньше чем рак свистнет!" Ну давайте же, давайте!

Я слабым голосом опять повторил ее слова.

— Раз уж вы с ним говорите, Артур, скажите еще то, что я давно мечтаю ему высказать: "Вы не отец, а чудовище, и в груди у вас не сердце, а пустой бурдюк!" Ну смелее, смелее.

Почти беззвучным голосом я повторил то, что мне было приказано. Несчастный лорд Сесил, поглощенный своими мыслями, никак не реагировал на мои слова.

— Прекрасно, отлично сработано, Артур! Вы славный малыш!

Я проворно вскочил.

— До... дорогая леди Памела, я... я думаю, мне пора уходить. Я должен...

— Вы правы. Долг призывает вас к Трубоди. До скорой встречи, Артур.

В ту минуту, когда я выходил из комнаты леди Памелы, маркиз Малвенор, человек решительный и не откладывающий дела в долгий ящик, уже несся по мою душу, возвещая о своем появлении зловещим отблеском керосиновой лампы. Очевидно, он как разъяренный зверь промчался по лестнице, торопясь растерзать телефонного призрака. Я едва успел подхватить свечу и спастись бегством в мою башню.

Рыцарский поступок, каких уже не совершают в наше время

Диковинная беседа с леди Памелой произвела на меня такое впечатление, что весь остаток ночи я провел лежа на своей балке, навострив уши и рискуя, если на беду меня сморит сон, свалиться с двадцатифутовой высоты и сломать себе ноги.

Вообще-то говоря, в глубине души я был не прочь отбить у Бейбилеса Трубоди охоту жениться на Алисе, но во-первых, я обещал Уинстону вести себя с особенной осторожностью, а во-вторых, мне не хватало храбрости повторить еще одну рискованную вылазку.

До самой зари я трусливо сокрушался о судьбе Алисы, о жестоком разочаровании, которое я причиню леди Памеле, такой симпатичной и приветливой. Как она, бедняжка, будет страдать! А ведь от нее еще скрыли, чтобы не доконать ее раньше срока, что довольно скоро Алису сменит Агата. Слыхано ли что-нибудь ужаснее!

У меня всегда было доброе сердце. Слишком доброе для того мира, который создали люди.

Уже занималась заря, и я начал было погружаться в населенную кошмарами дремоту, когда мой слух уловил отчаянные рыдания, доносившиеся из чащи леса, по которому я прогуливался во сне.

Лес этот был очень странный, он состоял из высоких колонн, их готические капители, похожие на те, что я видел в кордегардии, наверху сливались воедино и закрывали небо. Были тут и другие капители, не то греческие, не то индийские. Я скользил не по земле, а по гладким плитам. Ни травинки, ни мха, ни папоротника, ни единого гриба, насекомого или птицы! "Куда же подевались деревья?" — удивлялся я. А рыдания мне отвечали: "Вместо деревьев люди посадили колонны, они поливают их своими слезами. Природа стала каменной темницей, без любви и без надежды".

Я чуть было не сорвался с балки, но тут особенно отчаянное рыдание окончательно прогнало мой сон. И в тусклом свете занимающегося утра я увидел фигуру в белом, простертую возле корзины с игрушками. Видение прижимало к груди большого плюшевого медведя. Это могла быть только Алиса.

Прежде чем покинуть родной дом, где она провела столько счастливых дней, и начать влачить постылое существование в Бирмингеме, Алиса пришла искать убежища в воспоминаниях детства и, сравнив славную голову плюшевого мишки с лысым черепом своего жениха, не смогла удержаться от слез.

Я чувствовал, что мое сердце тоже вот-вот разорвется. Какое значение имело то, что я так неосторожно пообещал Уинстону? Разве я не имел права, разве не должен был вмешаться?

Каким чистым и трогательным было залитое слезами лицо Алисы! Как грациозны ее движения! Наконец она поцеловала своего медведя в лоб, как пай-девочка сложила в корзину игрушки и, вся в белом, удалилась. Ни дать ни взять призрак несчастья, неслышными шагами пустившийся на поиски лучика крохотной надежды...

Я тут же принял решение ей помочь чего бы это ни стоило.

Охота читать у меня пропала. От нечего делать я спустился вниз послушать, что говорится в кухне, пока готовят завтрак.

Негодующий голос великодушной мистрис Биггот только укрепил меня в моем добром намерении.

— Жидкого чаю и сухариков без соли для мистера Трубоди, Китти. У бесстыдника несварение желудка, а ему подавай семнадцатилетнюю девочку! Какая гнусность!

— И каков наглец!

— Разбогател и попал из грязи в князи. "Парвеню", как говорит леди Памела. Да еще из самых худших.

— Не принесет ему это счастья!

— Ну а пока отнеси ему поднос с завтраком, его комната последняя справа на втором этаже возле турецких уборных.

— Подумать только — в этой комнате в 1848 году спал принц Альберт!

— Вот до чего мы дожили! И эту комнату еще специально обставили заново для мистера Трубоди. У него, кстати, неполадки с мочевым пузырем, так что ему хотелось устроиться поближе к уборной.

— Чтоб ему оттуда не выйти!

Полученные сведения были весьма для меня полезны — теперь я мог начать действовать в тот же вечер. Чем меньше продлится помолвка, тем лучше — тем легче будет ее порвать.

— А проныру-журналиста ты найдешь на третьем, — добавила мистрис Биггот, — в комнате с лиловыми обоями. Тоже еще фрукт! Представь, он посмел предложить мне три гинеи, чтобы я призналась ему, будто призрак нашего Артура просто миф. Миф! Это еще что за штука?

— Вот бы ему увидеть этого призрака вблизи!

— Очень может быть, что и увидит. И даже раньше, чем мы думаем. Запомни мои слова, Китти: Артур еще не сказал своего последнего слова!

Я был совершенно согласен с мистрис Биггот.

Утром небо то прояснялось, то хмурилось, а к вечеру разразилась гроза, так что я совсем разнервничался. Много раз я уже был готов отказаться от своего плана.

Ужинать со мной Уинстон не пришел, и я без особого аппетита поел в одиночестве.

До двух часов ночи я колебался, жалость боролась во мне со страхом. С одной стороны, представим, например, что меня через несколько лет стали бы принуждать жениться на милейшей леди Памеле, — разве не был бы я благодарен призраку, который помог мне выпутаться из беды? Но с другой стороны, если дело обернется плохо...

Чтобы придать себе духу, я выпил бутылочку "Гинесса" и пошел переодеваться.

Я был уверен: Трубоди опишет призрака, который к нему явится, тем более подробно, что не захочет, чтобы все решили, будто ему это привиделось. Поэтому важно было выбрать такой костюм, которого Уинстон на мне еще не видел. На беду, из всех одежд, которые были мне по росту, только наряд трубадура более или менее соответствовал Артуру или хотя бы образу, который ему приписывали. Предстать перед Трубоди в виде доисторического человека было совершенно невозможно, так что выбора не оставалось — пришлось облачиться в костюм пирата южных морей с саблей, пистолетом и черной повязкой на глазу.

Спускаясь вниз, я все-таки на всякий случай прихватил по дороге бильбоке, чтобы Трубоди было легче опознать Артура.

Стенные часы в кухне показывали 2 часа 45 минут, когда я, освещая себе путь спичками, без всяких угрызений отправился померяться силами с самоуверенным женихом, которому, вероятно, снились розовые сны. Я от всей души надеялся, что это мое испытание будет последним.

Без всяких приключений добрался я до двери в комнату блаженной памяти принца Альберта. Что сказала бы королева Виктория, увидев в кровати своего любимого покойного супруга какого-то Бейбилеса Трубоди!

Отбросив в сторону последние сомнения при мысли об Алисе и Агате, я постучал в дверь своим бильбоке. Вдруг мне повезет и я смогу договориться с Трубоди через дверь, ведь у него, наверно, не хватит смелости впустить в комнату призрака, который открыто объявляет о своем появлении...

Я постучал громче. Еще громче. Никакого ответа.

Я уже взялся было за дверную ручку, когда с левой стороны на меня упал сноп света. Я круто повернулся, и передо мной предстало потрясающее зрелище: лысый господин средних лет, только что вышедший из уборной, уставился на меня, выпучив глаза и стуча зубами. На Трубоди было что-то вроде лиловой русской пижамы, обшитой золотым галуном, он был похож в ней на застигнутого врасплох епископа; в левой руке он держал маленький дорожный ночной горшок, который, видимо, только что опорожнил, а в правой у него был подсвечник, дрожавший, как и сам Трубоди.

Из мира брючных пуговиц Бирмингема Трубоди грубо перенесли в мир пиратов, вооруженных бильбоке.

Страшный перепуг Трубоди вернул мне уверенность и негодование, я отчетливо осознал собственную справедливость и могущество.

— Ну что, несчастный! — воскликнул я со свирепой насмешкой в голосе. — Алису ищешь с подсвечником и горшком в руке? И мало тебе Алисы — подавай тебе еще и Агату! Двух девушек за одну плату!

Ужас Трубоди на мгновение сменился полнейшей растерянностью. Так мог бы растеряться честный человек, обвиненный в том, что он украл лондонскую башню Тауэр.

— Если ты посмеешь увезти сестер к твоей старой наложнице, я буду являться тебе всякий раз, как ты выйдешь из уборной. Это говорит тебе Артур, призрак Артура! — И, вспомнив наставления леди Памелы, добавил: — Ты неотесанный парвеню! И тебе не дожить до старости!

Я не знал в точности, что такое "парвеню", но звучало слово выразительно.

Продолжать мне не пришлось — Трубоди рухнул навзничь, выронив свечу и ночной горшок.

Я поспешно чиркнул спичкой: белый как мел Трубоди лежал на спине между разбитой ночной посудой и потухшей свечой, глаза у него закатились. Все, что я мог для него сделать, это немедля удрать, завывая во всю силу моих легких, чтобы к нему как можно скорее подоспела помощь. По-моему, за всю мою полную приключений карьеру я не завывал более зловеще.

Я водворил на место бильбоке, и тут над замком разразилась последняя в эту ночь гроза. Ослепительные молнии прочерчивали небо, словно Господь Бог решил разом израсходовать все свои запасы магния, чтобы сфотографировать самых закоренелых грешников (а может, самых неосторожных из них?)...

Правильно ли я поступил? Может, я перестарался? Что если Трубоди отправился на тот свет? Стоило ли такой жертвы счастье Алисы и Агаты и соблюдение старинной чести?

Призраки не ведают собственной силы. Это касается и настоящих призраков, и призраков-любителей. Вот почему так ценятся призраки-профессионалы, владеющие не только режиссерским мастерством, но и разбирающиеся в психологии, в психиатрии и умеющие оказать первую помощь.

В ту пору я еще не овладел тайнами ремесла и с Трубоди действовал наугад. Я это смутно понимал, и меня терзали угрызения совести и беспокойство.

Но тут вспышка молнии осветила портрет Артура на мольберте, и мне почудилось, что Артур удовлетворенно улыбается и даже пони радостно фыркает.

В путеводителе, который я еще раньше обнаружил в библиотеке, об Артуре Свордфише говорилось как о мальчике, который в самом деле жил когда-то и умер в расцвете сил в той самой комнате, где я мучился сомнениями насчет того, правильно ли я себя вел. Как бы поступил на моем месте Артур? Что он думает обо мне там, где он сейчас находится?

Я провел беспокойную ночь на своем продуваемом сквозняками чердаке, а утром меня разбудило пыхтенье автомобиля. Одним прыжком я подскочил к моему наблюдательному пункту.

У автомобиля с откидным верхом, разогревавшего двигатель под ставшим опять безоблачным и чистым небом, собралась вся семья Свордфиш, кроме леди Памелы, которая отсутствовала по причине своей физической немощи. Хозяева замка провожали уезжающего Трубоди,

а заодно и журналиста эдинбургской "Трубы", который расхаживал взад и вперед и, похоже, особенно торопился уехать. Трубоди, конечно, тоже торопился, однако ему было труднее выразить свои чувства, потому что он лежал на носилках.

Но, по крайней мере, он был в сознании, потому что лорд Сесил учтиво склонился над ним и, похлопывая гостя по бессильной руке, говорил ему какие-то любезности. Одетый в темный костюм бородач взял другую руку больного, извлек из жилетного кармана громадные часы и начал считать пульс. Потом врач сделал знак отправляться, носилки с грехом пополам водворили в машину на заднее сиденье, и машина тронулась, извергая клубы дыма.

Журналист, которого мистер Трубоди любезно привез в своем автомобиле, теперь отбыл в кабриолете врача, потому что его место в машине заняли носилки.

О машине Трубоди напоминало уже только слабое пыхтенье, доносившееся с дальнего конца аллеи, когда Алиса обернулась к замку и я увидел, что лицо ее сияет от радости. Заметивший это лорд Сесил сделал дочери замечание, и она тотчас приняла скорбный вид.

Это зрелище вознаградило меня за мои терзания.

Уинстон все больше верит в призраков

Этот день, 17 августа, до самого вечера прошел для меня совершенно спокойно.

С наступлением темноты я сбросил с себя одежду пирата, при виде которой после всего, что, наверно, наболтал Трубоди, с Уинстоном мог приключиться удар, и облачился в халат без рукавов — одеяние арабского шейха, перекочевав таким образом с южных морей к морям песчаным.

После полуночи я отправился поужинать в кладовку, где меня уже ждал Уинстон, сгоравший от нетерпения и страшно возбужденный.

— Так это ты? — спросил он меня, едва я переступил порог.

— В каком смысле?

— Это ты говорил по телефону? Пират, о котором толкует Трубоди, жуткие крики — это все ты?

— Вы что-то путаете, Уинни. Ничего не понимаю. Что это, к примеру, за история с телефоном?

Уинстон с напряженным интересом всматривался в мое лицо. Но поскольку, изучив мою физиономию, наследник Свордфишей к определенным выводам не пришел, он снизошел до объяснений, очевидно рассчитывая, что я совершу какую-нибудь оплошность и мои ответы и моя реакция помогут ему меня уличить.

— За столом я сегодня был потрясен так, как еще не был потрясен ни разу в жизни. Мы как раз ели шафрановый рис, довольно-таки густой, как вдруг тетя Памела, у которой с самого утра вид был победоносный и ликующий, не сдержавшись, заявила (привожу ее слова на память почти дословно): "Ничего удивительного, что Трубоди сбежал. Я сама прошедшим вечером попросила Артура, чтобы он разобрался с этим выскочкой. Артур был настолько любезен, что из моей комнаты позвонил Сесилу, чтобы сказать ему, как следует относиться к подобному мезальянсу. Сесил лгать не умеет и подтвердит вам мои слова..." И представляешь,

Джон, я собственными ушами слышал, как мой отец забормотал что-то невнятное насчет того, что поздней ночью с 15-го на 16-е ему и в самом деле кто-то позвонил из комнаты тети Памелы. Кто-то! И ты меня будешь уверять, что этот "кто-то" — не ты?

Я ответил тихим, страдальческим голосом:

— Как вы могли подумать, Уинни, что после всех ваших наставлений — а следовать им мне было необходимо не только в ваших интересах, но и в моих собственных, — как вы могли подумать, что мне придет в голову странная мысль явиться к леди Памеле, да еще позвонить от нее лорду Сесилу? Неужели вы можете представить себе, что я стучу к ней в дверь и говорю: "Это я, Артур. Где тут телефон?"? Чего ради я стал бы вести себя так дерзко? Разве это на меня похоже?

— Нет, конечно. Но все-таки по телефону призраки не звонят!

— Не забывайте о прогрессе, Уинни.

В полном расстройстве чувств Уинни опустился на ящик с копченой пикшей.

Я побаивался, что тетя Памела по неосмотрительности могла упомянуть о моем индийском костюме, который Уинни уже имел случай оценить.

— А леди Памела ничего больше не говорила об этом модернизированном призраке?

— Ни единого словечка, хотя все просто умирали от любопытства. Она дала слово Артуру и боится, что, если нарушит слово, он к ней больше не придет. Все просто сбиты с толку. От нашей тети Памелы можно с ума сойти. А ты, конечно, будешь уверять, что это не ты явился к злополучному Трубоди в образе пирата с Ямайки при сабле и бильбоке?

— А к Трубоди кто-то явился в образе пирата?

— Вот именно "кто-то"! По крайней мере Трубоди сумел это пролепетать, прежде чем дал отсюда тягу. Как он отсюда отбыл, ты наверняка мог наблюдать со своего чердака.

— Уинни, поговорим серьезно. Чего ради я стал бы наряжаться пиратом и впутываться в историю, в которой для меня нет никакой выгоды? Я мечтаю об одном — дождаться воскресенья и убраться отсюда.

— Вообще-то это резонно... Ну а крики? Крики, которые переполошили весь Малвенор и чуть не угробили жениха моей сестры... моих сестер, если тебе так больше нравится... прямо возле турецкой уборной? Опять будешь уверять, что это не ты?

— Едва не угробили?

Я был ошарашен таким поворотом событий.

— Ну да! Если не считать разбитого ночного горшка, Трубоди довольно благополучно перенес потрясение от встречи с пиратом. Он уже открыл глаза, но жуткие вопли его доконали — услышав их, он потерял сознание. Он вообразил, что настал его последний час. У журналиста и у того случился сердечный приступ. Пришлось мистрис Биггот колоть ему камфару.

— В самом деле, хоть я и был далеко, мне что-то послышалось среди ночи. Артур и в самом деле завывал очень громко.

— Это тоже очень странно. Настоящие призраки или ухают, или шепчут. Не поймешь их.

— А что говорит мэтр Дашснок?

— Что наш Артур... не такой, как другие.

— Что же я могу к этому добавить, мой бедный Уинни?

Уинстон помолчал, а потом сказал устало и мрачно:

— Должен признаться, Джон, что, если прислушаться к голосу здравого смысла, заподозрить тебя нельзя никак. Но тогда совершенно очевидно, что у нас здесь водится самый настоящий призрак.

— По крайней мере, Джеймс уверяет в этом воскресных экскурсантов.

— Да. Только теперь это уже не вранье.

Я с трудом удержался от улыбки.

Уинстон вдруг вскочил, точно подброшенный пружиной. Его испугала неожиданная мысль:

— Но если, на беду, ты попадешься, все проделки настоящего Артура взвалят на тебя, а рикошетом на меня. И если Артур не угомонится...

Уинстон не решился договорить и горестно рухнул на ящик.

— Похоже, Артур оживился в связи с известной вам помолвкой, — сказал я, чтобы успокоить Уинни. — Перед приездом Трубоди Артур позволил себе кое-какие шалости. А после его приезда совсем уж распоясался. Но теперь, после того как его жертва отбыла на носилках, почему бы ему не утихомириться? Ведь это семейный призрак, он начинает трепыхаться только по случаю каких-нибудь выходящих из ряда вон событий. Вот увидите, все войдет в обычную колею.

На Уинстона мои выкладки произвели глубокое впечатление.

— Ты не по годам рассудителен, Джон. Я подскажу эту мысль моему отцу, который после звонка Артура и последующего разговора с тетей Памелой то и дело глотает аспирин.

— Если новый жених будет более подходящим и удовлетворится одной из сестер, Артур наверняка оставит его в покое.

— Дай бог, чтобы ты оказался прав! Выдать замуж бесприданниц и без того нелегко. А если женихов еще станут калечить пираты, это вообще будет невозможно. Но честно говоря, злоключения Трубоди ничуть меня не огорчили, да и у отца, по-моему, камень упал с души, хотя этот фрукт и пообещал, что реставрирует юго-восточную башню.

— Выходит, все хорошо, что хорошо кончается.

Поскольку Уинстон немного приободрился, я смог спокойно поужинать, и даже сытнее, чем в прошлые вечера, — по случаю помолвки Алисы лорд Сесил велел подать на стол все самое лучшее.

— Вы не голодны, Уинстон?

— Вчера я не мог составить тебе компанию, потому что у меня из-за непривычного изобилия вкусных блюд заболел живот, а сегодня у меня желудок расстроился из-за пережитых тревог. Не тот у меня желудок, что прежде.

— Вы должны взять себя в руки.

— Легко сказать! Я восхищаюсь твоим хладнокровием. Правда, ты не знаешь всего. Загляни одним глазком в газеты, пока ешь.

Уинстон извлек из кармана пачку вырезок, которые я тут же просмотрел при скудном пламени свечи.

В шапках лондонских изданий чувствовалась изрядная доля недоверия: “Призрак у фотографа”, “Удивительная любезность призрака”, “Призрак-авангардист”, “Призрак, списанный с натуры”...

В особенности потешались журналисты над безголовой фотографией.

В Шотландии, в газетах Эдинбурга и Глазго, заголовки были крупнее и серьезнее. "Историческая премьера в замке Малвенор", "Призрак Артура Свордфиша появляется при полном освещении", "Традиционная Шотландия на заре прогресса"... Воспроизведенную фотографию сопровождали аргументы "за" и "против", которые тщательно взвешивались. Шотландцы никогда не любили подшучивать над привидениями — ведь это одно из их национальных сокровищ.

— Посмотри, — сказал Уинстон, — даже лондонская "Таймс", которая на первой странице печатает свои знаменитые маленькие объявления, на второй отвела целых семнадцать строк под заметку "Типично шотландское происшествие в замке Малвенор". Заметка в газете, равной которой нет на всех Британских островах, означает, что призрак окончательно узаконен.

Я был уничтожен непредвиденным и стремительным ростом своей популярности. Что бы сказали мои родители, мистер Гринвуд и мистер Баунти, увидев меня без головы и с бильбоке в руках на страницах газеты Глазго "Дейли рипортер"? Было от чего рехнуться!

— Настала критическая минута, Джон. Ведь даже если Артур оставит нас в покое, у газетчиков и прочих любопытных на это деликатности не хватит — понимаешь, чем это грозит нам с тобой? Если Джеймс теперь тебя поймает, разразится скандал в национальном масштабе. Отец придет в такую ярость! Нет, я даже подумать боюсь, что он с нами сделает.

От этой мысли и в самом деле пробирала дрожь. Но меня приободрила другая неоспоримая мысль:

— Время за полночь, Уинни. Уже восемнадцатое августа, суббота. Если завтра, в воскресенье, мне удастся без всяких недоразумений покинуть Малвенор, а похоже, помех этому нет, никто не сможет доказать, что замок обесчестил лжепризрак. И от всей этой газетной шумихи будет уже не вред, а только польза.

— Ты попал в точку, Джон, — с жаром подтвердил Уинстон. — При всей моей симпатии к тебе должен признаться, что весьма желательно — особенно теперь, — чтобы ты поскорее отсюда убрался.

С некоторой грустью я подумал, что "жизнь в замке", предсказанная мне старухой колдуньей, продолжалась всего неделю.

После того как я поужинал, Уинни попросил, чтобы я проводил его хотя бы до бального зала на втором этаже. Я удивился, а он со вздохом пояснил:

— Честно говоря, с некоторых пор мне не по себе, когда я остаюсь один в потемках... А ты, уж не знаю почему, чувствуешь себя все храбрее.

Чтобы усыпить его возможные подозрения, я ответил так:

— Я стараюсь храбриться, Уинни. А на самом деле трушу еще больше, чем вы. И недаром. Не проходит ночи, чтобы Артур не ухал у меня на чердаке. Сначала он тихонько произносит: "У-у! У-у!", а потом все громче...

— Это, наверно, ветер, Джон.

— Ветер не говорит с оксфордским произношением.

— Что? Артур обращается к тебе, к тебе, с оксфордским произношением?

— Вы же мне говорили, что на чердаке он однажды разговаривал с вами. Какое у него тогда было произношение?

— Черт возьми, я не помню. А... а с тобой о чем он говорит?

— Он взял с меня слово, что я буду хранить тайну. Как леди Памела. Единственное, что я могу открыть, это что он уговаривает меня остаться в Малвеноре, чтобы ему помогать. Тут поневоле испугаешься.

Я думал поддразнить Уинстона, но снова не рассчитал силу удара. Бедный Уинни вскочил, позеленел от страха и залепетал что-то бессвязное.

Я похлопал его по спине.

— Успокойтесь, Уинстон. Я еще не сошел с ума, чтобы связываться с Артуром. Куда бы это привело всех нас троих?

— К потере рассудка, Джон, ни больше ни меньше. Умоляю тебя, не слушай Артура! Это опасный шутник!

Вид у Уинстона был такой перепуганный, что в конце концов я проводил его туда, куда он просил.

— Я прошу тебя как друга, Джон, дать мне торжественную клятву.

— Какую?

— Если ты все-таки попадешься, не выдавай меня. Вообще это было бы неблагородно...

— Но если я не сошлюсь на вас, мне будет трудно объяснить, откуда у меня познания в фотографии.

— Ничего подобного! Чепуха! В Малвеноре нет человека, который не знал бы про аппаратуру, которую установил мэтр Дашснок. Над ней немало потешались! Ты мог узнать про нее все, даже подробности того, как она устроена, из болтовни на кухне, которую ты подслушал с твоей винтовой лестницы...

— Вы правы, Уинни. Можете на меня рассчитывать.

Уинстон пылко стиснул меня в объятиях, чуть не подпалив своей свечой.

— От всего сердца благодарю тебя, Джон. Ты — настоящий джентльмен.

Я уже не был больше "хромым бродяжкой". И решил, что это обещание я сдержу в отличие от первого, которое сдержать не смог.

Заяц, который наводит страх

Хотя день был не экскурсионный, уже с девяти утра к воротам Малвенора съехалось множество машин с любопытными, вдохновленными хорошей погодой. В десять часов лорд Сесил решил открыть двери нашествию. Поток посетителей увеличился после одиннадцати, поредел на время обеда, заструился с новой силой после полудня и иссяк на исходе дня вместе с дневным светом.

Час за часом волны экскурсантов, как прибой, поднимались до комнаты Артура, чтобы потом схлынуть.

И час за часом со своего чердака я слышал хорошо поставленный голос Джеймса, который этажом ниже, не ограничиваясь обычным речитативом, разливался арией:

— Леди и джентльмены, рядом с окровавленным бильбоке перед вами в серебряной рамке фотография во весь рост Артура Свордфиша, пятого маркиза Малвенора... вернее, фотография его призрака, которую удалось сделать в замке совсем недавно, в ночь с 13 на 14 августа нынешнего года, благодаря неусыпным трудам мэтра Филеаса Дашснока, име-

ющего ученую степень магистра философских наук. Обратите внимание, по причинам, тайну которых еще не удалось разгадать, эктоплазма пожелала позировать таким образом, чтобы на отпечатке не оказалось головы. Впервые в мире исторический призрак запечатлен человеческой фотокамерой – нет необходимости подчеркивать, какой огромный научный и оккультный интерес представляет собой выставленная здесь фотография. Кстати, вся британская пресса уделила ей внимание, а "Таймс" отметила ее многозначительным упоминанием. Не случайно первая фотография призрака сделана в Шотландии. Шотландия, родина самых прекрасных призраков, должна была заложить этот первый самобытный и краеугольный камень в здание науки о них. Нет никаких сомнений, что завтра, в четыреста восемнадцатую годовщину зверского убийства Артура, его призрак решительнее, чем когда-либо, заявит о своем присутствии среди нас. Пожалуйста, не трогайте фотографию руками: экспонат является, так сказать, уникальным!

То, что я с помощью самых нелепых средств и единственно ради того, чтобы Уинстон получил лучшую отметку по латинскому сочинению, перебудоражил не только Малвенор, но и всю Англию, навело меня на глубокие размышления – глубокие в той мере, в какой это было доступно моему юному возрасту, – и я предавался им целый день.

Я был поражен простодушием взрослых, которые верили в призраков или без труда давали себя убедить в их существовании. Я мог бы сразу утратить уважение к старшим. Но у меня хватило ума понять, что заблуждаться свойственно людям независимо от возраста и пола. Мужчины, женщины и дети обманываются сами, дают себя обмануть и обманывают других с удивительной доверчивостью. У детей свои иллюзии. У взрослых свои. Иногда они у них общие. Осознав это, я почувствовал, что повзрослел. И в то же время понял, как трудно стать по-настоящему взрослым, то есть не то чтобы недоверчивым, но верящим в то, что достойно веры и любви.

У меня мелькнула также мысль, что если люди толпами устремляются на поиски призраков, значит, они нуждаются в чем-то, чего не находят в повседневной жизни. И это что-то должно наводить страх, потому что страх – лучшее развлечение для взрослых, как и для детей. Люди, ничего не боящиеся, начинают скучать, если только они не развлекаются, пугая других. Но чаще всего тот, кто старается напугать других, сам не чувствует себя спокойно.

Если бы я убрался из Малвенора в ту субботу 18 августа (а я едва так не поступил), я избавился бы от жутких переживаний. Но я решил, что летом в воскресный день толпа посетителей будет еще гуще и лучше укроет меня от глаз Джеймса. К тому же я хотел в последний раз плотно поужинать, прежде чем снова пуститься в странствия по высокогорью Хайленда.

Я как раз отдавал должное обильному ужину, когда Уинстон явился попрощаться со мной. Мысль о моем скором отъезде сама по себе могла вернуть ему аппетит и хорошее настроение, но у него оказались в придачу и другие причины быть довольным...

– Видел ты этот цирк, продолжавшийся весь субботний день, дорогой Джон? Нам всем пришлось есть бог знает что бог знает где. Но Джеймс собрал неслыханную выручку. Если такой ажиотаж продолжится еще неделю, отцу хватит денег отремонтировать юго-восточную башню, которая из-за бегства Трубоди так и осталась в развалинах. Папа

очень любит эту башню — там на третьем этаже в один прекрасный весенний день родились мои сестрички. Мы переехали из тех помещений всего года четыре назад, когда после грозы рухнула крыша.

— Если интерес посетителей ослабнет, вы сами, Уинни, сможете сфотографироваться вместо меня — ведь на первом снимке головы нет.

Моя мысль очень позабавила Уинстона.

— Ну во-первых, тогда мне первым делом надо похудеть! Но пока что отец воспрял духом, и все обитатели дома это чувствуют. Тете Памеле почти удалось его убедить, что Артур дал себя сфотографировать, чтобы обеспечить приток посетителей в Малвенор со всеми вытекающими отсюда благоприятными последствиями. Так или иначе, злоключения Трубоди и сердечный приступ у журналиста стали отличным довеском к рекламе. "Промышленник и журналист повержены эктоплазмой флибустьера". Неплохой заголовок, а? Не говоря уже о драматических комментариях к фотографии разбитого вдребезги ночного горшка. Начинаю думать, что лучший пособник вранья — фотография. Даже та, которая создает у дураков полнейшую иллюзию реальности...

Некоторое время мы переходили от одного блюда к другому, отведывая от каждого и обмениваясь ничего не значащими словами. Уинстон восхищался моим аппетитом.

— Можно подумать, что ты насыщаешься впрок на неделю вперед, Джон!

— Жаль, что нельзя наесться впрок на месяц вперед! — смущенно признался я.

Мы спустились в погреб, где распили последнюю бутылку "Гинесса". После чего, всячески выказывая мне свою симпатию, Уинстон ссудил мне два фунта стерлингов, которые сам выпросил у леди Памелы, и хотел подарить мне свои часы, но я воспротивился.

— Если я попадусь с этими часами, Уинни, скажут, что вы мне их подарили или того хуже — что я их украл.

Уинстон, который об этом не подумал, поблагодарил меня за мою предусмотрительность. Потом, обняв меня в последний раз, набрался храбрости и один отправился в свою комнату. Я чувствовал, что он, конечно, огорчен моим предстоящим уходом, но все-таки еще в большей степени обрадован.

У Уинстона, как у каждого из нас, были свои хорошие и плохие стороны. Достойный офицер, он был награжден крестом Виктории за героическое поведение во время отступления из Дюнкерка, когда прорвался сквозь французский полк, пытавшийся отплыть раньше полка, которым он командовал; и в том же сороковом году, в разгар войны, Уинстон с красной орденской лентой на груди погиб от несварения желудка. Упокой, Господи, его душу!

Растроганный прощанием с Уинни и с "Гинессом", испытывая смутные укоры совести, причиной которых была отчасти моя последняя трапеза, я вдруг захотел перед своим исчезновением как-то отплатить лорду Сесилу за его гостеприимство. Правда, я привлек к нему драгоценных экскурсантов, но сделал это непреднамеренно, а стало быть, это не в счет. Все указывало на то, что мне следует в последний раз сыграть роль призрака, чтобы лорд Сесил мог извлечь из этого пользу, тем более что

представление, которое я дам, совпадет с четыреста восемнадцатой годовщиной убийства Артура.

Но что бы такое придумать, что произвело бы впечатление, но в то же время ничем не грозило моей особе и не потревожило бы ночной покой моих хозяев?

Я пошел в кухню поглядеть на стенные часы — они показывали час ночи. Воскресенье 19 августа уже началось.

В буфетной мое внимание привлекли остатки иракских фиников, маслянистых, блестящих, и я из чистого гурманства съел один, потом второй.

Возле блюда с финиками лежала освежеванная заячья тушка — упитанный заяц поджидал, чтобы его превратили в рагу. Кровь животного слили в мисочку. Мистрис Биггот наверняка добавила в нее немного уксуса, чтобы кровь не испортилась, — я видел, как однажды так поступила моя старшая сестра, готовившая кроличье рагу. Уксус не давал крови свернуться.

В былые времена, когда у любителей поесть, вроде Уинстона, кровь была слишком густая, цирюльники каждое утро впрыскивали им немного уксуса в полую вену, отчего, впрочем, у пациентов потом целый день бывало кислое настроение. В особенности если цирюльник добавлял в уксус щепотку перца, чтобы усилить действие инъекции. Вот откуда пошли выражения "уксусный вид", "не человек, а перец"... Что вы уставились на меня, дорогие внучата? Шутка еще никому не принесла вреда.

Короче, я сообразил, что смешанная с уксусом заячья кровь поможет мне просто и изящно решить мою задачу.

Взяв миску, я поднялся в комнату Артура и старательно обмазал свежей кровью пресловутое бильбоке, лежавшее в шкатулке, выстланной малиновым бархатом. И чтобы с еще большим блеском отметить четыреста восемнадцатую годовщину, я оставил на черном палисандровом дереве стола кровавый отпечаток детской руки.

Я уже собирался водворить миску в буфетную, как вдруг мне пришло в голову добраться до библиотеки — Библия 1503 года, "почти инкунабула", заслуживала того, чтобы ею заняться.

Я поломал себе голову над толстой книгой, которая лежала под стеклом, открытая на первой странице Апокалипсиса. Мне было стыдно начертать на этой почтенной Библии слова собственного сочинения. Надо было позаимствовать их из готового текста...

И тут я вспомнил, что мистер Баунти особенно любил один отрывок из Ветхого Завета, он охотно читал его ученикам, чтобы нагнать на них страху и напомнить им все кары, которые рано или поздно, в этом мире или в другом, обрушатся на головы лентяев и беспечных людей: то была история последнего вавилонского царя Валтасара, который увидел, как таинственная рука начертала непонятные слова на стене его пиршественного зала, когда Дарий был уже у ворот его города, готовый ночью убить царя.

Я помнил наизусть роковые слова, которые были начертаны на стене пиршественного зала и перевести которые смог один только пророк Даниил: "Мене, текел, фарес".

Приподняв защитное стекло витрины, я на первой странице Апокалипсиса размашисто написал окровавленным пальцем три священных слова. И, желая проявить широту натуры, оставил на стекле витрины второй отпечаток руки.

Заснул я с сознанием того, что насколько мог оплатил свой долг гостеприимному лорду Сесилу. Моя инсценировка должна была возместить ему, и даже с лихвой, расходы, в которые я ввел его, пока ел и пил под его кровом!

Я проснулся при ярком свете дня, разбуженный взволнованными голосами участников первой воскресной экскурсии ниже этажом.

Накануне заметив время, которое протекало между появлением экскурсантов у входа в замок и той минутой, когда они переступали порог комнаты, где совершилось преступление, я теперь решил, что, очевидно, по просьбе любопытных Джеймс изменил свой маршрут: поскольку посетители прежде всего хотели посмотреть на комнату Артура и на выставленную там фотографию, Джеймс смирился с тем, чтобы начинать показ с нее, а остальную лекцию подсократить.

Поэтому я ничуть не удивился, услышав голос Джеймса, который механически приступил к пояснениям. Очевидно, устав от проделанной накануне работы, дворецкий еще не совсем стряхнул с себя сон. Свежая кровь в комнате вначале ускользнула от его обычной зоркости.

Джеймс невозмутимым тоном продолжал свою речь:

— С тех самых пор — этот факт засвидетельствован лучшими путеводителями Шотландии и даже французским "Голубым путеводителем", — неотмщенный призрак Артура посещает Малвенорский замок. А 19 августа при благоприятной погоде...

(Во время грозы Джеймс говорил "в грозовую погоду", а когда было солнечно, он стыдливо упоминал о "благоприятной погоде". Ох уж этот шутник Джеймс!)

...на бильбоке иногда та... та... та... О боже мой!..

Джеймсу так и не удалось выдавить из себя привычное и неизменное "таинственным образом выступает кровь"!..

И я услышал, как под крики ужаса посетителей, утративших надежного гида, на пол грохнулось тучное тело. Джеймс от потрясения лишился чувств.

Экскурсии были отменены. К трем часам дня у ворот Малвенора в лучах палящего солнца понемногу скопилась порядочная толпа, которая возмущалась, выражая нетерпение, поскольку день был безусловно экскурсионный.

Пришлось лорду Сесилу сдаться и возобновить экскурсии. Беспокоясь о здоровье Джеймса, я обрадовался, услышав его голос.

Но теперь голос Джеймса звучал далеко не с прежней раскатистой мощью, так что на чердаке было плохо слышно, что он говорит.

Мне давно пора было убраться подобру-поздорову, радуясь тому, что моя благотворительная акция увенчалась таким успехом. Джеймс и тот после минутного испытания, какому подверг его призрак Артура, о котором он так давно разглагольствовал, в него не веря, наверняка утешится чаевыми. В прошлое воскресенье я не мог сунуть ему в руку монету. Но теперь я щедро, и к тому же тайно, с ним рассчитался. Я мог покинуть Малвенор, чувствуя, что никому ничего не должен.

Я бы с удовольствием сбежал в моем маскарадном костюме, но в нем далеко не уйти. Поэтому я стал искать мои старые лохмотья, которые сам разбросал по чердаку среди вороха другой одежды, перед тем как начался повальный обыск, нагнавший на меня такого страха.

Скоро я нашел все свое имущество, кроме брюк. Куда запропастились эти чертовы штаны? Само собой, слуги лорда Сесила перевернули все вверх дном, но все же штаны должны были быть где-то здесь.

Потратив три четверти часа на напрасные поиски, я решил надеть какие-нибудь другие штаны, ведь надо было спешить. Я торопливо перерыл все тряпье... Уже вечерело, когда я пришел к грустному выводу: панталоны от карнавальных костюмов, даже те, что мне по размеру, слишком необычны и неминуемо привлекут внимание Джеймса или пробудят еще чье-нибудь неуместное любопытство, в обычных же брюках могло уместиться четверо таких мальчишек, как я. А убежать совсем без брюк... для этого надо было дождаться новейшей моды, которая пришла к нам в конце нынешнего века...

Сумерки сгущались, я услышал, как по лестнице поднимается последняя экскурсия — моя последняя надежда на побег до наступления утра. Если я не сдержу слова и по смехотворной причине — отсутствия брюк — продлю еще на день мое пребывание в Малвеноре, что скажет Уинстон?

Меня охватила паника. Но тут я заметил, что некоторые платья для девочек с виду были как раз подходящего для меня размера. Что если примерить одно из них? При моих длинных волосах, которые мистер Гринвуд не подстригал мне уже много месяцев, в потемках я легко мог сойти за девочку — а мне надо было только выгадать время, чтобы провести Джеймса и добраться до старьевщика, у которого я смогу купить мужскую одежду.

Платье из белого поплина было слишком элегантным. Я выбрал ситцевое в синюю и белую клетку — очевидно, Алиса или Агата лет пять-шесть тому назад ухаживали в нем за цветами в саду.

Последние экскурсанты уже покидали комнату Артура, когда я понял, что куда-то засунул свои башмаки. Я засуетился. Но пока я их искал, Джеймс и его свита уже покинули башню.

Очень грустно. Но в конце концов никакой трагедии нет. Если Уинстон одолжит мне свои брюки, я уберусь отсюда завтра утром, и даже при более благоприятных обстоятельствах.

Но Уинстон, естественно предполагавший, что я уже скрылся, ужинать со мной не пришел. Делать нечего — придется идти к нему и его разбудить. Скупо освещая себе путь спичками, я на цыпочках поднялся по большой лестнице, ведущей из кордегардии, свернул налево, прошел по длинному коридору до кабинета естественных наук и прокрался туда со всеми возможными предосторожностями, опасаясь какой-нибудь каверзы со стороны Юпитера.

Справа от меня была комната мэтра Дашснока. Слева — комната Уинстона. Из-под двери мэтра Дашснока просачивалась неизменная полоска света от ночника. Как и леди Памела, спящий, без сомнения, ждал нового визита Артура. Я мысленно посмеялся над этим. Но из-под двери

слева не просачивалось никакого света. Уинстон наверняка спал крепким сном.

Я, как кошка, приоткрыл его дверь и чиркнул спичкой: Уинстон и в самом деле мирно спал в своей кровати восстанавливающим силы сном. Я вошел в комнату, закрыл за собой дверь, подкрался к кровати, чиркнул еще одной спичкой и тихонько окликнул Уинстона:

— Уинни! Уинни! Это я, Джон! Уинни, проснитесь! Мне нужны штаны.

Когда я произносил последнюю фразу, Уинстон наконец открыл глаза, и тут моя спичка потухла. Я шарил в поисках третьей спички, а сам продолжал настаивать:

— Наверняка у вас есть какие-нибудь старые штаны. Штаны, которым два-три года...

Третья спичка на мгновение вспыхнула, осветив не столько лицо Уинстона, сколько мое одеяние.

— Я верну вам штаны в самые ближайшие дни...

И тут-то Уинстон завопил во всю силу своих легких, призывая на помощь.

Я был так ошеломлен, что выронил коробок спичек и только потом обратился в бегство. Но в потемках, тщетно отыскивая дверь, наткнулся на стенку.

— На помощь, мэтр Дашснок! Здесь Артур! — продолжал вопить Уинстон.

Я был не в состоянии оценить комизм происходящего. А тут еще раздался вдруг лай Юпитера, который и вовсе заглушил мои объяснения.

Наконец я нащупал дверь, но стал дергать ее не в ту сторону. И, потеряв голову, сам заголосил:

— На помощь! На помощь! Меня заперли! Я не могу выйти.

— Смелее, Уинстон! Держитесь! Я иду...— раздался голос мэтра Дашснока.

Терзаемая мной дверь каким-то чудом открылась, и я ринулся через кабинет естественных наук, такой же темный, как комната Уинстона, опрокидывая на своем пути населенные змеями колбы и целые стада чучел, а кругом звенело разбиваемое стекло и грохотала мебель, на которую я наталкивался. Мчась зигзагами через весь этот разгром, я рванулся к какой-то двери, распахнул ее и устремился туда, где, по моим расчетам, находился коридор.

В это мгновение меня ослепила вспышка магния, я от нее шарахнулся и наугад попятился, как оказалось, в нужном направлении.

Была секунда, когда я решил, что попался, потому что, нажав на грушу, мэтр Дашснок торжествующе завопил:

— Он в моих руках, Уинстон!

Это означало, что ему удалось сделать фотографию.

Потом я не раз размышлял о странном поведении мэтра Дашснока. Ему довольно было протянуть руку, чтобы схватить меня, как кролика за шкирку. Но, думая прежде всего о своей науке, он с поразительным хладнокровием предпочел сделать фотографию.

Сдается мне, что кое-какая лженаука и сегодня вот так упускает добычу ради ее тени. Но это уже другая история...

Много часов подряд пролежал я на своей балке, мало-помалу успокаиваясь, но смутно опасаясь всяческих бед. Мне не повезло и с Уинсто-

ном, и с мэтром Дашсноком. И зачем только понадобилась учителю еще одна фотография!

После бессонной ночи весь понедельник 20 августа я то впадал в дремоту, то изнывал от нетерпения. С утра до вечера по Малвенору бродили люди. Я слышал глухой шум и топот ног. Джеймс совсем охрип. Очевидно, известие о таинственных окровавленных руках уже широко распространилось, а новый фотографический успех мэтра Дашснока дал новую пищу скептицизму и противоборствующим страстям.

Я не мог дождаться минуты, когда смогу наконец спуститься в кладовую, — у меня были основания надеяться, что Уинстон больше не обманет моих ожиданий.

Он и в самом деле явился туда раньше меня и притом в совершенной ярости.

— Ну-с, что ты делаешь здесь в эту прекрасную звездную ночь? И какая муха тебя укусила, с чего тебе вздумалось разыгрывать призрака? Мы были на волосок от катастрофы! Ты неисправим!

— У меня пропали штаны, Уинни.

— Штаны? Так значит, мне это не приснилось...

Я стал объяснять, оправдываться, а под конец твердо сказал:

— Разве я мог предвидеть, что вы станете кричать не своим голосом только оттого, что я попрошу у вас старые штаны? Дашснок оказался храбрее вас!

Удар попал в цель, Уинстон был задет.

— Хорошие шуточки ты шутишь! — заявил он. — Поставь себя на мое место! Я считал, что ты уже удрал. И вдруг меня будит какая-то девчонка и требует, чтобы я дал ей штаны! Конечно, я подумал, что это очередная проделка Артура. Подумал — это сильно сказано! Я был не в состоянии о чем-нибудь думать. Вспомни, какая обстановка царит в Малвеноре с тех пор, как ты сюда явился. Мы путаем настоящих призраков с подделками, и так каждый день, а это — хуже нет!

Я признал, что действовал недипломатично. Уинстона тронул мой покаянный тон. Я окончательно успокоил его, дав ему самую торжественную клятву, что уберусь из замка вместе с первой же экскурсией, которая объявлена на вторник... если только он раздобудет мне какие-нибудь брюки.

— Не волнуйся, Джон, если хочешь, у тебя будет три пары брюк.

— Я мог бы убраться уже сегодня, если бы вы, Уинни, поняли, что обознались, и догадались принести мне брюки минувшей же ночью.

— Но я же понял, что к чему, только когда мэтр Дашснок показал мне первый отпечаток нового снимка! Вот тебе экземпляр, дорогой Джон, пусть останется у тебя на память...

Вторая фотография получилась еще более отчетливой, чем первая, так что Уинстон, конечно, без труда узнал на ней мои черты.

— Что за невезение! — вздохнул Уинстон. — Какая нелепая ошибка! Мэтр Дашснок в полном восторге, хотя и теряется в догадках, пытаясь объяснить этот случай. Бедный папа, у которого уже в полном смысле слова ум за разум заходит, вообразил, что Артур переоделся девочкой, чтобы меня соблазнить, и это, уж не знаю почему, очень его беспокоит. А тетя Памела трезвонит повсюду, что Артур поселил в замке подружку... От разговоров, которые велись у нас за ужином, спятит самый здравомыслящий человек. Но дела у нас идут хорошо. В ожидании, пока будет установлено, кто изображен на второй фотографии, ее уже поместили

рядом с первой, возле бильбоке и отпечатка окровавленной руки, и она вызывает восторг толпы...

Я поспешно прервал Уинстона, чтобы попросить у него объяснений насчет окровавленной руки, о которой мне было известно больше, чем ему.

— Ах да, Джон! Конечно! Ты же не в курсе! У меня у самого память отшибло! Так знай же, ночью, накануне того дня, когда ты должен был уйти из замка, Артур — на сей раз настоящий Артур! — оставил кровавые следы на бильбоке, на почти инкунабуле... и даже рядом с ними! Обнаружив это во время первой воскресной экскурсии, Джеймс хлопнулся в обморок. Он уже приходил в себя, когда Алиса и Агата имели неосторожность рассказать ему о большой Библии, которая лежит в библиотеке, — Артур кровавыми буквами написал на первой странице Апокалипсиса три слова...

— Какие три слова, Уинни?

— *Мене, текел, фарес.* Ты историю знаешь?

— Как все...

— Так вот, тут Джеймсу опять стало плохо, и дрожь била его три часа подряд. Дело в том, что Джеймс принадлежит к секте "Свидетелей Судного дня" и с тех пор, как овдовел, живет в ожидании конца света — по его расчетам, он должен наступить в 1913 году. До Джеймса еще не дошло, что все равно, из-за чего умереть — из-за конца света или от гриппа. И все-таки эта фантазия Артура всех смутила. Тем более что по какой-то непонятной причине — мэтр Дашснок и все обитатели замка пытаются ее разгадать — Артур написал не "текел", а "таксел"...

После всех неприятностей, что мне причинила такса, понять источник моей ошибки нетрудно. Я однако был задет, потому что всегда гордился тем,что пишу грамотно. Ведь лучше гордиться своей грамотностью, чем своими ошибками!

— В результате мои сестрицы, которые всерьез относятся только к браку по любви, — продолжал Уинстон, — нашли себе забаву и пугают Джеймса криками: "У-у! У-у!" Представляешь, что творится у нас дома? Чего ж удивляться, что и посетители поддаются истерике, которая уже охватила членов семьи. Во время каждой экскурсии женщины падают в обморок... Завтра — главное, не забудь, в этот день ты должен уйти! — констебль пришлет нам полицейского, лазарет и двух сестер милосердия. А приходский священник прочитает молитвы, чтобы изгнать Артура, который стал позволять себе слишком многое. Вот до чего мы дожили!

Я от всей души согласился, что мне самое время убраться.

Уинстон вознамерился принести мне брюки, и я предложил, что провожу его до бального зала, как уже делал, чтобы ему было не так страшно.

— Спасибо, Джон. Не надо. Поневоле становишься фаталистом... Одним призраком больше, одним меньше... К тому же в замок после обеда на машине последней модели с электродвигателем прибыл некий Джулиус Гроб-юниор ("юниор" на латыни значит "младший"). По просьбе гостя отец устроил его в комнате принца Альберта... или, если угодно, в комнате Трубоди. Вдруг у него бессонница, и ты столкнешься с ним на лестничной площадке — так что лучше не рисковать.

Я попросил, чтобы Уинстон рассказал мне более подробно о человеке с таким диковинным именем.

— Мне известно только одно, — сказал Уинни, — это американец, мультимиллионер, он был по делам в Лондоне, когда благодаря тебе все заговорили об Артуре, а он интересуется призраками. Я видел его только мельком. Он похож на простодушного теленка, из носа и ушей у него растут волосы, похожие на стебельки петрушки.

Описав портрет американского гостя, Уинстон удалился, но через десять минут вернулся, принеся очень приличные брюки. Однажды мы уже растроганно простились с ним. Дважды такую сцену повторять смешно. И мы расстались навсегда, ограничившись дружеским рукопожатием.

Я пошел наверх переодеться. Брюки были мне немножко велики, но на худой конец годились. Сунув в карман два фунта стерлингов, сумму в двадцать раз большую, чем я когда-нибудь держал в руках, я с умилением подумал о тете Памеле, которой был обязан этим богатством. Я знал, что тетя Памела в своей инвалидной постели каждый вечер с нетерпением поджидает прихода Артура. А я ведь обещал к ней вернуться. Разве не следовало мне, по долгу вежливости и справедливости, хотя бы на минуту заглянуть к ней на прощанье?

Я и по сей день не умею противиться порывам своего доброго сердца.

Светский визит с плохим концом

Тетя Памела не спала. Как ни странно, из-за закрытой двери разносился громкий голос старой дамы, туговатой на ухо:

— Поскольку вы уже позавтракали, дорогая Александра, вы можете ненадолго составить мне компанию. Мне нужно вам столько рассказать, у нас тут происходят удивительные вещи!.. Вас ждут партнеры по гольфу? Китайцы? Играть в гольф с китайцами! В мое время это было невозможно! Боже, как вы современны, дорогая!.. Что ж, тогда до свидания!

Первым моим побуждением было обратиться в бегство — я решил, что тетя Памела в комнате не одна. Но, сообразив, что она говорит по телефону, я испугался уже совсем другого...

Что это еще за Александра, которая завтракает в час ночи и по ночам же ходит играть в гольф с китайцами? Может, это призраки бьют клюшкой по фосфоресцирующим мячам между двумя вспышками магния? Неужели тетя Памела скрыла от меня правду? Неужели она и впрямь знаток оккультных наук, всамделишных... если такие бывают?

Колени у меня подогнулись, и чтобы не потерять равновесия, я тяжело привалился к двери.

— Артур? Это вы?

— Я, тетя Памела. Мне что-то неможется, — жалобным голосом простонал я.

— Ну так войдите же, и вам станет лучше! Минутку... Теперь можете войти.

Я вошел и при успокоительном свете лампы опустился в кресло у изголовья тети Памелы. Хоть старая леди и разговаривала по телефону с призраками, все-таки она была взрослым человеком, доброжелательным и опытным, да вдобавок у нее в спальне горела лампа, от которой было светло.

— Что это еще за новая прихоть, Артур? С чего вам вздумалось наряжаться маленьким оборвышем? К тому же эти брюки висят на вас как мешок из-под картошки!

Пытаясь справиться с волнением, я пробормотал:

— Я нарядился так перед тем, как пуститься в путь, дорогая тетя Памела. Оборвышу легче затеряться в толпе, ведь бедняков куда больше, чем богатых.

— Пуститься в путь?

— Да, нынче ночью я покидаю Малвенор. Но я вернусь...

— Позвольте узнать, Артур, что побудило вас принять такое неслыханное решение?

Я помолчал, подумал.

— Я ухожу... чтобы избавить замок от страшных несчастий.

— Это еще что за новости? После всего того, что вы сделали?

— Именно! Чтобы защитить Алису, я едва не прикончил Трубоди и довел до сердечного приступа журналиста. Чтобы поправить финансовое положение лорда Сесила, я едва не отправил на тот свет Джеймса и устроил смуту в Малвеноре...

— В самом деле, малыш, рука у вас тяжелая.

— Делать добро очень трудно, тетя Памела! Одних добрых намерений недостаточно. Если я останусь, мне могут взбрести в голову еще какие-нибудь неожиданные великодушные поступки. И что тогда будет?

Похоже, на тетю Памелу мои слова произвели глубокое впечатление.

— В ваших словах есть доля правды, Артур. Но как же вы мудры для своего возраста!

— Мне больше четырехсот лет, тетя Памела. Это не пустяк.

— Верно. Я совсем забыла. Вы так хорошо сохранились! Правда, вам повезло — вы умерли в детстве. Боги любят тех, кто умирает молодым. А из меня получится просто старенький призрак, который и показать-то никому не захочется. Я буду пугать людей... Конечно, без всякого умысла. Но это самый грустный способ наводить страх!

Я попытался утешить тетю Памелу, но ею уже овладела другая мысль.

— А ваша юная подружка, та, что похожа на вас, — ее так мило сфотографировал прошлой ночью мэтр Дашснок? Может, вы порадуете нас хотя бы тем, что оставите здесь ее...

— Мм... я бы не прочь. Да и она тоже. Но очень уж неспокойно в Малвеноре.

— Понимаю. Призраки любят побыть в одиночестве, поразмышлять...

Я поднялся с кресла, собираясь уйти.

— Артур! Вы уже меня покидаете?

— Мне надо собрать вещи, тетя Памела. Мои и... Софи.

— У вас, похоже, большой багаж... Ну что ж, Артур, счастливого пути! А куда вы направляетесь?

— О! Так... по окрестным замкам...

Леди Памела протянула мне свою руку для поцелуя, я машинально взял ее в свои, не очень понимая, какой учтивости она от меня ждет. И тут же заметил удивление на ее лице, хотя не догадался, чем оно вызвано.

— Ну что ж, Артур, все кончено, — взволнованно прошептала тетя Памела. — Теперь, чтобы развеять одиночество, мне останется только звонить в Шанхай. Там сейчас день. Благодаря телефону, Артур, для меня никогда не бывает ночи. А когда жить осталось недолго, это большое преимущество...

Мистер Баунти ничего не рассказывал мне о часовых поясах, и то, что говорила тетя Памела, осталось для меня китайской грамотой и сильно меня смутило. Я выпустил руку почтенной леди.

И вдруг тетя Памела сама поднесла к губам собственную руку, чтобы заглушить крик ужаса — я уже однажды слышал этот крик утром, когда леди Памела, проснувшись, обнаружила, что призрак с помощью ее вставной челюсти надкусил яблоко.

— Что... что... что с вами, тетя Памела?

— У вас теплые руки, Артур! Те... те... теплые!

— Ну и... и что ж?

— У п-п-п-призраков руки х-х-х-холодные!

Мы оба дрожали как осиновые листья.

Я не знал, что придумать, чтобы спасти положение, и брякнул первое, что мне пришло в голову:

— Но я же согрел их специально для вас, тетя Памела. Для того чтобы вас успокоить! Вот взгляните... взгляните на мой отпечаток на сиденье кресла... Разве стал бы так себя вести плохо воспитанный призрак, который без нужды пугает людей?

Испуг на лице леди Памелы в одно мгновение сменился улыбкой.

— О, Артур! Я смущена. Я не заслуживаю такого внимания! Хорошо, бегите, а то я наговорю еще каких-нибудь глупостей.

Я поспешил убраться и двинулся прямо по направлению к моей свече, которую, как и при первом моем визите к леди Памеле, оставил на большом столе в столовой.

Растроганный простодушием тети Памелы, я уже протянул руку к своей лампаде, как вдруг грубая пятерня схватила меня за шиворот...

— Так наш Артур освещает себе путь свечой?

То был вкрадчивый и жестокий голос Джеймса. Я потерял сознание.

В чувство меня привели пощечины...

— В путь, господин призрак! Несмотря на поздний час Его светлость будет счастлив взять у вас интервью...

Несмотря на мои жалобные стоны, вопли и мольбы, Джеймс не отказал себе в зловредном удовольствии проволочить меня по парадной лестнице на третий этаж. Там он свернул по коридору налево, открыл дверь в глубине, втолкнул меня в просторный кабинет и только тогда наконец разжал хватку, чтобы зажечь две керосиновые лампы, потушить свечу, которую он у меня отнял, и постучать к лорду Сесилу...

Несмотря на ужасные обстоятельства, я все-таки сообразил, что кабинет, в котором мы оказались, расположен как раз над кабинетом естественных наук, а спальня лорда Сесила над комнатой мэтра Дашснока.

— Это Джеймс, Ваша светлость! Призрак попался!

Усталый голос лорда Сесила отозвался не сразу:

— Опять? Спасибо, что сказали. Посмотрю на эту третью фотографию завтра утром. Спокойной ночи, Джеймс.

— Ваша светлость меня не поняли. Я сам поймал призрака во плоти и крови!

— Что? Как? Каким образом?

— Ну да, Ваша светлость! Он тут, в кабинете, у меня на глазах! Соблаговолите удостовериться в этом сами, Ваше лордство!

Во время этого краткого обмена мнениями через дверь я, как бабочка, которая бьется о стекло, инстинктивно приблизился к большой застекленной двери на балкон, выходивший на западную сторону. Но на случай возможной грозы дверь была заперта. Да и будь она открыта, далеко бы мне не уйти.

Услышав изумленные возгласы лорда Сесила, которые возвещали, что он вот-вот появится в кабинете, я впал в такую панику, что одним прыжком очутился за складками правой занавески; этой раздвинутой сейчас занавеской была задрапирована дверь на балкон. Такой поступок мог только усугубить ожидающую меня кару.

Но в ту минуту, когда Джеймс обернулся, он увидел пустой кабинет, и то же самое увидел лорд Сесил, как раз появившийся из своей спальни.

Задыхаясь от тоскливого страха в своем укрытии, я наблюдал за реакцией обоих...

— Итак, Джеймс, где этот пресловутый призрак?

— Но... секунду назад он был здесь, Ваша светлость.

— Я не спрашиваю вас, где он был, я спрашиваю, где он сейчас?

— Коридор! Я оставил дверь приоткрытой... Он сбежал у меня за спиной в коридор!

Джеймс бегом бросился вон из комнаты, и шум его шагов вскоре стих. Рискнув выглянуть одним глазком из-за занавеса, я различил высокую фигуру в халате — стоя на пороге кабинета, лорд Сесил освещал лампой пустынный коридор. Ко мне он повернулся спиной. А так как вторую лампу унес Джеймс, в кабинете было довольно темно.

С минуты на минуту Джеймс возвратится ни с чем. Тогда они обыщут комнату и непременно меня найдут. Куда бы мне спрятаться?

В шести шагах от меня распахнутая настежь дверь вела в спальню лорда Сесила — ночник слабо освещал кровать, обрамленную затейливо украшенными колонками. Паркет в кабинете и в спальне был покрыт коврами, заглушавшими шум шагов, — это подстегнуло мою решимость сменить убежище.

Сосчитав до трех, я бросился к кровати лорда Сесила и дрожа забился под нее. Оттуда я уже не видел ничего, кроме пола, но слышать мог все...

— Ну так что же, Джеймс? Где призрак?

— Не мог он за несколько секунд добежать до конца коридора, Ваша светлость. А комнаты, выходящие в коридор, все заняты, кроме трех, где нет мебели, но я их осмотрел на обратном пути, вы сами видели, Ваша светлость.

— Так что же, Джеймс? Где призрак?

— Он должен быть в этом кабинете, Ваша светлость! Отсюда выходят три двери — одна в коридор, одна в спальню Вашей светлости, а напротив нее дверь в спальню блаженной памяти леди Малвенор, но она заперта уже много лет. Поскольку пойманного мной маленького негодяя в коридоре нет, а исчез он, когда я стоял в дверях Вашей спальни, он наверняка спрятался здесь — а спрятаться здесь можно только за занавесками!

Воцарилось молчание, в котором чувствовалось колебание. Несмотря на то что он рассуждал так уверенно, Джеймс не спешил проверить

свое утверждение — из моего тайника под кроватью я видел ноги дворецкого, неподвижно застывшие рядом с ногами его хозяина. Очевидно, лорд Сесил обратил внимание на это противоречие и саркастически заметил:

— Вполне логично, Джеймс. На днях, руководствуясь той же логикой, мы были уверены, что поймаем нашего призрака на чердаке... Представьте, мне запало в память одно изречение мэтра Дашснока: "Применять к призракам правила логики — это все равно, что открывать банку сардин зубочисткой". Под этим банальным набором слов кроется глубокая истина. Готов биться об заклад на двадцать гиней — за занавеской призрака нет!

— Я никогда не бьюсь об заклад, Ваша светлость. Это противоречит заповедям моей Церкви.

— Нынешним вечером эта заповедь весьма для вас кстати! Ну раз так, ищите его, не рискуя потерять деньги...

Громадные ступни Джеймса исчезли из поля моего зрения, потом возвратились.

Наступило еще более долгое молчание. Его прервал ласковый, покровительственный голос лорда Сесила:

— С некоторых пор, мой добрый Джеймс, все мы переутомлены. Ваша ошибка простительна.

— Но я не сошел с ума, Ваша светлость! История очень простая... Мне никак не удавалось уснуть, и я спустился в большую библиотеку, чтобы в старинной Библии найти ответы на кое-какие свои вопросы. Через несколько минут мне послышался крик леди Памелы. Я побежал на крик и, к своему удивлению, на столе в столовой увидел зажженную свечу. Поскольку голоса леди Памелы больше слышно не было, я погасил свою лампу и спрятался за буфетом. И тут из комнаты леди Памелы преспокойно вышел мальчуган, который направился к свече. Я схватил его за шиворот...

— Это на вас похоже!

— Уверяю вас, Ваша светлость, этот гадкий шалопай состоял из самой обыкновенной плоти и разговаривал как любой из нас!

— Досадно, что эта плоть куда-то испарилась.

— Но свеча осталась!

— Ну что ж, с этим я не спорю.

— Признаюсь, это совершенно непонятно.

— Мэтр Дашснок, — заговорил лорд Сесил поучительным тоном, — дал мне прочитать труды, посвященные чисто технической стороне вопроса, Джеймс. Из них явствует, что некоторые избранные эктоплазмы наделены консистенцией, которая настолько напоминает доброкачественную человеческую плоть, что невольно можно ошибиться.

— Ваша светлость полагает...

— Судя по всему, вы встретили Артура, который прогуливался со свечой, чтобы легче было ввести вас в заблуждение и посмеяться над вами. Если верить мэтру Дашснoку, призраки склонны к таким розыгрышам.

— Если Ваша светлость утверждает...

— Я ничего не утверждаю, Джеймс, я констатирую. Вы поймали сквозной ветерок. Единственное, чем вы можете подтвердить свои слова, это свеча. Превосходное доказательство! Наш дом ломится от них... Позвольте мне снова лечь спать, у меня больше нет сил. И поразмыслите над пословицей: "Sapiens nihil affirmat quod non probet". На нашем

родном языке это означает: "Мудрец никогда не утверждает того, чего он не может доказать".

На этом беседа двух пар ступней закончилась. Ступни Джеймса уныло удалились, а ступни лорда Сесила приблизились к кровати.

Я схвачен и озадачен

С неописуемым облегчением услышал я, как лорд Сесил снова улегся в постель, хотя вследствие этой процедуры на паутину, которой я уже был опутан, посыпались хлопья потревоженной пыли. Наверняка под этой постелью уборку не делали со времен Вильгельма Завоевателя! Чтобы выбраться из неудобного и опасного положения, мне нужно было дождаться только одного — чтобы лорд Сесил заснул. Но до этого оказалось еще далеко.

Сначала лорд Сесил привернул фитилек лампы, которая теперь едва теплилась, но вскоре я понял, что совсем тушить свет он не станет. Очевидно, лорд Сесил привык спать при слабом мерцании ночника, то ли потому, что эта привычка укоренилась в нем давно, то ли из-за той нервозной атмосферы, которую вот уже неделю создавал в замке Артур. Правда, ночник освещал комнату так, что, пожалуй, даже облегчал мое бегство. Но если лорд Сесил не заснет, то, выбравшись из своего убежища, я могу самым дурацким образом угодить прямо в пасть льву... А как узнать, спит лев или нет?

Долго-долго ворочался лорд Сесил с боку на бок, пытаясь вернуть сон, которого лишился по вине Джеймса, пружины под ним скрипели, и при каждом его движении меня орошал очередной поток пыли.

И в конце концов случилось то, что должно было случиться еще раньше: меня стало мучить неодолимое желание чихнуть.

Я чувствовал, что больше не в силах сдерживаться, и вдруг лорд Сесил, который уже минут десять лежал не шевелясь, начал благородно и негромко похрапывать. Это было хорошим признаком, и я решил потерпеть. Я досчитал до ста, но тут мне стало невмоготу, я пулей вылетел из своего тайника и... отчаянно чихнул у изножья кровати лорда Сесила, чихнул тем громче, что слишком долго удерживался.

Внезапно разбуженный необычным шумом лорд Сесил, только-только успевший заснуть, порывисто сел на кровати, и глазам его предстало кошмарное зрелище: привидение, покрытое таким слоем пыли и паутины, какой едва ли мог набраться даже за четыре столетия!

При виде призрака лорд Сесил нырнул обратно в кровать, но почти тут же, устыдившись своей слабости, вопросил меня с самым невозмутимым достоинством:

— Артур Свордфиш, я полагаю?

Наверно, я мог бы выпутаться из беды, включившись в игру, но я был настолько взволнован, что не мог притворяться и ответил без раздумий:

— Меня зовут Джон, Ваша светлость.

— Джон? Еще один призрак?

— Нет, Ваша светлость. Я еще учусь в школе.

— Боже всемогущий! У меня тут целая школа призраков! Тогда все понятно!

С тех пор я много раз убеждался, что заставить поверить в призраков легче, чем доказать потом, что их нет.

Я не знал, что мне еще сказать, чтобы найти выход из нелепого положения, как вдруг чихнул во второй, потом в третий раз, а потом расчихался так, что остановить этот приступ уже не смог.

Выражение лица лорда Сесила начало понемногу меняться, словно он стряхивал с себя сон. Существует стойкий предрассудок, будто призраки не чихают. К тому же во время чиханья с моих жалких лохмотьев осыпалась вся пыль. А лорд Сесил, несомненно, сохранил предвзятые представления о том, как в соответствии с загробной модой одеваются призраки. Правда, у тети Памелы хватило ума этими представлениями пренебречь, но лорд Сесил не мог принять всерьез плохо одетого призрака.

Между двумя чиханьями я увидел, как лорд Сесил встал. Он надел свой халат, шагнул ко мне, взял меня за ухо, пощупал его сначала с сомнением, потом с возрастающей уверенностью. И наконец, свирепо его ущипнув, воскликнул:

— Клянусь небом, Джеймс был прав! Он состоит из самой настоящей плоти. Это никакая не эктоплазма, это бифштекс!

И лорд Сесил выпустил мое ухо, которое я стал тереть с жалобными стонами. Чиханье мое как рукой сняло.

Лорд Сесил повел меня в кабинет, зажег все лампы и уселся в удобное кресло — я остался стоять...

— Ну-с, выкладывайте, молодой человек. Говорите внятно, кратко и точно. И начистоту. При малейшей лжи я за себя не отвечаю.

И вот голосом, который мало-помалу обретал твердость, я рассказал лорду Сесилу обо всем, что могло его интересовать, — только не об Уинстоне. Конечно, лгать в этом вопросе было опасно, но с другой стороны, если бы несчастный отец узнал, что Уинстон был со мной в сговоре и мы вместе с ним опустошали припасы в кладовой, горе и ярость лорда Сесила дошли бы до крайности.

Я ограничился описанием фактов, не вдаваясь в объяснение побудительных мотивов, которые, впрочем, были весьма разнообразны. Почва, конечно, была скользкая, но все же более или менее твердая, и главное, достаточно богатая, чтобы удовлетворить законное любопытство лорда Сесила.

В самом деле, я не мог заговорить о латинском сочинении, не выдав Уинстона; не мог упомянуть о моем сострадании к Алисе и Агате, не вызвав ярости их отца. Я не мог даже намекнуть, что хотел из самых добрых чувств привлечь в Малвенор посетителей, не подвергнув себя саркастическим насмешкам уязвленного хозяина замка. Словом, я был вынужден представить свои поступки как серию фотографий без пояснительных подписей.

По мере того как я продолжал свой рассказ, на лице лорда Сесила выражалось все большее изумление. А после того как я закончил, маркиз Малвенор долго молчал, погрузившись в глубокое раздумье.

На лорда Сесила наверняка произвел впечатление контраст между ребячливостью моих поступков и серьезными последствиями, какие они породили в замке и в воображении его обитателей. Вопреки пословице, не гора родила мышь, а мышь родила гору, к тому же сама об этом не помышляя.

Но очевидно, у лорда Сесила хватило благородства признать, что мои действия не повлекли бы за собой никаких последствий, не окажись взрослые доверчивей детей.

— Послушай, Джон, — заговорил наконец маркиз,— я готов понять, что ты кормился за мой счет в моей кладовой и бесплатно жил в моем доме. Но какого черта тебе понадобилось изображать призрака, да еще с таким упорством?

Я мог предложить только одно правдоподобное объяснение:

— Просто ради забавы, Ваша светлость.

Лорд Сесил вскочил и воздел руки к небу...

— Выходит, ради забавы ты потакал бредням достопочтенной леди Памелы и таким образом посмеялся над ее старостью. Ради забавы ты дважды заставил Англию и Шотландию поверить, будто с помощью вспышки магния можно сфотографировать эктоплазму, и таким образом посмеялся над уважаемым мэтром Дашноком и над отечественной наукой. Ради забавы ты едва не свел в могилу жениха моей дочери Алисы, который надеялся встретить в Малвеноре почет и радушие, и таким образом разрушил выгодный брак и посмеялся как над чувствами, так и над вполне законной выгодой. Ради забавы довел до сердечного приступа несчастного журналиста из "Трубы" и таким образом посмеялся над прессой и над ее представителями. Ради забавы вымазал заячьей кровью семейную реликвию и Библию, которую мог держать в руках сам Лютер, и посмеялся над традициями и верой. Ради забавы ты вверг меня в ужаснейшее беспокойство, сбил меня с толку, заставил делать глупейшие заявления и таким образом посмеялся над аристократией и над моим гостеприимством. Ради забавы ты довел до жалкого состояния моего верного Джеймса и таким образом посмеялся над простым народом, из которого ты вышел. Ради забавы ты, как дикарь, растоптал в моем кабинете естественных наук бесценные коллекции гватемальских бабочек, и по твоей милости стал одноглазым редчайший экземпляр ласки из Афганистана. Ради забавы, horresco referens (упоминаю об этом с ужасом), ты сотрясал мой замок варварскими воплями и таким образом посмеялся над всеми. Словом, ради забавы ты потерял уважение ко всему, кроме собственных забав! Но если ты забавляешься таким образом в двенадцать лет, милорд Джон, какие забавы будут у тебя в тринадцать?

Мне оставалось только смиренно понурить голову, сознавая, что в этих суровых словах содержится изрядная доля правды.

Утомленный приливом ораторского пыла, лорд Сесил потянулся к бутылке старого виски, налил его себе щедрой рукой, а потом изрек такой ужасный приговор:

— Ты заслуживаешь, чтобы я препоручил тебя сначала заботам мэтра Дашнока, потом заботам Джеймса, а потом заботам полиции, чтобы она, разобравшись с тобой, препоручила тебя заботам твоего мужлана-кузнеца.

Я в слезах упал на колени.

А лорд Сесил продолжал с невольным восхищением, как бы обращаясь к самому себе:

— Одно несомненно, у этого Джона налицо безусловное призвание быть призраком, и как рано оно проявилось! Дюжина настоящих призраков не сумела бы в столь короткое время наделать такого переполоха. Он побил все рекорды Шотландии!

И сквозь собственные рыдания я услышал, как лорд Сесил задумчиво добавил:

— Можно ли противодействовать такому призванию? Быть может, это перст судьбы?

Голос лорда Сесила становился все более ласковым.

— Я ведь и сам был молод... В июле 1870 года, в день, когда леди Памела в четвертый раз выходила замуж, кто разбросал рисовые зерна на мокрых ступенях собора Святого Павла, так что шесть человек при выходе из храма переломали себе ноги? Маленький Сесил. Ох и накувыркались же они тогда! Новобрачный в гипсе, генерал Блудтурнип в военном госпитале, у двоюродного брата премьер-министра пустую голову раздуло чуть ли не вдвое!.. И что сказал мой отец, который был человеком мудрым? "Твой проступок, Сесил, — сказал он, — настолько чудовищен, что лучше о нем не говорить".

Черты лорда Сесила осветила добродушная улыбка, и он вновь обратился ко мне:

— Не хочу смерти грешника, Джон. Вставай, я тебя прощаю!

Я встал, не веря своим ушам.

— Но я никогда не останавливаюсь на полпути, Джон. Я пойду дальше: поскольку чердак так тебе понравился, почему бы тебе не остаться там еще на некоторое время?

Я решил, что лорд Сесил надо мной смеется, но он продолжал самым серьезным тоном:

— Я дам тебе, пожалуй, ключ от кладовой, второй будет по-прежнему у мистрис Биггот. Поскольку, оказывается, так легко отведывать от разных блюд не оставляя следов, лучше отныне запирать кладовую от остальных слуг и от лакомки Уинстона. Не следует вводить людей в искушение.

— Да, Ваша светлость.

— Но само собой, Джон, твое пребывание в Малвеноре отныне будет нашим с тобой секретом. Если об этом пронюхает кто-нибудь третий, назавтра об этом узнают все. Понял?

— Да, Ваша светлость.

— Если ты попадешься, я тотчас выгоню тебя из замка, сделав вид, что знать тебя не знаю. Ясно?

— Да, Ваша светлость.

— Но вряд ли ты окажешься таким неловким, что вынудишь меня к столь неприятным крайним мерам. Пусть тебе послужит уроком твоя промашка с Джеймсом, уяснил?

— Да, Ваша светлость.

— Итак, осторожность! Не вздумай больше оставлять где-нибудь свечу...

— Да, Ваша светлость.

— Ты понял, к чему я клоню?

— Да, Ваша светлость.

— Ну так скажи. Я слушаю!

Я постарался деликатно подбирать слова.

— Ваша светлость, наверно, полагает, что такому замку, как Малвенор, где призрак немного... ленится, было бы полезно прибегнуть к помощи призрака... гм... более активного?

Лорд Сесил рассмеялся.

— Ты смышленый малый, Джон, и ты это доказал! Но я думаю в первую очередь не о рядовых посетителях — ты их и так уже довольно потешил! Нет, речь идет о дичи необыкновенной, такой, какую можно подстрелить раз в столетие. Садись же, я тебе сейчас все объясню.

Я сел на краешек стула. Положение изменилось так неожиданно, так круто, что мне казалось, я грежу наяву. Только известная логика в словах и в поведении лорда Сесила убедила меня, что я не сплю. Впрочем, разве наш мир поддается логическому объяснению?

Мое призвание сопровождает меня и преследует

Лорд Сесил встал, но когда и я хотел последовать его примеру, удержал меня с любезной предупредительностью:

— Сиди, дорогой Джон! А я, расхаживая по кабинету, попытаюсь прояснить свою мысль и твою. С тех пор как мне пришлось отказаться от охоты на лисиц и продать своих собак, за которыми приходилось бегать, мне необходима разминка... Короче. Сегодня вечером в Малвенор приехал важный гость — Джулиус Гроб-юниор, гражданин Соединенных Штатов Северной Америки, мультимиллионер, владеющий всеми видами валюты. Этот господин, большую часть времени проживающий в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, нажил состояние на разнообразных похоронах. На Западном побережье Америки, от Канады до Мексики, он практически хоронит всех. Его девиз "Доверьтесь Гробу и спите спокойно!" стал знаменитым. В рекламных целях, а также по личной склонности мистер Гроб питает особое пристрастие к призракам. Его личная библиотека насчитывает сто двадцать пять тысяч томов, посвященных этому вопросу; девятнадцать секретарей по его распоряжению изучили четвертую часть этих сочинений. Гроб проездом находился в Лондоне, когда в газетах появилась фотография Артура — гм... словом... твоя фотография, и он не мог не откликнуться на эту новость и не примчаться сюда, чтобы во всем удостовериться на месте. Я посчитал своим долгом рассказать ему о том, что здесь происходит, рассказать с той наивной доверчивостью, которая тогда мной владела, и это еще усилило его интерес, если только это было возможно. Незадолго до полуночи в этом самом кабинете он сделал мне предложение, которое своей внезапностью и странностью как нельзя более соответствует характеру *янки.* Правда, Гроб оговорил свое предложение условием, что соберет дополнительную информацию... Словом, Гроб мечтает купить замок Малвенор, чтобы наконец обзавестись достойным своего положения призраком. Догадываешься, что я ему ответил, Джон?

Негодующий тон лорда Сесила подсказал мне ответ:

— Конечно, Ваша светлость отказались!

— Само собой. Ведь в этом замке в почете и славе жили все мои благородные знаменитые предки. Мое возмущение достигло высшей точки, когда этот гробовщик бесстыдно признался мне, что намерен разобрать Малвенор по камешку, словно какой-то конструктор, а потом возвести его в прежнем виде в Калифорнии, поблизости от своего любимого кладбища между венецианским дворцом и пагодой из Тонкина. У

этого немыслимого субъекта мания — он перевозит здания с места на место и коллекционирует их!

— Но это же чистое безумие, Ваша светлость!

— Хуже, чем безумие, милый Джон — это дурной вкус! Но продолжим... Видя, что, какую бы цену он ни предлагал, ему не удается меня убедить, Гроб переменил тактику. "В чем проблема? — спросил он. — Вы хотите остаться в Малвеноре? Пожалуйста! Я разберу, как уже говорилось, старый замок, а для вас построю новенький на этом же самом месте, с патиной времени и натуральным мхом. За причиненное вам беспокойство я выкладываю сто тысяч фунтов стерлингов и вдобавок преподношу вам надгробие — беломраморный постамент с конной статуей из первосортной позолоченной бронзы и склеп, обтянутый изнутри гобеленом. Таким образом вы соедините приятное с полезным!.. А мне самому нужен именно старый замок — понимаете, прежде всего из-за Артура, который, вне всякого сомнения, переедет вместе с замком. Призраку, у которого сложились свои привычки, неуютно будет в новом замке и тем более в замке строящемся. Словом, я покупаю не столько замок Малвенор, сколько призрака, притом совершенно конкретного призрака по имени Артур..." Догадываешься, что я ему ответил, Джон?

— Ваша светлость с ужасом отказались: даже американцу не продают призрака, которого нет в природе!

— Ты ребенок, Джон! Я ухватился за представившуюся возможность.

После такого досадного промаха я совершенно сник.

Лорд Сесил был так добр, что принес мне стакан гранатового сиропа и с лукавой улыбкой наклонился ко мне:

— Я не тебя продаю, милый Джон. Такую сделку и впрямь можно было бы назвать бесчестной. Я прежде всего продаю подлинного Артура, Артура исторического, который фигурирует во французском "Голубом путеводителе" и в английской литературе и чью невинность и красоту Шекспир воспел в сонете... к сожалению, утраченном. Этот Артур и призрак, который следует за ним как брат, представляют собой единую жемчужину, а Малвенор — ее оправу. Все это вместе являет собой сокровище, цены которому нет, и я проявляю доброту, и даже чрезмерную, соглашаясь уступить его дураку, который заслуживает разве что каких-нибудь третьесортных призраков! Так, можно сказать, от нас уплывает старая Шотландия.

Растроганный собственными словами, лорд Сесил деликатно шмыгнул носом и сделал еще одну попытку меня убедить:

— Ты на какое-то мгновение напялил на себя наряд Артура — признаю, это может облегчить сделку. Но разве твое случайное вмешательство чем-то обедняет волшебную реальность подлинного призрака, такого, каким его описывает воскрешающая его легенда? Нет. Наоборот, твое вмешательство скорее ее обогащает! Артур ждал тебя, Джон, чтобы золотыми буквами дописать последнюю главу своих загробных приключений, и ты можешь этим гордиться — это говорю тебе я, его владелец!

Спорить в эту минуту с лордом Сесилом было бессмысленно, и я поддержал его с энтузиазмом, который он оценил:

— Отлично, Джон! Мне приятно убедиться, что ты мыслишь здраво.

— Спасибо, Ваша светлость.

— Стало быть, ты понимаешь, что сейчас не время бегать по окрестностям и чесать языком — я могу потерять на этом сто тысяч фунтов стерлингов, новенький замок да еще конную статую из позолоченной

бронзы высшего качества... которая, во всяком случае, может послужить насестом для голубей.

— Да, Ваша светлость.

— Плохая бы это была плата за мое великодушное прощение.

— Безусловно, Ваша светлость.

— Вот это ответ! Пока Гроб находится здесь, твое любезное пребывание на чердаке тем более желательно, что наш гость на своем коммерческом жаргоне твердит, что "убежден только на девяносто девять процентов". Наивный и в то же время практичный, как большинство американцев с тех самых пор, как в конце XVIII века Англия неосторожно предоставила их самим себе, Джулиус Гроб-юниор, несмотря на латинское добавление к его имени, которое должно было бы возвысить его душу, жаждет удостовериться во всем на личном опыте, так сказать, пощупать призрака руками... Для этого он здесь, и жестоко будет его разочаровать. Могу ли я рассчитывать на тебя, Джон, чтобы довести до стопроцентной уверенность нашего любителя старины? Ты ведь понимаешь, какое значение имеет этот один процент, не так ли?

Уинстон заставил меня разыгрывать призрака, чтобы избежать очередной порки. Леди Памела убедила меня разыгрывать призрака, чтобы избавить Алису от неравного брака. И вот теперь лорд Сесил собирался вырядить меня призраком ради новенького замка и ста тысяч фунтов стерлингов, такой громадной суммы, что я даже не мог оценить ее величину!

После долгих мучительных раздумий я решился сказать лорду Сесилу:

— Ваша светлость недавно упрекнули меня, что я предавался забавам в вашем доме...

— Но теперь речь совсем не о забавах, Джон, — оборвал меня лорд Сесил. — Ты и в самом деле вдоволь позабавился по прихоти своей анархической фантазии. Но теперь речь идет об ответственной работе, выполнив которую ты сможешь заслужить мое полное прощение и даже вечную благодарность.

На это, увы, было нечего возразить.

— Ваша светлость, — предположил я, поднатужившись, — наверно, хочет, чтобы я время от времени испускал свои "У-ух! У-ух!"?

— Превосходно! Очень оригинально! Мы сможем даже ухать вдвоем, ты меня научишь... Но можно придумать и кое-что получше!

Лорд Сесил подлил немного виски в мой гранатовый сироп, что было дурным знаком, и, сев рядом со мной, стал вдохновенно меня убеждать:

— Гроб, преисполненный надежд, спит сейчас с улыбкой на устах в комнате принца Альберта, где я уложил его, собственноручно подоткнув одеяло. Эта комната будит его воображение, поскольку Артур недавно являлся туда в одеянии пирата из тропиков. Гроб заплатил бешеные деньги мэтру Дашсноку, чтобы тот ссудил ему свое оригинальное оборудование для ночной фотосъемки, и направил объектив в сторону двери, следуя оптимистической методе изобретателя и с его помощью. Чтобы увеличить шансы на успех, он прихватил с собой апокалиптическую таксу, привыкшую учуивать призраков, — за прокат собачонки мэтр Дашснок денег не взял. Все в полном порядке! Тебе достаточно войти и встать в позу. С твоим опытом это не составит труда. Просто детская игра...

Я отбивался, как попавшая в капкан лисица. Но лорд Сесил был неумолим.

— Сто тысяч фунтов стерлингов, Джон, это приданое Алисы и Агаты. Это плата за содержание Уинстона в Итоне и за его обучение вплоть до Сандхерста[1] — для него это единственный шанс похудеть и избежать апоплексического удара. Я не могу с легким сердцем от этого отказаться.

Первый довод тронул меня даже больше, чем второй, и я почувствовал, что слабею.

Лорд Сесил встал.

— Ну же, веселее за дело! И день, и час нам благоприятствуют. Куй железо, пока горячо — ты должен был выучиться этому правилу у мистера Гринвуда! Если нашему Гробу удастся в первую же ночь пребывания в Малвеноре сделать хорошую фотографию Артура, он будет в восторге, в упоении и подпишет с закрытыми глазами любой контракт!...

Повесив нос я поплелся за лордом Сесилом до комнаты, выходящей в коридор. В этой комнате почти не осталось мебели и все было покрыто пылью.

— Здесь жил Уинстон, — понизив голос, пояснил лорд Сесил, — пока я не вверил его попечениям этого вьючного осла Дашснока.

Лорд Сесил порылся в шкафу, где царил полнейший беспорядок, и извлек оттуда два громадных никелированных револьвера и полный костюм Буффало Билла...

— Я подарил это снаряжение Уинстону, когда ему исполнилось десять лет, чтобы приохотить его к оружию. Думаю, оно тебе подойдет...

Я был сражен.

— Но... Ваша светлость, призраки не переодеваются ковбоями!

— Тс! Тише! Рядом спят мои дочери... Совершенно верно, шотландские призраки обычно не переодеваются в ковбоев. Но наш клиент — американец. Может ли Артур оказать ему большую любезность? Давай же, одевайся...

Я снова сбросил с себя свои лохмотья и с замиранием сердца вырядился Буффало Биллом. Мне казалось, что вид у меня самый нелепый. Хуже того, меня томило зловещее предчувствие.

Я рухнул в кресло.

— Умоляю вас, Ваша светлость, отложим вылазку до завтра...

Лорд Сесил открыл коробку с пистонами, осмотрел их и стал заряжать револьвер, приговаривая:

— Вот что поддержит твой дух. Ты войдешь к гробовщику и двенадцать раз пальнешь ему в ноздри из револьвера. Тебе надо только нажимать на спусковой крючок, револьвер перезаряжается автоматически...

— Ваша светлость! Пощадите!

— Таким образом ты его разбудишь без труда, а ему будет что порассказать в своем клубе гробокопателей!

— Ваша светлость! Умоляю вас!

— Уши ему заложит от пальбы, ноздри наполнятся запахом пороха. А взгляду предстанет чудесное явление — ты сам. Ну а насчет того, чтобы пощупать... Он будет счастлив пощупать фотографию! В путь, Джон!

Я прирос к стулу.

Схватив меня за мой ковбойский пояс, лорд Сесил рывком поставил меня на ноги и сказал тоном уже более серьезным:

1. Королевский военный колледж близ деревни Сандхерст, графство Беркшир.

— Я ставлю на карту будущее моей семьи, Джон. А ты — свое собственное будущее. Если я останусь доволен твоими услугами, я порекомендую тебя моему старому другу лорду Фитцбэби: вот уже больше двадцати лет бедняга ночами не спит, все думает, где бы раздобыть призрака для своего родового замка в окрестностях Данди! Ты создан не для того, чтобы плесневеть на чердаке, а для того, чтобы время от времени в решающую минуту появляться то в одном, то в другом замке. Словом, жить в замке!

Меня словно озарило.

"Жить в замке"! Я вдруг вспомнил предсказание колдуньи: "Ни хозяин, ни гость, ни слуга. Ни человек, ни ангел, ни животное". Так неужели эта жизнь в замке означала жизнь призрака?

Лорд Сесил добавил с некоторой неохотой:

— Ну а поскольку с твоей помощью я получу сто тысяч фунтов стерлингов, новенький замок и памятную статую, я возмещу тебе два шиллинга шесть пенсов, которые ты заплатил Джеймсу в день твоего прихода в замок. Ничто меня к этому не обязывает, но я всегда слыл человеком щедрым.

Я встал и попросил дать мне оружие. Пора было с этим кончать.

Слишком трудный клиент

Лорд Сесил спустился со мной на один этаж, успев убедиться, какой страшный скрип издают в полной тишине, царящей вокруг, мои слишком узкие сапоги. Я уж и не знал, как ступать, чтобы раньше времени не оповестить спящих о нашем приближении.

Когда мы проходили через бальную залу на втором этаже, лорд Сесил передал мне свою лампу, а меня решил понести дальше на руках.

— Господи, какой же ты легкий, Джон! — прошептал он. — Да ты, наверно, ничего не ел в кладовой. Отведал ли ты хоть индюшачьего паштета на старом портвейне, который готовит мистрис Биггот?

— Да, Ваша светлость. Он великолепен.

Я обвил руками шею лорда Сесила. Но лорд вдруг остановился и задумчиво уставился на продолговатое возвышение, где стоял черный рояль, — казалось, он прислушивается к музыке прежних балов, оживляющей воспоминания о лучших временах.

И, сдерживая волнение, лорд Сесил поделился со мной своими чувствами:

— В этом зале, Джон, вечером 1 августа 1885 года я в первый раз заговорил с моей будущей женой, это было по окончании мазурки... нет, кажется, экосеза. После мучительных колебаний я осмелился спросить ее: "Вам понравился фазан в тесте?" И она находчиво ответила мне своим нежным и мелодичным голосом: "Да. Он великолепен". Она уже любила меня, и это чувствовалось в каждом употребленном ею эпитете. Вот и тут она стыдливо говорила о фазане, чтобы не говорить обо мне, ты понял? Когда твои руки обвились вокруг моей шеи и ты сказал о паштете "Он великолепен", это напомнило мне счастливейшую минуту моей жизни. Ах, моя дорогая Джорджина! Воображаю, как она смеется там, где она сейчас, глядя, как я держу на руках ковбоя, чтобы попытаться обеспечить приданое нашим дочерям!

Лорд Сесил справился со своим волнением и, двинувшись дальше, опустил меня на пол у дверей в комнату принца Альберта. А там он шепнул мне на ухо:

— Я возвращаюсь в мой кабинет. Подожди несколько минут, а потом открывай огонь. Я тогда мигом примчусь, чтобы отвлечь внимание твоей жертвы и поздравить ее с проявленным ею редким хладнокровием...

Чтобы уговорить меня отправиться к мэтру Дашсноку, Уинстон тоже уверял, что прикроет мое отступление. Я вспомнил матушкину поговорку: "Яблоко от яблони недалеко падает". По-видимому, прикрывать отступление и отвлекать внимание было фамильным пристрастием.

— У тебя есть спички, чтобы осветить себе путь к бегству? Отлично! — И, отечески похлопав меня по плечу, лорд Сесил добавил: — Смелее, Джон! Я с тобой! Наше дело верное! Заколи мне этого борова по всем правилам...

И лорд Сесил, без сомнения слишком старый, чтобы самому разыгрывать призрака, удалился, унося лампу, а меня оставил у двери, из-под которой в соответствии с инструктажем мэтра Дашснока проглядывал луч света. Чтобы сфотографировать эктоплазму, ее, само собой, прежде всего необходимо увидеть.

Я постарался растянуть подольше несколько минут ожидания, которые были предусмотрены лордом Сесилом. С тех пор как Джеймс схватил меня за шиворот, события разворачивались слишком быстро — одно волнение сменялось другим, одна выдумка другой выдумкой, и поэтому мысли мои путались и мешали действовать. Предсказание колдуньи и лорд Сесил подталкивали меня вперед. Но при этом у меня было такое чувство, что я попал в переделку, из которой мне не выбраться.

Так или иначе, мне было еще далеко до спокойной работы, на которую я мог рассчитывать в замке лорда Фитцбэби, где призраку-рантье надо будет выступить два-три раза, ровно столько, чтобы привлечь по воскресеньям на экскурсию нескольких солдатиков да нянюшек с детьми...

За меня дело решил Юпитер. Очевидно, такса, которую разлучили с хозяином, нервничала, плохо спала и, учуяв, что за дверью стоит кто-то чужой, залилась оголтелым лаем.

Это был знак судьбы. Дольше колебаться не приходилось. Взвинченный до крайности, с решимостью того, кто бросается в воду, я толкнул дверь и открыл беглый огонь по...

Ах, дорогие мои внуки! Я хотел бы описать вам эту потрясающую ключевую сцену во всех подробностях, красноречиво и тщательно, как это делается в романах, от которых невозможно оторваться, — в таком романе автор, упомянув, например, о каком-нибудь мышонке, не позволит себе обойти молчанием его генеалогическое древо, оттенок его шкурки, длину усов и величину хвоста. Но в данном случае с моей стороны это было бы нечестно. Ведь на самом деле...

Плесните-ка мне еще немного "Ройял хайлендер" с берегов моей любимой Спей! Рассказывать историю, подобную этой, можно только подкрепившись!

Так на чем я остановился? Ах да!

То были прекрасные времена короля Эдуарда, седьмого по счету, времена моей ранней юности. В те времена все было лучше, нежели теперь: наша Шотландия была еще зеленее...

Но кажется, я это уже говорил?

Ага, кто-то мне подсказывает... Спасибо!

Итак, я открыл беглый огонь по...

Нет, решительно это воспоминание слишком жестоко. Я закончу в другой раз. Мне уже скоро восемьдесят, могу я передохнуть, когда мне этого хочется!

К тому же, на мой взгляд, нынче всё потребляют в неумеренных количествах: и масло, и пушки, и фразы...

Хотите потребить все до конца? Да? Ну что ж, будь по-вашему!..

Так знайте же: Юпитер свое дело сделал, и поднятый по тревоге мистер Джулиус Гроб-юниор приготовился к обороне.

Я открыл беглый огонь по... вспышке магния, которая меня ослепила. Вот почему я не могу не солгав сказать, что я хоть что-то увидел.

Но зато я отчетливо услышал страшный взрыв и получил сильнейший удар в правую ногу под самым коленом.

Столкнувшись с ошеломляющей эктоплазмой в стиле Дальнего Запада, которая превратила его мирную спальню в тир, мой любитель призраков в полном обалдении стал защищаться как мог: сначала с помощью фотографии, потом с помощью пистолета. Но пистолет американца был самым настоящим. По сути, он единственный и был настоящим во всей этой истории! И комедия в мгновение ока превратилась в драму.

Стеная от боли, я заковылял по темному коридору. Не говоря уже о том, что я страдал физически, меня мучило пронзительное и горестное чувство, что меня обманули, что правила игры не соблюдены. Но ведь американца никто не посвятил в эти правила!

Кстати, его торжествующие вопли свидетельствовали о том, что он ни о чем не подозревает:

— Я ухватил его, лорд Сесил! Идите сюда и посмотрите! Ухватил с первого раза! Неслыханная удача!..

По счастью, Гроб был слишком начитан во всем, что касалось призраков и эктоплазм, и поэтому ему ни на мгновение не пришла мысль бежать за мной. Он знал, что призраки неуловимы по своей природе — это-то и дает возможность долго развлекаться их обществом. Их можно угадать, учуять, унюхать, услышать и слушать, заметить их, подглядывать за ними, сфотографировать их, приманить, изрешетить пулями, напугать и обратить в бегство... При удаче до них можно дотронуться, пощупать их — Джеймсу на мгновение почудилось, что ему это удалось. Но поймать призрака — дело совсем другое!

Вот почему настоящие охотники за призраками, самые опытные, самые рьяные, никогда не загоняют свою дичь до конца. Таким образом они оберегают себя от риска обнаружить, что упомянутой дичи не существует... или что она слишком уж реальна!

Подгоняемый страхом, я, несмотря на свою рану, мигом добрался до парадной лестницы, по которой, держась за перила, кое-как спустился до первого этажа и побрел по нему к лестнице, ведущей в башню.

Столовую оглашали взволнованные вопли леди Памелы, комната которой была расположена почти прямо под комнатой принца Альберта:

— Что это за пальба? Ради бога, что происходит? Артур, на помощь!

Доведенный до отчаяния, я все же удержался и не расстрелял мои последние пистоны под носом у леди Памелы. После первого болевого шока нога ныла уже не так сильно, но вдруг по ней стали пробегать мучительные судороги.

Путь на чердак оказался для меня самым настоящим хождением по мукам. Добравшись наверх, я осел на пол и, пытаясь стащить с ноги полный крови сапог, потерял сознание.

Открыв глаза, я увидел, что надо мной склонился лорд Сесил, очень бледный и сильно раздосадованный...

— Рана пустяковая, милый Джон. Пуля прошла сквозь ногу навылет. Я стянул с тебя сапог и теперь промою рану ключевой водой, как, безусловно, поступил бы и сам великий Пастер. Потом обработаю ее арникой, йодной настойкой, перекисью водорода и перуанским бальзамом. А потом наложу повязку с пряными горными травами, которые тетя Памела собрала когда-то собственными руками, до того как стала заниматься столоверчением и сломала себе шейку бедра.

— Мне кажется, Ваша светлость, пуля задела кость. Приглядитесь хорошенько, Ваша светлость, по-моему, нога немного искривилась?

— Не беда. Возьмем палку от метлы, сделаем тугую повязку, и все пройдет.

— Надо срочно позвать врача, Ваша светлость!

— Пожалуй... завтра...

Оказывая мне эту первую попавшуюся помощь, лорд Сесил ворчал:

— Эти американцы совершенно несносны! У них просто мания какая-то устраивать пальбу и убивать! Как я мог предвидеть такой дурацкий случай? Стрелять в призрака! Никто так не поступает. Это совершенно неприлично...

Пока лорд Сесил делал мне перевязку, я испытывал невыносимые мучения, а пока он накладывал шину, терпел самую настоящую пытку, несмотря на его оптимистические комментарии:

— Пуля прошла между берцовой и локтевой костью... а может, это малая берцовая? Наверно, самое лучшее — закрепить повязку веревкой. Уинстон некоторое время был скаутом у барона Баден-Пауэлла, он научил меня вязать узлы...

Закончив процедуру, лорд Сесил дал мне попить, заставил проглотить две таблетки аспирина и позволил себе слегка меня упрекнуть:

— Ты бросил свое оружие в коридоре, Джон. И это после первого ранения! Если бы я не проявил присутствия духа и не подобрал бы его, что бы с нами теперь было, а?

И с этими словами он оставил меня одного.

Я провел плохую ночь, а потом плохой день. У меня началась лихорадка. На вторую ночь в полубреду я услышал внизу отчаянные крики, а вскоре после этого появился лорд Сесил, неся на подносе скромный ужин.

Он был явно в превосходном настроении...

— Я только что застиг Уинстона на месте преступления — он пытался взломать замок кладовой. Можешь мне поверить, я отбил у него к этому охоту!.. Но ты прекрасно выглядишь, глаза блестят, щеки разрумянились... Посмотрим, как наша царапина...

Слабым голосом я снова попросил позвать ко мне врача.

— Мистер Гроб пребывает в мире волшебной сказки, Джон, не стоит разрушать этот мир из-за пустяка. Наш контракт будет вот-вот подписан. А врач захочет уведомить полицию, ведь речь идет об огнестрельном ранении. Начнется скандал. И все рухнет. Так что не проси у меня невоз-

можного! К тому же ты молод и крепок. С моей помощью ты быстро поправишься. Разве ты можешь утверждать, что врач будет лечить тебя лучше, чем я? Медицина, Джон, еще не вышла из пеленок. Это царство слепых, где одноглазые врачи сходят за королей. Может, и я ставлю диагноз на глазок, но зато этот глазок зорок.

После трех дней такого лечения лихорадка у меня не прошла, а рана приобрела прескверный вид. Опасаясь худшего, я набрался решимости и сказал лорду Сесилу:

— Я уже рассказывал Вашей светлости, как лошадь сломала мне левую ногу, которая так и осталась увечной, потому что из-за скупости мистера Гринвуда меня не лечили. Я не хочу, чтобы мне изуродовали правую ногу. Если Ваша светлость не позовет ко мне врача, я дотащусь до слухового окошка и буду кричать, пока не услышит мистер Гроб. Моя нога дороже ста тысяч фунтов стерлингов!

Я обращался к заду лорда Сесила, который с задней мыслью, мне не совсем понятной, зарылся головой в сундук. Если я умру у него на службе, ему, наверно, придется тайком перевезти мои останки, чтобы похоронить в безымянной могиле. Еще и по сей день я не могу без дрожи вспоминать благородную высокую фигуру лорда Сесила, склонившегося над темным сундуком с мохнатой крышкой.

Но может, лорд Сесил думал совсем о другом?

Так или иначе, при моих последних словах он дернулся и повернулся ко мне лицом:

— Ты сам не понимаешь, что говоришь, Джон. Мой долг — защитить тебя от тебя самого. Большинство нынешних англичан были бы счастливы променять свою ногу на сто тысяч фунтов стерлингов. И кстати, многие старые англичанки тоже, хотя учтивость заставляет нас уверять, будто женские ножки стоят дороже. Если ты потеряешь ногу по моей вине, ты получишь эти сто тысяч фунтов. Но я ничем не рискую, давая тебе такое обещание: я прекрасно тебя лечил и по многим признакам замечаю, что ты, без сомнения, уже выздоравливаешь. С первого взгляда видно, что твой зловредный микроб теряет силу...

Может быть, по молодости лет и по неопытности я не мог взять в толк, каким образом сто тысяч фунтов стерлингов возместят мне потерю ноги, и поспешно заявил об этом, хотя и учтиво, но совершенно недвусмысленно.

Потеряв надежду меня убедить, лорд Сесил в конце концов сказал:

— Ну раз ты смотришь на дело так, Джон, завтра я пришлю тебе самого лучшего врача. Если он не сможет тебе помочь, стало быть, твоя болезнь серьезней, чем я думал.

Получив такое утешительное обещание, я уснул.

Я теряю сто тысяч фунтов, но приобретаю положение

Назавтра вечером, к моему величайшему изумлению, ко мне на чердак поднялась Алиса, — впрочем, может быть, это была Агата, — она села у моего изголовья, улыбаясь обворожительной улыбкой. На ней было светло-голубое летнее платье, перехваченное широким поясом синего цвета, неотличимого от цвета ее глаз. А белокурые волосы окружали ее

нежное личико ореолом, который пробуждал в окружающих доверие и преданность.

Наконец я увидел ее вблизи! Я мог различить ее черты, говорить с ней, ее слушать!

Алиса, а может быть Агата, была так добра, что сразу же обратилась ко мне, волнуясь почти так же, как я сам:

— Отец только что рассказал мне обо всем, мистер Джон, обо всем, что вы сделали и продолжаете делать для нас с сестрой. И я не могла не подняться к вам, чтобы вас поблагодарить. Какое мужество! Напасть с простой саблей на этого ужасного Трубоди! Выстрелить пистонами в американца, грубияна и кровопийцу, который вооружен браунингом и привык расправляться со всеми подряд! О, я дважды обязана вам своим счастьем! И даже трижды, потому что, говорят, вы отказываетесь показаться врачу, чтобы надежнее обеспечить наше с сестрой приданое! И все это ради девушек, которые для вас никто, которых вы мельком видели из окошка вашего убежища. Я никогда не читала ни о чем более прекрасном. Вы настоящий герой романа, мистер Джон!..

Намек на Трубоди как будто указывал, что я имею дело с Алисой, и это меня особенно взволновало, ведь Алиса была моей любимицей. Разве не ее первую спас я из когтей фабриканта брючных пуговиц?

Я попросил ее назвать свое имя, и ее ответ подтвердил мне, что я угадал. Впрочем, мое сердце и само подсказало бы мне, что это она!

Алиса долго изливала свою благодарность, приписывая мне достоинства, каких я обыкновенно не проявлял, но их перечисление было тем более для меня приятным и лестным. А когда я из скромности пытался отнекиваться и даже возражать, Алиса заставляла меня умолкнуть, восторгаясь моей редкой скромностью.

Я не решился признаться Алисе, что лорд Сесил ввел дочь в заблуждение и что я непрестанно требовал вызвать не ее, а другого лекаря. Она была бы разочарована, а мне легче было умереть, чем ее разочаровать.

Ах, что за дивный миг! Какой наградой было для меня ее присутствие! И какая счастливая идея осенила лорда Сесила, пусть даже им руководила задняя мысль!

Я всегда был чувствительным, а будь я при этом еще и безумен, каких только безумств не натворил бы я ради женщин за шестьдесят с лишком лет! Но это уже другая история...

Наконец Алиса выразила беспокойство о моем здоровье и взяла мою руку в свои.

— По-моему, температура у вас спала, не правда ли?

— Да, мисс. И даже рана, по-моему, уже не так сильно воспалена.

— Как это меня радует!

— Лорд Сесил сказал мне вчера, что микроб “теряет силу”.

— Вы можете положиться на моего отца, у него медицинское чутье. Уже многие годы в случае необходимости он лечит наших слуг, и они болеют не чаще, чем раньше, а, может, даже реже...

— Вы меня немного успокоили.

— Сегодня утром в присутствии целой толпы юристов папа подписал договор с мистером Гробом, и как только вы выздоровеете, а это будет очень скоро, и сможете пуститься в путь, мы уедем из Малвенора. А пока что...

В прелестном смущении, продолжая осыпать меня новыми изысканными выражениями благодарности, Алиса вынула спрятанный у нее на груди медальон на цепочке и подарила его мне. Внутри медальона я обнаружил ее фотографию, подкрашенную пастелью, а на золотой крышке можно было прочесть старый благородный семейный девиз, начертанный готическими буквами:

БОЛЬШАЯ НАПИЧНОСТЬ — СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

— Этот девиз, — сказала Алиса, — будет напоминать вам о том, чем мы вам обязаны. А мой портрет будет твердить вам о моей благодарности, пока вам не надоест на него смотреть.

Это было уже слишком. Я залился слезами.

— Я вернусь завтра, если отец позволит, — прошептала, сконфузившись, Алиса.

И, памятуя о том, что я болен, она на цыпочках покинула чердак, освещая себе путь маленькой лампой под опаловым абажуром. Как она была хороша в колеблющемся свете этой лампы!

Лорд Сесил оказался прав — в последующие часы лихорадка утихла сама собой. Чем это было вызвано? Заботами лорда Сесила? Приходом Алисы? Чудесной случайностью, которая иной раз улаживает все дела? Так или иначе, мои дела явно шли на лад.

Измученный пережитым за минувшие дни, я погрузился в целительный сон.

В течение двух недель Алиса, лорд Сесил, а потом и Агата, которую посвятили в тайну, сменяли друг друга по ночам у моей постели, осыпая меня знаками расположения и внимания, а тем временем моя рана мало-помалу затягивалась и ко мне возвращался аппетит.

Мне кажется, то было самое счастливое время моей жизни...

Лорд Сесил, тем более успокоенный и гордый результатами своего лечения, что они объяснялись не столько его умением, сколько везением, окружал меня всяческим вниманием и сам приносил мне на чердак самые лакомые кусочки из кладовой. И с затаенным самоуничижением взял на себя противоположную задачу — выносить ведро, которое я использовал для своих естественных надобностей. Я — первый из бедняков Британии, кому подобную услугу оказывал лорд и пэр. Окажись на моем месте не такой рассудительный малый, как я, это могло бы вскружить ему голову.

Но любезности лорда Сесила не ограничивались только такими материальными проявлениями. Случалось, он оказывал мне честь, беседуя со мной и интересуясь моей прошлой жизнью, которая казалась мне такой неинтересной.

А сестрицы-близнецы разыгрывали меня, выдавая себя друг за друга, так что я все время попадал впросак, но при этом они неустанно требовали, чтобы я описал им, как перетрусил Трубоди и как я героически напал на Джулиуса Гроба-юниора. В конце концов я начал узнавать Алису по особенно теплой интонации, которую мне очень хотелось приписать ее дружескому расположению.

Я жил в сказочном сне и не мог без грусти думать о том, что скоро ему придет конец.

Как-то ночью в начале сентября, когда с наступлением сумерек Малвенор уже пронизывала осенняя прохлада, Алиса вручила мне запечатанный конверт.

— От моего брата Уинстона, который угадал, что в башне скрывается кто-то посторонний. Пришлось мне все ему рассказать, хотя папа и даже Агата были против. Интересно, что он может вам написать...

Я распечатал письмо, оно было кратким.

С помощью моих сестриц, пустых и простодушных, мой отец тебя надувает. Ты помогаешь ему заработать сто тысяч фунтов, а он отблагодарил тебя пулей в ногу. Взгляни правде в глаза, как подобает взрослому мужчине! Потребуй от него двадцать тысяч фунтов, чтобы потом сойтись на десяти или пятнадцати тысячах. В его положении он тебе отказать не сможет. Твой преданный друг, побитый и голодный. Уинстон.

P. S. Ради бога, сожги это письмо!

Мне с большим трудом удалось скрыть свое смущение и замешательство, и я сказал Алисе, что ее брат хотел выразить мне свои дружеские чувства и признательность.

Как только Алиса ушла, я сжег письмо и конверт, и в голове моей вихрем закружились мысли. Где правда? Кто я — дурак или герой? Разобраться в этом было нелегко...

На следующую ночь лорд Сесил с особенным вниманием выслушал рассказ о некоторых моих злоключениях и проявил особенное сочувствие к кое-каким подробностям, которые заставили его по-новому взглянуть на условия жизни простых шотландцев.

— Я всегда старался, дорогой Джон, — сказал он мне с неподдельной искренностью, — бороться против бедности и нищеты. Это то, что в выспренних выражениях называют "искоренением пауперизма". В 1897 году, в бытность мою помощником министра по делам безработицы, я выпустил брошюру под названием "Победить нищету с помощью ржавчины", и она даже вызвала некоторый шум...

— Победить нищету с помощью ржавчины?

— Да. Ход моих доказательств неопровержим. Поскольку обеспечить бедных необходимой им полезной пищей невозможно, надо по крайней мере бороться с анемией, от которой они страдают. Лучший и самый экономный способ достигнуть этой цели — сделать так, чтобы хозяйки в бедных семьях готовили пищу в железной посуде: ржавчина, потребляемая ежедневно малыми дозами, желательно со шпинатом, обеспечит хилые организмы драгоценным железом, столь необходимым для душевного равновесия и хорошего настроения. Субсидировавшие меня английские сталелитейные заводы выразили готовность наладить массовый выпуск кастрюль с гарантией, что они будут ржаветь... Но как у многих предтечей, у меня не оказалось последователей.

Меня тронуло, что лорд Сесил был занят такими великодушными проектами. Именно теперь — или уже никогда — следовало произнести прекрасные фразы, которые я предусмотрительно заготовил заранее.

— Ваша светлость так добры, что наверняка подумали о моем будущем. Мой краткий визит к мистеру Гробу принес Вашей светлости целое состояние, а Ваша светлость со своей стороны посулили мне два шиллинга шесть пенсов, то есть, собственно говоря, посулили возместить мои расходы. Чтобы проявить такую бережливость, Вашей светлости

наверняка пришлось совершить насилие над своим сердцем, над своей доброжелательной натурой, повинуясь самым важным соображениям. Мне бы очень хотелось знать, каковы эти соображения, чтобы поблагодарить Вашу светлость, потому что соображения эти, несомненно, делают честь и Вам, и мне.

Наверно, лорд Сесил предвидел такого рода требование с моей стороны, потому что не моргнув глазом самым естественным и дружеским тоном сказал:

— С какой деликатностью ты выражаешься, милый Джон! Сразу видно, что ты пожил в замке! Спасибо, что ты перенес проблему в область чувств. Ты ведь и в самом деле знаешь, что твоя вылазка в комнату Гроба была всего лишь законной компенсацией за те неслыханные оскорбления, которые без моего согласия претерпел Малвенор из-за твоих незаурядных способностей к исполнению роли призрака. Поэтому тебя совершенно не касается, заработаю я деньги или нет на твоем револьверном выстреле. Еще раз благодарю тебя, что ты ничего с меня не требуешь, с чем я тебя и поздравляю, ибо такого рода шантаж был бы недостоин джентльмена. Еще более, если только это возможно, я благодарен тебе за то, что ты угадал, какое насилие совершаю я над своим сердцем, когда, узнав тебя покороче, ограничиваю свою щедрость двумя шиллингами шестью пенсами. Мне льстит твое предположение. Само собой, я собирался предложить тебе небольшое состояние. Но по зрелом размышлении решил, что так я поступил бы, будь ты мне безразличен, а я хочу обойтись с тобой так, как если бы ты был моим сыном. Как поступил бы с большими деньгами осиротевший Уинстон? Часть их проел бы его опекун, другую часть, сделавшись мотом, растранжирил бы он сам. И вскоре он оказался бы на улице без гроша в кармане и без будущего. Как может поступить с деньгами молодой человек? Только пустить их по ветру. Разве сам я не потерял большую часть своего состояния в зрелом возрасте, хотя к тому времени уже нагляделся на чужие примеры и мог бы извлечь из них урок? И разве катастрофа такого рода не наводит на размышления? Деньги подобны морю, дорогой Джон. Они знают приливы и отливы. Их трудно удержать. Это ненадежное помещение капитала даже для взрослых людей, а уж тем более для ребенка. Тебе необходимо создать положение, чтобы ты сам стал золотой жилой и, куда бы ни отправился, деньги следовали бы за тобой.

С этими словами лорд Сесил как драгоценность извлек из своего бумажника письмо, адресованное им лорду Фитцбэби — это была рекомендация, которую он дал мне прочитать, сопроводив ее такими словами:

— Если ты потребуешь от меня семь-восемь тысяч фунтов стерлингов, я вынужден буду тебе их дать. Но помни: после этого я тебя больше не хочу знать! Разорившись, ты снова окажешься среди простонародья, из которого ты чудом вырвался. Зато с этим рекомендательным письмом, которое стоит не одного, а многих состояний, я ввожу тебя за кулисы хорошего общества, высшего общества, где твои таланты обеспечат тебе процветание в течение многих поколений, пока людская доверчивость питается призраками. Связи, малыш Джон, важнее денег. С деньгами у тебя будут друзья, которые сначала помогут тебе их растратить, а потом от тебя отвернутся. А при высоких связях в избранном обществе у тебя всегда так или иначе будут деньги. Главное, своевременно получить рекомендацию.

Слова лорда Сесила произвели на меня впечатление, а письмо — еще большее.

Дорогой друг!

Посылаю к вам молодого человека, достойного всяческого доверия, в надежде, что он поправит ваши дела, как только что поправил мои. Он умен, храбр, честен, не болтлив и, главное, бескорыстен, а эта бесценная добродетель встречается все реже. Отнеситесь к нему уважительно, как отношусь к нему я сам, и он воздаст вам сторицей, несмотря на свой юный возраст. Он лично расскажет вам о своем удивительном призвании и о пользе, которую вы сможете из него извлечь. Когда ваши с ним дела закончатся, пожалуй, можно было бы отправить его к лорду Донавану, чей призрак совершенно скис...

Искренне ваш Сесил.

Я бережно спрятал письмо у себя на груди. Было от чего возгордиться.

— Итак, мы договорились, Джон?

— Да, Ваша светлость.

— Ты юноша дальновидный!

— Но чтобы явиться к лорду Фитцбэби, мне нужна новая одежда.

Скорчив кислую мину, лорд Сесил с покорным вздохом сказал:

— Хорошо, мы подберем что-нибудь из гардероба Уинстона. Он так быстро толстеет, что не успевает износить свои костюмы...

Вы сами понимаете, дорогие мои внучата, что меня по дешевке купил человек, который не думал и половины того, что говорил.

По счастью, дальнейшие события полностью подтвердили справедливость мудрых советов лорда Сесила. Фунт стерлингов обесценился после войны 1914 года, и в особенности после Второй мировой войны. Зато потребность владельцев замков, чье состояние было подорвано, в призраках-профессионалах, компетентных и снабженных наилучшими рекомендациями, достигла высшей точки сразу по окончании двух упомянутых войн.

Добрейший лорд Сесил, конечно, не был лишен кое-каких слабостей. Но у кого их нет? Так или иначе, я обязан ему началом прекрасной карьеры и благодарен ему за это по сей день.

Эпилог. *От одного чуда к другому*

По мере того как приближался предполагаемый день моего отъезда, меня все больше беспокоило, что будет с моей ногой. Утешительные слова лорда Сесила и сестриц-близнецов убеждали меня только наполовину. Я уже и так слегка прихрамывал на левую ногу, не стану ли я вдобавок припадать на правую и вконец охромею? Вечером 13 сентября лорд Сесил пришел меня навестить вместе с Алисой и Агатой. Мне впервые была оказана честь принимать их у себя на чердаке всех разом, и я понял, что решительная минута настала.

Лорд Сесил опустился передо мной на колени и освободил мою пострадавшую ногу, в нетерпении перерезав ножницами веревку, которой к ней была привязана палка от метлы, потому что, если он и научился у

барона Баден-Пауэлла завязывать некоторые узлы, развязывать их он не умел.

С бесконечной осторожностью Алиса и Агата взяли меня под руки и подняли с кровати.

С одной стороны у меня была Алиса, с другой Агата, я только не знал, какая с какой стороны. Чтобы немного оттянуть пугавшее меня мгновение, когда я должен был сделать первый шаг, я спросил, где Алиса. Она оказалась со стороны моего сердца. А следовательно, Агата — со стороны аппендикса.

Опираясь на них, я сделал один шаг, потом другой. Таким образом я вскоре обошел весь чердак под бдительным взором лорда Сесила, который шествовал впереди, освещая мне путь своей лампой. Похоже, дело складывалось не так уж плохо. Кровь снова побежала по моим жилам, затекшие члены обретали былую подвижность.

Я заявил, что хочу идти сам, и осторожно двинулся дальше, охраняемый с двух сторон Алисой и Агатой, готовыми поддержать меня, если я оступлюсь.

Через несколько мгновений я услышал голос Алисы:

— Разве вы не говорили, дорогой отец, что Джон слегка прихрамывает?

Поглощенный своими стараниями идти прямо, я не заметил, что моя хромота как будто исчезла. И хотя ноги еще плохо меня слушались, моя походка несомненно стала более ровной, чем прежде.

Это было столь удивительно, что я сделал еще несколько шагов, чтобы в этом убедиться, а обе сестрицы с ликованием восклицали:

— Он перестал хромать! Совсем перестал хромать! Это чудо!

Я увидел вдруг, как при этом неожиданном, потрясающем зрелище, которое было для него лучшей наградой, просияло длинное лицо лорда Сесила.

Лорд Сесил помолчал, подумал и поставил такой диагноз:

— Я нахожу этому только одно разумное объяснение, Джон. Оно не должно нас разочаровывать, наоборот, мы должны на коленях благодарить за него Провидение. Я так умело тебя лечил, что ты захромал теперь на правую ногу. А так как ты уже хромал на левую, ты хромаешь теперь на обе ноги. И поэтому нет ничего удивительного, что твоя юная поступь вновь обрела гармонию, ведь одна хромота уравновешивает другую. Как видишь, у тебя были все основания мне доверять. Какой осел-эскулап сумел бы достигнуть подобного результата? Я счастлив, что мог сделать тебе на прощание такой подарок!

Бросившись в объятья лорда Сесила, я оросил слезами его жилет.

Лорд Сесил положил конец этой сцене всеобщего умиления:

— Он ходит. Он может садиться! Итак, в путь!

Я надел на себя почти новенький костюм и простился с сестрицами-близнецами. Описать это прощание я не в силах: мне не хватает слов.

Потом лорд Сесил, соблюдая величайшую секретность, незаметно вывел меня из Малвенора, сам заложил свой кабриолет и под покровом ночи отвез меня на соседний вокзал, где мы должны были дождаться поезда на Данди. Лорд самолично устроил меня в купе второго класса, однако вручил мне всего два шиллинга — мелочи у него не оказалось. Напоследок он выразил мне свою глубокую благодарность.

С сиденья в кабриолете я переместился на сиденье в поезде, с него на сиденье в такси, а оттуда в кресло лорда Фитцбэби, чтобы провести в

нем некоторое время до окончательного выздоровления, — путешествовал я со всеми удобствами, соответственно жизни в замке, которая мне предстояла.

Меня часто спрашивали, почему с 1953 года, когда мне было под шестьдесят, я отказался изображать призраков, посвятив себя побочной деятельности: участвовал в спектаклях "Звук и свет" в старинных замках с привидениями, выступал на театральных подмостках, в кино и на телевидении в сценах, где появляются призраки, сочинял книги о призраках для детей и взрослых, в 1968 году удостоился Гран-при грамзаписи Британского Содружества за исполнение криков, издаваемых призраками, не говоря уже о том, что я открыл школу шекспировских призраков в Стратфорде-на-Эйвоне, за что в прошлом году получил дворянский титул от Ее Всемилостивейшего Величества...

А причина моего отказа очень проста. 13 декабря 1953 года — помнится, 13-е число пришлось в тот месяц на пятницу — в Нью-Йорке, в отеле "Уолдорф Астория", в моей ванной комнате я увидел... призрак Артура, который играл на волынке...

С того времени я немного б...б...боюсь темноты.

Японские рассказы

Перевод Г. Дуткиной

Киёко Мурата

Сиоманэки

ЭТУ историю я впервые услышала в конце прошлого года.

– Палтус, кому палтус, палтус!.. Каракатица, скумбрия, макрель!

Время близится к вечеру. В маленьком ресторанчике на втором этаже рыбной лавочки, кроме нас, посетителей нет. Снизу время от времени доносится призывный клич торговца рыбой.

В тот день мы праздновали день рождения учителя Коуми. Семьдесят семь лет – особая дата. Плюс проводы старого года – достойный повод для встречи. Гостей собралось человек десять. У учителя плохо со зрением, поэтому решили отпраздновать не вечером, а днем. За сёдзи[1] еще совсем светло, так что банкет проходит тихо и чинно. После нескольких чарок саке учитель сидит, устало облокотившись о стол, – видимо, сказывается возраст. И вдруг он начинает рассказывать об острове Миносима.

– Это было лет десять назад... Мы с друзьями из общества хайку решили отправиться на Миносиму. Ранняя весна – сезон заготовки морской капусты. Это время года на острове исполнено особого очарования. Именно то, что требуется для поэтического путешествия. Дорога тянется по берегу, и вдоль нее громоздятся небольшие валуны. На них сушатся листья морской капусты. Черные, с каким-то жирным отливом стебли, словно выброшенные самим морем, устилают весь берег.

...Учитель рисует в воздухе палочками, запачканными сасими[2] и соевым соусом, карту острова. Остров совсем маленький, расположен в Корейском проливе, в окружности всего-то километров семьдесят, и живет там чуть более пятисот человек.

Остров мгновенно возник перед нашими глазами, словно из туманной дымки.

© Kiyoko Murata, 1998
© Г. Дуткина. Перевод, 2001

Рассказы будут опубликованы в двухтомной антологии "Новая японская проза", выходящей в издательстве "Иностранка" в 2001 г.

1. Сёдзи – передвижные перегородки в японском доме. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Сасими – кушанье из сырой рыбы.

— Когда морскую капусту только-только вытаскивают из воды, она имеет коричневатый оттенок, но стоит ей немного подсохнуть, как она сразу чернеет. Ее длинные черные скрученные спирали устилают все побережье. Такое впечатление, что остров буквально порос волосами.

Остров, поросший волосами... Картина уже довольно-таки странная, почти непристойная, но это только начало.

Наш учитель никогда не умел сидеть прямо, словно позвоночник его совсем не держит, — такая вот ужасная осанка. Однако мне не доводилось слышать, чтобы в молодости он чем-то болел.Остается предполагать, что это у него от природы.

— Остров... Ах, как это чудесно! — мечтательно пробормотал Ясунори Екота, подняв чарку с саке. — Свежей рыбки можно наесться вдоволь...

Лет тридцать назад учитель Коуми был нашим классным руководителем. Мы тогда учились в третьем классе школы высшей ступени. Как ни странно, он и тогда уже выглядел довольно старообразно, но был очень мягким, легким, деликатным человеком, так что благодаря ему трудный и нервный период сдачи приемных экзаменов в университет прошел для нас в общем-то безболезненно. К концу второго школьного полугодия его предмет — а преподавал он родную речь — стал факультативным, и я хорошо помню, как учитель Коуми, сидя в полупустой аудитории за кафедрой, глуховатым голосом монотонно читал лекции по древней литературе.

— А давайте все вместе махнем весной на этот самый остров! — предложил вдруг Тосио Ёсихираки, возглавлявший наше общество однокашников.

Учителю уже немало лет, так что с поездкой лучше бы поторопиться. Однако сам он, вытянув поудобнее ноги, печально покачал головой:

— Нет... Такое мне уже не под силу. Море в тех местах бурное, а я плохо переношу качку. И в тот-то раз меня уговаривали, что все обойдется, надо только принять лекарство, но увы... По дороге туда я еще как-то держался, а вот обратно — просто в лежку лежал. Едва живой остался.

— М-да... Этот ужас способен понять только тот, кого хотя бы разок укачало, — согласился Ёкота. Кажется, он тоже страдал морской болезнью.

— Но если кто-нибудь из вас когда-нибудь соберется на Миносиму... О, там есть на что посмотреть! — Учитель поднес к тонким губам чарку с саке и осушил ее одним глотком. Он говорил словно в пустоту, не обращаясь ни к кому конкретно.

— Вы имеете в виду морскую капусту?

— Нет-нет, не капусту. Вообще, не водоросли. Я говорю о людях. О старухах. На них непременно нужно посмотреть!

— На местных старух?

— Да. На старух с острова Миносима. — Учитель Коуми вообще всегда был склонен, так сказать, растекаться мыслию по древу, перескакивая с предмета на предмет. Так бывало и тогда, в школьные годы. Порой за урок мы успевали обсудить массу разнообразных вещей, начиная с танка Минамото-но Санэтомо[1].

1. Минамото-но Санэтомо — сёгун, военный правитель Японии (эпоха Камакура, XII–XIII вв.).

Перевал Хаконэ
Беспрепятственно мы миновали —
И взору открылось
Неспокойное море Идзу,
Острова среди волн бегущих...

Потом мы перескакивали на Минамото Ёсицунэ[1], далее на Чингисхана — и заканчивали почему-то "Тысячей и одной ночью"...

Сидя все в той же небрежной позе, опершись локтями о стол, учитель снова поднес ко рту чарку, отхлебнул и принялся разматывать нить воспоминаний.

— Этих старух я встретил на прибрежной дороге. Вдоль нее лежали груды жирно блестевшей морской капусты. Старухи были в рабочей одежде, в шароварах, на голове — полотенце, будто решили прогуляться до взморья. Скрюченные, словно креветки, они походили на сплюснутые запятые. Вообразите такую картину: спереди к запятой приставлена крошечная головка, а внизу торчат две коротенькие ножки. Ходить в таком положении довольно-таки затруднительно, а потому старухи катили перед собой самодельные тележки — что-то вроде колясочек, с которыми младенцы учатся ходить. К деревянному четырехугольному ящичку приделаны колеса от старенького велосипеда. Громыхая, старухи тащились по проезжей части, где во весь опор неслись машины...

— Но ведь это опасно! Куда же они направлялись? — удивился Ёсихираки.

— Собственно говоря, никуда. Просто каждое утро они выползали на проезжую часть — за добычей.

— Они что — грабили такси? — истерично взвизгнула сидевшая рядом со мной Рэйко Оба. Все дружно расхохотались. Не засмеялся только учитель. Он почти улегся на стол, напоминая выброшенную на берег ослабевшую каракатицу.

— Вообще-то, это недалеко от истины, — невесело улыбнулся он. — Дело в том, что они норовят угодить под колеса автомобилей.

Теперь уже замолчали мы. Учитель сам плеснул себе саке в опустевшую чарку.

— В такое трудно поверить, и тем не менее... Я видел это собственными глазами. Старухи на Миносиме промышляют поодиночке, не сбиваясь в группы, подыскивая подходящую жертву. Выбирают такую машину, чтобы денежная компенсация была побольше. Легковушки местных жителей они не трогают, портовые грузовики тоже, а вот машины местной администрации, банковские или почтовые машины — самая лакомая добыча. И уж конечно, такси или машины напрокат с приезжими туристами. Все это происходило совсем недалеко от местной управы, участок дороги там обрывистый... Нас было человек десять — любителей поэзии, и мы расселись в три машины. Я ехал в головном такси. Неожиданно впереди мелькнула какая-то тень. Человек? Непохоже. Не бывает таких сплющенных человеческих тел. Очень причудливые очертания. Тут наш шофер резко сбросил скорость и поехал очень медленно.

— А черт, — пробормотал он, — опять эти крабы повылезали...

1. Минамото Ёсицунэ — прославленный полководец, богатырь (конец эпохи Хэйан — начало эпохи Камакура).

"Тень" стояла посреди дороги и не отводила глаз от нашей едва ползущей машины. Когда мы подъехали ближе, я рассмотрел старуху. Она даже не отступила на обочину, а так и осталась стоять где стояла, словно сплющенная запятая, с тележкой в руках. С нескрываемой обидой она проводила нас взглядом.

Не проехали мы и пятисот метров, как впереди возникла вторая, точно такая же тень. С громыхающей тележкой в руках старуха брела прямо посередине дороги. При нашем приближении она замерла на месте. Водитель безостановочно жал на клаксон, и "тень" наконец медленно убралась в сторону.

Когда я спросил, что все это значит, водитель нехотя пояснил:

— Они подкрадываются незаметно, как береговые крабы...

И впрямь, старухи походили на крошечных сплющенных крабов, наползающих с берега моря.

Водителю было явно неловко говорить о таких вещах, но он все же поведал нам совершенно невероятную историю. Каждый день старухи выходят на дорогу в надежде, что их переедет машина. Причем не одна, не две старухи, а несколько десятков. Обычно "ловцы" такого рода хотят только денег и не стремятся расстаться с жизнью, но эти старухи жаждут смерти, и только смерти! Ну просто кошмар какой-то!..

— Зажились на этом свете, обузой стали — вот и хотят умереть сразу и без мучений. Да к тому же принести в дом кругленькую сумму, — пояснил водитель.

Значит, старухи, не зная, как помочь детям и внукам при жизни, стремятся погибнуть под колесами автомобилей, чтобы добыть для семьи деньги! Не старухи, а просто камикадзе! Неизвестно, кто из них начал первой, только теперь этот "бизнес" распространился по острову, как эпидемия... Все местные старухи просто помешались на своей затее. Причем промышляют не группами, а поодиночке, выбирая места повыгодней. Например, на каком-то участке — очень удобная позиция, вот они и стекаются туда, где дорога обрывистая и идет вдоль побережья. Последнее время водители ездят здесь предельно осторожно, так что число несчастных случаев даже снизилось, а вот несколько лет назад каждый месяц непременно случалось два-три смертельных исхода...

Водитель не отрывал глаз от дороги, готовый каждую секунду резко нажать на тормоз. Мы тоже вжались в сиденья, чтобы выдержать удар. Старухи провожали нас разочарованными взорами. Если попадешь под машину, ползущую на такой черепашьей скорости, в крайнем случае руки-ноги переломаешь, но уж на тот свет никак не отправишься. Такой вариант старух не устраивает. Они хотят умереть сразу, а не остаться калеками.

Учитель закончил свой рассказ.

— Ну прямо как летчики-смертники во время войны, — потрясенно заметил Ёсихираки.

— В тот вечер, приехав в гостиницу, мы не столько занимались сочинением хайку, сколько обсуждали старух-камикадзе. В нашей компании было немало женщин в возрасте. В итоге все сошлись на том, что эта история выходит за рамки человеческого разума, — продолжал учитель. — На другой день мы возвращались домой. Наше суденышко отходило от пристани в десять утра. И вновь вдоль дороги стояли старухи, так и норовившие броситься под колеса. Дорога шла по самому берегу, видимость была прекрасная. По обочинам извивались черные волосы мор-

ской капусты, похожие на диковинные существа. От них исходил острый пряный запах моря.

Морская капуста и старухи... Свежий запах водорослей — и иссохшая человеческая плоть. Чудовищный контраст, даже больно смотреть.

Волосы морской капусты черны, как волосы этих женщин в юности. Старухи бредут среди них, словно по дороге воспоминаний. Вернее, воспоминания сами возникают на их пути причудливыми картинами...

Проезжающие машины тащатся едва-едва, словно стадо коров, чтобы ненароком не задеть старуху. Старухи, катя перед собой тележки, пересекают дорогу, ковыляя среди машин, спотыкаясь и пошатываясь, словно призраки. Согбенные, сплющенные тела, вверившие себя тележке...

Из-за старух на дороге внезапно образовался затор, хотя машин на острове мало. Наш водитель, лет пятидесяти, вдруг показал подбородком на переднее стекло, не снимая руки с тормоза:

— А вон и моя мамаша, тоже здесь...

Но мы так и не смогли понять, какая именно из старух его мать.

— Ничего не можем с ней поделать. Каждое утро после завтрака бежит сюда, как на работу, говорит жена. Видишь ли, хочет подарить внуку на окончание школы машину, а внучке, моей племяннице ко дню совершеннолетия — "взрослое" платье. Не можем же мы держать ее на цепи! Вот, веду машину и все время боюсь задавить собственную мать!

Коуми-сэнсэй[1] положил в рот кусочек палтуса.

На обратном пути спутники, кажется, снова обсуждали эту тему, но учитель, как уже говорил, страдая морской болезнью, всю дорогу промаялся в каюте.

А ведь эти старухи в молодости, верно, были ныряльщицами, подумала я. Просоленное морской водой тело ныряльщицы остается крепким и в старости, так что живут они очень долго. И вот эту упрямую, непокорную жизнь они хотят швырнуть под колеса автомобилей только затем, чтобы купить машину внуку или внучке "взрослое" платье!

Учитель вдруг посмотрел на нас, троих женщин, и строго спросил, точно вызывал к доске отвечать урок:

— Ну а вы — вы способны на такое?

Я и сидевшие по бокам Рэйко Оба и Мисако Сунагава только головой покачали.

Учитель нахмурился.

— Вернувшись домой, я задал тот же вопрос своей жене. Она рассмеялась и сказала: "Ну... если бы я жила на острове, то поступила бы точно так же". Я посмотрел ей в лицо и понял, что она не шутит. Не знаю почему, но я почувствовал, что она действительно способна на такое.

Все дружно рассмеялись. Мы вдруг представили вечно недовольное, в глубоких морщинах лицо супруги учителя.

— А какое хайку вы сочинили на острове? — спросил Ёсихираки.

Учитель посмотрел в пространство и продекламировал:

Прибой забвения
И старческие фигуры скрылись во мраке...
Закатный час — "курэососи"...

1. Сэнсэй — почтительное обращение к учителю, врачу или человеку, старшему по возрасту.

У слова “курэососи” — “поздний закат” — есть еще одно значение. Это поэтическое название сезона весны.

Апрель. Весна.

Время к вечеру.

— Ты где? — послышался голос жены. — Да где же ты?

Ого, второй раз уже с раздражением.

— Если слышишь меня, отзовись!

Как будто не знает, что не всегда хочется отозваться, если и слышишь.

— Тебе звонит Масукава-сан!

Я упорно молчал. Даже если жена прикрывает трубку рукой, на другом конце все равно ее слышат. Да, с возрастом жена становится порой просто невыносимой. Можно было и не кричать во весь голос, а положить трубку у аппарата и пойти спокойно поискать меня.

Когда я закончил свои дела и прошел в гостиную, трубка уже лежала на аппарате.

Кёко Масукава и Рэйко Оба довольно долго занимались финансами нашего общества. Даже не знаю почему, но мои отношения с учениками этого класса не прервались. В конце декабря, например, мы все вместе отмечали проводы старого года и мое семидесятисемилетие. Потом Масукава организовывала празднование Нового года. Сейчас, кажется, ничего такого не намечается.

Жена по своему обыкновению сидела у котацу[1] и читала какой-то роман.

— Что она сказала? — поинтересовался я.

Жена посмотрела на меня через выпуклые линзы очков и раздраженно буркнула:

— Что съездила на Миносиму. Что-то в этом роде. Она сказала, что перезвонит, так что не отходи далеко. Если я все время буду бегать к телефону, то забуду, на каком месте остановилась.

Я прошел в соседнюю комнату, где стоял телефон, и сел в кресло. Видно, Масукаве запал в душу мой рассказ про остров, вот она и решила туда наведаться. Через некоторое время телефон зазвонил снова.

— Сэнсэй, вы? Это Масукава. Знаете, сэнсэй, мы с Рэйко вдвоем съездили на Миносиму, вы ведь так интересно рассказывали об острове. Вот я и звоню, не терпится поделиться впечатлениями.

Голос у этой женщины низкий, но речь очень четкая. Помнится, она пела в хоре. Это меня тяготит груз лет, а молодые — они такие легкие на подъем...

— После той встречи я обзвонила всех своих знакомых. Но никто на Миносиме не был. Недалеко от Миносимы есть еще один остров, Ядонэ. Там много чего понастроено, целый развлекательный комплекс, вот Ядонэ все знают. А про Миносиму мало кто слышал. Тогда мы с Обой решили сами поехать туда на уик-энд.

Масукава и Оба, как и многие в этом классе, родились в первой половине года, так что им обеим уже исполнилось по сорок семь. Обе замужем. Масукава живет с мужем и двумя сыновьями. Муж сделал неплохую

1. Котацу — комнатная жаровня, вделанная в пол и прикрываемая одеялом. В настоящее время используются электрические котацу.

карьеру, сыновья поступили в университет, так что Масукава теперь лишь несколько дней в неделю подрабатывает бухгалтером. Живут в достатке, но без излишеств. У Рэйко Обы детей нет, живет вдвоем с мужем, они вместе служат в каком-то государственном учреждении. Помнится, Оба занималась легкой атлетикой, в школе бегала на короткие дистанции.

— До залива Тодзаки, откуда отходит катер на Миносиму, мы добирались на электричке, а потом два часа плыли морем. Там все как прежде. Катера совсем древние, ни парома, ни быстроходных судов все еще нет. Мы выехали десятого апреля, и на острове пробыли два дня и одну ночь. Недолго, конечно, но успели посмотреть все что можно.

В трубке слышалось нежное дыхание Масукавы. Вот как, вот как, благодарю за труды. Я низко склонил голову перед телефоном. Перед глазами всплыли очертания крохотного голубого острова.

— Мы давно не видели моря, так что знаете, сэнсэй, радовались прямо как дети. Кругом одна вода, просто невероятно. Полная чаша морской воды. Плаваю я плохо, вот все время и пыталась представить себе, сколько под нами метров и какой это будет объем воды. Настоящий водяной ад! А острова в море... Вроде бы совсем близко от берега, но все равно кажется, что они совершенно оторваны от суши. Особый, затерянный мир...

— Да-да, именно так, затерянный мир, — взволнованно согласился я.

— На острове могут происходить самые невероятные вещи, какие невозможны на материке.

— Именно так, — снова поддакнул я.

Масукава и Оба уже съездили на Миносиму и узнали то, что мне так давно хотелось выяснить. Хотя прошло десять лет, старухи с тележками по-прежнему стояли у меня перед глазами. Мне показалось, что вот сейчас я засуну руку в заветный мешок с подарками и вытащу... но что именно?

— И... что? — не выдержал я. У меня даже дыхание перехватило. Как там, на Миносиме? Ведь, что ни говори, прошло уже десять лет.

— Рядом с пристанью была стоянка такси, и мы уже собрались сесть и отправиться в частный пансионат, где нам были заказаны номера, но случайно выяснили, что совсем рядом можно взять машину напрокат. Рэйко обожает водить, и ей захотелось самой порулить, мы с ней даже немного повздорили. Ведь если мы наткнемся на старух и дело кончится несчастным случаем, то... Но Рэйко спокойно возразила, что будет очень осторожна, и вообще, если бы существовала такая опасность, то вряд ли бы тут стали давать напрокат мащины. Вообще-то она права, подумала я и согласилась. Мы сели в единственную на острове старенькую "тойоту" и, узнав, как доехать до того места, где мы договорились насчет квартиры, тронулись в путь. Нам нужно было добраться до деревушки, расположенной километрах в пяти от пристани. Туда вела дорога, тянувшаяся вдоль самого берега. Мы ехали очень медленно, но не встретили ни единой живой души. Только берег, морская капуста и море — насколько хватал глаз.

Как вы и рассказывали, сэнсэй, весна — сезон заготовки морской капусты. Ее листья навалены вдоль всей дороги. Остро пахло морем и водорослями. Черные стебли жирно блестели в лучах солнца, но мы решили, что они скорее напоминают не женские волосы, а клубки извивающихся черных змей. Зрелище довольно неприятное, до сих пор

забыть не могу. Кажется, так и ползут, так и ползут прямо перед глазами! Однако дорога была пуста. Не то что человек, даже кошка не пробежала. Так мы спокойно добрались до пансионата "Хамасаки". Собственно говоря, пансионат — это громко сказано. На самом деле это что-то вроде склада или сарая за домом одного местного рыбака, но перестроено под жилье. Две комнатушки, куда пускают на постой туристов — вот и все. Возможно, летом в деревушке приезжих больше, но теперь, кроме нас, никого не было. Вошла загорелая дочерна хозяйка, подала чай. Воспользовавшись случаем, мы как бы невзначай поинтересовались, есть ли на острове старики. А то что-то мы не встретили ни одного по дороге сюда.

— Стариков у нас много, да все они заняты днем, вот и не показываются на улице, — невозмутимо ответила хозяйка, — по хозяйству хлопочут, за внуками приглядывают, пока дети на работе.

Нам хотелось продолжить расспросы, но хозяйка торопилась на берег переворачивать разложенные на просушку листья морской капусты. Она к тому же была ныряльщицей.

Бросив сумки в "пансионате", мы поехали посмотреть местную достопримечательность, о которой нам рассказала хозяйка — пляж Саруива. В самом деле, по дороге мы так и не увидели ни одного старика или старухи. Только море да ослепительно сверкающая пустая дорога...

— Вот оно как... — растерянно пробормотал я в трубку. Не знаю почему, но у меня было именно такое предчувствие. Уж больно нелепая ситуация, вряд ли бы местные власти и полиция стали долго мириться с таким положением дел. Значит, навели порядок. Выходит, старух больше нет... Исчезли.

Но Масукава упорно продолжала свое:

— По дороге на пляж мы свернули к маленькой прибрежной закусочной, пообедать. Рядом магазин фотопринадлежностей — там мы купили камеру, — бакалейная лавочка и магазинчик дешевых сладостей. Мы везде пытались выведать про старух, но безрезультатно.

Саруива — потрясающе красивый песчаный пляж на отмели. За ним — утесы. Причудливые, похожие на диковинных зверей каменные глыбы вдаются в море. Оставив машину на прибрежном лугу, мы направились к линии прибоя. Пляж был совершенно пустынным. Вдруг мы заметили какого-то старика, похожего на рыбака. Он был с мешком, видимо, собирал моллюсков, а теперь направлялся домой. Мы подошли к нему в надежде, что хоть он что-то прояснит.

— Скажите... Вы что-нибудь слышали про старух, которые бродили в этой округе с тележками? Правда, это было довольно давно, лет десять назад.

На его лице, покрытом темным морским загаром, выразилось удивление.

— С какими такими тележками? — изумленно переспросил он.

— С самодельными деревянными тележками,— пояснили мы. — Их еще можно катить перед собой.

— Это кто же вам такое нарассказал? — сурово спросил дед, наклонив седую голову. Его волосы сверкали под солнцем, словно припорошенные солью. Брови и ресницы тоже были наполовину седые. — Никаких старух я тут не видел! — отрезал он и, круто повернувшись, зашагал прочь.

Мы тоже побрели по кромке прибоя. Наши мнения разделились. Рэйко считала, что старухи с тележками — позор всего острова, и потому местные жители скрывают от нас правду. Мне же казалось, они действительно ничего не знают. Впрочем, физиономии у местных невыразительные, и сами они неотесанные, грубые, так что по лицу не разберешь. Это все равно как скала: звук не способен пробиться наружу сквозь толщу камня...

Масукава запнулась.

— Извините, сэнсэй... но... может быть, вы ошиблись? Может, это не Миносима, а какой-то другой остров?

— Нет, Миносима, — твердо сказал я.

— Ну тогда... Тогда они, наверное, просто скрывают.

— Старух было очень много. Не могли же о них забыть за какие-то десять лет все жители острова!

Мне стало зябко.

Десять лет назад я и мои друзья видели старух, которые, бродя с тележками по дороге, искали смерти. Теперь они бесследно исчезли, не оставив и тени воспоминаний. Было так, теперь — по-другому. Больше ничего. На острове мы — чужаки. Как нам докопаться до правды? А может, и не стоит этого делать?.. Все кончено. Непонятно, конечно, как старухи умудрились испариться, от всего этого скверный осадок, однако то, что их больше нет, — бесспорно, положительный результат. Не мог этот ужас продолжаться вечно.

— Спасибо. Я все понял. Достаточно,— сухо поблагодарил я.

Но Масукава почему-то медлила, не решаясь закончить разговор. Потом с неожиданным воодушевлением вдруг сказала:

— Подождите, сэнсэй. Это еще не все. — Я явственно увидел, как она улыбается. — Одну старуху я все-таки видела. В последний день.

— Где?

— Рэйко гуляла допоздна, а потому утром спала как убитая. Ну а я решила еще разок прокатиться на машине до того самого пляжа. Хозяйка сказала, уж больно там хороши восходы. Было раннее-раннее утро, дорога словно выметена, так что даже такой горе-водитель, как я, могла проехать по ней безбоязненно. Если, конечно, не встретиться с бабушкой-камикадзе. Когда я вышла из машины, море уже окрасилось алым от восходящего солнца. В его лучах на прибрежном песке длинного пляжа, в лунках от человечьих следов и под нанесенными ветром барханчиками залегли глубокие тени, так что весь пляж покрылся причудливым красно-черным узором. У меня был с собой "разовый" аппарат, я достала его и сделала несколько снимков предрассветного моря. Неожиданно в видоискателе с правой стороны, у самой кромки морского прибоя возникла причудливая тень. Человеческая фигурка. Маленькая, совершенно скрюченная, словно сложенная пополам. В ватной безрукавке, видно из-за утреннего холода. В шароварах и дзори[1], на голове — белое полотенце. Старуха! Неужто та самая — старуха-камикадзе?! Нет, тележки не видно. Опираясь на длинный бамбуковый посох, старуха медленно ковыляла по пляжу вдоль кромки воды. Непроизвольно я несколько раз щелкнула затвором фотоаппарата — и тут поняла, что старуха направляется ко мне.

1. Дзори — сандалии из соломы или бамбука.

Остановившись поодаль, она поклонилась, точно носом клюнула, и что-то сказала, но издалека я не расслышала, что именно. Похоже, просто поздоровалась. Засунув аппарат в сумочку, я пошла ей навстречу.

Старухе было явно за восемьдесят. И знаете, учитель, она действительно напоминала краба или сплющенную запятую, как вы и говорили.

Оказалось, что она приходит сюда каждое утро, чтобы полюбоваться восходом. Мы обе сели на прибрежный валун и стали смотреть, как алая капля солнца поднимается из моря. Разумеется, я не могла не воспользоваться случаем и спросила у нее про старух с тележками.

— Ежели лет десять назад, — нет, не упомню... — прошамкала она. — А вот что было прежде... То еще не забыла.

Я и вправду читала в какой-то книге, что очень старые люди гораздо лучше помнят давние времена, нежели близкое прошлое. Оказалось, что в молодости старуха была ныряльщицей.

— И хозяин мой тоже, — добавила она.

В здешних местах ныряльщиков и ныряльщиц называют одним словом — *ама*. Промышляют тут в основном моллюска аваби — "морское ушко", зарабатывая на этом неплохие деньги. Но муж подорвал здоровье и нырять больше не мог. Пришлось ему заняться делом полегче — подвозить на лодке ныряльщиц до места промысла и обратно. По-местному такая лодка называется *томаэ*. Ама ныряют и поднимаются на поверхность сами, без посторонней помощи, так что у лодочника полно свободного времени. Поджидая ныряльщиц, можно закинуть в море снасть и удить рыбу.

— Прежде-то мужа кто кормил на Миносиме? Ама, жена его. Одна надрывалась. И хозяина, и деток, и свекра, и свекровь — все мы, ама...

Тут старуха самодовольно рассмеялась, попытавшись горделиво приосаниться, — даже скрюченную поясницу свою слегка распрямила. Я прямо оцепенела. Только представить: ама, прежде кормившая всю семью, в старости вынуждена жить на иждивении... Это же для нее как острый нож в сердце! И тут мне вспомнились старухи с тележками, жаждавшие смерти, чтобы внуку купить машину, а внучке — "взрослое" платье...

В те далекие времена ама ныряли в одних набедренных повязках. Их обнаженные полные груди подобно большим мячам колыхались в морской воде... К поясу привязан мешок для аваби, в руках — очки и железный крючок для аваби...

Я спросила у старухи, как поживают подруги ее молодости — ама.

— Да померли все. Никого уж, кроме меня, не осталось. Одна я, милая...

Я искоса посмотрела на сидевшую рядом старуху. Мне вдруг показалось, что у нее нет головы. Маленькая, она едва доходила мне до груди. Спина была скрючена так, что голова ее ушла в плечи. Безмятежно глядя в даль моря, старуха беззубо прошепелявила:

— Тело-то море помнит... Бывало, нырнешь, а вода тебя гладит, гладит... Со всех сторон море. Хорошо...

Сморщенные веки мигнули, пленкой прикрыв глаза. Я сидела рядом со старухой, словно приклеенная к камню. Мы обе не отрываясь смотрели на восходящее солнце.

Когда солнце окончательно поднялось, старуха сползла с камня и заковыляла по берегу, опираясь на посох. Я предложила подвезти ее на машине, но она и слушать не захотела. Ее согбенная фигурка уходила все

дальше по дороге, ведущей к роще, становясь все меньше и меньше — и казалось, что уже движется один только посох, словно сам по себе. Наконец она совсем исчезла из виду.

Я еще раз достала камеру, чтобы заснять при утреннем свете песчаное взморье. Встав с валуна, я побрела к кромке прибоя. И тут...

Тут мне в глаза вдруг бросились какие-то полупрозрачные колючки, шевелящиеся на песке. Что-то ползло у меня под ногами. Вглядевшись, я рассмотрела маленького сухопутного крабика — *сиоманэки*. Оглядевшись вокруг, я заметила, что буквально весь пляж покрыт ползущими сиоманэки. Крошечные, коричневые, с голубоватой спинкой... Они ползли к морю, в унисон шевеля сверкающими клешнями.

Сэнсэй, их было несметное множество! И все они, перебирая клешнями, направлялись к морю! Словно совершали некий магический ритуал, ритуал поклонения морю, морской воде. У меня невольно стеснило грудь. Так вот где они, старые ама!.. Над песком уже начинал дрожать раскаленный воздух.

Голос в трубке прервался. Я тоже молчал. Я словно воочию видел песчаный пляж и ползущие полчища крабов. Внезапно в голове сложилась первая строка хайку:

Сиоманэки...

Сиоманэки...
Несметные полчища крабов
Приветствуют волны.

Сиоманэки... Те же иероглифы, взятые по отдельности, обозначают "прилив сладостных воспоминаний". Но ведь у них есть еще и третье значение! На языке поэзии словом "сиоманэки" называют весну.

Вернувшись в гостиную, я некоторое время бездумно сидел у жаровни. Правое ухо онемело и горело из-за того, что я слишком долго прижимал к нему телефонную трубку.

Очнувшись, я заметил, что жена куда-то исчезла. Должно быть, ушла за покупками.

Когда я ухожу из дому, то всегда сообщаю об этом жене. А она и не думает отчитываться, куда и насколько уходит.

В горле пересохло. Я пошел на кухню, вскипятил воды, заварил чаю и вернулся к котацу. Отхлебнув глоток, я рассеянно смотрел на струйки пара, поднимавшиеся над чашкой. Перед глазами промелькнула картина: на песке сверкали клешни ползущих сиоманэки...

Хироми Каваками

Медвежий бог

Мы направляемся на прогулку с медведем. Это он подбил меня на эту затею — сходить на берег реки. До реки недалеко, пешком минут двадцать. Мне уже доводилось гулять в тех местах: ранней весной ходила смотреть на бекасов, но в жаркий сезон я там никогда не бывала. Да еще и завтрак с собой прихватила, так что получилась уже не прогулка, а настоящий поход.

Медведь — совсем взрослый самец, а потому очень большой. Он только недавно вселился в квартиру номер 305, через три квартиры от меня. И что удивительно, все сделал по правилам, с церемониями — соседям по этажу преподнес традиционную гречневую лапшу и по пачке открыток подарил, — а ведь такое в последнее время не часто случается. Какой обходительный, подумала я тогда. А впрочем, он же медведь, вот хочешь не хочешь, а приходится думать о реакции окружающих.

Кстати, когда он преподносил мне лапшу, в разговоре случайно выяснилось, что мы в некотором роде знакомы, если можно так выразиться.

Увидев мою фамилию на дверной табличке, медведь поинтересовался, а не из городка ли N я родом.

Узнав, что это действительно так, медведь ужасно разволновался. Оказалось, что дядюшка одного его знакомого, который некогда оказал медведю неоценимую услугу, служил помощником начальника местного управления. И его фамилия записывалась точь-в-точь теми же иероглифами, что и моя, вот медведь сразу и подумал, что тот самый помощник начальника управления не иначе как приходится троюродным братцем моему батюшке. Весьма шаткое, конечно, предположение, но медведь очень воодушевился и долго-долго толковал про какие-то "узы" в самых что ни на есть изысканных выражениях. Не поймешь, то ли он так сверхучтиво приветствовал меня, то ли просто у него вообще подобная манера изъясняться — в общем, вел он себя довольно старомодно.

И вот теперь мы идем с этим самым медведем в поход. Я довольно слабо разбираюсь в медведях, поэтому не могу сказать наверняка, какой он породы — японский медведь, бурый медведь или еще какой, но спросить напрямик совестно. Как зовут — тоже не знаю. Я осмелилась поинтересоваться, как мне его величать. Узнав, что в округе нет ни одного медведя, он ответил: "Имени у меня в данный момент нет, и поскольку я здесь единственный медведь, то и придумывать его вовсе не обязательно. Мне лично нравится, когда ко мне обращаются на "вы". Так что можете говорить мне "вы" — только при этом не просто произносите местоимение, а непременно представляйте себе иероглиф "благородный",

© 1998 CHUOKORON-SHA, Inc./Hiromi Kawakami

которым оно записывается. А впрочем, называйте меня, как вам заблагорассудится". И впрямь, какой-то очень уж старомодный медведь. К тому же любитель порезонерствовать.

Дорога к реке идет вдоль заливных полей. Дорога асфальтирована, по ней время от времени проезжают автомашины. Подъезжая к нам, водители непременно сбрасывают скорость и стараются объехать нас стороной, подальше. А вообще дорога совершенно пустынна, нам пока не встретилось ни единого пешехода. Ужас как жарко. На поле тоже ни души, никто не работает. Тишина. Только лапы медведя ритмично скребут по асфальту — шарк-шарк, шарк-шарк...

— Не запарились? — поинтересовалась я.

— Нет, только вот лапы от долгой ходьбы по асфальту начинают болеть, — пожаловался медведь.— Но до реки уже рукой подать, так что не извольте беспокоиться. Большое спасибо за заботу.

Медведь подумал немного и участливо добавил:

— А вообще, если вы притомились, можно свернуть на большак, посидеть, отдохнуть в какой-нибудь закусочной.

На мне шляпа, и вообще я хорошо переношу жару, так что от предложения я отказалась, а про себя подумала: может, ему самому захотелось устроить себе перекур? Некоторое время мы шагали молча.

Наконец невнятное журчание воды сделалось отчетливей — мы вышли на берег реки. На реке полно купальщиков и рыболовов. Скинув на землю сумки, мы вытерли полотенцами пот. Медведь часто-часто дышал, высунув язык. Тут к нам подошли трое: двое мужчин и мальчик, все в плавках. У одного из мужчин в руках были солнечные очки, другой нес трубки для подводного плавания.

— Папа, папа! Медведь! — завопил мальчишка.

— Да вижу, вижу, — отозвался тот, что нес трубки для акваланга.

— Да медведь же!

— Да-да, медведь.

— Да гляди же, гляди! Медведь!

И так повторилось множество раз. Мужчина с трубками уставился на меня в надежде что-то прочитать на моем лице, а на медведя в упор смотреть не решился. Второй, с очками, просто стоял и молчал. Мальчишка подергал медведя за шерсть, пнул ногой, потом с диким воплем ткнул кулаком в брюхо — и убежал. Его спутники вразвалочку последовали за ним.

— Охо-хо! — сказал медведь после некоторого молчания. — Малыши — они все такие славные, никому зла не хотят.

Я промолчала.

— Люди-то, они ведь разные бывают. Есть и плохие, есть и хорошие. Но маленькие — они все добрые.

Я не успела ничего ответить, потому что медведь быстро пошел вперед к кромке воды. На отмели плескалась рыба, там и сям мелькали узкие длинные спинки. От воды тянуло холодом. Присмотревшись хорошенько, я заметила интересную особенность: рыба сновала вверх и вниз в границах как бы строго очерченного прямоугольника, не выходя за его пределы. Медведь тоже не отрываясь смотрел на воду. Что-то он там углядел. Наверное, медвежьи глаза видят в воде совсем не то, что человечьи. Внезапно он плюхнулся в воду, подняв фонтан брызг, и забарахтался в волнах. Потом замер посреди реки и вдруг резко что-то поддел в

воде правой лапой — и вытащил на воздух рыбину. Она была раза в три крупнее тех, которые вертелись на мелководье.

— Что, удивились? — спросил медведь, возвратившись на берег. — Нехорошо, конечно, без предупреждения, но лапы прямо сами меня понесли. Большая, верно?

Медведь поднес рыбину прямо к моему лицу. Ее плавники в лучах солнца отливали серебром. Все рыболовы на речке, сгрудившись в кучу, показывали на нас пальцами и что-то дружно обсуждали. Медведь даже заважничал.

— Хочу вам ее преподнести. На память о сегодняшнем дне.

Медведь раскрыл мешок, висевший у него на плече. Оттуда появился завернутый в тряпочку ножик и разделочная доска. Ловко орудуя ножиком, медведь разделал рыбину и обильно посыпал ее заранее припасенной крупной солью, а потом разложил на листьях.

— Надо несколько раз перевернуть ее, чтобы подвялилась немного. К нашему уходу она будет готова.

Ну до чего же заботливый, предусмотрительный медведь!

Мы сели на траву и, любуясь речкой, приступили к завтраку. Надломив в нескольких местах французскую булку, медведь начинил ее паштетом и редисом, а я достала колобки из риса с начинкой из сушеных слив. После еды каждый съел еще по мандарину.

Когда мы закончили, медведь застенчиво попросил у меня шкурку от мандарина и, деликатно отвернувшись, мигом проглотил ее.

Потом он пошел перевернуть рыбину, вялившуюся в некотором отдалении, хорошенько промыл в воде нож и доску, тщательно вытер их, извлек из мешка полотенце и протянул его мне.

— Прикройтесь и вздремните немного. А я поброжу в округе. А хотите, я спою вам перед сном колыбельную? — совершенно серьезно предложил он.

Я ответила, что засну и без колыбельной — так глаза слипаются, и медведь даже немного опечалился, но сразу же ушел прогуляться вверх по течению реки.

Когда я проснулась, тени от деревьев стали уже длинными. Рядом спал медведь. Морду он так и не прикрыл полотенцем. Во сне он тихонько похрапывал. На реке оставалось всего несколько человек, только рыболовы. Набросив на медведя полотенце, я пошла перевернуть вялящуюся рыбу и обнаружила, что рыбин стало уже три.

— Замечательная вышла прогулка! — сказал медведь, доставая из мешка ключи. Он стоял перед дверью в свою квартиру. — Надеюсь повторить ее еще раз!

Я кивнула. Я поблагодарила медведя за рыбу и за доставленное удовольствие. Медведь замахал лапой:

— Что вы, что вы, не о чем даже говорить!

Но уходить медлил.

— Э-э-э...— замялся он.

Я ждала продолжения, но он все никак не мог решиться. Какой он все-таки большой! Вид у него был страшно смущенный, и он негромко порыкивал. Когда он разговаривал на человеческом языке, то произносил звуки нормально, как обычные люди, а вот когда смеялся, то выходило по-медвежьи.

— А можно я вас обниму?.. — наконец решился он.— У нас на родине так принято: обниматься перед расставанием с хорошим человеком... Но если вам неприятно, то я не обижусь.

Я кивнула в знак согласия.

Медведь сделал шаг вперед, обнял меня лапами за плечи, и потерся мордой о мою щеку. На меня остро пахнуло медвежьим духом. Потом он потерся о другую щеку и снова с силой обхватил меня за плечи. Его шкура оказалась на удивление прохладной.

— Сегодня поистине замечательный день. Такое чувство, что мы побывали где-то далеко-далеко, а теперь вот вернулись домой. Да снизойдет на вас благодать медвежьего бога! — с неожиданным пафосом добавил он. — Кстати, вяленая рыба долго не хранится, так что лучше съесть ее прямо сегодня.

Я вошла в квартиру. Пожарила рыбу, приняла ванну, перед тем, как лечь спать, немного посидела над дневником. И все думала — каков он из себя этот медвежий бог? Но так ничего и не придумала. Да, денек выдался на славу!

Луиш-Манюэль

Стихи

С французского

Португалец, живет в Швейцарии, пишет по-французски, переводит с итальянского, испанского, ретороманского — поэзия Луиш-Манюэля рождается из многоязычья, на стыке пяти поэтических культур. Возможно, поэтому он и подписывает свои стихи просто Луиш-Манюэль, отбросив паспортную фамилию — Сантуш. Паспорт, вид на жительство, государственные границы для него не просто бюрократические формальности, редко вырастающие в жизненную проблему для тех, кто родился в свободной стране. В 1962 году — Луиш-Манюэлю было тогда двадцать семь — он эмигрировал из Португалии, где к тому времени уже тридцать лет правил казавшийся бессмертным Салазар.

Сейчас Луиш-Манюэль много печатается в Португалии, ему посвящают аналитические статьи, он член португальского ПЭН-клуба (равно как и нескольких литературных ассоциаций в Швейцарии и Франции), и все-таки пережитая в молодости разлука с родиной оставила ощутимый след в его творчестве. Даже в "космических" его стихах чувствуется потребность вырваться из любых пространственных границ, какие только может положить человеку история или судьба.

Точно так же отвергает он и любой диктат формы в поэзии, меняя структуру стиха от сборника к сборнику, а то и попросту сочетая на соседних страницах современные и традиционные поэтические нормы. Так, в книге "Пыль и реки" (1986) почти на каждом развороте слева идут стихи с рифмой и четким ритмом, справа — нечто среднее между свободным стихом и стихотворением в прозе, причем оба текста являют собой единое целое (в нашей подборке они расположены по вертикали с сохранением авторского курсива). А в книге "Зима взглядов" (1995) трудно не увидеть сходства с японскими пятистишиями танка.

При этом Луиш-Манюэль чувствует себя свободным не только в выборе формы, но и в выборе языка. Будучи автором двуязычным — что встречается не так часто, особенно в поэзии, — он, в зависимости от замысла, пишет либо по-португальски, либо по-французски. По-французски, если судить по количеству сборни-

© Éditions Eliane Vernay, 1986. 1995
© И. Кузнецова. Вступление, перевод, 2001
© И. Волевич. Перевод, 2001

ков, вдвое чаще. В Швейцарии он известен как поэт швейцарский, в Португалии — как португальский. Мы представляем читателям переводы его стихов, написанных по-французски.

И. Кузнецова

Из книги "Пыль и реки"

***

Будь я на месте рек я бы отверг
и море и исток чтоб течь по кругу
или струиться вертикально вверх
чтоб среди солнц разлиться
будь я на месте рек я бы хотел
сгореть вернуться в прах
стать пылью

***

Вселенная – игра случайных слов
Частиц летящих
Пыль созвездий
Закон инерции
О милый принцип
Основа наших безрассудств и снов

Космическая пыль — мои сады
где сны бормочут и мерцают —
холодные лучи и черное светило
туманное где всё мертво я должен
преодолеть витки твоей спирали
как жаворонок синью ослепленный —
он падает горит изнемогает
но остается жить чтобы связать
вселенную и реки

***

Незнакомец я меж незнакомцев
Эхо в хоре вечной круговерти
Ждал весны – пришла зима без солнца
Старость зла и страшен облик смерти

С эмблемой мудрости с ее гербом печальным
не расставался я однако я не знал
ни час ни место я был просто пылью
песочными часами которые небрежная рука
переворачивала равнодушно

***

Я видел как тайны легко раскрывала весна
Я видел как молния резала черное небо
Я видел как тьма уплотнялась во взгляде твоем
Я видел как птица веселых надежд умирала

Я к тебе приближаюсь твой запах
кружит мне голову твои губы
потрескались от обид и несбыточных грез
я слежу за нетвердым скольженьем
твоих пальцев по клавишам дней
и читаю в нем неприкаянность и
одиночество я хотел бы придумать другое солнце
другую планету чтобы в зеркале сердца
твоего раствориться но реки уже текут дальше
позади оставляя мосты которым дано пересечь
но не пресечь их течение — и вода о них забывает

***

В руинах го́рода моей души
Гнездятся изгнанные небом птицы
Уныло крылья шелестят в тиши
И грай тоскливый бесконечно длится

На рассвете с холмов Лисабон
кажется полем уснувших гитар
и большие суда — наши сердца —
просыпаются в устье реки
а в небе витает нежность
и нисходит на нас — всё искупая
и нас поднимая над пылью

Перевод Ирины Кузнецовой

Из книги "Зима взглядов"

***

Я в ласточке живу
Умру потом воскресну
В зиме где стынет безнадежно взгляд
И в той весенней варварской поре
Когда ручьи шальные забурлят

***

Высокомерный обнюхивал кот
Буйные травы в заросшем саду
Я же искал во взгляде твоем
Скрытые корни
Зимних забот

***

Воспоминанье о грязи осенней
Черным мазком промелькнуло в лазури
И обернулось стремительной птицей
Бог забывает об этом
Средь взглядов зимы

***

Оставь свой урожай — пускай сгорит
Оставь орех — пусть дремлет в скорлупе
И молнию оставь — пускай погаснет
Оставь под кожей тело истлевать
Томимое зимою взглядов

Послесловие

Я хотел позабыть лето радостей плоти
Но седою зимой где отныне мне жить суждено
Вдруг повеяло нежно и терпко
Ароматом неведомой пряности что не успел
Я собрать в глубине твоих глаз и на коже твоей

Значит кровь что бурлит в неумерших корнях
Не остыла еще — я предчувствую поздний расцвет
Опьяненье смертельное жгучим любовным настоем
Лишь бы руки твои распахнули пошире окно
Что выходит в мое постаревшее сердце

Перевод Ирины Волевич

Иоганнес Марио Зиммель

Человек, который рисовал миндальные деревца

Повесть

Перевод с немецкого С. Фридлянд

Я был счастлив, как еще ни разу в жизни. Счастлив во сне. Счастлив сверх всякой меры. Потом я услышал стук. Тук-тук-тук. Снова. И снова. Все громче, все резче. Потом я проснулся. Открыл глаза. Сбоку от опущенных жалюзи пробивалась сквозь щелку полоска ослепительного солнечного света. Я заметил, что поезд стоит. А куда же делось мое счастье, мое счастье сверх всякой меры? И что я видел во сне, совсем недавно, несколько секунд назад? Я напряженно пытался вспомнить. Но ничего не приходило мне в голову. Ничего, даже самая малость не приходила. Сон забыт, все забыто. Тук! Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

Стук сделался очень громким. И очень резким.

Я услышал голос проводника:

— Мадам Коллинз! Да проснитесь же наконец, мадам Коллинз!

Я встал, зевая. Поверх пижамы накинул плащ, который висел на крючке. В Париже вчера шел проливной дождь. Я зажег свет и отпер дверь купе. Сунув ноги в домашние туфли, вышел в коридор.

Резкий солнечный свет ударил меня по голове словно молотом. Я зажмурился, чтобы привыкнуть к нему. В коридоре спального вагона стояла удушливая жара. Проводник был лысый. Он снял свой коричне-

© 1993 bei Drömersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
© С. Фридлянд. Перевод, 2001

вый форменный китель. Тупым концом карандаша он стучал в дверь соседнего купе.

— Мадам Коллинз! Вы просили разбудить вас в Сен-Рафаэле. Мы прибыли в Сен-Рафаэль, прошу вас, мадам Коллинз.

Я выглянул в окно и увидел очень маленькую, очень чистенькую станцию. Наш спальный вагон стоял там, где навес над платформой уже кончился. Здесь был Старый город со своей романтической церковью. Здесь был археологический музей, я раза два в нем побывал. А в церкви я бывал много раз. Ради тамошней прохлады. Я припоминаю невыносимо жаркие летние дни, когда приезжал сюда по делам. Когда же это было? Пять лет назад? Или нет, не пять, а шесть. Кутон тогда крутил под Сен-Рафаэлем фильм "Эта проклятая жизнь". Сам великий Жак Кутон. Я точно помню, как, сидя в церкви, переписывал сценарий шариковой ручкой, переписывал, держа страницы на коленях. Я до сих пор помню все диалоги. А вот свой счастливый сон я так и не могу вспомнить.

Поверх домов города я увидел краснозем Эстерельских гор, которые начинались именно отсюда. Припомнил я и очень-очень красную землю. И корриду в Фрежюсе, совсем недалеко отсюда. Коррида была никудышная. Быки старые, тореро — и того старше. Я пошел тогда с этой девушкой, с Клэр. Целых две недели я здесь работал над сценарием и спал с Клэр. Она служила в том отеле, где остановился я. А мужа ее призвали на военную службу. Поженились они почти детьми. Шесть лет назад ей был двадцать один год, а мне сорок пять. Красная земля Эстереля раскалилась уже сейчас, ранним утром. Я подумал, что день, наверно, будет невыносимо жарким, таким, как все те, когда я мыкался в церкви с этой чертовой рукописью.

— Доброе утро, — сказал я проводнику. Он пытался теперь поддеть защелку своим ключом. Пот блестел у него на лысине мелкими каплями. Человек он был рослый, по возрасту на исходе шестого десятка.

— Доброе утро, мосье Руайан.

Проводник бросил на меня лишь беглый взгляд. Рядом с его башмаками на полу лежала общая тетрадь, а поверх тетради карандаш, которым он теперь и стучал в соседнюю дверь. В тетрадь были внесены имена всех пассажиров.

— Что случилось? — спросил я.

— Не встает, — ответил он и осторожно повернул ключ в замке. Ключ то и дело выскальзывал. — Она в Канне выходит, как и вы, мосье Руайан. Просила разбудить ее в Сен-Рафаэле, чтобы еще успеть позавтракать в купе.

— Как и я.

— Да, — отвечал он, — как и вы. А теперь я не могу ее разбудить.

— Мы вчера довольно много выпили.

— Да, две бутылки.

— На двоих это очень много, — сказал я. Теперь и у меня на лбу выступил пот, а по спине побежали струйки. Дьявольски жаркий день выдастся сегодня на Лазурном берегу. В Париже мы еще замерзали. Была всего лишь середина апреля, а здесь на юге уже такая жарынь. По счастью я взял в дорогу легкие вещи. По счастью, по счастью... Так какой же я все-таки видел сон?

— Шампанское было выше всех похвал, — сказал лысый проводник. — Вы ведь сами сказали, что оно превосходное.

— Роскошное шампанское, — ответил я. — Вот и миссис Коллинз то-же это говорила.

— Правда?

— Ну да. Мы поэтому и выпили целых две бутылки. Миссис Коллинз была так счастлива.

Почему она была так счастлива, я тоже вспомнил. Но вот свой сон?.. Ровным счетом ничего. Даже обрывка и то нет.

Я заметил, что в коридоре уже столпилось около дюжины пассажиров. Они с любопытством глядели на нас. Из другого спального вагона пришел молодой проводник.

— Что, Эмиль, кто-то не встает?

— Не встает, Поль. Да еще эта проклятая защелка.

Тут вдруг что-то стукнуло, и дверь в купе миссис Коллинз приотворилась. Возникла узкая щель.

— Мадам! — Теперь Эмиль кричал во весь голос. И произносил американское имя на французский лад. — Мадам Коллинз! Послушайте! Мы уже в Сен-Рафаэле.

Никакого ответа.

И тогда в коридоре разом воцарились тишина. Никто не шевелился. Лишь вдалеке взвыла сирена.

— Так войдите же, — сказал я, — и посмотрите сами.

— Не могу, — ответил Эмиль, — там ведь защелка. Видите? Замок я открыть могу, а дверь — нет. Защелка-то железная. Мадам Коллинз! — снова выкрикнул он в темное купе.

— А что, если она... — начал молодой проводник, которого звали Поль.

— Merde alors[1], — ответил Эмиль. — Как, по-вашему, мосье, дама хорошо себя чувствовала?

— Превосходно, — отвечал я.

Какое-то время мы молча взирали друг на друга.

— Нет, — сказал наконец Эмиль, — так у нас ничего не выйдет. Я останусь здесь, а ты, Поль, сбегай к начальнику станции. Скажи ему, что у нас происходит. Нам нужен слесарь, который перепилит эту чертову защелку. — Поль уже припустил со всех ног. — А начальник пусть на всякий случай известит pompiers.

Pompiers по-французски значит пожарные. И во Франции их всегда вызывают первыми, если случится беда.

Наш Train bleu[2] покидает Париж с Лионского вокзала в 21 час 46 минут. В его составе есть только спальные вагоны первого и второго класса, и едет он до Вентимильи — итальянского приграничного городка на Лазурном берегу. В южном направлении Train bleu пересекает всю Францию до Средиземного моря. Первую остановку он делает в Сен-Рафаэле. А уж потом останавливается довольно часто — в Канне, например, в Жуан-ле-Пен, в Кань-сюр-Мер, в Ницце, в Больё, в Монте-Карло. А после этого он вообще останавливается на всех станциях, которые расположены неподалеку от моря.

Такси доставило меня от дома к Лионскому вокзалу, причем в течение примерно четверти часа я был вынужден слушать проклятия шофе-

1. Французское ругательство. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Голубой поезд (*франц.*).

ра, который из-за проливного дождя и оживленного движения ехал еле-еле. Носильщиков на вокзале не было, я тащил свой чемодан и свою пишущую машинку вдоль длинного состава этого самого Голубого поезда до моего семнадцатого вагона. Купе мое располагалось примерно в середине его. Перед открытой дверью соседнего купе стояла дама и курила. Я поздоровался. Она улыбнулась в ответ и наклонила голову.

У нее была удивительная улыбка. Казалось, будто на ее узком, с тонкими чертами лице восходит солнце. Глаза у нее были очень большие. И зубы красивые, и широкий рот с сочными губами. На ней было красное платье и жемчужное ожерелье. Едва увидев ее, я понял, что она наполнена каким-то почти неземным блаженством. Она была высокая и стройная. Седые волосы одевали ее голову словно шлем и чуть отливали нежным лиловым цветом. Покуда проводник занимался моим билетом, я увидел в темном окне, перед которым стояла дама и по которому хлестал дождь, ее отражение. И с удивлением заметил, что она меня разглядывает. Сам я эту даму не знал. Я никогда ее раньше не видел. Я улыбнулся ее отражению. Она улыбнулась в ответ.

— Когда прикажете вас разбудить, мосье? — с такими словами обратился ко мне проводник, носивший при себе тетрадь с именами пассажиров.

— Пожалуйста, в Сен-Рафаэле.

— Завтрак?

— Да, пожалуйста.

— Кофе или чай?

— Чай с молоком.

— Как и мне, — промолвила дама в красном платье.

— Совершенно справедливо, как и мадам Коллинз, — сказал лысый проводник. — Кстати, мадам тоже пожелала, чтобы ее разбудили в Сен-Рафаэле.

— Да, тогда у меня еще будет много времени до Канн. Кстати, мосье, вы тоже едете в Канн?

— Совершенно верно, мадам...

— ...Коллинз, Роберта Коллинз.

Она говорила по-французски с заметным американским акцентом.

— Руайан, — сказал я, — Роже Руайан.

— Господа желают сейчас еще чего-нибудь?

Но прежде чем я успел открыть рот, она ответила:

— Я с удовольствием выпила бы шампанского. — И взглянула на меня. Ее большие глаза были зеленого цвета.

— Не сочтете ли вы, что я веду себя ужасно, если приглашу вас на шампанское, мосье Руайан?

— Очень любезно с вашей стороны, миссис Коллинз. Конечно же, я с радостью приму ваше приглашение, — ответил я.

Ее улыбка стала еще ярче.

— Вот и прекрасно. А шампанское у вас есть?

— Ну разумеется, мадам, — и проводник перечислил три марки.

— "Поммери", — сказала миссис Коллинз.

— Сию секунду, мадам. Бутылку "Поммери". — И проводник умчался.

Миссис Коллинз наверняка было лет пятьдесят, но она выглядела гораздо моложе. Она выглядела так, будто ей только-только сравнялось сорок. Ну, лицо она, без сомнения, подтягивала, причем у первоклассного хирурга-косметолога. А выдавали миссис Коллинз ее руки. С рука-

ми ничего не поделаешь! Ей пятьдесят, думал я про себя. Как минимум пятьдесят.

Теперь наш поезд ехал очень быстро.

Проводник принес шампанское, ведерко с кубиками льда и два бокала. Он искусно открыл бутылку и дал мне пригубить.

— Все в порядке, мосье?

— Все в порядке.

— Тогда позвольте мне... — Он налил оба бокала до половины, поставил бутылку в ведерко со льдом и согнулся в поклоне.

— Если господа пожелают еще чего-нибудь, вот звонок.

— Спасибо, — сказала миссис Коллинз, — большое спасибо, затворите, пожалуйста, за собой дверь.

— Слушаюсь, мадам. — И он исчез.

Чуть покачивалась постель, на которой мы оба сидели, и колеса торопливо стучали.

— Давайте выпьем за меня, — сказала миссис Коллинз, — за меня и за мою новую жизнь. Понимаете, мосье Руайан, я начала новую жизнь. Вы согласны выпить за то, чтобы она была хорошей, эта новая жизнь?

— Чтобы она была прекрасной, миссис Коллинз.

— Такой она и будет, — сказала она, и снова такая же улыбка. — Ну тогда выпьем за мою прекрасную новую жизнь. Sante[1], мосье Руайан!

— Sante, миссис Коллинз.

Мы выпили.

— Ну и напиток, — сказала миссис Коллинз. — Неужели вы не находите, что это божественный напиток?

— Конечно нахожу, миссис Коллинз.

Буря завывала вокруг поезда, дождь гулко стучал в окно за спущенными жалюзи. Миссис Коллинз отставила свой бокал. Я дал ей огня для очередной сигареты.

— А вы не курите?

— Больше не курю. Бросил.

Колеса громыхали, громыхали, громыхали...

— Я видела у вас пишущую машинку. Вы писатель?

— Да, миссис Коллинз.

— А что вы пишете? Романы? Не обижайтесь на меня, я еще ничего вашего не читала. Писателей на свете так много...

— Я пишу научно-популярные книги. Естественные науки...

И это была ложь.

— О, — сказала она и отхлебнула из своего бокала. — Я никогда не читаю таких книг. Они выходили на других языках?

— Да, миссис Коллинз.

И это была вторая ложь.

— А в Америке их можно достать?

— Разумеется.

И это была третья ложь. Потому что я в жизни не писал научно-популярных книг. Я был одним из новых авторов на редкость успешной серии романов в мягкой обложке под общим названием "Affaire Top Secret"[2]. Каждую неделю на свет появлялась очередная брошюра из этой серии. "Affaire Top Secret" продавалась на вокзалах и в газетных ки-

1. Ваше здоровье (*франц.*).
2. "Сверхсекретная операция" (*англ.*).

осках. Серия имела даже больший успех, чем знаменитая "Brigade mondaine"[1]. Мы выпускали неслыханную дрянь. А вот много лет назад я писал настоящие романы. И никто не желал их читать. Теперь же на изготовление очередной брошюры у меня уходило примерно три недели.

Но главное мое занятие было из совершенно другой области и приносило мне куда больше денег. Я считался специалистом по доведению до ума неудачных фильмов. Не существовало пленки, которой я не мог бы привести в божеский вид настолько, чтобы монтажер потом спокойно склеил куски в должной последовательности. Я стяжал общенациональную славу как спаситель продюсеров, которые в ходе съемок вдруг обнаружили, что своенравный режиссер слишком далеко отошел от сценария. На этот случай существуют договоры с актерами, с техниками, со студией, и потому каждый день, когда не идут съемки, означает гигантский ущерб для кинокомпании. Я был ангел-спаситель всех труждающихся и обремененных, всех взысканных несчастьем продюсеров. Чтобы вызволить из беды очередного несчастливца, я и ехал сейчас в Канн. Там уже четыре дня назад были приостановлены съемки баснословно дорогого фильма.

— Боюсь, что у вас возникнет обо мне ошибочное представление, — сказала миссис Коллинз. — Я, наверно, произвожу на вас престранное впечатление.

— Нет, вы производите на меня впечатление человека, который знает, что впереди у него большая радость.

— Большая радость, — протяжно повторила она. — Пожалуй, вы правы. Я навсегда возвращаюсь к мужчине, которого любила больше всех.

— Вот давайте за это и выпьем, — сказал я и наполнил бокалы. Теперь шампанское стало по-настоящему холодным.

Миссис Коллинз улыбнулась и открыла свою сумочку из крокодиловой кожи. Оттуда она достала кусок картона размером с почтовую открытку. С одной стороны кусок, как я заметил, был исписан, на другой же я увидел миндальное деревце, нарисованное светящейся акварелью, тонкие веточки — черной, маленькие листочки — красно-коричневой, а обильные цветы — светло-розовой. Рисунок заворожил меня своей атмосферой. Мне показалось, будто все растущее и зарождающееся, все милое и хорошее, что есть на свете, сосредоточилось в этом деревце, над которым парило нежно-голубое небо. Глядя на это деревце, ты невольно испытывал радость. Оно заставляло позабыть все темное и печальное. Это был символ надежды. Я долго разглядывал его и чувствовал, как во мне оживают радость и тепло. Радость жизни, воспоминания о давно минувшем, но лишь о том, что было прекрасно, что приносило счастье.

— Переверните открытку, — сказала мне эта странная дама с бело-лиловыми волосами. Даже голос ее был полон шарма. Она была весела, как молоденькая девушка, которая радуется грядущей любви.

Я перевернул и прочел написанное там от руки:

Neither the Angeles in Heaven above
Nor the Demons deep under the Sea
Shall ever dessever my Soul from the Soul
Of the beautiful Annabel Lee.

1. "Лунная бригада" (*франц.*).

— Это Эдгар По, — сказала миссис Коллинз и отхлебнула из своего бокала.

Я попытался сделать перевод: "Ни ангелы в небе, ни демоны в морской пучине не в силах разлучить мою душу с душой прекрасной Аннабел Ли".

— Это деревце нарисовал человек, которого я любила больше всех, — сказала миссис Коллинз. — И подарил его мне. И написал эти слова. Эти прекрасные слова. Потому что я и есть его Аннабел Ли.

Теперь ее улыбка была совершенно обращена внутрь и наполнена всем спокойствием этого мира. Так улыбаются мадонны итальянских мастеров, созерцая свое дитя.

— К нему я теперь и еду, мосье Руайан. Чтобы остаться с ним. Если есть Бог, пусть он сделает, чтобы я умерла раньше, чем он. Я так люблю этого человека, что не переживу его смерть. Патетически звучит?

— Вовсе нет, — ответил я, несколько смущенный.

— Да нет, это до ужаса патетично, — сказала она с улыбкой, — но мне все равно. Да и вся моя история, если хотите знать, до ужаса патетична. Мне пятьдесят шесть лет.

Значит, я угадал, подумалось мне.

— До ужаса патетическая любовная история старой женщины, — продолжала она, вращая бокал в руках. — Вы хотите ее услышать? Вы ведь писатель. Я подарю вам свою историю — может, когда-нибудь вы о ней напишете.

Я поразмыслил, насколько ничтожна вероятность того, что я, автор серии "Affaire Top Secret" и спасатель киносценариев, вообще это когда-нибудь сделаю, однако кивнул в ответ и тоже улыбнулся. И мы продолжали пить, а поезд продолжал грохоча нестись сквозь полную дождя и ветра ночь на юг, к Средиземному морю. Кстати, с дюжину принадлежавших мне short stories[1] опубликовали журналы, например, "Пари-матч". Будучи автором серийных брошюр, я подписывался вымышленным именем.

— Мне бы очень хотелось услышать вашу историю, — сказал я.

— Сразу, как только я увидела вас перед отъездом из Парижа, у меня возникло такое чувство, что вы — тот человек, которому я все могу рассказать и хочу рассказать. Я очень, очень рада, я просто должна рассказать свою историю. Вам, писателю. Ведь вам уже наверняка доводилось слышать множество историй от множества людей.

— О да, миссис Коллинз, — ответил я.

— Того, к кому я сейчас еду, я знаю вот уже одиннадцать лет, — сказала эта немолодая женщина, которая выглядела так молодо от переполнявшего ее счастья и блаженства и казалась словно укрытой броней, которая не пропускает зло.

— Уже столько лет! — сказал я. — А когда вы видели его в последний раз?

— Одиннадцать лет назад, — отвечала миссис Коллинз и улыбнулась улыбкой мадонны.

Весной 1972 года мистер Эрскин Коллинз и его жена Роберта остановились в Канне, в отеле "Карлтон" на набережной Круазетт. Они приеха-

1. Рассказы (*англ.*).

ли на один месяц. 18 апреля исполнялось двадцать пять лет со дня их свадьбы. В 1972 году миссис Коллинз было сорок пять лет, а ее мужу пятьдесят один год. Ему принадлежал известный частный банк в Нью-Йорке, и он уже не раз бывал в Канне — по делам. А жена его увидела этот город с пальмами, с тысячами цветущих кустов и цветов и белым песчаным пляжем впервые.

Вечером 14 апреля американский генеральный консул, который вместе с супругой специально прибыл для этого из Марселя, давал прием в честь мистера и миссис Коллинз. Торжество происходило в "Палм-Бич", так называемом летнем каннском казино. Казино "Палм-Бич" было более современным из двух больших игорных заведений. Зимнее казино, расположенное на другом конце Круазетт, построили еще перед Первой мировой войной в плюшево-мраморно-хрустальном стиле, модном на рубеже веков. (Несколько лет спустя его снесли и сегодня на этом месте стоит некое строение неописуемого уродства — здесь всласть порезвилась стая архитекторов, изображающих из себя адептов современного стиля).

При каждом казино имелся большой ресторан, а при "Палм-Бич" еще и "Masque de Fer"[1] — ресторан на открытом воздухе. И все летние гала-приемы проходили именно там — как и прием в честь господина и госпожи Коллинз. Да и вдобавок была пятница, стало быть, получился настоящий гала-прием, иными словами, собралось множество людей в праздничных одеждах, чтобы есть, танцевать, наслаждаться экстравагантным шоу и музыкой двух оркестров. На безоблачном небе стояла полная луна и превращала все, решительно все — пальмы и берег, городские дома и сверкающие огни на отдаленных Этерельских горах — в нечто бесплотное и нереальное, совершенно нереальное.

Их было двадцать человек, и большой длинный стол, за которым они сидели, оказался самым удобным из всех, расположенных, как лучи звезды, вокруг большой танцплощадки. Когда музыканты позволяли себе небольшой перерыв, можно было слышать легкий шорох набегающих на берег волн. Перед едой, за коктейлем, генеральный консул и он же старый друг Эрскина Коллинза перезнакомил своих гостей. Там был каннский бургомистр с супругой, там был самый известный адвокат, тоже с супругой, была супружеская чета из Швеции, муж — владелец верфи, была чета из Германии, муж — известный хирург, была итальянская аристократическая чета из Милана, ему принадлежало одно издательство и одна римская газета, был армянин Рубен Аласян, пожилой человек, державший в Ницце большой ювелирный магазин, и еще был стройный, широкоплечий мужчина с русыми волосами, резкими чертами лица, сверкающими зубами и очень светлыми глазами. Он проживал в расположенном на расстоянии часа езды городке Сен-Поль-де-Ванс, маленьком, очень древнем городке, где живет и работает много художников, как он поведал о том миссис Коллинз. Этот рослый, высокий человек был добрый друг армянского ювелира из Ниццы, о чем она узнала позднее. Звали его Пьер Мондрагон, и сам он тоже был художник. Позднее, за ужином, он сел рядом с миссис Коллинз. А мистер Коллинз сидел рядом с консулом.

С той самой минуты, как миссис Коллинз представили Пьера Мондрагона, ее томило все крепнущее беспокойство. Ради нее самой и ее

1. "Железная маска" (*франц.*).

мужа за столом говорили по-английски. Кто лучше, кто хуже. Мондрагон говорил бегло. И с той же минуты, как он увидел миссис Коллинз, его, казалось, не занимал больше никто из гостей. Светлые глаза Мондрагона были неотрывно устремлены на нее, беседовал он только с ней, а после ужина, перед началом шоу, они пошли танцевать на большой, приподнятой над уровнем пола танцплощадке у самой воды.

Пьер Мондрагон танцевал превосходно. В его движениях была какая-то гибкость хищного зверя и одновременно бездна нежности. Он крепко прижимал к себе миссис Коллинз, она безвольно позволяла вести себя, как с удивлением отметила. Она была женщиной, получившей строгое буржуазное воспитание, она любила своего безупречно порядочного и скучноватого мужа, никогда его не обманывала, никогда и не думала ни о чем подобном. Но в этот вечер жизнь миссис Коллинз круто переменилась.

Окончилось большое шоу со всеми герлс, фокусниками и певцами — здесь это называли spectacle, — и снова миссис Коллинз танцевала с художником Пьером Мондрагоном, но теперь уже среди множества других пар на большой танцплощадке, над морем, под звездным небом и медовой луной. Пестрые лучи прожекторов скользили над ними, капелла играла "Серенаду лунного света" Гленна Миллера.

— Вы божественная, — сказал Мондрагон, медленно кружась с миссис Коллинз, — вы божественная, известно ли вам, что такое coup de foudre?

— Нет, — отвечала она и почувствовала, как по спине у нее пробежала дрожь. На ней было тесно облегающее, с глубоким вырезом платье из шелка с серебряной нитью, на нем — смокинг, белый жилет и красный галстук.

— Coup de foudre, миссис Коллинз, — это удар молнии любви, — сказал Пьер Мондрагон. — И этот coup de foudre поразил меня. Я люблю вас, миссис Коллинз.

— Вы не должны так говорить, — сказала она, и снова эта дрожь бежит по спине.

— Вы запрещаете мне любить вас?

— Да.

— Но вы не можете мне это запретить.

— Я... Что это вам вообще взбрело в голову? Замолчите! Немедленно замолчите! Я уже двадцать пять лет счастлива в браке.

— На самом деле вы совсем не счастливы. А вот я сделаю вас счастливой, такой счастливой, какой вы никогда еще не были. — И вдруг он прижал ее к себе.

— Немедленно отпустите меня, не то я закричу!

— Можете кричать, миссис Коллинз, можете кричать!

— Пожалуйста, отпустите меня, мосье Мондрагон, пожалуйста.

— Вот так-то лучше, — сказал он и разжал железную хватку своих рук. — Так я и знал.

— Что знали? — Ей трудно было говорить.

— Что вы тоже без ума от меня, — отвечал Пьер Мондрагон.

И он был прав, продолжала миссис Коллинз. Вокруг нашего Train bleu все еще завывала буря, дождь все еще хлестал по составу, который мчался сквозь ночь к югу. Вагон мягко покачивался.

– Безумство, не правда ли?

Она пригладила волосы и поглядела на меня. В первый раз без улыбки.

– Я бы еще с удовольствием что-нибудь выпила.

Я наполнил ее бокал.

– И себе, – сказала она.

– Боюсь, в бутылке уже ничего не осталось.

– Тогда давайте... Тогда мы могли бы... Мне еще так много надо вам рассказать.... И час еще не поздний... Если вы конечно вдобавок ко всему не сочтете меня алкоголичкой...

Я нажал кнопку звонка.

– Вы себе только представьте, мосье Руайан, мое семейство родом из Бостона. Я получила воспитание в Вассаре[1]. До замужества я знала двух мужчин. Итак, всего трое и сорок пять лет. С мужем мы прожили двадцать пять лет спокойного, счастливого брака. Он меня искренне любил, я его тоже любила. Мы относились друг к другу с величайшим уважением и заботой. А тут является этот художник, этот Пьер Мондрагон, и с ним coup de foudre. Вы верите, что такое вообще возможно?

– Ну разумеется, миссис Коллинз, – ответил я.

– Должно быть, возможно, – пробормотала она. – Я была готова вместе с Пьером уйти прямо среди танца в первый попавшийся отель.

В дверь постучали.

Появился лысый проводник.

– Пожалуйста, еще одну бутылку.

– Сию минуту, мосье, мадам.

И он исчез.

Я поглядел на миссис Коллинз. Она уже снова улыбалась.

– И никто ничего не заметил, – сказала она. – Даже мой бедный Эрскин – и тот ничего не заметил. В эту ночь он даже подружился с Мондрагоном. Подружился! Он был в восторге от этого художника. Да и все остальные тоже были от него в восторге, понимаете? Он был такой человек, которого все сразу начинали любить, – она устремила взгляд в пустоту. – Тогда волосы у меня еще были русые, – добавила она, немного помолчав, – правда, попадались среди них и седые пряди, но их я подкрашивала в каштановый цвет. Каштановый с рыжеватым оттенком. И носила их, не подкалывая, так что они свободно падали мне на плечи.

Я подумал, до чего ж, наверно, хороша она была в свои сорок пять. Я бы наверняка тоже за ней приударил, но, конечно, не так настойчиво, как Мондрагон.

Проводник вернулся с новым ведерком, полным льда, новыми бокалами и новой бутылкой "Поммери". Он доброжелательно глядел на нас.

– Спасибо, я все сам сделаю, – сказал я. Он кивнул и исчез с первым ведерком и первой бутылкой. Я открыл вторую. После того как я пригубил и мы снова выпили, миссис Коллинз продолжала:

– Чтобы вы хорошо поняли дальнейшее, мосье Руайан: первая встреча с Пьером в "Палм-Бич" произошла четырнадцатого апреля. А день нашей свадьбы был восемнадцатого. Так что четырнадцатого, если можно так выразиться, было предварительное празднование. – Я

1. Небольшой город в США, где находится основанный в 1865 г. колледж для девушек из образованных слоев общества.

кивнул. — И вот, этой же ночью мы пошли еще раз в игорный зал. Эрскин был страстным игроком, во все времена. Он играл в рулетку. И не затем, чтобы непременно выиграть, для него не составляло разницы, выигрывает он или проигрывает. Не забывайте, что мой муж был — уж простите за откровенность — очень богат. Он играл ради самой игры, играл, чтобы пощекотать себе нервы, играл ради атмосферы. И почти всегда выигрывал. Вот и в этот вечер он выиграл. Очень много, — она тихонько засмеялась, — но во время игры с ним нельзя было разговаривать. Он терпеть не мог, когда кто-нибудь садился рядом или становился у него за спиной. Он желал быть один, и чтоб за ним не наблюдали, — она снова засмеялась. — И в этот вечер он получил желаемое! Мы с Пьером сидели в баре, но теперь вели себя как гимназисты. Мы глядели в глаза друг другу, мы сближали руки, и наши туфли снова и снова соприкасались. Вдруг, после того неожиданного взрыва во время танцев, Пьер стал робким и сентиментальным. Но от этого мое желание только делалось сильней. — Она достала еще одну сигарету, и я дал ей огня. — Он рассказывал мне про свою жизнь. Он не был женат, он работал много и неутомимо. "Придите ко мне посмотреть мои картины, — сказал он и добавил поспешно: — И ваш муж, разумеется, тоже". Как я уже говорила, теперь он был робок, почти скован. Потом он рассказал мне, как красив его городок Сен-Поль-де-Ванс. Всего две тысячи человек живет в этом построенном еще в средние века городке, посреди пальмовых и оливковых рощ. Сохранились еще городские стены восемнадцатого века. Вы бывали в Сен-Поль-де-Ванс?

— Нет.

— А я бывала, — сказала она, — и когда я закрываю глаза, я вижу перед собой каждое дерево, каждый дом, каждый камень. — Она и впрямь закрыла глаза и продолжала говорить с закрытыми глазами. — Церковь там тринадцатого столетия. В ней есть сокровище, самое настоящее сокровище. Дома все старые-престарые, а ограды вокруг домов сложены из камня. На машине можно доехать только до одного места, что под большой оливой, а оттуда вверх по дороге до самого городка только пешком. Там находится фонд Магт[1], вы о нем слышали, я думаю? — Я кивнул в ответ. — Он призван содействовать распространению знаний о современном искусстве, пробуждать любовь к нему. Там круглый год, без перерыва, открыты какие-нибудь выставки. Фонд располагает большим собранием. Там можно видеть картины Боннара, Брака, Миро, Кальдера, Кандинского, Убака и тому подобных. — Она засмеялась. — Да, в этом я разбираюсь. Пьер мне потом все показал и объяснил. Я многим ему обязана...

Ее голос прервался.

— А у Мондрагона вы были? — спросил я.

— Подождите, — отвечала она, — я расскажу вам все, вам, чужому человеку, расскажу в эту ночь, когда для меня начинается новая жизнь. Хотя, по сути говоря, она началась уже вчера. Вчера я вылетела из Нью-Йорка... — Она затянулась своей сигаретой. — Под конец все собрались в баре, старый армянский ювелир Аласян, генеральный консул, шведы, немцы, итальянцы, и даже Эрскин в конце концов пришел — он выиграл почти тридцать тысяч франков. Мондрагон повторил Эрскину и

1. Фонд, основанный во Франции книгоиздателем, торговцем антиквариатом и галеристом Эме Магт (1906—1981) и его супругой Маргаритой для поддержки современного искусства. В 1964 г. супруги открыли галерею современного искусства в Сен-Поль-де-Ванс.

мне свое приглашение. Все остальные уже бывали у него в ателье, бывали и в городке Сен-Поль-де-Ванс. Они уговаривали нас принять приглашение, особенно старался старый ювелир из Ниццы.

— И ваш муж принял его приглашение?

— Ах, бедный, бедный Эрскин, — она засмеялась. — Он ничего не смыслил в картинах, и живопись интересовала его так же мало, как музыка, скульптура или литература. У него был свой банк. У него была своя специальность: деньги. Вот чем он интересовался, вот к чему относился со страстью.

— Ну и рулеткой, — сказал я.

— Ну и рулеткой, — согласилась она.

— И вами, миссис Коллинз.

Она долго глядела на меня, потом отпила из своего бокала.

— Да, — наконец откликнулась она, — и мной, разумеется, тоже. Но это была не страсть. Это была любовь. И доверие, абсолютное доверие. — Она опустила голову. В купе вдруг стало совсем тихо, я мог лучше слышать перестук вагонных колес и бурю, и дождь. Миссис Коллинз откинула голову. — Да, Эрскин принял приглашение Мондрагона. Мондрагон сказал, что в воскресенье в три часа будет стоять перед отелем "Карлтон" со своей машиной, что он отвезет нас, а потом привезет назад. — Она пожала плечами. — В субботу мужу позвонили из Парижа. Позвонил директор Французского банка, с которым он вот уже много лет сотрудничал. Вы уже догадываетесь, что было дальше, мосье Руайан, не так ли?

— Этот самый директор попросил вашего мужа непременно приехать в Париж к понедельнику из-за одной очень важной финансовой операции, — ответил я.

— Именно об этом он и попросил моего бедного Эрскина. Дело было чрезвычайно важное. Эрскину было просто необходимо отлучиться в Париж, по-другому никак не получалось. Мой муж решил вылететь уже в воскресенье вечерним рейсом и вернуться ко мне утром во вторник. Я привыкла к таким его внезапным поездкам. После обеда, когда Эрскин как и обычно спал, я позвонила Мондрагону, сказала, что наш визит к нему придется перенести, и объяснила почему.

— Ну и?

— Он ответил: "Перенести? И речи быть не может. То, что ваш муж улетает в Париж, следует рассматривать как подарок судьбы. Наконец-то мы останемся одни". — Вы с ума сошли! — сказала я. — Вы же не думаете всерьез, что я приду к вам одна, без мужа? — "Думаю, — отвечал он весело, — именно это я и думаю". — Нет и нет! — воскликнула я. — "Разумеется, нет! — отозвался он — Так что будьте к трем часам на террасе вашего отеля и ждите меня, чтобы сразу же сесть в машину, как только я подъеду. Там очень трудно припарковаться". — Ни за что в жизни, — ответила я, внезапно рассвирепев, — никогда я не стану ждать вас на террасе в три часа, мосье Мондрагон.

Она отхлебнула большой глоток, потом улыбнулась, потом сказала, глядя мне прямо в глаза:

— С половины третьего я уже ждала его на террасе.

Машина у него оказалась старая и помятая. На нем были белые ботинки, белые полотняные брюки и голубая рубашка навыпуск. И они поехали в Сен-Поль-де-Ванс, почти не разговаривая по дороге. В этот день

было очень жарко, и когда они приехали, миссис Коллинз увидела все, о чем ей рассказывал Мондрагон: остатки крепостной стены, церковь тринадцатого века с пристроенной позже колокольней, стоянку для машин под большой оливой, где на красной утрамбованной земле двое мужчин развлекались, играя в boul[1] – это такая игра с металлическими шарами. Еще она увидела древние дома вдоль узкой улицы. Мостовая была вымощена булыжником. Миссис Коллинз надела туфли на высоком каблуке. Она еле шла. "Так снимите туфли", – сказал Мондрагон. Она тотчас повиновалась. И шла дальше вверх по улице босиком возле этого рослого мужчины со светлыми глазами. Когда же он наконец распахнул перед ней дверь одного дома, она замерла от удивления. Увидеть такое она не ожидала: огромная выбеленная комната, верных два этажа в высоту, а в комнате каменные статуи мужчин и женщин. У одних не доставало руки, у других ноги, а у одной и вовсе не было головы. Сквозь высоко расположенные окна падал солнечный свет. Немыслимой ширины лестница лепилась к стенам, и с каждой ее площадки открывалась своя дверь. Ступени были серые и стертые. Этому дому, надо полагать, было уже много веков. Пьер Мондрагон водил миссис Коллинз по своему дому, показывал ей жилые комнаты, обставленные античной мебелью, показывал ей свои коллекции. В одной из комнат было множество слонов, крупных и мелких, сделанных из самых разнообразных материалов.

– У слона хобот должен быть задран кверху, не то он не принесет счастья, – пояснил Мондрагон.

В другом помещении была коллекция кукол со всего света, потом он показал ей некие диковинные образования из корней, потом шла целая комната, полная великолепных рюмок всех цветов радуги, и еще комната, где на столах лежало бесчисленное множество пестрых стеклянных шариков. А в главной комнате был камин и еще были петухи, так же как и слоны, из всевозможных материалов, так же как и слоны, любых размеров. Они стояли на земле, ибо во всех комнатах были стертые каменные полы, они висели на стенах, они свисали с потолка на шнурах, комната просто кишела петухами.

– Вот и петухи приносят счастье, – сказал Мондрагон, – но, конечно, у них должен быть широко раскрыт клюв. А вы знаете, что кричат петухи?

Миссис Коллинз вдруг ощутила тяжелый приступ скованности. Она опустилась в старое глубокое и мягкое кресло.

– Так что же кричат петухи? – спросила она.

– Вставай, проклятьем заклейменный, – отвечал Мондрагон. – Ведь они будят спящих, не так ли? А большинство людей спит не только ночью, но и всю жизнь. Вот что кричат петухи. Что вы хотели бы выпить? Вы ведь, наверно, изнемогаете от жажды! Извините! – Он потянул красный бархатный шнур, висевший на белой стене. Сразу же после этого раздался стук в дверь, и в комнату вошла невзрачная женщина неопределенного возраста. Она была босая, в черном халате. Ноги у нее были грязные, волосы космами падали на лицо. Она казалась почти уродливой, и однако же миссис Коллинз пришло в голову, что когда-то эта женщина была очень хороша собой.

– Это Мария, – представил Мондрагон, – моя домоправительница.

1. Боулинг (*франц.*).

— Здравствуйте, Мария, — сказала миссис Коллинз и улыбнулась ей.

— Здравствуйте, мадам, — ответила Мария, но ее лицо осталось серьезным, почти трагическим в своем уродстве.

— Что вы хотите выпить? — спросил Мондрагон и поглядел на миссис Коллинз. — Не советую виски в такую жару. Может, джин-тоник?

— Да, пожалуйста, — ответила миссис Коллинз.

— Ты слышала, Мария? — спросил Мондрагон.

— Да, мосье.

— Мне тоже.

— Два раза джин-тоник, — повторила Мария.

— Лучше всего принеси бутылки, два стакана и лед.

— Как прикажете, мосье, — и Мария исчезла.

— Добрая женщина, — сказал Мондрагон, — но, к сожалению, очень глупа. Зато очень преданная.

— А сколько времени она у вас работает? — спросила миссис Коллинз, которая все еще не могла справиться с поразившей ее скованностью. Потом она поглядела на свои ноги. Туфли на высоком каблуке она все еще держала в руках. Должно быть, ноги у меня такие же грязные, подумала миссис Коллинз.

— Мария? О, с незапамятных времен. Не меньше двадцати лет. Уж и не помню.

— А больше в этом доме никто не живет?

— Нет, — отвечал Мондрагон, — только Мария и я.

Вернулась домоправительница в своем черном халате и с подносом. На подносе стояли стаканы, бутылки и бокал с кусочками льда. Мондрагон взял поднос у нее из рук.

— Спасибо, Мария. Можешь идти.

— Слушаю, мосье.

Мария шмыгнула в дверь, и дверь захлопнулась. Мондрагон поставил поднос и начал готовить напитки. Между тем миссис Коллинз в сине-зелено-оранжево-белом платье от Леонардо спросила:

— А почему она такая печальная?

— Кто?

— Мария, ваша домоправительница?

Мондрагон засмеялся.

— Печальная? Она вовсе не печальная, у нее просто такой вид. Она вечно погружена в раздумья.

— Какие раздумья?

— Ну, этого вам никто не скажет. Я сам не раз ее спрашивал. Она так ни разу мне и не ответила. У нее добрая душа, у моей Марии. Только уж очень она глупа, к сожалению. Хотя, что значит к сожалению? Может, это счастье. Глупым людям легче живется.

Он протянул миссис Коллинз стакан.

— Cheerio.

— Cheerio, — отвечала миссис Коллинз.

Они так и остались в комнате с множеством петухов. Мондрагон рассказал, что часто путешествует и во время своих путешествий собирает всех этих слонов, петухов и тому подобное. Скованность миссис Коллинз все росла, она провела ладонью по лбу.

— Вам нехорошо?

— Нет-нет, все нормально, только голова немного кружится...

Мондрагон подошел к миссис Коллинз и привлек ее к себе. Взял у нее из рук стакан и отставил его в сторону. Потом зажал ее лицо между ладонями и грубо поцеловал в губы. Губы миссис Коллинз раскрылись навстречу его поцелую. Она застонала. Поцелуй все длился. А потом Мондрагон как ребенка поднял ее на руки и понес к двери возле камина, которую сам и открыл. Он принес миссис Коллинз в беленую спальню, где стояла очень большая кровать.

— Не надо, — сказала миссис Коллинз, — ради бога, не надо.

Он бережно положил ее на кровать, опустился рядом на колени и начал раздевать.

— Не надо, — сказала миссис Коллинз, — ради бога, не надо.

Он снял с нее платье, потом комбинацию.

— Не надо, — твердила миссис Коллинз, — ради бога, не надо, — а сама извивалась всем телом, чтобы облегчить ему задачу.

Он расстегнул ее бюстгальтер и снял с нее трусики. Теперь она лежала перед ним совершенно голая. Спустя мгновение он тоже был голый.

— Cherie[1], — сказал он, — cherie, как ты прекрасна. Божественно прекрасна. Он скользнул на постель и зарыл голову у нее между ногами.

— Не надо, — сказала миссис Коллинз, — ради бога...

Слезы бежали у нее по щекам, а дыхание стало прерывистым и бурным.

Колеса громыхали.

Миссис Коллинз прервала свое повествование и сидела теперь неподвижно. Потом, после долгой паузы, подняла жалюзи. За окном бежали по стеклу водяные струи. Изредка среди тьмы мелькали огни. В стекле отражалось купе. Прижавшись лбом к стеклу, миссис Коллинз продолжила свой рассказ.

— Я позабуду своего мужа, я позабуду отца и мать, я позабуду все. Но никогда — этот день. Лишь в этот день я стала женщиной. Лишь в сорок пять лет я узнала, что может испытывать женщина наедине с мужчиной. Никогда прежде я не могла и представить себе нечто подобное, даже в самых фантастических мечтах. Никогда прежде я не знала таких чувств — ни с одним из своих друзей, ни с мужем, ни разу, никогда. Пьер был потрясающий любовник, нежный и грубый, ласковый и неистовый. Именно он пробудил меня к настоящей жизни — в мои сорок пять лет...

Она повернулась и поглядела на меня, в глазах у нее стояли слезы — как в тот пополуденный час одиннадцать лет назад. Она вытерла слезы тыльной стороной ладони и улыбнулась.

— Я кажусь вам бесстыдной, верно?

— Нет-нет, мадам, прошу вас...

— Я бесстыдна, потому что рассказываю все это вам, чужому человеку. Но в тот раз, с ним, я была еще бесстыдней. И мне было все равно. Пожалуйста, дайте мне еще чего-нибудь выпить...

Я наполнил ее бокал, и она залпом его осушила. После чего сказала:

— У меня нет чувства вины, тогда не было, потом не было, сейчас нет. Вы писатель. Вы поймете меня.

Я ничего не ответил.

1. Дорогая (*франц.*).

Несколько часов спустя Пьер Мондрагон показал ей свое ателье и свои работы. Возбуждение уже схлынуло. Сейчас оба были серьезны и почти не разговаривали друг с другом. Ателье тоже оказалось немыслимых размеров. Одна стена целиком стеклянная. Очень многие картины стояли на мольбертах, либо прислоненные к стенам, либо висели на них же, либо лежали на столе.

Миссис Коллинз медленно двигалась по комнате, останавливалась, шла дальше. Она внимательно рассматривала картины. Они были написаны в разной манере. Миссис Коллинз сочла, что все они достаточно плохи, ни следа дарования, почти дилетантские.

— Ну, cherie, как они тебе нравятся?

— Очень!

— Значит, вообще нет.

— Что ты, darling[1], — возразила миссис Коллинз.

Он промолчал.

— Прости, — сказала она и поцеловала его в щеку.

— Большинству людей мои картины не нравятся.

— Нет, не то чтобы не нравятся, просто я нахожу... Я хочу сказать...

— Ну ладно, — перебил ее Мондрагон, — все в порядке... К счастью, встречаются исключения, им мои картины нравятся, и они их покупают... Рисовать я могу только так, как рисую... понимаешь, cherie...

Он умолк на полуслове, потому что она неожиданно вскрикнула.

Теперь она сама указала ему на кусок картона размером с почтовую открытку, что лежал на столе.

— И это тоже ты нарисовал?

— Что "это"? — Он провел рукой по волосам. — Миндальное деревце? Конечно я. — Он подошел к ней и обнял ее за плечи. — Тебе нравится?

Зеленые глаза миссис Коллинз засверкали от восторга. Она неотрывно глядела на маленькое деревце, написанное сияющими красками. Черным — тонкие ветки, красно-коричневым — листочки, множество цветов — светло-розовым. Чуть намеченное светло-голубое небо плыло над деревцем. Еще никогда, подумала про себя миссис Коллинз, я не видела ничего столь милого, освобождающего, осчастливливающего.

— Это... это великолепно, Пьер, — сказал она, чуть задыхаясь. — Великолепно, просто трудно поверить... Она не договорила и лишь произнесла еще раз: — Великолепно.

Он поцеловал ее, потом взял широкое перо для туши, перевернул маленькую картинку и начал что-то писать на обратной стороне.

— Это не я, это По, — объяснил он, — просто мне сейчас пришло это в голову. — Он поднял картонку с миндальным деревцем и протянул ей. — Для меня ты и есть Аннабел Ли.

— Ни ангелы в небе, ни демоны в глубинах морских никогда не разлучат мою душу с душой прекрасной Аннабел Ли, — повторила миссис Коллинз мой перевод английских слов на французский. Маленькая картинка, которую она перед этим мне показывала и которая лежала тогда на палисандровом умывальном столике в углу ее спального купе, теперь снова была у нее в руках.

1. Дорогой (*англ.*).

— Это то самое миндальное деревце, которое я тогда увидела у него, — сказала она, — в тот день, тогда он и написал эти слова. С тех пор я стала для него Аннабел Ли. Вот уже одиннадцать лет. Я всегда держу эту картинку поблизости, если возможно — просто при себе. Это талисман нашей любви. — Она нежно погладила розовые цветы. И сказала медленно: — Я до сих пор не могу поверить, что это нарисовал он. *Он* нарисовал. Если бы вы видели его другие картины... Эта картинка просто чудо... Но тогда и вся наша любовь просто чудо. — И она снова положила открытку на палисандровую столешницу.

— А на другой день вернулся из Парижа ваш муж? — спросил я.

— Да, как он и предполагал. Первым же рейсом. Я взяла такси, поехала в Ниццу и встретила его в аэропорту. Он был в отменном расположении духа, он заключил очень крупную сделку. По дороге в Канн он то и дело обнимал и целовал меня.

— А вы?

— Что я? Ах да... Я ведь вам уже говорила, что не испытывала ни малейшего чувства вины... Никогда. Даже в тот день не испытывала. Я держалась вполне естественно, я питала к Эрскину те же самые чувства, что и всегда... Не ждите никакой трагедии, мосье Руайан! Этот вторник пришелся на восемнадцатое апреля, значит, это была двадцать пятая годовщина нашей свадьбы. И мы решили провести его вдвоем, без посторонних. Когда мы прибыли в "Карлтон", в салоне наших апартаментов стояла ваза, а в ней двадцать пять красных роз. Эрскин позвонил из Парижа портье и попросил принести эти розы, когда меня не будет в номере. Он целовал мои руки, он целовал меня в губы, он сказал, что благодарит меня за двадцать пять лет счастья, — а возле роз стояла моя сумочка с этим миндальным деревцем. Я и сама поцеловала Эрскина и сказала, что он всегда был мне хорошим мужем, лучшим, какого только можно себе пожелать.

Они взяли напрокат машину с шофером и после обеда поехали вдоль берега, через Бас Корниш, в Монте-Карло. Эрскину пришла в голову идея провести одну ночь там, в "Hotel de Paris". Они взяли с собой два чемодана, где лежали их вечерние туалеты. Переодевшись вечером, перед ужином в "Salle Empire", миссис Коллинз пошла в ванную комнату, чтобы проверить свою прическу. Русые волосы падали на плечи крупными мягкими волнами. Она надела сегодня зеленое шелковое платье, тесно облегающее фигуру, как и большинство ее вечерних нарядов. И прическа оказалась в полном порядке.

В салоне, уже надев смокинг, стоял ее муж. А перед ним на столе лежал большой футляр мышино-серого цвета.

— Мой подарок лучшей женщине в мире.

Она открыла футляр, и у нее захватило дух. Она увидела большое кольцо с бриллиантом, ограненным, как изумруд, пару бриллиантовых же серег, бриллиантовый браслет и широкое бриллиантовое колье. На столе перед ней лежало целое состояние.

— О Эрскин, Эрскин, ты с ума сошел! — Она хватала отдельные предметы из гарнитура, и камни сверкали под лучами света. — Нет, ты совершенно сошел с ума!

Он издал горловой смешок.

— Тебе понравилось, darling? — и он начал надевать на нее одно украшение за другим. Он надел кольцо ей на палец. — Перед отлетом я утащил твое кольцо с рубином, признайся, что ты этого даже не заметила. Мне ведь надо было показать мосье Аласяну, какой у тебя размер.

— Кому-кому?

— Мосье Аласяну! Господи, ну до чего ж ты рассеянна! Ну, тому ювелиру из Ниццы, да вспомни же, тот приветливый старый господин...

— И... все это ты купил у Аласяна?

— Так я ж тебе говорю. Сперва я не знал, что мне выбрать, тогда мы спросили у этого художника...

— У Пьера Мондрагона? — она задохнулась.

— Ну да, у твоего друга, с которым ты так хорошо поладила.

— А когда это вы у него спрашивали?

— Как раз перед моим отлетом. Да вспомни же, я еще сказал тебе, что должен встретиться в Ницце с одним фронтовым другом... А ты осталась в отеле. И в магазине у Аласяна мы провели небольшую конференцию, он, я, ну и этот Мондрагон. Аласян позвонил ему и попросил приехать в Ниццу. Именно Мондрагон и сказал, что больше всего тебе пойдет этот бриллиантовый гарнитур. И он оказался прав, господи, как же он оказался прав. Вот для чего хорошо иметь дело с художником.

Она побежала в ванную комнату, чтобы еще раз поглядеть на себя в зеркало. Она сказала придушенным голосом:

— Но ведь бриллианты с изумрудной огранкой стоят так дорого... Мондрагон наверняка выбрал самое дорогое, что только было в лавке у Аласяна.

Он подошел сзади и снова засмеялся своим горловым смехом.

— Очень может быть, darling. Ну и что с того? Раз тебе все так идет, серьги, колье, браслет... Он наклонился к ней и поцеловал ее в обнаженное плечо. — Happy anniversary, — сказал он, — happy anniversary, darling[1].

После ужина они пошли в казино, где все мужчины оборачивались на миссис Коллинз, и она этому радовалась. В этот особый вечер ей даже было дозволено сидеть рядом с мужем, когда он играет, и он выиграл крупную сумму.

— Ты приносишь мне счастье.

— А ты разве не знал?

— Ну конечно знал, но чтобы за игрой... Ты чудесная женщина. Недаром твой друг, художник Мондрагон, сразу это понял.

— Он что, так и сказал?

— Да.

— А какими словами он это сказал?

— Да так и сказал, ты самая чудесная женщина из всех, какие ему когда-нибудь встречались, — отвечал Эрскин Коллинз. — Я бы еще немного поиграл в баккара. Ты не против?

Он долго играл и выпил в казино много виски. Когда они пересекали большую площадь перед "Hotel de Paris", было уже четыре часа. Очутившись в постели, мистер Коллинз тотчас уснул, а она еще долго лежала неподвижно, с широко открытыми глазами. Во второй половине того же дня они вернулись в Канн, в "Карлтон".

1. Со счастливой годовщиной, дорогая (*англ.*).

Все последующие дни они не раз видели то одну, то другую пару из тех, кого генеральный консул приглашал к себе на тот прием в "Палм-Бич", когда она познакомилась с художником Мондрагоном, они пили с этими людьми на террасе отеля, иногда ужинали, два раза с ними ужинал и Мондрагон. Он держал себя самым естественным образом, как, впрочем, и миссис Коллинз. И разумеется, они каждый раз заканчивали вечер в казино, с Мондрагоном, без Мондрагона, потому что Эрскин обожал игру.

А Мондрагон и миссис Коллинз снова сидели в баре. Пили и украдкой ласкали друг друга.

— Он никуда больше не собирается. Когда мы увидимся? Где? И как? Я просто не могу больше выдержать.

— Предоставь это мне, Аннабел Ли, дай мне поговорить с ним, — отвечал Мондрагон.

Когда Эрскин Коллинз оторвался от своей рулетки и пришел к ним в бар, чтобы чего-нибудь выпить, художник сказал:

— А мы с вашей супругой как раз говорили про фонд Магт. Мистер Коллинз, ваша жена очень хотела бы поглядеть на все эти знаменитые картины, которые там есть. И мои картины она хочет поглядеть и еще много чего. В Антибе — музей Пикассо с картинами, рисунками, керамикой. Потом Валлорис, там по старым методам делают провансальский горшочный товар — примерно с пятидесятого года благодаря Пикассо, Пиньону и Приннеру Валлорис наверняка стал знаменитейшим центром керамики во всем мире. Да, и еще бывший замок монахов из Леринса. Часовня шестнадцатого века, ее оформлял Пикассо...

Мистер Коллинз тяжело вздохнул.

— Перестаньте, Пьер. Вы ведь позволите мне называть вас Пьер?

— Ну конечно, Эрскин.

Мистер Коллинз явно застеснялся.

— Понимаете, я крестьянин, я просто крестьянин, который умеет обращаться с деньгами, которого интересуют только деньги, чтобы уж быть совсем честным. Вот послушайте: я вас всех старше. Я приехал сюда, чтобы показать моей жене Лазурный берег. Как бы из окна машины. Поймите меня, Пьер. Я слишком стар, чтобы много бегать и разглядывать картины и скульптуры. Не сердись на меня, darling, пожалуйста, не сердись. Твой старенький Эрскин слегка устал. А картины и все такое прочее его и в самом деле не интересуют. Счастливый случай распорядился так, что нам повстречался мосье Мондрагон...

— Пьер.

— Что нам повстречался Пьер, вы уж извините. Я хочу сделать вам такое предложение: после обеда, если к тому есть хоть малейшая возможность, я всегда ложусь на часок. И тогда к вечеру я чувствую себя вполне отдохнувшим. Но здесь другой воздух, здесь я, может, просплю два часа, а то и три. Тогда уже день клонится к вечеру. Будь на то моя воля, darling, я бы немножко поиграл перед обедом. И после обеда тоже. Почему бы вам не пройтись вдвоем, чтобы Пьер показал тебе все местные достопримечательности, а я тем временем буду спать, ну и поигрывать. А часов около девяти мы встретимся в этом зале, у них тоже есть ресторан, мы могли бы там поужинать... Ну, что скажете?

Миссис Коллинз поцеловала мужа в щеку.

— Как ты захочешь, радость моя. Тебе незачем скучать, делай лучше то, что тебе нравится. Мне так хотелось бы поглядеть на все эти карти-

ны, и церкви, и музеи. И если только у мистера Мондрагона найдется время...

— Ради бога, для вас я тоже Пьер...

— ...и если у Пьера найдется время, сделаем так, как предложил ты, Эрскин, darling.

Миссис Коллинз достала из сумочки пачку сигарет. Пальцы ее скользнули при этом по картинке с миндальным деревцем.

Как они уговорились, так и сделали, и были при этом очень-очень счастливы.

Мистер Коллинз спал после обеда иногда три, а иногда и четыре часа, потом шел играть, а Мондрагон с миссис Коллинз действительно ездил на своей старой помятой машине в Валлорис, в Антиб и к другим достопримечательностям, но всякий раз они вскоре сворачивали на Сен-Поль-де-Ванс. Здесь они любили друг друга на широкой постели в прохладной спальне Мондрагона. Часто Марии, домоправительницы, не было, и тогда они оказывались одни во всем доме. Порой же миссис Коллинз видела эту серьезную, неизбежно одетую в черное женщину, которая была такой уродливой и такой печальной. Но тебе это только кажется, сказал однажды Пьер, ничего она не печальная, а просто глупа до невозможности.

Позже, когда они встречались за ужином в "Палм-Бич" с мистером Коллинзом, все трое были в отменном настроении. Они шутили и смеялись, и мистер Коллинз не уставал благодарить Мондрагона за то, что он так трогательно печется о его жене. Кстати, мистер Коллинз все время выигрывал.

— Эх, мог бы я остаться здесь подольше, я бы у здешних ребят отобрал все, во что мне обошлись эти украшения у Аласяна, — обронил както раз мистер Коллинз. Он был здорово пьян, когда говорил это, и двое других посмеялись над его невинной бестактностью.

Поезд мчался сквозь ночь.

Миссис Коллинз допила свой бокал и протянула его мне. Я снова его наполнил. Просто невероятно, сколько эта женщина может выпить, подумалось мне. Во второй бутылке тоже ничего не осталось, сам же я пил очень мало. Близилась полночь.

— Время неслось с неумолимой быстротой, — сказала миссис Коллинз, — месяц подошел к концу. Мужу надо было возвращаться в Нью-Йорк. Я последний раз была наедине с Пьером. Мы сидели в комнате, где камин и множество петухов, держась за руки на прощанье. Пьер говорил, что никогда меня не забудет. Я с ужасом представляла себе свою жизнь без него. "Приезжай снова, Аннабел Ли, — говорил Пьер, — прошу тебя, приезжай снова. Каждый год! Каждый год по два раза! Пожалуйста! И пиши мне! Можно, я тебе тоже буду писать?" Я дала ему адрес своей подруги, которой вполне могла доверять. — Теперь миссис Коллинз заговорила очень серьезно: — У нас оставалось мало времени, так мало времени. Мы сидели и глядели друг на друга, а потом надо было возвращаться в "Палм-Бич", к мужу, поэтому нам следовало выглядеть веселыми и довольными, чтобы у него не возникло подозрений. Мы с Пьером уговорились, что он уедет до нашего отъезда и что так будет

лучше для нас обоих. На прощанье он поцеловал меня в обе щеки, потом быстрыми шагами вышел из зала, ни разу не оглянувшись.

Она умолкла, глядя прямо перед собой в стенку купе. И лишь после долгого молчания продолжила:

— На другой день мы вылетели через Париж в Нью-Йорк. Муж мой пришел в полный восторг от идеи ежегодно ездить на Лазурный берег. Ему там очень понравилось. Но больше мы так и не поехали.

— Почему? — тихо спросил я.

— Сразу после возвращения у мужа возникли трудности при ходьбе. Сперва он прихрамывал на правую ногу, потом начались боли. Он побывал у врача, он побывал у дюжины врачей, и они наконец выяснили, что у него.

— И что же у него было?

— Боковой амиотрофический склероз, — отвечала миссис Коллинз, — то самое, что было у Онассиса. Атрофия мышечной ткани. В ее наиболее злокачественной и неизлечимой форме. — Она допила свой бокал и протянула мне. Я снова его наполнил. — Мышцы отмирают одна за другой, — продолжала миссис Коллинз, — в развитии болезни наступают паузы, но они становятся все короче и короче. Болезнь может тянуться очень долго, прежде чем приведет к смерти. У Эрскина она затянулась на одиннадцать лет, — миссис Коллинз снова умолкла, теперь надолго. Потом сказала: — Первые годы болезни муж еще мог работать, он только ходить не мог. Пришлось ему пересесть в кресло на колесиках. У нас были, разумеется, сиделки, и санитары, и первоклассные специалисты. И сам Эрскин держался очень мужественно. И добросердечно. И вел себя самоотверженно. Несколько раз он даже предлагал мне слетать на Лазурный берег без него, но я не пожелала. Я просто не могла так поступить.

— А Мондрагон?

Должно быть, она унеслась мыслями куда-то далеко, потому что бросила на меня удивленный взгляд.

— Кто, простите?

— Ну, этот художник. Пьер Мондрагон. Он знал, почему вы больше не приезжаете?

— Ах, вы про Пьера? Ну конечно же знал. Он ведь с самого моего возвращения начал мне писать. Едва мы прибыли в Нью-Йорк, от него на адрес моей подруги уже пришло первое письмо. В письме лежала открытка, на которой он снова изобразил миндальное деревце. И к открытке — длинное любовное письмо, изумительное, первое из множества. Ему бы лучше стать не художником, а писателем. Мы переписывались регулярно, хотя и с длительными интервалами, поскольку, конечно же, болезнь мужа отнимала у меня очень много сил, душевных тоже. Пьер вполне понял меня, когда я объяснила ему причину долгого молчания между письмами, — миссис Коллинз снова отпила из своего бокала. — Время шло. Месяцы... Годы... Состояние Эрскина становилось все хуже. Теперь переписка с Пьером стала моим единственным утешением. Раз в год он посылал мне новое деревце... по одному в год. Я была в таком отчаянии, что не сразу и заметила, как Пьер силится скрыть свое собственное.

— А он-то почему был в отчаянии?

— Этот вопрос я и задала ему в одном из писем. Шампанское еще есть?

— Немножко, — и я наполнил ее бокал.

— Благодарю, мосье Руайан. Пьер был в отчаянии — я с большим трудом добилась от него ответа, — потому что картины его никому не нравились. Он писал их, писал, а покупать никто не хотел. У него были долги. Он проиграл один процесс, и долгов стало еще больше... Тогда я и отправила ему первый чек.

— Вы посылали ему деньги?

— А почему ж нет? Это был человек, которого я люблю. Это был человек, который любит меня. Он не принял мой чек, он переслал его обратно. Я подписала новый чек и отправила его Пьеру. И на сей раз он его принял. С тех пор он больше не отказывался брать у меня деньги, если попадал в затруднительные обстоятельства.

— А часто он попадал в эти самые обстоятельства?

— Несчастья словно преследовали его. С ним то и дело случалось что-нибудь ужасное. Дела у него шли все хуже и хуже... как и у бедного Эрскина, который к этому времени уже едва мог поднимать веки.

— Миссис Коллинз, так сколько же денег вы переслали Мондрагону?

— Ну, примерно несколько тысяч долларов, то ли пять, то ли шесть, то ли семь, я уж и не помню. Понимаете, ведь прошло целых одиннадцать лет... Последние четыре года Эрскин провел в специализированной клинике, домашний уход уже был для него недостаточным. Я сидела у него каждый день, сидела часами, до самой его смерти.

— А когда он умер?

— В прошлом году четырнадцатого ноября. Не стану описывать вам последние дни его жизни, — она опустила жалюзи и смолкла. — Мне самой требовался санаторий, — сказала она после молчания. Потом своенравно вскинула голову. — А теперь я еду к Пьеру. Он даже и не знает, что я к нему еду. Это будет для него сюрприз. А Эрскин... Я уже так много успела позабыть из того ужасного, что со мной случилось. А рядом с Пьером я забуду все остальное. Я ведь уже говорила вам, что начинаю новую жизнь.

— Ну да, а я пожелал вам счастья в этой новой жизни, — сказал я, — а теперь желаю его вторично.

— Благодарю вас, мосье Руайан, — и она серьезным видом протянула мне руку. Потом снова улыбнулась. — Я уже заказала себе номер в "Карлтоне". И оттуда позвоню Пьеру и скажу ему, что я вернулась. Навсегда.

— И вы хотите навсегда оставить Нью-Йорк?

— Да. Банком будут теперь управлять люди, пользующиеся моим абсолютным доверием. Нашу большую квартиру я уже ликвидировала, едва Эрскина положили в больницу. Теперь у меня есть только небольшие апартаменты в пентхаусе. Я думаю, что останусь в Сен-Поль-де-Вансе... или там, где пожелает Пьер. Он ведь так много путешествовал на своем веку... Я буду ездить с ним, — она зевнула.

Я встал и позвонил.

Тотчас появился лысый проводник.

— Уберите, пожалуйста, бутылки и бокалы, — сказал я и отступил в коридор, чтобы дать ему место. Он вышел из купе миссис Коллинз с подносом.

— Сколько там всего? — тихо спросил я. Он назвал сумму. Я сунул ему в руку несколько бумажек. Больше, чем полагалось за шампанское, и он поблагодарил меня.

Миссис Коллинз сидела на постели и по-прежнему глядела на стенку купе. У нее был теперь совершенно отсутствующий вид. Но улыбка так и осталась у нее на лице.

Я подошел к ней.

— Доброй вам ночи, миссис Коллинз. Пусть хороший сон унесет вас в вашу новую жизнь.

— О да, — отвечала она, — так оно и будет. Вы только представьте себе: еще несколько часов — и я снова с ним.

Коридор спального вагона заполнялся людьми, которые вышли из своих купе — большинство, не успев даже толком одеться. Все они наблюдали за действиями слесаря, который сквозь щель приоткрытой двери пытался распилить предохранительную защелку в купе миссис Коллинз. Слесарь был толстый, в синей спецовке. Он стоял перед дверью на коленях, а рядом с ним стоял молодой врач в белом халате, позади ждали двое пожарных. Прошло не менее четверти часа, прежде чем все они собрались.

И все молчали. Слышен был только омерзительный визг пилы по металлу. Некоторые из женщин были еще в пеньюарах, некоторые мужчины в пижамах или хоть и в брюках, но в нижних сорочках. Молодой врач держал большую черную сумку. Между пожарными на ковровой дорожке коридора стоял красный аппарат искусственного дыхания. В узком коридоре стало тем временем очень жарко.

Вжик.

Слесарь перепилил защелку. И распахнул дверь. Любопытствующие пассажиры ринулись к ней.

— Отойдите! — взывал Эмиль, лысый проводник. — Дамы и господа, прошу вас, отойдите. Освободите проход. Пожалуйста, вернитесь к себе.

Но просьбы его оставались тщетны. Люди подступили еще ближе.

Врач скрылся в темном купе. Несколько минут его не было видно. Снова воцарилась тишина. Потом врач сказал что-то, чего я не понял. Пожарные подняли свой аппарат с маской для носа и рта и тоже скрылись в купе. Немного погодя один из pompiers вышел в коридор и начал поспешно прокладывать себе дорогу сквозь людскую толпу. Я увидел, как он бежит по платформе.

Из купе вышел молодой врач.

— Она что?.. — спросил я.

— Да, — ответил молодой врач. Он был очень хорош собой, южного типа, с черными волосами и черными глазами.

— Merde, — сказал проводник.

— Сердечная недостаточность или инфаркт, — сказал молодой врач, — во сне.

— Но ведь у нее было такое прекрасное настроение, такие надежды, — по-идиотски возразил я.

— Любой человек может в любое время умереть от инфаркта. Вы ведь были вечером с этой дамой?

— И долго, — отвечал я, — она рассказывала мне одну историю из своей жизни.

— А куда она ехала?

— В Канн, — сказал проводник.

— Ее ждут в Канне? — молодой врач поглядел на меня.

— Нет, — ответил я, — она хотела остановиться в "Карлтоне". После одиннадцатилетнего перерыва она впервые снова выбралась на Лазурный берег.

На этом я оборвал свою речь. Мне никак не хотелось рассказывать молодому врачу историю миссис Коллинз. Да и он не собирался ее выслушивать. Он лишь холодно сказал:

— Ее надо немедленно вынести из поезда. Необходимо вскрытие. Она ничего не говорила о своих родственниках?

— Она говорила только про своего мужа. Этот умер полгода назад. Других родственников она не поминала. Думаю, их у нее и нет.

— Мы нашли в сумочке ее паспорт, — сказал врач. — А вы куда едете?

— Тоже в Канн. Я собираюсь там работать. А жить я буду в "Мажестик".

— Могут возникнуть еще какие-нибудь вопросы. И тогда полиция попытается разрешить их при вашем содействии, мосье...

— Руайан, — и я протянул ему свою визитную карточку.

— Спасибо, — и он сунул карточку в нагрудный карман. — Вы не сердитесь. Покойница была иностранкой, а на этот счет у нас есть свои предписания и законы.

— Ну само собой, — отвечал я, — предписания и законы.

Пожарный, который первым выбежал из купе, пробился к нам через толпу в коридоре. Он имел при себе сложенное одеяло мерзкого серого цвета, с которым и исчез в купе миссис Коллинз. Его коллега, напротив, вышел из купе с аппаратом искусственного дыхания. Он нес также большой черный чемодан миссис Коллинз и грубо расталкивал публику в коридоре. Я видел, как он поставил на перрон чемодан и аппарат. Потом, обливаясь потом, снова вошел в купе.

Примерно три минуты спустя оба вышли. Они несли покойную миссис Коллинз, завернутую в большое серое одеяло. Ее тела не было видно. Меня очень удивило, до чего она стала маленькая после смерти. Сверток получился очень короткий. А ведь она была большого роста.

Тут все люди юркнули в свои купе. Пожарные быстро и ловко прошли по коридору, один шел в головах, другой — в ногах.

Люди снова повылезли в коридор. Мы видели, как третий пожарный выкатил из здания вокзала носилки на маленьких колесиках и остановил их подле черного чемодана. Коллеги его вышли из вагона со свертком в сером одеяле. Сверток они положили на носилки. Врач вышел, не проронив ни слова, после чего присоединился к мужчинам, стоявшим на перроне. Двое раскурили сигареты. Один плюнул на перрон и растер плевок сапогом. Они все ждали, возможно, ждали санитарный транспорт. Голос из динамика сообщил, что наш поезд отправляется.

Я шагнул вперед и заглянул в купе, где умерла миссис Коллинз. Разумеется, они подняли жалюзи, и все купе было залито резким солнечным светом. Пахло духами, сигаретами, но едва заметно. Пожарные явно уложили платья, туфли и пальто миссис Коллинз в большой черный чемодан, потому что перед собой я увидел лишь пустую смятую постель. Потом мой взгляд перебежал на палисандровый верх умывального столика. Я взял картинку, которая все еще там лежала и спрятал ее. Видно, никто больше ее не обнаружил. Поезд дернулся и пришел в движение.

Я вернулся в коридор и поглядел из окна. Мужчины все еще стояли вокруг носилок, на которых, закутанная в безобразное серое одеяло, покоилась миссис Коллинз, и ждали. Теперь все они курили. Еще какое-то мгновение я мог их видеть, но потом наш поезд выехал за пределы станции. И прибавил ходу. Коридор опустел. Я тоже прошел к себе в купе и опустился на постель. Вдруг я почувствовал страшную усталость. Миссис Роберта Коллинз умерла.

Я умылся и сменил одежду на более легкую, потому что жара тем временем стала невыносимой. Поезд ехал теперь с огромной скоростью. Мы опаздывали больше чем на час. Я вынул картинку из кармана пиджака и уложил теплый костюм и умывальные принадлежности в чемодан. Потом я снова сел, поглядел на миндальное деревце и прочел то, что Пьер Мондрагон написал на обороте. Вот как она кончилась, эта история, подумал я. Глупый конец. Такова жизнь. Но такова ли она на самом деле, задумался я, продолжая разглядывать миндальное деревце. И можно ли это считать концом истории?

В дверь постучали, и вошел проводник, тот, что постарше. С подносом.

— Извините, мосье, — сказал проводник по имени Эмиль. — Вы слишком поздно получаете свой завтрак. Но ведь нам пришлось в Сен-Рафаэле улаживать эту маленькую проблему.

На клумбе перед въездом в отель "Мажестик" яркими красками сияли цветы. Слева, на большой террасе, стояло множество круглых столиков и стульев. Широкие маркизы были приспущены. Перед террасой располагался бассейн из белого мрамора. Его окружали старые пальмы и цветущие кусты. Некоторые из гостей плавали в бассейне, остальные лежали вокруг него в шезлонгах. На редкость красивая белокурая девушка в черном, тесно облегающем купальнике воздвиглась перед столиком, за которым сидел я с Сержем. Эта очень красивая девушка в тесном купальнике ходила колесом, садилась на шпагат, делала мостик. Она была покрыта коричневым загаром.

До отеля я добрался с час назад. И вот уже полчаса как сидел возле Сержа Гамма. Продюсеру фильма, который мне предстояло "начистить до блеска", как это называется на профессиональном жаргоне, уже перевалило за шестьдесят, он был маленький, толстый и седой. На нем были уморительные шорты, уморительная пестрая рубашка, на которой можно было увидеть множество попугаев и райских птиц. Рубашку он расстегнул. Кожа, покрывавшая его тучное тело, была белой, как мрамор бассейна.

— У вас большие шансы, — заметил я.

Он досадливо отхлебнул глоток ромашкового отвара. Он всегда пил ромашковый отвар и ничего больше. У него была язва желудка. Он уже более сорока лет занимался кино.

— Сука чертова, — хрюкнул Серж.

— На редкость красивая девушка, — сказал я.

На редкость красивая девушка попыталась встать на голову. При этом груди у нее вывалились из купальника. Груди у нее тоже были на редкость. Снова встав на ноги, она с дразнящей медлительностью начала укладывать свои груди на место. И улыбнулась нам.

— Хочет роль, — сказал Гамма, — вчера, когда я тут сидел, их ошивалось передо мной сразу три штуки. Рыжая, блондинка и брюнетка. Нет у меня никаких ролей. Если вы мне не поможете, я банкрот. Чертова профессия. Почему бы мне не содержать бордель? Тогда хватило бы ролей для всех сучек. И забот бы я не ведал. И был бы счастлив, будь у меня бордель. Но нет, извольте делать фильмы. С гениями вроде Торрини, чтоб ему провалиться, этому гению!

— С той самой минуты, как я прибыл, вы не устаете проклинать Торрини, — сказал ему я. — Знаете, Серж, это уже начинает надоедать. А лишнего времени, как мне кажется, у нас нет. Словом, выкладывайте лучше, что тут у вас стряслось.

На редкость красивая девушка просто легла перед нами на траву и раздвинула ноги. Купальник был ей явно маловат. Короче, блондинка она оказалась не натуральная. Ну, а Гамма рассказал мне, что стряслось. Он принадлежал к той породе старых добросовестных продюсеров, которая уже почти вымерла. Он был порядочный и умный. Он любил свою профессию. Он хотел снимать высокохудожественные фильмы. Поэтому, собственно, у него и была язва желудка.

Фильм, который он снимал сейчас, представлял собой совместную франко-итальянскую продукцию. В чем не было ничего необычного: итальянцы и французы любят выпускать совместную продукцию. А Луиджи Торрини был одним из самых знаменитых режиссеров в Европе. Он создал уже не меньше дюжины общепризнанных шедевров. Он был гениален и злобен. Уже давным-давно не осталось никого, кто посмел бы ему перечить, когда он занимается любимым делом. А любимое дело у него выглядело следующим образом: взять безупречный сценарий, созданный выдающимся автором, зачастую по выдающемуся роману, и переделать его в ходе съемок, когда больше, когда меньше. На сей раз он настолько изменил сценарий, что артисты — а среди них были истинно великие — отказались у него сниматься, потому что Торрини блестяще удалось лишить действие какой бы то ни было логики, а женщина, сидевшая на монтаже, со своей стороны угодила в расположенный неподалеку санаторий с нервным кризом, потому что не могла больше разобраться в этой мешанине. И все это при том, что безупречная логика считалась основным требованием, которое можно предъявить к социально-критическому детективному фильму, носящему название "Амок".

— Старый говнюк влюбился в эту... — и Серж Гамма назвал имя, известное во всем мире, — придурочный импотент... Вдруг, ни с того ни с сего. Ему постоянно приходили в голову все новые и новые сцены с ее участием. Поначалу дело еще худо-бедно шло, руководитель производства по моему распоряжению каждый вечер звонил в Париж и все мне докладывал. Потом Торрини потерял последние остатки разума и начал перекраивать сценарий до того нелепо, что эта... — и он снова повторил известное имя, — превратилась в садомазохисткую карикатуру женщины-убийцы. А по сценарию она должна быть великой любовницей. Говорю вам, Роже, если вы мне не поможете, я банкрот. Вы единственный, кто, может быть, с этим справится. Я разу это понял, когда четыре дня назад приехал сюда и просмотрел rushes.

Rushes — это фрагменты сцен при определенной установке камеры. Из достаточного количества rushes и монтируют фильм. Торрини снял "Амок" так, что он вообще не поддавался монтажу. Я хорошо знал мон-

тажера, ее зовут Лилиан Ланг, во Франции она считается лучшей. А тут она лежит в санатории, напичканная транквилизаторами, и спит.

На редкость красивая девушка перед нами перевернулась теперь на живот. Продемонстрировав при этом на редкость красивый зад. Ей-богу, роскошный зад.

— Ну как? — спросил я.

— Перестаньте, Роже, черт побери! — сказал Гамма и снова отхлебнул свой ромашковый чай.

— А где сам маэстро? — спросил я.

— Улетел в Рим, смертельно оскорбившись. И отказывается продолжать работу, если ему не предоставят полную свободу творчества.

— Красиво, — сказал я.

— Ну, это просто колебание воздуха. Он не хуже моего знает, что написано в контракте. И если вы с благосклонной божьей помощью приведете сценарий в приличный вид... — Хотя что значит "привести"? Вы должны придумать новый сюжет, Роже, совершенно новый сюжет, половина которого уже снята. И если вам это удастся, Торрини снимет все с точностью до последней запятой, не то ему придется платить неустойку, которая его разорит. Хотя в данный момент я куда ближе к разорению, чем Торрини. И все зависит от вас, Роже.

Он взглянул на меня влажным взором своих собачьих глаз.

— Не надо зря голосить, а надо у Роже узнать, — отвечал я. — Ведь пять лет назад, когда Жак Кутон снимал для вас в окрестностях Сен-Рафаэля фильм "Эта проклятая жизнь", у вас получилась такая же петрушка. Ну, и кто помог вам выбраться из дерьма? Сегодня, пока я ехал сюда через Сен-Рафаэль, мне это припомнилось.

На редкость красивая девушка встала и, покачивая бедрами, подошла к нам.

— Прошу прощения, огонька у вас не найдется?

— Сгинь! — грубо ответил Гамма. — Ну, долго мне еще ждать?

Красотка исчезла с оскорбленным видом.

— А разве "Эта проклятая жизнь" не имела успеха во всем мире? — спросил я.

— А разве вы за два дня работы не озолотились? — спросил он.

— И готов озолотиться еще раз. Вы это понимаете, Серж?

Он закряхтел.

— Я понимаю только, что я у вас в руках. Сколько вы хотите?

— Смогу ответить, когда просмотрю rushes. Но одно должно быть ясно с самого начала: мое имя как автора или соавтора не будет упомянуто ни в роликах, ни в рекламе. И вы будете помалкивать насчет того, что я здесь делаю. И не только вы, но и все остальные. ОК?

— Ну, пусть ОК, — пробурчал он. — А что вы, собственно, имеете против упоминания? Если вспомнить то, что вы пишите обычно...

— В том-то и суть, — отвечал я, — кто-нибудь проболтается, расскажет, что я для вас делаю, а это может навредить моим брошюркам. Мои читатели испытывают священный трепет перед высоким искусством. Когда я смогу просмотреть rushes?

— Да когда хотите.

— А где?

— В Ницце, в студиях Викторин.

— Ну тогда прямиком туда, — откликнулся я и встал.

Гамма с трудом выбрался из своего кресла.

— Вы, Роже, то единственно хорошее, что вообще есть в нашем поганом ремесле, — сказал он.

Во второй половине этого дня я пять часов кряду просматривал вместе с Сержем все, что Торрини до сих пор снял и что было откопировано. По счастью, демонстрационный зал студий Викторин, где мы с ним сидели, был оснащен кондиционером.

Просматривая фрагменты, я уже делал кой-какие заметки, ибо очень скоро у меня возникла идея. Хорошая идея. Так бывало всякий раз. Вот почему я и владел этой странной профессией. Вся бредятина, которую наснимал Торрини, да вдобавок со множеством статистов и в преступно дорогих декорациях, — это уже само по себе было нечто. Бедная Лилиан Ланг! Будь я монтажером, у меня бы у самого произошел нервный срыв.

После того как промелькнули последние rushes и в просмотровом зале вновь стало светло, Гамма жалобным голоском спросил:

— Ну, как вы думаете, вы сможете это привести в порядок?

— Да, — ответил я, — я очень внимательно смотрел. К счастью, при two-shots[1], которые так любит Торрини, очень часто второй актер виден только со спины. И я могу по собственному усмотрению вложить ему в уста новые диалоги. А реплики партнера, который стоит лицом к камере, можно потом подогнать. Не менее часто оба актера стоят так далеко от камеры, что им вообще можно подсунуть любой новый диалог, и этого никто не заметит.

— Да, да, да. А как будет выглядеть сама история, приукрашенная история? Это вам уже известно?

— Это мне уже известно. Но еще не точно, а в общих чертах.

И я изложил ему свою новую идею.

После чего он заплакал. И встал, и схватил меня за уши, и осыпал мокрыми поцелуями мои щеки, лоб и губы.

Я отер губы и сказал, сколько ему придется заплатить за эту работу.

Он снова сел и принялся беспрерывно шаркать ногами.

— Я у вас в руках, — наконец сказал он, — я у вас в руках, и вы это знаете.

— Половину сразу, половину — когда закончу.

— А когда вы закончите? Каждый день простоя обходится мне в...

— Пять дней. Начиная с завтрашнего дня. Сегодня я слишком устал. И мне надо еще разок все хорошенько продумать.

— Ладно, значит, пять дней, начиная с завтрашнего. — Он встал и направился к выходу.

— Вы кое-что забыли, — остановил его я.

— Что я забыл?

— Чек с первым взносом.

Проклиная меня, он снова сел и выписал чек. Я еще раз заработаю здесь кучу денег. Это был хороший кусок.

— Вот, пожалуйста, — сказал он.

— Спасибо, Серж, — ответил я — и спрятал чек в маленькую кожаную сумочку, которую всегда носил с собой. У всех мужчин здесь, на юге, были такие сумочки.

1. Сцена, когда в кадре заняты два актера (*англ.*).

Вернувшись в отель, я снова переоделся. Полотняные брюки и рубашка навыпуск. Весь этот день меня преследовала одна мысль, преследовала, даже когда я отсматривал фрагменты. И поэтому я сказал:

— Знаете что, Серж, поезжайте-ка вы без меня обратно в Канн. А я приеду попозже.

— А чем вы намерены здесь заняться? У вас тут есть подружка?

— Нет, — отвечал я, — просто мне хотелось бы побольше узнать об этой истории.

Но подразумевал я отнюдь не шедевр Торрини. Я подразумевал совершенно другую историю.

— Мне надо теперь побыть одному. "Мажестик" кишит киношниками. Я их больше не могу видеть. Оставьте меня одного, Серж! Я вернусь на такси. Часа через два-три. ОК?

— ОК. — Покидая зал, Серж еще добавил: — Если бы я вовремя приобрел какую-нибудь приличную специальность, я б никогда не застрял в этом паскудном ремесле.

Его "кадиллак" стоял перед студией. Я помог ему влезть и помахал, когда он отъехал. А потом я вышел на улицу и направился к ближайшей стоянке. Шоферы стояли группкой и разговаривали.

— Чья сейчас очередь? — спросил я.

— Моя. — И худой, обгоревший на солнце человек вышел вперед. Лицо у него было морщинистое и задубелое, как лицо рыбака от соленой воды.

— В Сен-Поль-де-Ванс, — сказал я. — А там вам придется меня подождать. Час, от силы два. А может, я уложусь и в полчаса. После чего мы поедем в Канн. Вы согласны ждать?

— Сколько пожелаете, — отвечал шофер, — ведь это ваши деньги, мосье.

Все выглядело точно как в описании миссис Коллинз.

И оливковые рощи, и множество пальм, и сохранившаяся крепостная стена, и площадь с большой оливой.

Мужчины в беретах играли на красном песке в боулинг. Дальше дорога становилась для машин слишком узкой.

— Мне туда не проехать, — сказал шофер.

— Я знаю. Останьтесь здесь. И, как я уже говорил, вам, может, придется ждать. Если хотите, я заплачу то, что вам уже должен.

— Не надо, — отвечал он, — вы не похожи на жулика.

Я пошел по дороге, вымощенной булыжником, оскальзываясь снова и снова. Здесь было трудно не упасть. И лучше всего было бы и в самом деле идти босиком.

Потом я оказался перед домом, который так наглядно описала мне миссис Коллинз. Уже начало смеркаться. Двери стояли нараспашку, я вошел и оказался в огромном беленом помещении. Здесь стояли каменные статуи мужчин и женщин, у которых недоставало то рук, то ног, а то и вовсе головы. И отсюда же начиналась непривычно широкая лестница, ведущая на различные уровни, и на каждой лестничной площадке была дверь. Словом, все до сих пор, оставалось точно таким же, как это видела миссис Коллинз одиннадцать лет назад.

Я поднялся по серым стертым ступеням, громко крича при этом:

— Алло, есть тут кто живой?

На третьем уровне лестницы отворилась дверь, и из нее вышла босая женщина в черном халате. Она была неопределенного возраста и поражала своим уродством. Я вспомнил миссис Коллинз, которая утверждала, будто в этой женщине есть что-то трагическое и будто по ней сразу видно, что когда-то она была очень хороша собой. Интересно, когда? Миссис Коллинз видела ее одиннадцать лет назад.

— Добрый вечер, мадам, — сказал я. Это, значит, и была домоправительница Мария.

— Добрый вечер, мосье, — отвечала она. — Что вам угодно?

— Меня звать Руайан, Роже Руайан. Я понимаю, что должен был предупредить о своем приходе, но не могу ли я поговорить с мосье Мондрагоном?

Не ответив на мой вопрос, она шире распахнула дверь и вошла. Я последовал за ней. Это оказалось помещение со старинной мебелью и множеством слонов из всевозможного материала. Потом помещение с коллекцией кукол. Домоправительница Мария шагала передо мной по древним каменным полам, и здесь тоже все выглядело точно так, как во времена миссис Коллинз, которая, возможно, лежала теперь в морозильнике морга, на станции Сен-Рафаэль, если только ее до сих пор не вскрыли, после чего зашили и переложили в цинковый гроб. Теперь передо мной было помещение с камином и множеством петухов.

Домоправительница зажгла торшер.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она.

— Благодарю, мадам, — ответил я и опустился в кресло. К моему великому удивлению, она уселась в другое кресло, как раз напротив моего.

— Итак, что вам угодно?

— Извините, мадам, но я хотел бы поговорить с мосье Мондрагоном... Я ведь уже сказал вам об этом... — тут я запнулся. — Вы, может быть, меня не поняли?

— Я прекрасно вас поняла, мосье Руайан, — ответила женщина в черном. — Но поговорить с мосье Мондрагоном, к сожалению, нельзя.

— Почему нельзя? Его сейчас нет?

— Да, — отвечала женщина в черном, — его сейчас нет.

— А подождать его можно?

— Боюсь, это не имеет смысла.

— Как не имеет? Он что, совершает длительное путешествие?

— Пожалуй, это можно и так сформулировать.

Я начал нервничать.

— Но ведь должен он когда-нибудь вернуться домой? Разве он вам не пишет? Разве вы не имеете с ним никакой связи?

— Больше не имею, мосье Руайан, — отвечала женщина в черном и пошевелила грязными босыми ногами. — Он больше никогда не вернется домой.

— Не понимаю, мадам... Как вы можете это говорить?

Вместо того чтобы ответить, она задала мне встречный вопрос.

— А кто вы, мосье Руайан? Я хочу сказать: кто вы по профессии?

— Писатель.

— Вы пишете всякие истории?

— Да, мадам.

— Правдивые тоже?

— Правдивые тоже. Как выйдет.

— Понимаю.

Она серьезно на меня поглядела.

— Мадам, где сейчас мосье Мондрагон?

— На кладбище, — тихо ответила она, — на кладбище Сен-Поль-де-Ванс.

Я сглотнул.

— Он умер два года назад, — сказала она. — В марте восемьдесят первого. Перед этим он долго лежал в одной клинике, в Ницце. А потом я перевезла его сюда и похоронила на местном кладбище.

— Это невозможно, — воскликнул я, перестав что-либо понимать.

— Это почему же невозможно?

— Миссис Коллинз... одна дама из Америки... Она всего два месяца назад получила от него письмо! — Воскликнул я.

— И тем не менее это вполне возможно, — сказала эта женщина в черном.

— Полноте! Покойник не может писать письма.

— Ну конечно же нет! Но у него есть и другие возможности. Порой.

Я встал с места и спросил:

— А кто вы собственно такая?

На что она спокойно ответила:

— Я его жена, мосье Руайан. Я тридцать лет была за ним замужем. И навсегда останусь его женой, даже если он умер.

Я снова сел.

За окном тем временем совсем стемнело.

— Я вижу, вы удивлены, мосье Руайан. И многие люди, знавшие моего мужа, тоже были бы удивлены, услышав, что он так долго был на мне женат. Об этом знают только местные. Но с чужими они об этом не разговаривают. И никогда не разговаривали. Чтобы не вызвать у нас затруднений.

— Каких еще затруднений?

— Или чтобы не помешать нашему бизнесу, — она улыбнулась, и я увидел ее испорченные зубы. — Знаете, в свое время я была очень хороша собой, мосье. Вы, конечно, не поверите...

— Ну почему же!

— О, вы очень любезны... Но все-таки вы не верите мне. И тем не менее это правда. Когда Пьер на мне женился, я была красивая молодая девушка, мне едва сравнялось восемнадцать. Все люди у нас в деревне об этом знают. А в Ницце об этом знает мосье Рубен Аласян.

— Рубен Аласян?

— Ну да, этот ювелир.

— Он еще жив?

— Разумеется. Ему, правда, много за восемьдесят, но он все еще вполне бойкий старик. А вы разве знаете мосье Аласяна?

— Да, миссис Коллинз рассказывала мне об этом армянском ювелире.

— Понятно. Это мосье Аласян сделал предложение Пьеру. Вот и с тех пор уже минуло двадцать два года...

— Предложение? Какое предложение?

— Одну минуточку, мосье Руайан, одну минуточку. Сперва я бы все-таки хотела узнать, зачем вы сюда приехали и почему хотели поговорить с моим мужем. Вы помянули имя одной дамы...

— Миссис Коллинз.

— Ах да, Коллинз, — и она снова улыбнулась.

— Вы ее помните?

— Ну конечно помню. У меня отличная память. Я помню всех дам, которые здесь бывали. А уж миссис Коллинз я помню лучше всех. Ведь мой муж не далее как два месяца назад отправил ей письмо, не так ли? Ну, отправила его, разумеется, лично я, само собой. Покойник ведь не может отправлять письма. А вы-то откуда знаете миссис Коллинз, мосье Руайан? Вы тоже живете в Нью-Йорке?

— Нет, в Париже.

— А где же вы познакомились с миссис Коллинз?

— В Train bleu, — отвечал я. — Этой ночью.

Она подняла голову:

— Миссис Коллинз была сегодня ночью в Train bleu?

— Я ведь вам уже сказал, мадам... мадам Мондрагон.

— А что она там делала? Как она вообще оказалась в Голубом поезде?

— Она хотела приехать сюда, чтобы уже навсегда соединиться с вашим мужем.

После чего я рассказал ей о своем ночном разговоре. Мадам Мондрагон выслушала меня без какого бы то ни было выражения на лице. Закончив свое повествование, я открыл маленькую кожаную сумку и вынул из нее открытку с картинкой и с письмом от Пьера Мондрагона, словно бы желая этим доказать, что я говорю чистую правду.

— А-а-а, — промолвила госпожа Мондрагон, — одно из его миндальных деревец.

Она взяла открытку у меня из рук и перевернула ее оборотной стороной кверху.

И разумеется, Аннабел Ли, прекрасная Аннабел Ли.

— Что вы имеете в виду, когда говорите: *одно из* миндальных деревец? — спросил я. — Сколько он их всего нарисовал?

Женщина в черном халате встала с места, подошла к шкафу и открыла его. Множество бутылочек и горшочков с краской стояли на его полках. Слева я углядел две стопки открыток размером с ту, которая была у меня. Они были сложены вполне аккуратно, одна поверх другой, и было их здесь, по меньшей мере, сотни две.

— Вот, — заговорила женщина в черном халате, — можете сами увидеть, сколько таких открыток нарисовал Пьер! — Она закашлялась и засмеялась одновременно. — Много, — продолжала она, — очень даже много, — и она снова засмеялась. — Всевозможные деревца. Всего пять вариантов, мосье Руайан. Существуют шаблоны. Их кладут поверх открытки и раскрашивают. Один шаблон для веток... Один для листьев, один для цветочков... Он ведь совершенно не умел рисовать, мой бедный Пьер... Просто он как-то раз увидел в Ницце такое вот деревце, нарисованное с помощью шаблонов. В магазине детских игрушек. Любой ребенок с помощью этих шаблонов сумеет нарисовать миндальное деревце. В тот день я была с ним, и у меня возникла эта идея...

— Какая "эта"?

— Ну, к тому времени он уже принял предложение мосье Аласяна, вот я и сказала ему, что у меня возникла отличная идея насчет этих шаблонов. Деревца получаются и в самом деле прелестные, каждый сразу хочет такое заполучить. Я еще припоминаю, как мы вместе покупали эти шаблоны и акварельные краски.

Она умерила бурный прилив веселости и спросила вполне серьезным тоном:

— Но если миссис Коллинз ничего не знала о смерти моего мужа и хотела соединиться с ним навек, почему ж ее до сих пор здесь нет?

— А это, мадам, я еще не успел вам рассказать. Сегодня ночью миссис Коллинз умерла во сне в Train bleu. Сердце. В Сен-Рафаэле они вынесли ее тело из поезда.

Мадам Мондрагон кивнула глубокомысленно.

— Значит, он все-таки есть.

— Кто "он"?

— Бог, — отвечала мадам Мондрагон, — он уберег миссис Коллинз от большого горя, он дал ей возможность быть счастливой до последнего вздоха.

Она закрыла шкаф и снова села.

— Ну конечно же, она любила моего мужа. И все эти женщины любили моего мужа. Что правда, то правда, рисовать он не умел. Он и вообще был глуп, мосье Руайан, немыслимо глуп. Он ровным счетом ничего не умел. Он умел только одно: осчастливить женщину. И вот, когда мосье Аласян случайно узнал, как счастлива с Пьером я, это произвело на него огромное впечатление. А человек он очень умный. Вот потому что он такой умный, он и сделал моему мужу то самое предложение.

— Какое предложение, черт побери?! Прошу прощения.

Движением руки мадам Мондрагон дала мне понять, что я прощен.

— Все очень просто. "Вы явно женский кумир, — сказал Аласян Пьеру. — Женщины летят на вас, как бабочки на огонь. Я куплю вам смокинг, можно не один, а два, куплю ботинки, носки и сорочки, словом все, что вам понадобится, чтобы одеться для званого приема. Я знаю на Лазурном берегу множество людей, меня часто приглашают на всевозможные приемы. Я позабочусь о том, чтобы и вас часто приглашали туда, где бывают очень богатые люди".

— Уж не хотите ли вы сказать...

— Пожалуйста, не перебивайте меня, мосье Руайан. Я ведь и так рассказываю вам все как есть. "Я, — говорил ему мосье Аласян, — буду всякий раз обращать ваше внимание на какую-нибудь определенную даму. Вы начнете за ней ухаживать. Вы будете флиртовать с ней, танцевать с ней, говорить ей, как она очаровательна, говорить, что вы влюбились в нее, что это прямо как coup de foudre, ну и так далее и тому подобное. Не мне вас учить. И уговоритесь с ней о свиданье. Причем дама должна быть непременно замужем. Вы переспите с ней, вы подарите ей счастье, вы проделаете с ней все то, что так ценит в вас ваша маленькая женушка. Потом с этой замужней дамой или с ее супругом вы поглядите на драгоценные украшения в моем магазине, и как художник вы лучше других поймете, что особенно к лицу этой даме". Надо ли мне продолжать, мосье Руайан?

— Нет, — сказал я, — этого более чем достаточно. — Остальное доделывали мосье Аласян и супруг этой дамы. Он покупал ей то, чего она пожелает. Или устраивал ей сюрприз в день какого-нибудь семейного торжества. Я прав, мадам?

— Совешенно правы, мосье.

— Ну, а вы?

— Что я?

— Вы сами-то были согласны с этим предложением мосье Аласяна? В конце концов, вы были супругой мосье Мондрагона. Вы любили его...

— Я и сейчас его люблю и всегда буду любить.

— О том и речь. Даже просто мысль о том, что ваш муж примет предложение Аласяна — как вы ее вытерпели?

— Не понимаю.

— Господи боже ты мой! Ваш муж обязался спать с другими женщинами. Неужели вы не сходили с ума от ревности?

— Мы были очень бедны, мосье Руайан, — серьезно отвечала она, — а Пьер, он ведь ровным счетом ничего не умел, кроме как любить. Я поняла, что обязанность любить всех этих женщин отныне и станет его профессией. А к *нашей* любви это не имело ни малейшего отношения. Зато мы наконец-то получили деньги на жизнь. Ну поймите же, мосье Руайан...

Но я думал о том, что за странный человек, эта мадам Мондрагон. Думал о том, что когда-то она якобы была очень хороша собой, а теперь так уродлива. Я думал о флере трагизма, который ее постоянно окружал, даже и сейчас, даже когда она улыбалась. Нет-нет, думал я, эта женщина вовсе не была согласна с предложением мосье Аласяна. И однако же приняла его. Ужели так огромна была ее любовь к мужу? В общем, престранная женщина.

И я грубо спросил ее:

— А ваш муж, он как работал, за твердое жалованье или за процент от прибыли?

Она ничуть не оскорбилась.

— Ну само собой, за процент! Ему, конечно же, всякий раз нравились самые дорогие украшения в лавке у мосье Аласяна. А уж бриллиантовый гарнитур для миссис Коллинз! — И она радостно, словно дитя, захлопала в ладоши. — Какая редкостная удача для нас! Такое больше не повторялось!

— Выходит, ваш муж двадцать два года подряд выполнял эту работу для мосье Аласяна из Ниццы? — спросил я.

— Нет, мосье, всего двадцать. Два последних года он уже не работал. А все эти многочисленные дамы, которых он осчастливил! Он был такой старательный, такой добросовестный...

— А дамы, все были сплошь иностранки?

— Ну да. Американки, англичанки, дамы из Дании, Швеции, Японии, Канады, Австралии... Мосье Аласян очень многим обязан моему мужу... Самые крупные продажи... И подумать только... — она оборвала на полуслове.

— Что подумать?

Она покачала головой.

— Все в свое время, мосье Руайан, все в свое... Мы хорошо жили, мой муж и я. Да и почта приносила нам в дом немало денег.

— Вы хотите сказать, что ваш муж переписывался со всеми этими женщинами, что все они оказывали ему финансовую поддержку?

Мадам Мондрагон утвердительно кивнула.

— За вычетом двух или трех, все. Вы бы видели, какие чеки приходили в этот дом, из каких стран, из каких банков!.. Лазурный берег — это ведь, знаете ли, международный курорт, клиентура у мосье Аласяна — тоже...

— Как мне довелось слышать от миссис Коллинз, это были сердечнейшие письма, трогательные до слез, самые прекрасные любовные письма в мире.

— Мне очень приятно слышать ваш комплимент.

— Почему это *вам* приятно?

— Господи! — Она вскинула руку. — Ведь писала все эти письма я!

Я перевел дух.

— *Вы лично* писали все эти письма?

— Самые прекрасные любовные письма в мире, не так ли?

— Значит это были *вы*?

— Конечно я! — Она засмеялась. — Я ж вам говорила, что Пьер, к сожалению, был чудовищно глуп. Ему бы в жизни такое не написать! Нет-нет, этим приходилось заниматься мне. Подарить каждой даме по открытке с миндальным деревцем и строками Эдгара По — на это у него еще худо-бедно хватало разумения, у моего возлюбленного Пьера. А вы знаете, — добавила она, — что я могу превосходно подделывать его почерк?

— Простите, а на каком языке вы писали? При таком разнообразии национальностей?

— Всегда только по-английски. Все эти дамы знали английский. Время от времени я прикладывала к письму очередное деревце, некоторым — раз в год, некоторым — два. Я всегда призывала Пьера создать хороший запас. — Она поглядела в сторону шкафа.

— Даже в клинике, когда ему стало уже совсем плохо, он все рисовал и рисовал свои миндальные деревца... до тех пор, пока мог держать в руках кисточку. А носовой платок у вас есть? — вдруг спросила она.

Я дал ей платок. Она громоподобно в него высморкалась, после чего им же вытерла глаза.

— Пьер умер всего два года назад... Это совсем недавно, мосье, совсем недавно. Я до сих пор всякий раз плачу, когда вспомню его. Вы меня извините.

— Ради бога, — откликнулся я, — это же вполне понятно.

— Правда, милые стихи? — робко спросила она.

— Вы имеете в виду: "Ни ангелы в небесах, ни демоны..."

— Ну да, это Эдгар Аллан По. Когда я впервые прочла их много лет назад, я была еще почти ребенком, и мне они так понравились, что я избрала эти строки, еще прежде, чем началась вся история с миндальными деревцами.

— Итак, стихотворение тоже предложили вы?

— Я ж вам говорила.

— И на этих бесчисленных открытках стояла одна и та же строфа?

— Ну разумеется, мосье Руайан, — не могла же я подыскивать новое для каждой дамы.

— Да, вы правы, — сказал я и поглядел на ту открытку, которую получила миссис Коллинз и которая стала теперь моей собственностью.

— Правда, прелестное деревце?

— Да, прелестное, — ответил я, — а многие ли из дам снова приезжали на Лазурный берег?

— Очень многие.

— Ну и?

— Что "и"? — она пожала плечами. — Пьер снова делал их всех счастливыми. А мужья снова покупали украшения у мосье Аласяна в Ницце. Но вот уже три года ни одна не приезжала. А предприятие с миндальными деревцами функционирует по-прежнему.

— Вы хотите сказать, что и после смерти вашего мужа регулярно пишете этим дамам?

— Жить-то надо, вы не находите?

— А если сюда вдруг приедет какая-нибудь дама, как приехал я?

— Ну, тогда я скажу ей всю правду — как сказала вам. Что я была его женой. — Голос ее стал громче. — Я с гордостью скажу это любой из его дам. Правда, интересная история? Писатели ведь ищут такие истории? Вот она. Я дарю ее вам.

И я подумал, что минувшей ночью точно так же подарила мне свою историю миссис Коллинз.

— Вы запишите ее, мосье Руайан, вы непременно ее запишите!

Вот и миссис Коллинз меня о том просила, подумал я.

— Вы запишете ее? Если я убедительно вас попрошу?

— А зачем вам это так уж понадобилось, мадам Мондрагон?

На какое-то мгновение ее трагическое лицо исказила гримаса ненависти.

— Да затем, что мне удалось выяснить: этот ювелир, этот Рубен Аласян, двадцать лет подряд обманывал Пьера... в смысле процентов с оборота... Мне удалось это выяснить... И я могу это доказать... А ведь Пьер так ему помог! Пусть же мир узнает об этом! Я давно уже поджидаю такого, как вы. Поджидаю писателя! Вы ведь запишете все, что я вам рассказала?

Я молчал.

— Мосье Руайан, я вас о чем-то спросила. Неужели вы думаете, я стала бы вам все рассказывать, не будь вы писателем? Я же сразу, едва вы вошли, спросила у вас, кто вы по профессии, помните?

— Помню.

— И лишь после этого я начала рассказывать. Вы ведь *запишете* эту историю, чтобы изничтожить негодяя Аласяна? Да? Ну скажите "да", мосье! — Она пришла в крайнее возбуждение.

— А почему бы вам самой не написать вашу историю, а я бы пристроил ее в какой-нибудь в журнал? Вы ведь умеете писать. Эти дивные любовные письма...

Она нетерпеливо мотнула головой:

— Нет, нет и нет!

— Почему "нет"?

— Я, мосье, могу писать любовные письма, прекрасные любовные письма. Но больше ничего. Вот как мой бедный Пьер умел только любить, но не умел рисовать. Нет и нет, я никогда бы не сумела записать эту историю. Это обязаны сделать вы, вы!

— Но если я запишу вашу историю, мне придется изменить имена и место действия.

— Это еще почему? — возмутилась она.

— Да потому, что я не хочу, чтобы мосье Аласян подал на меня в суд. И еще я хочу защитить других людей.

— Аласян проиграет дело в суде. Я рассказала вам чистую правду. У меня есть свидетели, двое служащих Аласяна, которых он уволил. Они готовы давать показания под присягой. Только начать дело должен кто-нибудь другой. И этот другой — вы, мосье Руайан! Мосье, обещайте же мне написать эту историю! Не то вы меня очень разочаруете! Не то вы коварно пробрались сюда... неизвестно почему. А вы и в самом деле писатель? Вы что вообще написали, мосье Руайан?

Ситуация становилась неприятной.

Я сказал:

— Я напишу вашу историю, мадам Мондрагон.

— С настоящими именами и названиями?

— С настоящими именами и названиями, — отвечал я, решив про себя все так зашифровать, чтобы это не навредило мне, разумеется, в том случае, если я когда-нибудь — поди угадай заранее — решу об этом написать.

Она вскочила с места и прежде, чем я мог этому помешать, поцеловала мою руку.

— Мадам Мондрагон! — Я тоже вскочил. — Не делайте этого!

— Я вам так признательна, мосье Руайан, так признательна. Поистине, есть Бог на небе! А Бог справедлив. И этот старый негодяй Аласян понесет заслуженную кару... Вы когда начнете писать, мосье? Когда вы начнете?

Я почувствовал, что чем раньше уйду, тем для меня будет лучше.

— Скоро, мадам Мондрагон, мне надо сперва закончить одну важную работу, а потом...

— Да-да, потом, потом... Замечательно! У вас теперь есть две версии, версия миссис Коллинз и моя. И это будет опубликовано в журнале?

— Да, мадам.

— А в каком?

— В "Пари-матч".

— Это прекрасно. Этот журнал читает вся Франция, его выкладывают и в магазине у Аласяна. — Она засмеялась. — То-то он обрадуется, как вы думаете?

— Да, — ответил я.

— Может он от злости и вовсе сдохнет, — добавила она, — для меня это будет самый прекрасный день в моей жизни.

С меня было довольно. Я направился к дверям. Она последовала за мной. И по дороге сказала:

— Можете оставить себе открытку миссис Коллинз.

В огромном белом зале мы спустились по ступеням широкой лестницы прямо к выходу.

— У меня еще полно открыток для писем, — сказала она, — я должна испытывать вечную благодарность к Пьеру за то, что он снабдил меня таким запасом. Понимаете, какая забавная история: я с этими шаблонами управиться не могу. Мне бы в жизни не нарисовать такое деревце. Любой ребенок это смог бы, а вот я — нет.

Мы вышли за ворота. Улица была пустынна. Вдалеке лаяла собака.

— Вы обещали мне написать эту историю, мосье Руайан, — сказала она, — подумайте об этом.

— Да, — ответил я, — буду помнить. А заодно вас, мадам Мондрагон.

— Это еще что значит?

— То, что делали и продолжаете делать вы, незаконно. Вас за это накажут. Может, все-таки, зашифровать имена?

Это была моя последняя попытка.

— Никоим образом! Все должно быть названо своими именами. Прежде всего этот бандит Аласян.

— Но сами-то вы, мадам...

— Что "я"?

— Если вас и в самом деле осудят...

— Ах, мы все так быстро стареем... Вы даже и не представляете, сколько из этих дам уже умерло. За ними последуют другие... будем надеяться, что очень скоро и я.

— Вы не должны так говорить, — ответил я.

— Пьер умер, — сказала она, — без Пьера это не жизнь. Осудят? Накажут? Меня? Господи, как мне все это безразлично, слов нет, до чего безразлично! Я все равно умру, как умирают все, хоть наказанная, хоть ненаказанная. Но сперва я хочу дожить до того дня, когда Рубен Аласян будет уничтожен... да-да, уничтожен. А тогда пусть смерть приходит и за мной...

Голос ее становился все глуше. И вдруг — зрелище было поистине фантастическим — уродливое, трагическое лицо Марии Мондрагон при слабом свете, который падал из нескольких освещенных окон в темноту, на нас, вдруг стало цветущим и соблазнительным, будто лицо хорошенькой, молодой девушки, какой она была в свое время. И голос ее звучал тепло и нежно, когда она сказала:

— И пусть даже у него было много женщин, сто, двести.., за всю свою жизнь он любил только одну — *меня*. Это я была его Аннабел Ли.

Лу Андреас-Саломе

Прожитое и пережитое

Воспоминания о некоторых событиях моей жизни

Фрагменты книги

Перевод с немецкого и вступление В. Седельника

Писать предисловие к воспоминаниям такой легендарной и загадочной личности, какой была Лу Андреас-Саломе, — дело заведомо неблагодарное и рискованное. То, о чем она сочла нужным рассказать, она и рассказала, а заводить разговор о неизбежных в таких случаях умолчаниях и недоговоренностях — значит, вступать на скользкий путь догадок и домыслов или, что еще хуже, в очередной раз вытаскивать на свет божий длинный шлейф сплетен и пересудов, тянувшийся за Лу Андреас-Саломе при жизни. И все же, думается, будет не лишним привести некоторые факты и соображения, касающиеся не столько овеянной скандальными подробностями *внешней* биографии этой замечательной женщины, сколько биографии *внутренней*, свидетельствующей о поразительном богатстве духовных интересов. Ведь одно дело, какой она виделась самой себе, и совсем другое — как воспринимали ее современники и воспринимают потомки, тем более что время вносит свои коррективы в представления о ее облике и той роли, которую она играла в интеллектуальной жизни Европы на рубеже XIX-XX столетий.

Немецкая писательница Лу Андреас-Саломе (Луиза Густавовна фон Саломе) родилась в 1861 году в Санкт-Петербурге, в семье заслуженного русского генерала французско-немецкого происхождения. Мать ее была немкой. Хотя Фридрих

© В. Седельник. Перевод, вступление, 2001
Полностью перевод будет опубликован в издательстве "Прогресс-Традиция".

Ницше и называл Лу Саломе "гениальной русской", но генетически в ней ничего русского не было, если не придавать значения проведенным в России детству и ранней юности. Хотя как не считать того, что оказало неоспоримое воздействие на становление этой крайне своеобычной натуры, — факта рождения (Россия до последнего дня — а скончалась Лу Андреас-Саломе в 1937 году в Гёттингене — оставалась для нее родиной), русского образа жизни, точнее образа жизни столичных дворянских кругов, русской природы, климата, обычаев и нравов. Видимо, эта благоприобретенная русскость вкупе с передавшейся от матери немецкой основательностью и унаследованной от отца гугенотской въедливостью в вопросах морали и веры породили этот характер, отмеченный недюжинным умом, неукротимым и своевольным нравом и неистребимым вольнолюбием. Не отдаваясь до конца ничему и никому, Лу Андреас-Саломе как высшее достояние берегла свою внутреннюю свободу. Да и внешней, как видно из воспоминаний о прожитом и пережитом, не поступалась никогда.

По словам одной хорошо знавшей ее женщины (Гертруды Боймер), в Лу было нечто недостижимое и непостижимое, она как бы воплощала в себе частичку природы — живой, таинственной и самодостаточной. К тому же от природы она была наделена поразительным жизнелюбием — качеством, которое Ницше, оскорбленный ее невниманием к своей особе, назвал "кошачьим эгоизмом", полагая, что если уж обнаруживаешь в себе такую черту, то ее нужно преодолевать. Подобного рода моральные установки человека, претендовавшего (скорее в философии, нежели в жизни) на место по ту сторону добра и зла, были Лу совершенно чужды. Она куда больше походила на "белокурую бестию" (в женском, разумеется, варианте), чем болезненный и мнительный создатель этого образа-символа. В то же время в ней не было ни капли сословной надменности или сознания собственной исключительности, ее отличали простота и естественность в общении и участливое, сострадательное отношение ко всему живому — людям, зверям, птицам; во всех она на высшем, метафизическом уровне видела существа, равные (но не равновеликие) себе. Она никогда не пряталась от проблем, трудностей и мерзостей жизни, в избытке выпадавших на ее долю, за иллюзиями глобального или частного, личного свойства, не тешила себя самообманом — ни в науке, ни в политике, ни в художественном творчестве. "Зоркая, как орел, и бесстрашная, как лев" — такими словами охарактеризовал восхищенный Фридрих Ницше юную "русскую" студентку, изучавшую в Цюрихе историю религии и философии. И был близок к истине. Встретившись с трудной проблемой или интересным для нее человеком, она и впрямь без колебаний устремлялась мыслью к глубинной сути вещей, к несокрушимому — ибо неотделимому от единства всего сущего — ядру человеческого бытия. Можно предположить, что именно неутолимое желание познавать себя и других, проникать в сокровенные тайны природы, а не банальная потребность зарабатывать на хлеб насущный, привело ее в конечном счете к занятиям теорией и практикой аналитической психологии.

Но это произошло значительно позже, в начале XX века. А пока двадцатилетняя Луиза фон Саломе (в 1887 году она вышла замуж за ориенталиста Фридриха Карла Андреаса и стала Лу Андреас-Саломе), оказавшись в Европе, самозабвенно покоряет сердца и восхищает умы. И какие умы! Философы Пауль Ре и Фридрих Ницше, писатели Герхард Гауптман, Франк Ведекинд, Артур Шницлер, Петер Альтенберг, Райнер Мария Рильке, множество литераторов и ученых меньшего калибра старались добиться — часто без малейшей надежды на успех — ее расположения. Где бы ни появлялась Лу — в Риме, Берлине, Париже, Вене, Мюнхене, Гёттингене, — вокруг нее тут же возникал кружок из интеллектуалов и людей искусства, из тайных воздыхателей и восторженных почитателей ее ума, красоты и неповторимого шарма.

Саломе, однако, не только наслаждалась своим положением светской львицы и роковой женщины. В ней шла постоянная, непрекращающаяся внутренняя работа души и духа, которая находила выражение в литературном творчестве, а позже, после знакомства с учением Зигмунда Фрейда, и в научно-практической деятельности. Ее эссе, статьи, рецензии, новеллы и повести заполняли страницы престижных европейских журналов, о них с похвалой отзывались крупнейшие критики той поры. Книги, правда, появлялись довольно редко, она — как и ее младший современник Франц Кафка — не очень любила расставаться с написанным и подолгу выдерживала рукописи в письменном столе или, по причине частых отлучек и длительного отсутствия, в домашнем сейфе.

Сегодня приходится признать, что как писательницу Лу Андреас-Саломе при жизни все же явно недооценили. Да это и понятно: ее спорадически появлявшиеся книги вряд ли могли конкурировать в Германии и Австрии с "литературой Маннов", с тем, что поставляли на книжный рынок не только Генрих и Томас Манны, но Герхард Гауптман, Бернхард Келлерман, Якоб Вассерман, Герман Гессе и другие известнейшие писатели. К тому же она касалась проблем, казавшихся тогда несвоевременными. Интерес к ним возник значительно позднее, во второй половине XX века, чему, без сомнения, способствовало широкое распространение феминизма как движения за равноправие женщин и феминистики как своеобразного — с женской стороны — подхода к восприятию и оценке многих явлений современной жизни. Правда, сама она сторонницей этого модного теперь направления в культурологии себя не объявляла. Во всяком случае, Лу Андреас-Саломе оставила яркий, запоминающийся след в европейской культуре не только своего времени, но и всего XX века. Можно согласиться, что случилось это во многом благодаря ее дружеским (хотя отнюдь не бесконфликтным) связям со знаковыми фигурами ушедшего столетия — Ницше, Рильке, Фрейдом. Однако не стоит при этом забывать и о ее собственных достижениях в области философии и литературы, о ее блестящей эрудиции, пронзительном уме, острой наблюдательности и способности затрагивать болевые точки становления или, как выразился бы Карл Густав Юнг, индивидуации каждого человека.

Есть еще одна черта, которая делает эту немецкую писательницу интересной и близкой нам, — ее привязанность к России. Она не просто любила Россию и тосковала по ней. Она ощущала свою причастность ко всему, что происходило в далекой северной стране, где оставались родные и близкие ей люди. Обретаясь в городах западной Европы, она была как бы посланником русской культуры. Россия присутствует — прямо или опосредованно — почти во всех ее книгах: в повестях "Руфь" (1895) и "Феничка" (1898), в сборниках рассказов "Дети человеческие" (1899), "Переходный возраст" (1902) и "Час без Бога" (1921), в романе "Ма" (1901), в письмах и воспоминаниях. Вообще-то, главная тема ее художественных произведений — детство и юность, раннее взросление, подростковый период, превращение девочки в девушку и женщину. Ее героини проходят мучительный путь формирования личности; упорно прислушиваясь к внутреннему голосу, подчиняясь своей "самости", они повергают в смятение родных и близких, учителей и воспитателей. Поскольку все произведения Лу Андреас-Саломе строятся на автобиографической основе, поскольку они отражают опыт детства и юности писательницы, в них так или иначе возникает тема России, всякий раз сопряженная с темой богоборчества и богоискательства. Глава "Переживание Бога" не случайно открывает книгу ее воспоминаний. И так же не случайно свой первый роман она назвала "В борьбе за Бога" (вышел в 1885 году под псевдонимом Генри Лу). Волновавшие ее проблемы веры и безверия она всякий раз соотносила с впечатлениями и переживаниями детства и юности.

Слову "переживание" придается в ее воспоминаниях ключевое значение. То, о чем она рассказывает, — не просто личные, субъективные переживания событий и встреч с людьми, воссозданные в той или иной, необязательно строго хронологической последовательности. Понятие "переживание" насыщено у нее глубоким религиозно-философским смыслом. Речь идет об основных "встречах", с которыми осознанно или бессознательно сталкивается каждое мыслящее существо, — с Богом, с любовью и дружбой, с родиной и чужбиной, с необходимостью постижения смысла бытия. Такого рода "переживания" дóлжно осмыслять и соотносить со всей прожитой жизнью, о них пишут, подводя итог на пороге иного мира, когда взгляд обретает последнюю ясность, время утрачивает роковую предопределенность, а былое предстает в виде ступеней, ведущих к глубинному источнику жизни, которая, как сказано в благодарственном открытом письме Лу Андреас-Саломе к Фрейду, сама проживает и переживает нас, хотя нам верится, что это мы проживаем ее.

Воспоминания Лу Андреас-Саломе — совершенно необычная, не встречавшаяся в мировой литературе форма исповеди. Это исповедь неординарного человека с богатейшим душевным и духовным опытом — и одновременно исповедь человека вообще, представителя своего вида, существа, творимого таинственной субстанцией жизни по имманентным, изначально присущим ей законам.

Этим обусловлены особенности стиля поздней прозы Лу Андреас-Саломе. Желание мемуаристки немедленно, без околичностей и переходов, добраться до самого, с ее точки зрения, главного, до сокровенной сути придает этой прозе налет странной, раздумчиво-неспешной торопливости. Повествование лишь отталкивается от фактов личной жизни, слегка задевая их, и спешит окунуться в стихию религиозно-философских, эстетических или психоаналитических раздумий, так как только на этом уровне, а не на уровне признаний интимного свойства, оно чувствует себя комфортно. Сказать о воспоминаниях Лу Андреас-Саломе, что они искренни, исповедальны и достоверны, значит не сказать ничего, ибо не это составляет их суть и своеобразие. То, о чем взялась поведать писательница, нацелено на постижение глубинно ощущаемой целокупности бытия, его неразрушимого единства. Все случайное и несущественное отброшено за ненадобностью, оставлено только то, что навсегда отложилось в памяти и подсознании и до последних дней воспринималось как неизбывная данность, как "современность былого".

Современники знали, что Лу Андреас-Саломе работает над воспоминаниями, ждали их появления, но смерть автора, а потом война и послевоенная разруха надолго отодвинули издание книги. Когда же книга, подготовленная секретарем и душеприказчиком писательницы Эрнстом Пфайфером, наконец появилась, это не стало сенсацией. Во-первых, немцы все еще были заняты своим "непреодоленным прошлым", в сравнении с которым интеллектуальные и прочие приключения литературной дамы казались детскими шалостями. Во-вторых, в книге не оказалось ожидавшихся интимных подробностей. Об этой стороне своей жизни она рассказала более чем сдержанно. Но самое существенное все же не утаила.

Первой по-настоящему крупной фигурой в длинном ряду ее воздыхателей стал Фридрих Ницше. Когда они встретились весной 1882 года в Риме, в тридцативосьмилетнем философе, пережившем мрачные годы одиночества и непризнания, вызревали ростки его "веселой науки", приправленной болезненной раздражительностью, гипертрофированным самомнением и нигилизмом. Встреча с Лу фон Саломе, столь непохожей на знакомых Ницше немецких женщин из бюргерского круга, взбодрила его, внушила надежду на будущее. Беспокойный, взвинченный прогрессирующим недугом дух философа взмывал к неведомым и запретным сферам; для юной Лу тоже ни одна гипотеза не казалась слишком смелой или опасной. Ницше увидел в ней "родственный ум", "сестру по духу" — и с мая

по ноябрь 1882 года его жизнь проходила под знаком нарастающего восхищения "неожиданным подарком судьбы".

Для Лу, обуреваемой интеллектуальной жаждой, Ницше был интересен как оригинальный и мощный мыслитель, бившийся над вопросами, которые занимали и ее ум. Он же попросту влюбился в свою собеседницу и повел себя нервозно — делал брачные предложения, устраивал сцены, ревновал и даже, подзуживаемый своими матерью и сестрой, не гнушался интриг. Их отношения были переведены в плоскость мелкой склоки. Разрыв потряс его, обострил течение болезни и если не свел с ума в буквальном смысле слова, то способствовал окончательному помрачению духа и трагическому финалу. Ничего хорошего из их сближения и не могло получиться: слишком уж разные это были натуры, слишком по-разному относились они к жизни, чтобы рассчитывать на более длительный альянс, пусть даже скрепленный узами чисто духовного родства. Да и тот союз, что соединил их на короткое время, был по сути "тройственным" — в нем уже состоял полноправным членом философ-неудачник Пауль Ре, тоже, как и Ницше, так и не оправившийся от потрясения, когда пять лет спустя Лу решила оставить его и выйти замуж за ориенталиста Ф. К. Андреаса.

Однако самым глубоким и длительным душевным (и, разумеется, духовным) переживанием стал для нее Райнер Мария Рильке. В сравнении с Ницше тут наметилась прямо противоположная возрастная констелляция: ей почти сорок, ему — чуть больше двадцати. Но в остальном ситуация была на удивление схожей. Она — сильная, витальная, целеустремленная натура, он — болезненный, мягкий, неуверенный в себе меланхолик. Когда они встретились в 1897 году, Рильке-поэту было еще далеко до молитвенной проникновенности "Часослова". Его ранняя лирика вряд ли могла увлечь зрелую женщину с острым как бритва интеллектом. Он притягивал ее не как поэт, а как человек с еще не раскрывшимися богатыми возможностями. Она интуитивно догадывалась о его высоком предназначении, а свое видела в том, чтобы помочь ему обрести веру в себя. И Рильке, благодаря дарованным ею встречам с Россией (поездки 1899 и 1900 годов), "под звон кремлевских колоколов" совершил прорыв в новое поэтическое пространство, к "Часослову", "Дуинским элегиям" и "Сонетам к Орфею". Посчитав свою миссию выполненной, она вскоре оставила влюбленного в нее поэта, как когда-то оставила Ницше, проникнув в смысл и суть его философии и написав о нем книгу. Рильке тоже тяжело переживал разрыв, метался от одной женщины к другой, пока заново не покорил ее — уже как поэт. Она до конца оставалась для него спасительным приютом, он исповедовался ей, почти ничего не утаивая, она помогала сверхчувствительному, болезненно реагировавшему на внешние воздействия художнику преодолевать страхи, сомнения и депрессивные состояния, понимала его как никто другой — и как человека, и как художника — и посвятила ему (как и в свое время Ницше) проникновенную "книгу памяти", вышедшую вскоре после смерти великого поэта.

Сближение с Рильке было плодотворным не только для него, но и для самой Лу Андреас-Саломе. Поездки в Россию всколыхнули воспоминания о первой родине; работу над повестью "Родинка", увидевшей свет только в 1922 году, писательница начала сразу после возвращения из второй поездки, когда она уже знала о предстоящем разрыве с поэтом. В этой книге она дала выход своей тоске по России, по стране детства, наложившей отпечаток на ее дальнейшую судьбу, в том числе и писательскую.

В повести часто и много говорится о Боге и религии. Этот мотив связан с образом бабушки.

Феномен религиозного человека продолжает занимать Лу Андреас-Саломе и тогда, когда она обратилась к психоанализу и познакомилась с Фрейдом. Их по-

здняя дружба согрета взаимной симпатией единомышленников, хотя и в этом случае Саломе не удовлетворяется ролью ученицы и последовательницы. Искренне восхищаясь открытиями Фрейда, она в то же время отстаивает свое понимание бессознательного как вместилища не только психопатологических комплексов, но и божественного начала.

Мы предлагаем читателю фрагменты книги Лу Андреас-Саломе "Прожитое и пережитое", повествующие о знаменитых личностях XX века: Ницше, Рильке, Фрейде, а также о ее муже Ф. К. Андреасе.

Переживание дружбы

Однажды мартовским вечером 1882 года в Риме у Мальвиды фон Майзенбуг[1] собралось несколько друзей. Вдруг пронзительно заверещал дверной колокольчик, вскоре вбежала верная помощница Мальвиды Трина и что-то взволнованно прошептала на ухо хозяйке, после чего Мальвида подошла к секретеру, торопливо вынула из него деньги и вышла из комнаты. Когда она вернулась, черная косынка из тонкого шелка на ее голове все еще слегка трепетала от волнения. Вместе с Мальвидой вошел молодой Пауль Ре[2], ее давний друг, которого она любила как сына и который очертя голову примчался из Монте-Карло: ему надо было немедленно вернуть тамошнему кельнеру взятые в долг деньги, так как он проигрался в пух и прах.

Такое сенсационное начало нашего знакомства нимало меня не смутило, нас тут же представили друг другу, и, может быть, именно этот зачин способствовал тому, что Пауль Ре как бы выделялся, четче вырисовывался на фоне остальных. Во всяком случае, я сразу приметила его строго очерченный профиль и очень умные глаза, в которых шутливое раскаяние соседствовало с неподдельной добротой.

С того самого вечера наши ежедневные беседы заканчивались только тогда, когда я окольными путями возвращалась домой — с улицы дела Польверьера, где жила Мальвида, в пансионат, в котором мы с мамой остановились. Эти прогулки по улицам Рима, освещенным луной и звездами, вскоре настолько нас сблизили, что во мне начал созревать замечательный план, как продлить наши встречи потом, когда мама, которая привезла меня из Цюриха на юг отдохнуть, уедет домой. Правда, Пауль Ре повел себя сначала совсем не так, как следует: он, к моему гневному прискорбию, изложил моей маме совершенно иной план — план женитьбы на мне, что крайне затруднило получение согласия мамы на осуществление моего собственного замысла. Пришлось мне самой разъяснить ему, что я "до конца жизни отказалась от любви" и что превыше всего ценю полную свободу.

Хочу честно признаться: в том, что мой противоречивший тогдашним нравам план может осуществиться, меня убедил приснившийся мне ночью сон. Я увидела во сне рабочий кабинет, полный книг и цветов, с двумя спальнями по бокам, и переходящих из комнаты в комнату друзей, объединившихся в веселый и одновременно серьезный рабочий кружок. Не стану отрицать: наше почти пятилетнее содружество на удивление точно соответствовало этому сну. Пауль Ре однажды заметил: разница заключалась только в том, что в действительности я очень нескоро

научилась отличать цветы от книг и поначалу использовала солидные университетские фолианты в качестве подставок для горшков с цветами; столь же поразительные подмены случалось мне устраивать и с людьми... Я еще продолжала препираться с моей бедной мамой, которая готова была призвать на помощь всех своих сыновей, чтобы живой или мертвой доставить меня обратно на родину, когда к моему изумлению выяснилось, что Мальвида подвержена предрассудкам едва ли не в большей мере, чем мама с ее несокрушимой верностью священным для нее традициям веры и определенного образа жизни. Правда, я потом узнала, что кое-что в этом деле было на совести Пауля Ре: он с самого начала в крайнем возбуждении побежал к Мальвиде и объявил, что мы должны "избегать друг друга", так как в голове его прочно засела мысль — ни в коем случае не компрометировать "принципы" Мальвиды; Мальвида же полагала, что это уже произошло во время наших с Паулем продолжительных вечерних прогулок (о которых, кстати, знала моя мать). Вот так я с удивлением узнала, какой серьезной помехой на пути к индивиду-

Х. Гиллот

альной свободе может стать идеальное свободолюбие: во имя пропаганды собственных целей оно пугливо избегает выяснения любого недоразумения, проверки любого "ложного свидетельства" и тем самым отдает себя во власть чужих мнений. В письме из Рима своему воспитателю Хендрику Гиллоту, который, судя по всему, тоже не хотел мне помочь, я дала волю своей досаде и своему разочарованию. Вот это письмо, посланное в ответ на его послание, в Санкт-Петербург.

Рим, 13 марта 1882 г.

Конечно же, я перечитала Ваше письмо уже пять раз, но так ничего и не поняла. Что, черт побери, я сделала не так? А я-то думала, что именно теперь Вы осыплете меня похвалами. За то, что именно сейчас я пытаюсь доказать: Ваши уроки не прошли для меня даром. Во-первых, я уже не предаюсь всей душой своим фантазиям, а собираюсь воплотить свои мечты в жизнь; во-вторых, речь идет о людях, которые как будто специально подобраны Вами: они в высшей степени одухотворены и наделены острым умом. А Вы почему-то утверждаете, что вся эта идея столь же фантастична, как и прежние, и что она станет еще хуже, если я попытаюсь ее осуществить, так как я-де не в состоянии верно судить о людях значительно старше и опытнее меня — Ре, Ницше и других. Вот тут вы ошибаетесь. Самое важное (а *по-человечески* важен для меня *только* Ре) узнаешь о человеке или сразу, или не узнаешь вовсе. Он еще не совсем согласен со мной, еще слегка ошеломлен, но во время наших прогулок под римской луной, от полуночи до двух утра, когда мы возвращаемся от Мальвиды фон Майзенбуг, я со все большим успехом внушаю ему эту мысль. Мальвида тоже против нашего плана, о чем я очень сожалею, так как очень ее люблю. Но мне уже давно ясно, что, в принципе, мы с ней всегда имеем в виду разные вещи, даже если соглашаемся друг с другом. Мальвида имеет обыкновение выражаться следующим образом: то или это "мы" не должны делать или "мы" можем себе это позволить, и при этом я совершенно не могу понять, кого она имеет в виду под этим "мы", должно быть, какую-нибудь идеальную или философскую партию, я же могу ручаться только за свое "я". Я в своей жизни не могу следовать чьему-либо примеру и сама не хочу быть примером для кого бы то ни было, напротив, я собираюсь строить свою жизнь так, как считаю нужным, и добьюсь своего, чего бы это мне ни стоило. Я отстаиваю не принцип, а нечто значительно более чудесное — то, что сидит в каждом человеке, ликует от неизбывной полноты жизни и изо всех сил рвется наружу...

Мне будет страшно, если Вы в душе не согласитесь со мной. Вы пишете с досадой, что Ваш совет мне, скорее всего, уже не поможет. "Совет" — нет! Я жду от Вас не совета, а чего-то куда более важного для меня — доверия. Естественно, не в общепринятом смысле, это само собой разумеется, а *такого* доверия, которое, независимо от того, что я буду или не буду делать, оставалось бы в пределах тех ценностей, которые разделяем мы оба (вот видите, существует же еще некое "мы", мной признаваемое!). И которое наверняка останется частью меня самой, как голова, руки или ноги, — с того дня, когда благодаря Вам я стала тем, кто я есть.

Ваша девочка

Фридрих Ницше

Сначала в Риме произошло то, благодаря чему мы одержали верх в нашей схватке, – приезд Фридриха Ницше[3]; друзья, Мальвида и Пауль Ре оповестили его письмом, и он неожиданно приехал из Мессины, чтобы побыть с нами. Еще большей неожиданностью стало то, что Ницше, едва узнав о моем плане от Пауля Ре, тут же изъявил желание стать третьим в нашем союзе[4].

Мы даже определили место пребывания нашего будущего триединства: сначала мы выбрали Вену, но потом остановились на Париже, там Ницше хотел послушать какие-то курсы лекций, а мы с Паулем намеревались возобновить отношения с Иваном Тургеневым, с которым я была знакома еще по Санкт-Петербургу[5].

Мальвиду немного успокоило, что там за нами будут присматривать ее приемные дочери Ольга Моно и Наталья Герцен[6], которая к тому же вела небольшой кружок, где юные девушки читали прекрасные произведения.

Мы весело и безобидно шутили, так как очень любили Мальвиду, а Ницше часто бывал в таком возбужденном состоянии, что утрачивал

Лу Андреас-Саломе, Пауль Ре и Фридрих Ницше. Люцерн, 1882 г.

свой обычно немного степенный или, точнее, слегка торжественный вид. На эту его торжественность я обратила внимание уже во время нашей первой встречи в соборе Св. Петра...

Его первые слова, которыми он приветствовал меня, были: "Какие звезды свели нас здесь вместе?" То, что так хорошо началось, приняло вскоре иной оборот, заставивший Пауля Ре и меня поволноваться за *наш* план, так как его осуществление было осложнено неожиданным вмешательством со стороны третьего. Ницше всего-навсего хотел упростить ситуацию: через Пауля Ре он предложил мне руку и сердце. Мы озабоченно размышляли над тем, как уладить дело, чтобы не повредить нашему тройственному союзу. Было решено прежде всего объяснить

Ницше мое принципиальное неприятие любой формы брака, но также упомянуть и то обстоятельство, что я живу на генеральскую пенсию своей матери; кроме того, выйдя замуж, я потеряю собственную маленькую пенсию, которая положена мне как единственной дочери русского дворянина.

Когда мы уезжали из Рима, дело казалось улаженным; в последнее время Ницше часто страдал приступами болезни, из-за которой ему пришлось отказаться от места профессора в Базельском университете и которая давала о себе знать непомерно жестокими головными болями. Поэтому Пауль Ре остался с ним, а моя мать, если мне не изменяет память, сочла, что будет уместнее нам с ней выехать вперед; снова встретились мы уже в дороге. Потом все вместе мы делали остановки, например в Орте, у озер Верхней Италии, где нас, помнится, очаровала близлежащая гора Монте-Сакро[7]; с ней связана обида, невольно причиненная нами моей маме: мы с Ницше слишком надолго задержались и не успели зайти за ней в условленный срок, в чем нас резко упрекнул и Пауль Ре, которому все это время пришлось развлекать маму. Когда мы покидали Италию, Ницше решил заехать в Базель к Овербекам[8], но быстро вернулся и вместе с нами прибыл в Люцерн. Так как сватовство через Пауля Ре показалось ему недостаточным, он решил поговорить со мной лично, что и произошло в Люцерне.

К этому времени и относится наш совместный снимок[9] втроем; он был сделан вопреки отчаянному сопротивлению Пауля Ре, который всю жизнь испытывал болезненное отвращение к воспроизведению своего лица. Ницше был в игривом настроении и не только настоял на своем, но и живо озаботился деталями – маленькой (получившейся на снимке слишком маленькой) тележкой и даже такой безвкусицей, как веточка сирени на плетке.

После этого Ницше вернулся в Базель, Пауль Ре отправился с нами в Цюрих, откуда уехал в свое родовое имение Штиббе у Тюца, что в Западной Пруссии, а мы с мамой на некоторое время задержались в Цюрихе у друзей, в прелестном загородном поместье которых я жила до своей поездки на юг. Оттуда через Гамбург мы отправились в Берлин, уже в сопровождении моего младшего брата Евгения, присланного старшим, игравшим в семье роль отца, на помощь маме. Между нами разгорелись последние споры, но в мою пользу сыграло доверие, с которым все относились к Паулю Ре и которым постепенно проникалась и моя мать, и дело кончилось тем, что мой брат проводил меня в имение Ре, при этом Пауль Ре выехал нам навстречу; в Шнайдемюле, в Западной Пруссии, мы встретились, и там похититель и хранитель обменялись первым рукопожатием.

В Штиббе я, как и планировалось, пробыла до середины лета, то есть несколько месяцев, чтобы затем, с началом Байройтского фестиваля[10], встретиться у Вагнеров с Мальвидой. Так я познакомилась с Рихардом Вагнером в последний год его жизни, и по билету Пауля Ре могла посещать представления "Парсифаля"; на вечерах в Ванфриде, которые всегда устраивались в промежутках между двумя представлениями "Парсифаля", я успела узнать многое из жизни семьи Вагнеров, несмотря на огромный наплыв гостей из разных стран. В центре общества всегда был Рихард Вагнер, из-за маленького роста его постоянно заслоняли другие, он, точно взлетающий вверх фонтан, появлялся только на короткие мгновения, и вокруг него неизменно царило оживление и весе-

лье; напротив, его жена Козима возвышалась над всеми, кто ее окружал, а ее непомерно длинный шлейф проплывал мимо гостей, как бы изолируя их от нее, создавая дистанцию. Чтобы сделать приятное Мальвиде, эта необыкновенно привлекательная и благородная женщина однажды навестила меня, и между нами состоялся долгий, обстоятельный разговор. Молодой воспитатель тринадцатилетнего сына Вагнера Зигфрида, Генрих фон Штайн, с которым я познакомилась в Байройте, стал следующей зимой одним из самых первых и самых верных членов берлинского кружка, созданного Паулем Ре и мной. Из близких Вагнеру людей я теснее всего сдружилась с русским художником Жуковским[11], его опознавательный знак, майский жук, был нарисован в углу огромной картины, сразу бросающейся в глаза в Ванфриде: святое семейство, Спаситель похож на Зигфрида, Богоматерь на Даниэлу, а три ангела — на трех других прекрасных дочерей композитора.

О самом Байройтском фестивале я не стану ничего говорить — настолько незаслуженно довелось мне стать свидетельницей этого потрясающего события; лишенная музыкального слуха, я была не в состоянии ни понять, ни оценить происходящее[12]. Единственным человеком, с кем я могла бы себя сравнить в этом отношении, была верная помощница Мальвиды Трина, которая чувствовала себя посрамленной и опозоренной: Рихард Вагнер возвестил пророческим тоном, что только у такого совершенно неискушенного существа может спасть "пелена с ушей", как при откровении, поэтому ее несколько раз водили на представления. Трина была благодарна и счастлива, но опыт не удался, так как она не могла скрыть своего глубочайшего разочарования тем, что на сцене каждый раз шел "Парсифаль", а "не новая пьеса".

После Байройта мы с Ницше решили провести несколько недель в Тюрингии, в Таутенбурге, недалеко от Дорнбурга[13], где я случайно поселилась в доме, хозяин которого, местный проповедник, оказался бывшим учеником моего цюрихского учителя, профессора Алоиса Бидермана[14].

Поначалу между Ницше и мной возникали споры, вызванные разного рода пересудами, источники которых мне до сих пор не ясны, поскольку они не имели ничего общего с действительностью; скоро мы с ними покончили, третьи лица нам больше не мешали, и мы провели вместе несколько насыщенных недель[15]. В круг мыслей Ницше я вошла здесь быстрее, чем в Риме или во время нашего совместного путешествия; из его сочинений я знала только "Веселую науку": отрывки из нее он читал нам еще в Риме, в беседах о ней Ницше и Пауль Ре понимали друг друга с полуслова, они давно уже придерживались одинаковых взглядов в философии, во всяком случае, со времени разрыва Ницше с Вагнером. Афористическая манера изложения — Ницше вынуждали к ней болезнь и образ жизни — была свойственна Паулю Ре изначально; он всегда носил с собой томик изречений Ларошфуко или Лабрюйера и после своего первого небольшого сочинения "О тщеславии" всегда придерживался одного и того же духовного направления. В Ницше же тогда уже чувствовалось то, что вело его от сборников афоризмов к "Заратустре" — глубинная эволюция богоискателя, шедшего от религии к религиозным пророчествам.

В моем письме к Паулю Ре от 18 августа из Таутенбурга говорится: "В самом начале моего знакомства с Ницше я писала о нем Мальвиде, что он натура религиозная, чем вызвала ее очень большие сомнения по это-

му поводу. Сегодня я бы еще более настаивала на своем утверждении. <...> Мы еще увидим, как он выступит провозвестником новой религии, причем такой, которая будет вербовать в свои апостолы героев. В этом отношении наши мысли и чувства очень сильно совпадают, мы понимаем друг друга буквально с полунамека. Все эти три недели мы говорили до изнеможения, и странным образом он теперь неожиданно оказывается в состоянии проводить за болтовней по десять часов ежедневно. <...> Странно, но мы в наших беседах невольно подбираемся к пропастям, к тем головокружительным кручам, куда обычно забираются в одиночку, чтобы заглянуть в бездну. Мы все время выбирали самые крутые подъемы, и если бы кто-нибудь нас подслушивал, то подумал бы, что беседуют два дьявола"[16].

Надо сказать, в характере и высказываниях Ницше меня восхищало прежде всего то, что в его разговорах с Паулем Ре почти не затрагивалось. Ведь к этому у меня примешивались воспоминания и почти неосознанные чувства, берущие начало в моем самом раннем, глубоко личном и незабываемом детстве. Но в то же время именно *это* не позволяло мне сделаться его ученицей, его последовательницей: я бы не смогла, не испытывая сомнений, идти по *этому* пути, зная, что в любой момент ради обретения ясности мне пришлось бы с него свернуть. То, что меня привлекало, одновременно вызывало во мне внутреннее неприятие.

Уже после того как я возвратилась в Штиббе, чтобы провести там осень, в октябре мы еще раз сошлись с Ницше на три недели (?) в Лейпциге[17]. Ни он, ни я не подозревали, что это наша последняя встреча. На сей раз все было не так, как в самом начале, хотя мы не оставляли надежды сохранить наш тройственный союз. Когда я спрашиваю себя, что в первую очередь отрицательно сказалось на моем отношении к Ницше, то прихожу к мысли, что это были участившиеся намеки, с помощью которых Ницше хотел выставить в моих глазах Пауля Ре в дурном свете[18], – и мое удивление по поводу того, что он считал этот способ действенным. Только после нашего отъезда из Лейпцига враждебные выпады начались и против меня самой – граничившие с ненавистью укоры, о которых мне стало известно лишь из одного более позднего письма[19]. Что потом последовало, казалось настолько противоречившим характеру Ницше, что может быть приписано только постороннему влиянию. К примеру, когда он выдвигал против Ре и меня *такие* подозрения, в несостоятельности которых он был абсолютно уверен. Но самое отвратительное из того времени не дошло до меня – благодаря чуткости Пауля Ре я поняла это много лет спустя; мне даже кажется, что он скрывал от меня письма Ницше, содержавшие необъяснимые оскорбления в мой адрес. Но не только это: Пауль Ре скрывал от меня и то, как яростно, вплоть до разжигания ненависти, подстрекали против меня его семью, при этом особую роль сыграла и болезненная ревность его матери, не желавшей ни с кем делить сына.

Много позже Ницше, кажется, сам выражал недовольство слухами, которым он же и дал повод; наш близкий знакомый Генрих фон Штайн[20] поведал нам о следующем эпизоде, случившемся в Сильс-Мария, где он, получив предварительно наше согласие, навестил Ницше. Он пытался уговорить Ницше устранить недоразумения, возникшие между нами тремя; но Ницше, покачав головой, ответил: "Тому, что я сделал, нет прощения".

В дальнейшем я тоже стала пользоваться методом Пауля Ре – держаться подальше от всего этого, ничего не читать на эту тему[21] и не обращать внимания как на враждебные выпады со стороны семьи Ницше, так и на выходившую после его смерти литературу о нем. Свою книгу "Фридрих Ницше в своих произведениях"[22] я писала еще совершенно беспристрастно, побуждаемая только тем, что с ростом популярности философа многие молодые литераторы ошибочно интерпретировали его книги; мне самой духовный облик Ницше открылся только *после* личного общения с ним; я хотела лишь одного: способствовать пониманию фигуры Ницше, опираясь на свои *объективные* впечатления о нем. Я старалась запечатлеть его образ таким, каким он открылся мне после чистого, праздничного общения с ним.

Между тем Пауль Ре и я поселились в Берлине. Первоначальный замысел – переехать в Париж – пришлось отложить, а затем и вовсе отказаться от него из-за болезни и смерти Ивана Тургенева; в Берлине в полной мере осуществилась наша мечта о духовной общности в кружке молодых философов, большей частью доцентов; в течение многих лет кружок то расширялся, то менялся состав его участников. Пауля Ре в этом кружке называли "придворной дамой", меня – "вашим превосходительством" – так было написано в моем русском паспорте. (По обычаям этой страны я, как единственная дочь генерала, унаследовала его титул.) Даже когда мы на лето покидали Берлин, к нам на время университетских каникул приезжали некоторые из наших друзей.

Помнится, особенно счастливым было лето в Челерине в Верхнем Энгадине[23], где мы вместе жили у Мюллеров и откуда Пауль Ре и я уехали на юг поздней осенью, с первым снегом; еще не было железной дороги, и мы, единственные пассажиры, разместились в почтовом ландо, в зимнее время заменявшем омнибус; так, без помех, неторопливо, точно предвосхищая теперешние путешествия владельцев автомобилей, мы спустились до Меран-Боцена, по желанию останавливаясь на отдых то в солнечные дни, то в лунные ночи.

Хотя мы много путешествовали, наших денег нам вполне хватало. Из пенсии мамы я получала ежемесячно 250 марок. Пауль, что меня весьма трогало, вкладывал в нашу общую кассу ровно столько же. Когда приходилось туго, мы учились экономно вести хозяйство; это доставляло удовольствие и приносило мне восторженные письма от Георга, брата Пауля и распорядителя его состояния: он не мог нарадоваться тому, что Пауль стал жить скромнее и больше не досаждал ему просьбами прислать денег.

Однажды мы попытались провести часть зимы в Вене, где мой брат Евгений учился несколько семестров у Нотнагеля[24]; но из этого ничего не вышло по довольно смешной причине: если в Берлине мы часто сталкивались с некоторым чопорным недоверием со стороны тех, кто сдавал нам наши три комнаты, то в Вене нас встретили с таким явным и сердечным одобрением нашего не вызывающего у них сомнения любовного союза, что "видимость порока", которой так боялась Мальвида, забавным образом обернулась своей положительной стороной. Следуя мудрому совету Пауля Ре (мужчины в роли "придворных дам" всегда более компетентны, чем женщины), мы и в Берлине общались только в собственном кругу и в кругу близких нам друзей, избегая семейств и тогдашней богемы, тем более что в "беллетристике" я была совершенно неискушенным человеком.

Но так уж случилось, что именно тогда, в Грис-Меране, я написала свою "первую книгу"[25]. Поводом послужила попытка вернуть меня на родину, и наш дружеский кружок решил, что разрешение на пребывание за границей можно получить только для написания книги; и действительно, я добилась своего, правда, при условии, что моя фамилия не будет упомянута; поэтому в качестве псевдонима я выбрала имя своего голландского друга юности и свое собственное (которое он когда-то дал мне вместо трудно выговариваемого русского). Удивительным образом книга Генри Лу "В борьбе за Бога" получила самую лучшую прессу, которую я когда-либо имела, в том числе и от братьев Генриха и Юлиуса Гартов[26], с которыми я близко познакомилась позже, но тогда я лишь посмеялась над их отзывами; сама-то я хорошо знала, ради какой чисто практической цели родился этот опус; книга состояла из моих петербургских заметок, а когда выяснилось, что их недостаточно, я использовала давно состряпанную новеллу в стихах, переделав ее в прозу.

Среди людей, нас окружавших, были представители разных специальностей: естествоиспытатели, ориенталисты, историки и — не в малом количестве — философы. Сначала кружок образовался вокруг Людвига Галлера[27], который после долгого молчания и напряженного труда в Шварцвальде спустился к нам с рукописью в руках и выступил в очень узком кругу с докладом, познакомив нас со своими достижениями и проблемами в сфере метафизики; после публикации своего сочинения ("Всё во всех. Металогика, метафизика, метапсихика") он, когда плыл на пароходе в Скандинавию, добровольно выбрал смерть и прыгнул в море — шаг, который можно объяснить только мистической подоплекой.

То, что философия тревожила и подхлестывала мыслящих людей, зависело и от особого умонастроения эпохи. Великие посткантовские системы, вплоть до правых и левых последователей Гегеля, утрачивали свое значение, но прежде ощутимо сталкивались с противостоящим им духом так называемого "дарвинистского столетия", XIX века. Наряду с принципиально трезвым и деловым образом мыслей, у которого была масса приверженцев, распространялись и пессимистические настроения, иногда скрытые в глубине раздумий, иногда открыто декларируемые и намеренно раздуваемые. Это была все еще крайне идеалистическая реакция на попытки "обезбоживания" мира: во имя "истины" многое совершенно искренне приносилось в жертву. Пожалуй, можно даже говорить о *героическом* периоде в жизни тех, кто интересовался философией; этот период закончился только тогда, когда (благодаря более чистому и строгому отделению научной "истины" от субъективных примесей из поэзии и правды) служение истине стало ограничивать себя все более скромными сферами, которые вполне могли обходиться без высокопарных словес. Душевный склад человека сам стал объектом изучения, открылся для постижения собственными силами — как в своих способах воздействия, наложивших глубокий отпечаток на строгое научное познание, так и в своем несомненном праве на живое дополнение и наполнение того, что поддается научному изучению. Под влиянием настроений времени строгая логика обернулась строгостью психологии. Безропотное подчинение логике сменилось целым столетием самоунижения исповедями — особым чувством превосходства при констатации человеческой неполноценности.

Даже в нашем кружке, который с годами то уменьшался, то прирастал, не все хорошо знали того, чье собрание афоризмов принесет психо-

логизирующему направлению в философии мировую известность, — Фридриха Ницше. И все же он скрытно, невидимо присутствовал среди нас. Разве не сталкивался он с той же самой взбудораженностью душ, которые внутренне *переживали* то, что давалось им или отнималось у них рассудком, и которые проходили через свои радости и горести посреди самых что ни на есть материальных испытаний духа? И разве не гений Ницше придал этому *выразительную мощь*? Разве не потому слились в нем воедино поэт и ученый, что душевные потрясения и тяготы побуждали его к неимоверному напряжению сил?

Однако наряду с тем, что обеспечило идеям Ницше такой огромный резонанс в духовной жизни той эпохи, да и последующих эпох, обозначилась несхожесть с воззрениями наших тогдашних друзей. Как бы поразному они ни относились к существенным для них вопросам — в *одном* они были едины: в оценке своей объективности, в стремлении отделять свое душевное волнение от познающей воли, от достижений науки, видеть в этом волнении только свое личное дело.

Что касается Ницше, то его душевное волнение, глубина его страданий превратились в плавильную печь, в которой обретала форму воля к познанию; таким обретением формы в калильном жару можно считать его Полное собрание сочинений; поэзия здесь существеннее его истин, которые он не считал неизменными, но в то же время с почти женской увлеченностью полагал, что теоретически все они принадлежат к одному направлению. Вплоть до его пророчеств, до учения Заратустры, до идеи сверхчеловека и Вечного возвращения, где он сам расщепляет себя на великого страстотерпца и великого властелина — Бога. До того момента, когда можно было сказать, что он достиг своего в "поэзии и правде"; но затем исследователь в нем ставил себе предел, отрекался от себя, опускал перед собой занавес, который его страждущая и жаждущая определенности душа разрисовала столь грандиозно и столь причудливо, что он никогда более не поднимался и не давал свободы взгляду.

Для меня, как и для многих других, именно это противоречие между Ницше и нами было самым благотворным из всего, что меня тогда окружало: здесь был здоровый, чистый климат, к которому я тянулась и который делал Пауля Ре моим духовным товарищем даже тогда, когда он трудился над своим в общем-то не очень глубоким сочинением "Зарождение совести", а я, погруженная в работу духа, была внутренне ближе к некоторым членам кружка, чем к нему. (Назову, к примеру, Фердинанда Тённиса и Германа Эббингхауса[28])...

Судьба свела меня с Паулем Ре не на короткое время, а навсегда. Наша решимость не бояться неодолимых противоречий напрямую зависела от его душевного склада, благодаря которому он стал для меня благороднейшим, единственным спутником из тысяч других. Многое из того, что я по своей неопытности и наивности считала естественным и само собой разумеющимся, было исключительным свойством его натуры; я имею в виду в первую очередь его неизменную доброту; я сначала и не догадывалась, что она покоится на его тайной ненависти к самому себе, что его абсолютная преданность человеку совершенно иного склада "самоотверженно" воспринималась им как радостное избавление от собственных комплексов. И действительно, Пауль Ре из меланхолика и пессимиста, который в юности заигрывал с мыслями о самоубийстве, превратился в уверенного в себе, веселого человека; его юмор давал се-

бя знать во всем, и если от пессимизма еще кое-что оставалось, то проявлялось это в любезном отношении к людям, в том, что из повседневных разочарований, раздражавших или удивлявших других, он старался замечать только те, которые опровергали его мрачные ожидания. Поэтому невротическая подоплека его характера оставалась для меня скрытой, хотя он сам часто с грустью признавался во всевозможных пороках. Только когда мне еще раз довелось увидеть, как он предается своей страсти игрока, — для меня прояснилась связь между Ре-игроком, каким я впервые увидела его в Риме, и его подлинной натурой, какой она представляется мне сегодня. Еще и сегодня меня охватывает грусть при мысли, какое облегчение испытал бы он, появись учение Фрейда о глубинной психологии несколькими десятилетиями раньше и испытай он его на себе. Он не только обрел бы самого себя, но ощутил бы потребность, как никто другой, посвятить себя служению этому великому открытию нового столетия; только *оно* смогло бы до конца развить его интеллектуальные возможности.

Когда я обручилась с Андреасом, это обстоятельство не должно было что-либо изменить в нашем союзе. С этим — как с неизбежным фактом — пришлось примириться моему будущему мужу. Пауль Ре тоже сделал вид, что верит, будто мое обручение нас не касается; но чего ему очень недоставало, так это веры, что он действительно может быть любим... Поэтому, несмотря на наше откровенное объяснение наедине (он поставил условием некоторое время не видеть моего мужа и не разговаривать с ним), в наших отношениях появилась трещина[29]. Пауль Ре тогда взялся за изучение медицины и жил один, так как ему нужно было с раннего утра работать в анатомичке (мы даже подумывали, не заняться ли медициной и мне, но со смехом убедили себя, что это едва ли нужно двоим, которые намерены никогда не расставаться).

Тот последний вечер, когда он ушел от меня, всегда будет гореть неугасающим огнем в моей памяти. Он ушел поздно, спустя несколько минут вернулся, сказав, что на улице проливной дождь. Побыв немного, ушел снова, но вскоре еще раз вернулся, чтобы взять какую-то книгу. Когда он ушел, уже наступило утро. Я выглянула в окно и застыла в изумлении: над сухими улицами с безоблачного неба светили тускнеющие звезды. Отвернувшись от окна, в свете лампы я увидела свою маленькую детскую фотографию, подаренную мной Ре. Рядом с ней лежал клочок бумаги, на котором было написано: “Будь милосердна, не ищи”.

Исчезновение Пауля Ре пришлось, как и следовало ожидать, по душе моему мужу, лучший вариант трудно было придумать, хотя он деликатно молчал об этом. Зато я в течение многих лет не могла избавиться от чувства вины за то, чего — я это знала — не должно было случиться. Когда по утрам я просыпалась в тоске, значит, во сне что-то помешало нам с Паулем встретиться. Самый жуткий сон был такой: я среди друзей, они радостно кричат мне, что и Пауль с ними. Я осматриваю их всех и, не обнаружив Пауля, заглядываю в гардеробную. Там я вижу незнакомого толстяка, он спокойно, сложив руки на животе, сидит, прячась за вешалкой. Заплывшие жиром глаза почти не видны, черты лица едва различимы, кажется, будто это и не лицо вовсе, а застывшая маска. “Не правда ли, — довольным тоном говорит он, — таким меня никто не узнает”.

Пауль Ре закончил начатый курс медицины; позже он удалился в Челерину, что в Верхнем Энгадине, где стал лечить бедняков. Во время прогулки в горах, недалеко от Челерины, он сорвался и разбился насмерть[30].

С *Райнером*

В начале 1897 года мы с Фридой фон Бюлов[31] поселились в так называемых "княжеских домах" на улице Шеллинга в Мюнхене; там я однажды получила по почте стихи, автор которых себя не назвал. По почерку первого письма, полученного от Рильке, с которым на одном театральном вечере нас познакомил Якоб Вассерман, я узнала автора. Он прочитал мне и другие свои стихотворения, среди них "Видения Христа"; судя по замечаниям, высказанным в том первом письме, он относился к циклу весьма негативно. Хотя некоторые из стихотворений были опубликованы в журнале "Гезельшафт", да и кое-кто еще читал их, но годы спустя нам так и не удалось обнаружить этот цикл, несмотря на все старания издательства "Инзель", так что можно считать его утерянным.

Прошло совсем немного времени, и Рене Мария Рильке превратился в Райнера[32]. Мы с ним покинули город, чтобы подыскать себе жилище поближе к горам, еще раз сменили наш домик в Вольфратсхаузене, в котором вместе с нами жила Фрида. Во втором доме, пристроенном пря-

Райнер Мария Рильке

мо к склону горы, нам предоставили комнаты над коровником; на фотографии, которую мы там сделали, должна была фигурировать и корова, но она так и не выглянула из оконца хлева, перед которым стоит старая крестьянка; непосредственно над крышей видна дорога, ведущая в горы; над домом развевается наш флаг из грубого полотна, на котором большими буквами написано "Луфрид", его изготовил Август Эндель, который вскоре подружился с Райнером; он же помог нам с помощью красивых одеял, подушек и разной утвари уютно устроиться в трех смежных комнатах. Ближе к осени ненадолго приехал мой муж, а с ним Лотта, наша собака; иногда к нам наведывался Якоб Вассерман, бывали и другие; еще в первый домик захаживал приехавший из Санкт-Петербурга один русский (правда, недоброй памяти), который давал мне уроки русского языка.

Совсем еще молодой Райнер, к тому времени уже написавший и опубликовавший поразительно много стихотворений и рассказов, издававший журнал "Вегвартен", по виду отнюдь не производил впечатления будущего большого поэта, каким он вскоре станет, но резко выделялся своеобычностью характера. При этом с самого начала, уже с раннего детства, он предвидел неотвратимость своего поэтического призвания и никогда в этом не сомневался. Но именно потому, что он страстно и непоколебимо верил в свою мечту, ему даже в голову не приходило переоценивать уже созданное им; оно всего лишь служило побуждением к новым попыткам самовыражения; техническая сторона дела, мучительные поиски нужного слова почти неизбежно вызывали у него переизбыток чувств, надежду, что преодолеть формальное несовершенство поможет "чувствительность". Эта "чувствительность" не согласовывалась с его характером; она, можно сказать, диктовалась чисто технической необходимостью. Кроме того, она была следствием огромной уверенности в своем даре, в том, что он способен *утвердить себя* в поэзии. Когда, например, бывший с ним в дружеских отношениях Эрнст фон Вольцоген в одном из писем в шутку обратился к нему "Пречистый Райнер, непорочная Мария", то это не означало, что душевному строю Райнера были присущи женственно-детские черты, наоборот, он отличался своеобразной мужественностью и какой-то несокрушимо-нежной властностью. Этому не противоречило даже его скорее робкое отношение к чужим и потому опасным для него влияниям: оно, по мнению Райнера, имело касательство не столько к нему самому, сколько к тому, что было ему вверено и что он призван был оберегать. Это обеспечивало свойственную ему неразрывность мысли и чувства, взаимопроникновение того и другого: человек в нем легко и быстро растворялся в художнике, а художник – в человеке. Где бы ни охватывало его поэтическое вдохновение, оно было целостным, совершенно не умевшим расщепляться на составные части, не ведавшим сомнений, колебаний и разлада (если не считать недовольства еще незрелой поэтической техникой). Райнеру в ту пору было в высокой степени присуще то, что называют "мужской грациозностью" – утонченность и одновременно простота, неистощимость гармонических проявлений его существа; он тогда еще мог смеяться, мог просто и бесхитростно верить, что жизнь не обойдет его своими радостями.

Когда сегодня вспоминаешь более позднего Рильке, уверенного в своем уже приближающемся к совершенству искусстве, то становится абсолютно ясно, почему это стоило ему душевной гармонии. Без сомне-

ния, если смотреть вглубь, во *всяком* творческом процессе кроется такая опасность, такое соперничество с жизнью — для Райнера особенно непредсказуемое и грозное, так как его дарование было направлено на то, чтобы в лирике выразить невыразимое, силой своего поэтического дара высказать "несказанное". Поэтому позже с ним случилось так, что саморазвитие, с одной стороны, и развитие творческой гениальности — с другой, не поддерживали друг друга, а шли в почти противоположных направлениях; притязания искусства и полнота человеческого бытия тем сильнее вступали в противоречие, чем совершеннее были его художественные творения. Этот трагический поворот вызревал в нем все более неотвратимо.

Мы познакомились на людях, потом предпочли уединенную жизнь втроем, где все у нас было общим. Райнер делил с нами наш скромный быт в Шмаргендорфе, недалеко от Берлина, у самого леса, откуда по лесной дороге за две минуты можно было дойти до Паульсборна, и когда мы шли босиком по лесу — этому научил нас мой муж, — косули доверчиво подходили к нам и тыкались носом в карманы пальто. В маленькой квартирке, где кухня была единственным — если не считать библиотеки моего мужа — помещением, приспособленным для жилья, Райнер нередко помогал готовить, особенно когда варилось его любимое блюдо — русская каша в горшке или борщ; он отвык от изысканности в пище, а ведь раньше страдал от любых ограничений и жаловался на нехватку денег; в синей русской рубахе с красным орнаментом он помогал колоть дрова и вытирать посуду, при этом мы без помех занимались нашими делами. А занимались мы многим; усерднее всего он, давно уже погрузившийся в мир русской литературы, изучал русский язык и русскую культуру, особенно после того, как мы всерьез задумали большое путешествие в Россию[33]. Какое-то время наши замыслы совпадали с планом моего мужа предпринять поездку в Закавказье и Персию, но из этого ничего не вышло. Незадолго до Пасхи 1899 года мы втроем отправились в Петербург, к моим родным, а затем в Москву; только год спустя мы с Райнером объездили Россию и познакомились с ней более обстоятельно.

Хотя мы не сразу наведались в Тулу, к Толстому, фигура писателя стала для нас как бы въездными воротами в Россию. Если раньше Достоевский раскрыл перед Райнером глубины русской души, то теперь именно Толстой, в силу мощи и проникновенности его таланта, воплощал в себе — в глазах Райнера — русского человека. Эта вторая встреча с Толстым[34] в мае 1900 года состоялась уже не в его московском доме, как во время первого нашего путешествия, а в имении Ясная Поляна, расположенном в семнадцати верстах от Тулы. По-настоящему узнать его можно было только в деревне, не в городе, не в комнате, даже если она обставлена по-деревенски и отличается от других покоев графского дома, даже если хозяин непринужденно выходит к гостям в собственноручно заштопанной блузе, занят каким-нибудь рукодельем или за семейным столом ест щи да кашу, в то время как другим подают более изысканные блюда.

На сей раз самое сильное впечатление у нас осталось от короткой *прогулки* втроем. После вопроса Райнеру "Чем вы занимаетесь?" и его немного робкого ответа: "Лирикой", на него обрушилось темпераментное обличение всякой лирики. Но выслушать Толстого со всем вниманием нам, когда мы выходили со двора, помешала любопытная картина. Какой-то крестьянин, пришедший издалека, седой старец, приблизился к

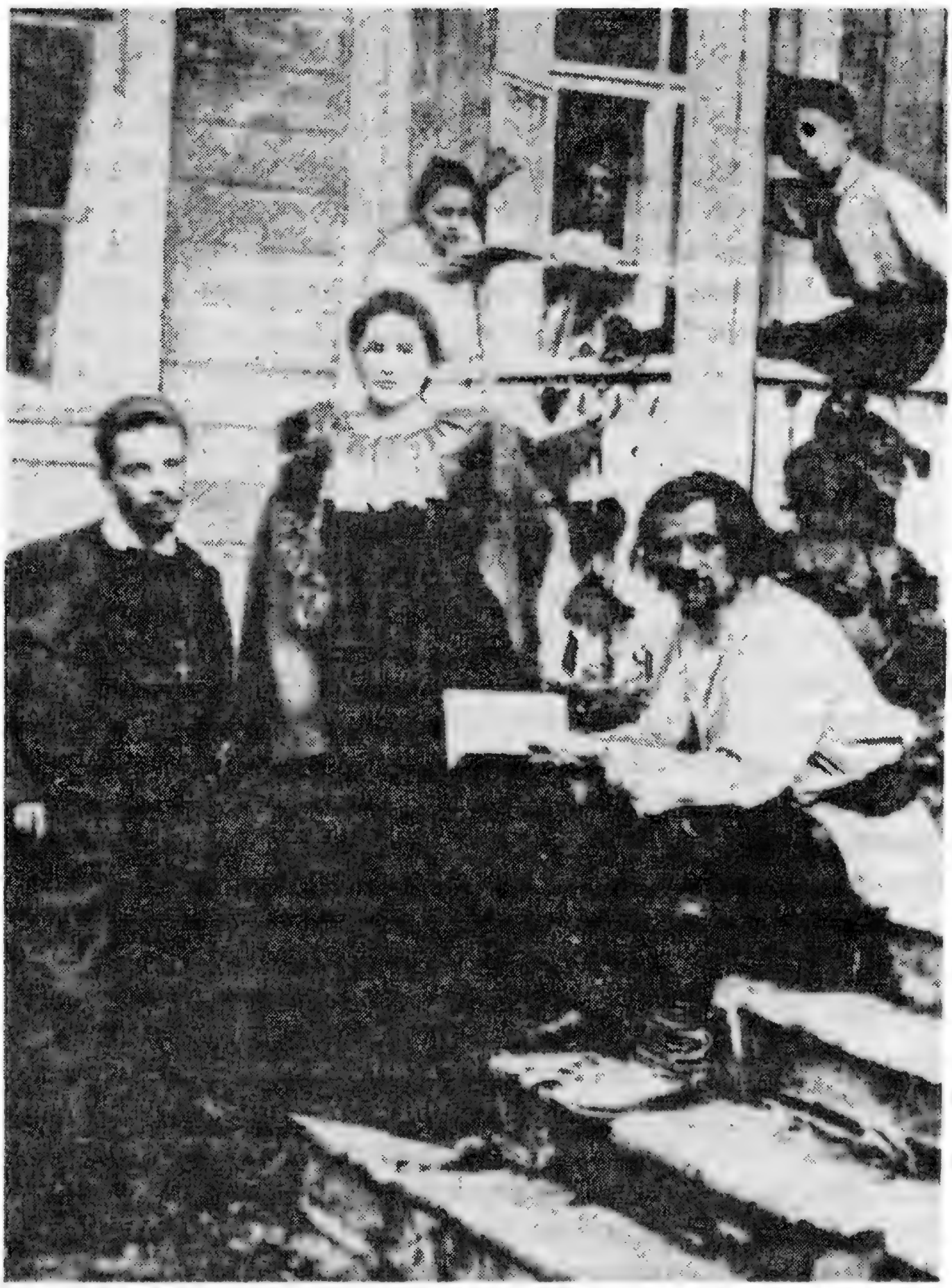
нам и, без устали сгибаясь в поклонах, почтительно приветствовал другого старца, Толстого. Он не просил милостыни, а только кланялся, как и многие другие, часто приходившие издалека с одной только целью: еще раз увидеть свои церкви и свои святыни. Пока Толстой, не обращая на него внимания, шел дальше, мы напряженно прислушивались к словам того и другого, но глаза наши были прикованы только к великому писателю; каждое движение, поворот головы, малейшая заминка в быстрой ходьбе "говорили": перед нами Толстой. Луга ранним летом были усеяны цветами — высокими и яркими, какие встречаются только на русской земле; даже под сенью деревьев слегка заболоченная почва была усыпана необыкновенно большими незабудками. Так же глубоко, как эти яркие цветы, врезалось в мою память и то, как Толстой, не переставая живо и поучительно говорить, вдруг стремительно наклонился, раскрытой ладонью — так обычно ловят бабочек — схватил и сорвал пучок незабудок, крепко прижал их к лицу, точно собираясь проглотить, и затем небрежно уронил на землю. Все еще едва слышно звучали доносившиеся издалека почтительно-приветственные слова мужичка; из их потока можно было разобрать только: "...что довелось тебя увидеть..." И я присоединила к ним такие же благодарные, приветственные слова: "...что довелось тебя увидеть..."

Должно быть, именно эта встреча дала повод Райнеру с преувеличенным вниманием всматриваться в каждого встречного мужичка, ожидая увидеть в нем сочетание простоты и глубокомыслия. Порой его ожидания оправдывались. Так однажды при осмотре Третьяковской картинной галереи с нами рядом оказалась группа крестьян. Перед большой картиной "Стадо на пастбище" один из них недовольно произнес: "Подумаешь, коровы! Мало мы их видели?" Другой лукаво возразил: "Они потому и нарисованы, чтобы ты их увидел... Ты любить их должен, вот почему они нарисованы, вишь ты. Любить должен, а тебе, вишь ты, нет до них дела". Вероятно, удивленный своим собственным объяснением, мужичок вопросительно посмотрел на стоящего рядом Райнера. Надо было видеть, как отреагировал Райнер. Он внимательно посмотрел на мужичка и ответил на своем плохом русском: "*Тебе знать это*".

Наконец мы очутились там, где, как казалось Райнеру, ему на каждом шагу будет попадаться то, ради чего тоска пригнала его сюда, — среди людей и ландшафтов на Волге. Мы плыли вверх по течению, с юга на север, и сошли на берег за Ярославлем. Здесь нам довелось пожить некоторое время в русской избе[35]. Пересаживаясь с парохода на пароход, мы нашли ее в глубинке — новую, пахнущую смолой, с перекрытием из неошкуренных березовых бревен; молодая пара построила ее рядом с уже потемневшими, задымленными жилищами, а сама отправилась на заработки. Скамейка вдоль стен, самовар, широкий тюфяк, набитый специально для нас свежим сеном, — вот и вся обстановка; в пустом сарае рядом — еще охапка соломы в качестве постели, хотя крестьянка из соседней избы чистосердечно заверила, что и первый тюфяк достаточно широк для двоих... Мы несколько раз сходили на берег с пароходов, плывущих по Волге. Бывали в гостях у точно таких же крестьян и даже гостили у крестьянского поэта Дрожжина[36] в его избе. Несколько книг можно было бы написать о том, что мы увидели в России. Нам казалось, мы провели здесь годы, хотя на самом деле это были дни, недели, едва ли месяц. Но все слилось в *один* час и в образе *одной* избы — и виделось

нам каждый раз одно и то же: как мы ранним утром сидим на пороге, кипящий самовар стоит на полу, а мы весело наблюдаем за курами, которые с таким любопытством подходили к нам от соседних сараев, точно хотели лично предложить яйца к завтраку.

"Изба, встреченная нами в пути", и в самом деле символизирует то, что было для Райнера землей обетованной, Россией. Одна из этих изб, сложенных из березовых бревен, с резным щипцом, стены которой времена года, сменяясь, насыщали чистыми естественными красками, то темными, то светлыми, и стала тем "местом", "местом отдыха", о котором ему мечталось перед началом путешествия, которое ему потребовалось, чтобы свершить *свое*. Здесь обитал народ, чьим уделом были нужда и нищета, но в характере которого покорность *соединилась* с уверенностью в своих силах; Райнер тоже изначально чувствовал в себе настоятельное внутреннее призвание, подчинявшее себе все, что бы с ним ни происходило. Уделом, судьбой этого народа был "Бог". Не небесный вседержитель, облегчающий тяготы жизни, а ближайший покровитель, оберегающий от окончательной гибели, — русский бог Лескова, обретающийся "в левой подмышке"[37].



Рильке, Дрожжин и Лу Андреас-Саломе в Новинках

Переживание Фрейда

Два резко противоположных жизненных впечатления способствовали моей восприимчивости к глубинной психологии Фрейда[38]: глубоко пережитое ощущение своеобычности и неповторимости внутренней жизни каждого человека — и то, что я выросла среди народа широкой душевной щедрости. О первом впечатлении я здесь говорить не буду. Второе связано с Россией.

Относительно русских нередко говорили, и сам Фрейд перед войной, когда заметно возросло число его русских пациентов, утверждал то же самое, а именно, что у этого "материала", как больного, так и здорового, наблюдается обычно редко встречающееся соединение двух особенностей: простоты внутренней структуры и способности в отдельных случаях словоохотливо раскрывать сложные, трудно поддающиеся анализу моменты душевной жизни. Точно такое же впечатление издавна производила и русская литература, причем не только у великих художников, но и у писателей средней руки (отчего она утрачивала строгость формы): в ней с почти детской непосредственностью и глубокой искренностью рассказывается о последних тайнах развития, словно оно, это развитие, здесь быстрее проходит путь из первозданных глубин к сфере осознания. Когда я думаю о типе человека, открывшегося мне в России, я хорошо понимаю, что делает его легко поддающимся нашему "анализу" и в то же время заставляет быть более искренним по отношению к самому себе — наслоения вытесненных инстинктов, которые у народов с более древней культурой тормозят прохождение импульсов от первоначальных впечатлений к их последующему осознанию, у него тоньше, рыхлее. Отсюда понятнее главная, основная проблема практического психоанализа. Она заключается в том, какая часть нашего общего инфантильного осадка *обусловливает* естественный рост, а какая вместо этого способствует болезненному сдвигу назад — от уже достигнутого уровня осознания к так и не преодоленным до конца ранним стадиям.

С точки зрения своего исторического развития психоанализ представляет собой *практическую лечебную методику*; я пришла к нему как раз в тот момент, когда открылась возможность по состоянию больного человека судить о структуре здорового: болезненное состояние позволяло четко, точно под лупой, увидеть то, что в нормальном человеке почти не поддается расшифровке. Благодаря бесконечной осмотрительности и осторожности методологического подхода аналитические раскопки слой за слоем вскрывали все более глубокие залежи первоначальных впечатлений, и начиная с самых первых грандиозных открытий Фрейда, его теория подтверждала свою неопровержимость. Но чем глубже он копал, тем больше выяснялось, что не только в патологическом, но и в здоровом организме психическая основа представляет собой настоящий склад того, что мы называем "жадностью", "грубостью", "подлостью" и т. д., короче, всего самого худшего, чего мы больше всего стыдимся; даже о мотивах руководящего нами разума вряд ли можно выразиться лучше, чем это сделал Мефистофель[39]. Ибо если постепенное развитие культуры и уводит человека — через беды и уроки практического опыта — от этих качеств, то только вследствие ослабления инстинктов как таковых, то есть вследствие утраты силы и полноты жизни, и в конце концов от человека остается только изрядно истощен-

ное существо, по сравнению с которым лишенное всякой культуры создание напоминает "крупного землевладельца" и потому больше нам импонирует.

Вытекающая из такого положения вещей мрачная перспектива — вряд ли менее печальная с точки зрения здорового человека, чем с точки зрения больного, который, по крайней мере, мечтает о выздоровлении, — видимо, оттолкнула от глубинной психологии еще больше людей, так как порождала в них пессимизм, схожий с пессимизмом почти безнадежного больного, которого эта психология собиралась излечить от болезни.

Выражая свое личное мнение на сей счет, должна прежде всего сказать, что я очень многим обязана этой ранней духовной позиции психоанализа, привычке не поддаваться всеобщим утверждениям о неутешительных результатах, строгой установке на точное исследование каждого отдельного объекта и особого случая, каким бы ни был результат исследования.

Это было как раз то, в чем я нуждалась. Мои глаза, еще полные предшествующих впечатлений, позволявших увидеть на примере более примитивного народа затаившуюся в глубине каждого из нас неизгладимую детскую непосредственность, которая остается нашим тайным богатством даже после достижения всех ступеней зрелости, должны были отвлечься от всего этого и заняться кропотливым изучением конкретного человеческого материала; я должна была так поступить, чтобы не увлечься так называемой "приятной психологией", ослеплявшей и потому бесперспективной, не дававшей выхода к действительности, а лишь позволявшей нам топтаться в саду наших собственных желаний. У меня нет сомнений, что нечто подобное — хотя и с иных исходных позиций — создавало нам врагов и отнимало у нас сторонников; я имею в виду саму по себе вполне естественную потребность не оставлять в подвешенном состоянии то, на что хочется получить ответ, точнее, на что заранее известен благоприятный ответ.

Надо полагать, так будет и тогда, когда самые "непристойные" психоаналитические разоблачения давно станут для людей привычными и безобидными. В самом деле, когда в вопросах прикладной логики пытаются мыслить "без примеси инстинктов", однако, переходя в область так называемых "гуманитарных наук" с их неизбежным делением на наблюдателя и предмет наблюдения, стараются вставить в результат исследования — якобы ради его лучшего усвоения — и свое собственное словцо, то все это выглядит вполне оправданным.

Именно поэтому психоанализу и пришлось так долго ждать своего основателя — человека, который *захотел* увидеть то, что до него старательно обходилось стороной. Только у него хватило мужества (не вымученной решимости и тем более не любви ко всяким мерзостям) отвлечься от мысли, что ему грозит опасность столкнуться с чем-то непристойным и отталкивающим; его работа была *санкционирована* тем обстоятельством, что все, что он обнаруживал, существовало на самом деле, было данностью; интеллектуальная подвижность, исследовательская любознательность Фрейда получала из глубин его существа такой мощный заряд любви и творческой энергии, что его ничуть не интересовало, какое место в шкале ценностей отведут его открытию люди. Чистота (то есть незамутненность второстепенными проблемами и побочными побуждениями) профессиональной преданности делу породила

прямоту и беспощадность точного метода познания, не останавливающегося даже перед тем, что респектабельно скрывалось от посторонних глаз.

В результате получилось так, что именно рационалист, ученый, без остатка преданный рациональному началу, косвенным образом раскусил уловки и увертки начала иррационального. Открытое им новое явление он демонстративно назвал "бессознательным" — словом, которое в немецком языке несет в себе момент отрицания ("неосознанное").

По Фрейду, ничего так не проясняет ситуацию, как стремление до тех пор следовать склонности к психологическому анализу, пока бессознательное, будучи само по себе недоступным для сознания, не воспримется этим сознанием как *телесное* воплощение зла; в этом качестве оно еще не хочет открываться нашему привычно цензурирующему образу мыслей. Вероятно, потому и возникло злобно-возмущенное поношение "сексуальности", на которой ставит акцент бессознательное, что это слишком сильно напоминает нам, считающим себя людьми неординарными, о том, каким в высшей степени ординарным образом мы связаны со всем, что дано нам извне и противостоит нашей осознанной внутренней жизни; ибо тело — это та часть внешнего мира в нас, которой нам не дано избежать.

Мне всегда казалось, что в основе всех этих поношений лежит слишком большое внимание человека к *телесному* в себе, которое определяет его существование, но с которым он никак не может идентифицировать себя, когда дело касается проблем духа и души. Чем выше уровень нашего сознания, тем неизбежнее мы противопоставляем себя всему, что можно постичь только извне, с точки зрения другого; точно так же обстоит дело и с нашей телесностью — отсюда ее принципиальное обесценение в наших глазах. (Всем течениям древней метафизики было в этом смысле проще: внешнее и внутреннее в них еще так неотвратимо и сознательно не противопоставлялось друг другу, их еще можно было перепутать, как это и в наши дни делают маленькие дети.)

Наряду с неслыханной враждебностью извне, превратившей творчество Фрейда в жертвоприношение, наряду с насмешками и злобой современников Фрейду приходилось выносить и *внутреннюю* борьбу — твердо и с полной самоотдачей следовать только тому, что он считал правильным, даже если это противоречило его натуре или даже шло вразрез с его вкусами. Если сравнить эту жертвенность с жертвами иного рода — теми, что исследователи приносят науке в ущерб собственной жизни и здоровью, то в случае с Фрейдом речь идет о сходном *душевном* процессе, о решимости, готовности, если потребуется, вылезть, так сказать, из собственной кожи, ничуть не беспокоясь о том, что за создание с содранной кожей появится в результате на свет.

Ибо Фрейд-мыслитель и Фрейд-человек в их личностном проявлении — это две ипостаси, объединенные в целое жертвенностью. Он вряд ли стал бы отрицать, что не сбылись его надежды на постепенное использование результатов его исследовательской работы биологической наукой или что он находил скорее удовольствие, нежели неприятность в том, какой труднодоступной, чопорной красавицей оказалось его "бессознательное" — то самое, с которым метафизики всех времен позволяли себе в высшей степени запретные интимные заигрывания.

Без сомнения, именно таким рационалистом знают Фрейда по его научным трудам (и не только по ним), где он — с философским или под-

черкнуто антифилософским уклоном, это не имеет значения — в отличие от других авторов приходит к рациональным выводам, которые он умеет отделять от выводов чисто психологических. Лично он предпочел бы подходить сугубо рационалистически к положениям, выходящим за рамки точных определений, или же, пожав плечами, не обращать на них особого внимания.

Учение Фрейда требует от нас только одного: чтобы мы были чуть терпеливее и сдерживали нашу жажду познания, чтобы мы, не считаясь с собой, сохраняли ту же честность мысли, которую нам удалось столь успешно усвоить применительно к вещам внешнего мира. Мы можем со спокойной совестью признаться — Фрейд ведет нас к самому низу вещей! Но сперва следует признать и *то*, что вводит нас на равных в целостность бытия, не интересуясь при этом, чем и как мы на фоне данной целостности выделяемся. Что до тормозящего воздействия, все усиливающегося в процессе становления культуры нашего сознания, то оно представляет собой нелепейший из всех "сословных предрассудков", охотно предпочитающий общей для всей целостности исходной почве вымышленные воздушные замки, надеясь обрести в них спасение. В этой крайне щекотливой, ставшей из-за нашей заносчивости болезненной и сверхчувствительной ситуации не в состоянии ничего изменить даже наши высокоразвитые мыслительные способности. Изменить может только революция в мышлении, когда *по*знание уступает место *при*знанию.

Воспоминание о Фрейде (1936)

К осени 1911 года я, возвращаясь домой после поездки в Швецию, оказалась на психоаналитическом конгрессе в Веймаре и встретилась с Фрейдом, он высмеял меня за неукротимое желание заняться изучением его психоанализа, ибо в то время еще никто и не думал о центрах для

Зигмунд Фрейд

подрастающего поколения, подобных тем, что было решено создать в Берлине и Вене.

Когда я, после полугодичной самостоятельной подготовки, снова предстала перед ним в Вене, он опять от души посмеялся надо мной, наивной, так как я сообщила ему, что собираюсь заниматься еще и с Альфредом Адлером, превратившимся в его смертельного врага. Он добродушно согласился с этим при условии, что я не стану упоминать о нем там, а об Адлере, наоборот, здесь, в его окружении. В результате Фрейд узнал о моем выходе из кружка Адлера только несколько месяцев спустя. Но то, о чем я хочу рассказать, относится не к созданию каких-либо теорий, ибо даже самая захватывающая из них не смогла бы отвлечь меня от того, что содержалось в открытиях Фрейда.

Отвлечь от этих "находок" не смог бы даже самый блестящий теоретик-толкователь; их значение не дано умалить даже неудачным или несовершенным интерпретациям самого Фрейда. Теории, которые в то время только начинали складываться, служили ему необходимым средством взаимопонимания между сотрудниками, и если они *у него* рождались, то обязательно обретали черты его образа мыслей, отличавшегося научной точностью и строгостью.

Если бы я попыталась рассказать, что вело мысль Фрейда к его открытиям, то он высмеял бы меня в третий раз, так как сделать это было бы ничуть не легче, чем зафиксировать своеобразие таланта, присущее руке живописца или пальцам скульптора. Ведь проявлялось оно *в чем-то конкретном*, в мимолетном облике конкретного живого человека, точнее, во взгляде на этого человека, — взгляде, для которого за конкретным и мимолетным открывался всеобщий образ человеческого. Вместо раздумий на эту тему — пусть даже самых глубокомысленных и остроумных — мы наблюдаем у Фрейда готовность к самоотдаче во имя той последней точности, которая касается каждого из нас и которую можно выявить и осмыслить только так, как это делал он.

На одной из первых встреч рабочей группы (до меня женщин среди участников почти не было...) Фрейд во вступительном слове подчеркнул, что об одиозных темах, когда они становятся предметом обсуждения, следует говорить абсолютно откровенно, без каких бы то ни было церемоний.

Шутливо, со свойственной ему сердечностью и изяществом он добавил: "Как всегда, нам предстоит неприятный, трудный рабочий день — непохожий на праздничные отношения между нами". Слово "праздник" еще не раз станет определяющим в моем отношении к нему и к его взгляду на вещи, который я пыталась описать, — взгляду, которому открывалась полнота материального мира; какой бы отталкивающей или пугающей ни была эта материальность в своих конкретных проявлениях, для меня за повседневными делами всегда таилось нечто праздничное, воскресное. В минуты отвращения к себе Фрейд удивлялся тому, что я все еще глубоко привязана к его психоанализу: "Ведь я учу только одному — стирать грязное белье других людей".

О выглаженном и аккуратно сложенном на полках шкафа белье мы, собственно, знали и без него. Однако то, что можно было узнать даже по самому заношенному белью, чужому или собственному, уже не было связано напрямую с конкретной вещью, отстранялось от нее, от ее ценности, так как преображалось в процессе переживания.

При обнажении даже самых отвратительных и мерзких вещей взгляд, таким образом, останавливался не на них самих; однажды, когда речь зашла о чем-то подобном, Фрейд уже не высмеял меня, а с невероятным удивлением констатировал: "Даже после того, как мы поговорим о самых отвратительных вещах, у вас вид человека в канун рождественских праздников..."

Из нашей последней личной встречи в 1928 году в моей памяти сохранилась только яркая красочная картина — большие клумбы анютиных глазок у Тегельского дворца, их пересадили сюда довольно поздней осенью, и они зацвели, не дождавшись следующего лета, посреди роняющих листву деревьев. Я отдыхала, любуясь их великолепием, бесконечным разнообразием цветовой гаммы — от темно-красных и голубых до светло-желтых оттенков. Фрейд собственноручно нарвал для меня букет этих цветов перед одной из наших почти ежедневных поездок в Берлин, во время которой я хотела навестить Хелену Клингенберг[40].

Несмотря на то что Фрейду трудно было говорить и слушать, тогда нам еще удалась незабываемая беседа наедине; потом начались долгие годы его страданий[41]. Мы иногда вспоминали с ним 1912 год, год моих занятий психоанализом, когда я постоянно оставляла в гостинице свой адрес, чтобы как можно быстрее встретиться с Фрейдом, если у него появлялось свободное время. Как-то перед одной из встреч ему в руки попал ницшевский "Гимн жизни" — мое написанное в Цюрихе стихотворение "Моление о жизни", которое, слегка изменив, Ницше положил на музыку. Такого рода вещи не нравились Фрейду; он, с его подчеркнуто трезвой манерой выражать свои мысли, не мог принять того, что сочинило юное неопытное создание, склонное к восторженным преувеличениям. Будучи в хорошем настроении, он весело и дружелюбно прочитал вслух последнюю строфу:

Тысячелетья б жить, мечтать,
Всего себя отдать науке!
Коль счастья мне не можешь дать —
Не пожалей тоски и муки...

Он сложил листок и резко опустил его на спинку кресла: "Нет! Это, знаете ли, не в моем вкусе! От таких желаний меня бы избавил простой хронический насморк!"

Той осенью в Тегеле я пыталась выяснить, помнит ли он еще об этом разговоре по прошествии стольких лет. Да, он помнил хорошо, помнил даже, о чем мы говорили дальше. Не знаю, зачем вообще я стала спрашивать его об этом — мне не давала покоя мысль о долгих годах тяжких, мучительных страданий, выпавших на его долю; все эти годы мы, его окружение, спрашивали себя: сколько еще хватит ему сил выдерживать такие муки?.. И тут случилось нечто непонятное мне самой — с моих дрожащих губ неудержимо срывались слова утешения: "Вы совершили то, о чем я когда-то только мечтала, мечтала восторженно, втайне от других!"

Испугавшись откровенности своих слов, я громко и безудержно разрыдалась.

Фрейд ничего не ответил. Я только почувствовала его руку, обнявшую меня.

Ф. К. *Андреас*

Значительный человек, в отличие от тех, кого (большей частью опрометчиво) называют заурядными, — это личность более крупных масштабов, способная включить в себя *всего* человека, "со всеми его противоречиями", но и со всеми его проблемами, возникающими от столь близкого соседства противоречий. И то, что мы привыкли называть "дарованием", часто проявляется только благодаря внутреннему драматизму, трению при неизбежно возникающих попытках уладить конфликты, попытках, прибегающих к крайним, последним мерам. Так называемая *гармония* личности, являющаяся в известной мере целью всего человечества, в действительности есть или довольствование душевным покоем, доставшимся по дешевке вследствие сокращения отпущенных человеку возможностей, или же попытка создать незамысловатую схему совершенства, которую мы конструируем и иллюстрируем по образцу лишенных разума животных и растений, с завистью констатируя у последних отсутствие таких далеко идущих осложнений, какие имеются у нас.

Лу Андреас-Саломе с мужем Ф. К. Андреасом

Фридрих Карл Андреас, по материнской линии внук северонемецкого врача, человека высокой духовной культуры, переселившегося на Яву и женившегося на малайке, красивой, мягкой и очень любимой им женщине, — соединил в себе Запад и Восток уже фактом своего рождения; его мать, со своей стороны, связала свою судьбу с жившим в Исфагане армянином из княжеского рода Багратионов; по обычаю персидских межродовых распрей побежденная сторона меняла фамилию, в данном случае в качестве фамилии было взято имя Андреас.

Когда маленькому Андреасу исполнилось шесть лет, его отец перебрался в Гамбург; четырнадцатилетнего сына он отдал в гимназию в Женеве, где тот обратил на себя внимание пылким честолюбием и — наряду с музыкой — усиленным изучением языков.

В немецких университетах он сосредоточил свое внимание на востоковедении, а именно на иранистике, в 1868 году защитил диссертацию в Эрлангене, два года прилежно занимался специальными предметами в Копенгагене, пока, из-за войны 1870 года, не вернулся домой. К концу войны он отправился в Киль, чтобы усовершенствовать познания в персидской письменности и языке, но закончил свои исследования только в 1882 году, так как его в качестве сопровождающего послали с экспедицией в Персию. Это полностью соответствовало его желанию, он мог соединить свои научные изыскания с личным опытом и впечатлениями от Востока, но, с другой стороны, в нем возник разлад между преследующим свои цели европейцем и человеком, стремившимся на досуге впервые в жизни *вернуться* на Восток, на свою *родину*.

Но то, чему так благоприятствовала судьба, не увенчалось успехом. Он отправился вслед за экспедицией с большим опозданием, она давно уже была в пути, но задержался в Индии, где ему удалось сделать ценные наблюдения и находки, не имевшие, однако, ничего общего с тем, ради чего он был послан; его поведение вызвало возмущение, первые отчеты Андреаса из Персии тоже не встретили понимания, и его отозвали. Чашу терпения переполнил его темпераментный, источавший ненависть официальный ответ на предложение вернуться, после чего он продолжал упрямо и напряженно работать в Персии *без* финансовой поддержки государства. Шесть лет длилось его пребывание в Персии, большей частью это были годы горькой нужды. После возвращения, к которому его вынудила болезнь глаз, нажитая во время изучения надписей при ярком солнечном свете, он влачил жалкое существование, давая обременительные для него частные уроки, пока в Берлине не открылся семинар по востоковедению, где ему предложили должность профессора. Но вскоре он лишился и этой работы вследствие интриг — его упрекали в том, что и здесь он не соответствовал поставленной перед ним цели и выходил за рамки своей задачи, которая заключалась не в подготовке ученых, а в обучении дипломатов и заинтересованных в практических результатах торговых людей; это было тем более необоснованно, что его аудитория состояла только из ученых, для которых он был прирожденным наставником.

Главная опасность этих обусловленных внешними обстоятельствами недоразумений заключалась в том, что они высвечивали внутренний разлад, свойственный его натуре; ибо даже там, где он без всяких помех мог отдаться исследовательской работе, перед ним вставала другая преграда: путь рационального доказательства казался ему бесконечным, так сказать, не имеющим конечной точки в сравнении с внутренней очевид-

Лу Андреас-Саломе

ностью, которой в его глазах с самого начала почти таинственным образом наделялись предметы научного исследования.

То, что пятнадцать лучших лет своей жизни он провел без талантливых учеников (например, когда в Берлине обучал немецкому языку турецких офицеров), было для него смерти подобно. Только в Гёттингене он пережил высочайший взлет благодаря контактам с одаренными учениками — он значил для них больше, чем просто учитель или поучающий друг. Ученики были для него пашней, которую он засевал своими богатейшими знаниями — безошибочно, не ведая сомнений, как умел делать только он. Один из его коллег, знавший его со времен юности, так выразился о моем муже после его смерти: "Того, кто оказывался среди его учеников, он крепко держал в руках, требуя верности себе; зато *каким* заботливым наставником был он этим людям!"

Мне вспоминается один характерный эпизод, случившийся в первые годы после нашего бракосочетания. Мы приобрели в качестве сторожевой собаки огромного водолаза, и однажды летней ночью мой муж крался из сада к входной двери, чтобы проверить, почувствует ли еще не привыкший к нему пес в нем хозяина или вора; он крался обнаженным, таким собака его еще не видела. Крался он так осторожно и ловко, с таким самозабвенно серьезным лицом и так напоминал подбирающе-

гося к своей жертве хищника, что оба (это трудно выразить словами) походили друг на друга, как две тайны. Внутренняя драма, терзавшая собаку, эта борьба "за или против", так захватила Андреаса, что он, казалось, уже не играл, а весь отдавался двойному желанию в себе, ибо ему и впрямь хотелось, чтобы его новый товарищ не только охранял, но и любил его. Собака страшно напряглась, но все же с блеском выпуталась из этой ситуации: угрожающе *ворча*, она отступила *назад*. Невероятно довольный таким исходом своей затеи, муж громко рассмеялся и принялся восторженно обнимать прыгнувшего ему на плечи пса.

...Я гляжу из окон на фруктовый сад и представляю, как Андреас, закончив работу, еще раз обходит его; это случается летом, в предрассветные сумерки, перед отходом ко сну. Чаще всего он еще переполнен научными проблемами, за решением которых забывал обо всем на свете, радостно отдаваясь своему тяжелому труду. Но видела я нечто совсем другое, видела, как он, пробираясь неслышной звериной поступью по саду, будил черных дроздов, так ловко подражая их голосам, что они тихо отвечали ему и вдруг затевали свою услаждающую слух болтовню; слышала, как петух, крепко спавший в курятнике, с задорным тщеславием старался перекричать кукареканье чужака-соперника.

Человек, который умел искусно подражать голосу дрозда и петуха, делал это не просто столь же основательно, как и все, чем он занимался за письменным столом; то и другое казалось ему одинаково важным и нужным, среди птиц он был как бы в обществе равных себе.

О *том, чего нет в "Воспоминаниях"* (1933)

Существенное и сокровенное человек не может высказать о себе сам. Следовательно, невысказанным остается самое главное. Но если замалчивается позитивная сторона этого главного, оно может выразить себя через негативное, обозначиться в своих ошибках и изъянах, наметить свои контуры с помощью умолчаний.

То, о чем я хочу сказать, началось внезапно, в пути, при очень личных обстоятельствах — возникло из недоразумения между другом моей молодости Паулем Ре и мной; словно совершенно исправный экипаж столкнулся на полном ходу с препятствием и развалился на части.

Внешних препятствий на нашем пути встречалось немало, но мы беззаботно и безмятежно шли своей дорогой; куда бы ни вела эта дорога, она, как нам казалось, никогда не разойдется со стезей нашей собственной жизни.

Недоразумение возникло из-за того, что я сделала шаг в сторону другого человека, не сообщив — ради этого другого — своему другу, Паулю Ре, правду об этом поступке[42].

Пауль Ре, которому труднее всего на свете было поверить в то, что его любят, увидел в этом шаге доказательство внутренней готовности к разрыву и сделал свой вывод, обернувшийся позже ненавистью.

Он не подозревал, что никогда — ни до того, ни после — я даже близко не испытывала такой нужды в нем, как в тот момент. Ибо давление обстоятельства, из-за которого я совершила этот необратимый поступок, разлучило меня не только с ним — разлучило с самой собой.

Только тот, кто всесторонне и глубоко знал моего мужа, кто любил его за характер и темперамент, мог бы догадаться, что означают эти слова — "давление обстоятельства".

Причиной, вызвавшей это давление, была *неодолимая сила*, жертвой которой стал мой муж. Неодолимая, ибо она не только заявляла о себе могучими зовами инстинкта, но и была одновременно неизбывной *реальностью*. И свое полное воплощение нашла не в уговорах — она сама воплотилась в моем муже, в его телесной конституции. Бессмысленно рассказывать об этом тому, кто не сталкивался с особенностями, которых я не встречала ни у кого больше, кроме моего мужа. Почти столь же нелепо сравнивать это с воздействием чего-то чрезмерного, жестокого, какого-то громадного, не останавливающегося ни перед чем создания — или чего-то очень нежного, совершенно беспомощного, напоминающего птенца, раздавить которого, отринуть в его наивной доверчивости выше наших сил.

Примечательно, однако, что эти неуклюжие, скверные сравнения непроизвольно берутся мной из тварного мира. Но эти примеры дают представление о том, насколько ограничены критерии человеческого.

У меня осталось впечатление, что Андреаса совсем не интересовали тогдашние мои чувства, которые, как, например, эротическое возбуждение, могли бы подвигнуть на безрассудный шаг; наоборот, он строго отделял одно от другого. Что до моих чувств, то я относилась к этому совсем не *по-женски*; мое отношение к нему в этом вопросе было таким же *нейтральным*, как и к спутнику моей юности. Но там это основывалось на чем-то, что хотя и проявлялось почти незаметно, но все же отделяло чувство самой глубокой дружбы от любви, ибо чувствами мы — сильнее или слабее, но все же воспринимаем *телесную* чуждость. Здесь же о чем-то подобном не могло быть и речи: ни в самом начале, ни в последующие десятилетия.

По-видимому, тут могли действовать другие причины: та известная очень многим женщинам стесненность, которая яснее и лучше всего истолкована в психоанализе. Однако опыт моей поздней молодости опровергает верность таких умозаключений.

Что бы об этом ни думали другие, мой муж тогда был уверен, что подобные "девические выдумки со временем пройдут". Однако "со временем" это обернулось всей жизнью и более того — вобрало в себя даже смерть, чего муж просто не принял в расчет.

Эта потребность в *целокупной* жизни занимала меня в куда большей степени, нежели упомянутый особый вопрос, на который я так и не дала ответа; меня еще переполняла скорбь по исчезнувшему спутнику; я поставила условием своему мужу, что не расстанусь с другом молодости, и он, будучи готовым на все, в конце концов согласился с этим.

Когда задумываешься над тем, насколько он был старше и опытнее меня и насколько я сама была наивнее и ребячливее в сравнении со своими сверстницами, то его надежды и несокрушимая уверенность кажутся почти чудовищными.

Но мы оба недостаточно знали меня, мою "натуру" или как еще можно назвать то, что без нашего ведома управляет нашими поступками. Девические представления или серьезно и основательно выработанные позже воззрения, которых я придерживалась, не играли для меня *решающей* роли. Эту сложную проблему я хочу объяснить на примере из совсем другой области, о чем уже рассказывала в своих воспоминаниях, —

на примере своего выхода из лона церкви. Выход этот не был для меня проявлением своеволия или, тем более, фанатизма правдолюбия, я боролась с этим побуждением, которое неизбежно повергало в печаль моих родителей и приводило к скандалу, боролась не только рассудком — я, так сказать, "морально" осуждала свое возможное поведение как форму экзальтации. В сущности, решала тогда не я, решал приснившийся мне ночью сон, когда я на церемонии конфирмации громко крикнула: "Нет!" Не скажу, будто проснувшись, я убоялась, что поступлю точно так же и наяву; скорее, я только тогда окончательно поняла, насколько невозможно добиться от меня требуемого даже для проформы.

То, что мы считаем своими мотивациями и убеждениями, как бы ни были мы озабочены чистотой взаимосвязей между ними, при определенных обстоятельствах оказывается совершенно не имеющим для нас значения и напоминает паутину в пору бабьего лета, которая рвется и улетает от малейшего дуновения ветра.

Когда вдруг поймешь это, жизнь может резко измениться.

И вот однажды мы оба пришли к такому пониманию, хотя в тот момент хранили молчание и так никогда больше и не осмелились затронуть эту тему.

Быть может, его подтолкнуло внезапное решение застать меня врасплох, овладеть мною. Я, во всяком случае, проснулась не сразу. Меня разбудил какой-то звук, слабый, но с таким странно резким оттенком, что мне показалось, будто доносится он из бесконечности, с другой планеты...

К тому же у меня было такое чувство, что мои руки не со мной, а где-то надо мной. Я открыла глаза и увидела, что руки мои сплелись на чьем-то горле... Они сильно сдавили его и душили. Странный звук был хрипом.

То, что я увидела над собой, глаза в глаза, я не забуду до конца дней своих... Я увидела лицо...

Позже мне часто вспоминалось, как незадолго до нашего обручения на меня чуть не пало подозрение в покушении на убийство...

Возвращаясь по вечерам домой, в свою квартиру, которая находилась довольно далеко, Андреас носил с собой короткий, тяжелый перочинный нож. Нож лежал на столе, за которым сидели Андреас и я. Спокойным движением он взял его и вонзил себе в грудь.

Я, не помня себя, выскочила на улицу и бегала от дома к дому в поисках хирурга. Следовавшие за мной люди спрашивали, что случилось, и я отвечала, что человек упал и наткнулся на нож. Пока врач обследовал лежавшего на полу без сознания Андреаса, несколько брошенных им вскользь слов и выражение лица дали мне понять, кого именно он подозревает в преступлении. Он не поверил мне, но в дальнейшем вел себя тактично и оставался любезен.

При ударе нож выскользнул из руки и сложился треугольником, поэтому лезвие не задело сердце, но рана долго не заживала...

Это был не единственный случай, когда мы оказывались на грани смерти, решали свести счеты с жизнью и улаживали свои дела с ближними, прежде чем навсегда покинуть этот мир. Нас обоих в одинаковой мере охватывало чувство беспомощности и отчаяния.

Правда, это были всего лишь часы и мгновения, по которым нельзя судить о наших переживаниях в другое время. Нас ведь многое связыва-

ло: одинаковые склонности, сходное направление мыслей. Обычно — так мне кажется — эту сторону сильно переоценивают; да, такого рода близость наводит мосты, доставляет много радости и наделяет чувством деловой общности, но не менее часто она лишь прикрывает несходство, расхождения между людьми — и скорее сглаживает острые углы, нежели помогает лучшему взаимопониманию и более тесному сближению.

Само собой разумеется, я с самого начала старалась приспособиться к тем нормам поведения, которые соответствовали его жизненной цели. Я даже была готова оставить Европу, когда на первых порах у нас появилась возможность отправиться в Армению, туда, где находится монастырь Эчмиадзин. Наш образ жизни тоже все больше и больше отвечал запросам моего мужа; как и он, я стремилась к простоте в одежде и пище и к жизни на лоне природы; вопреки своим изначальным северным привычкам я решительно переменилась и осталась такой до конца жизни. Была еще одна область, где мы с мужем сразу нашли общий язык и на чем сошлись наши интересы: мир *животных*. Этот мир еще-не-человеческого потрясает нас смутным ощущением, что в нем наша человеческая сущность раскрывается в своем ядре более незамутненно, нежели мы сами обнаруживаем во всех осложнениях своей жизни. Мы с Андреасом совершенно одинаково относились к любому *животному*, но когда дело касалось отдельно взятого *человека*, наши взгляды чаще всего кардинально расходились.

В противоположность воинственно-деловой целеустремленности мужа моя готовность к приспособлению была частью моей натуры, чуждой тщеславию и не знавшей конкретной цели. Я даже не могла бы сформулировать, что для меня является крайне необходимым и главным, потому, видимо, что для достижения этого мне не требовалось напрягать внимания и прилагать усилия. За какое бы дело я ни бралась, оно, если все шло как надо, непременно должно было привести к главному. К этому, правда, надо присовокупить тайное отчаяние, от которого я — каким бы ни было мое поведение — так окончательно и не избавилась. Разница между моим нынешним и прежним поведением — не относительно спутника моей молодости, а относительно моих спутников вообще — заключалась, собственно, в том, что если *прежде* вопрос, можно ли идти вместе с тем или иным из них одной дорогой и как далеко следует заходить по ней, казался мне до известной степени безобидным, имеющим разумный ответ, то *позже* вопрос этот едва ли имел для меня значение — по причине невыполнимости обязательств, которые я на себя возлагала.

Вследствие этого любая духовная деятельность, которой я занималась, обретала чрезвычайную самостоятельность; работа становилась самоцелью, желанным делом, которое требовало самоуглубления и одиночества; она не имела отношения к нашей совместной жизни и к проблемам, которые эта жизнь перед нами ставила. Все то, что называют притиранием друг к другу, у нас практически отсутствовало. Поэтому годы, в конечном итоге четыре десятилетия, не принесли слияния интересов — но и не вынудили каждого из нас отступиться от того, что составляло смысл нашей жизни.

Все это вряд ли объяснимо только на понятийном уровне, и все же было бы неверно видеть здесь *отсутствие близости*, которое с годами только нарастало. Доказательством мог бы послужить небольшой эпи-

зод, который произошел незадолго до того, как муж вступил в последний год своей жизни. Тогда, поздней осенью, я заболела и около полутора месяцев пролежала в клинике, а так как с четырех часов дня я продолжала свои занятия психоанализом, муж получил разрешение посещать меня до трех часов — официальное время посещения строго ограничивалось. Для нас было совершенно внове вот так сидеть друг против друга: мы, не знавшие, что такое семейные вечера "при уютном свете лампы" и даже во время прогулок старавшиеся не мешать друг другу, очутились вдруг в совершенно необычной для нас ситуации, которая нас просто захватила. Мы растягивали и берегли минуты, как некогда во время войны люди, чтобы выжить, берегли хлеб насущный. Свидание за свиданием проходило так, словно встречались после долгой разлуки возвратившиеся издалека люди; нам самим тогда пришло на ум это сравнение и придало насыщенности этих часов оттенок тихой радости. Когда я наконец встала на ноги и вернулась домой, эти "больничные посиделки" невольно стали повторяться, и не только между тремя и четырьмя часами.

Среди тех, кто в то время интересовался литературой и политикой, мы после нашего бракосочетания встретили человека, который был замечен и отмечен нами обоими[43]. В первый момент, что часто случается, я пропустила мимо ушей его фамилию, как, впрочем, и он мою. Когда этот

Г. Ледебоур

человек представился еще раз, я заметила, что он внимательно рассматривает мои руки; я уже собралась было спросить, что это его так заинтересовало, как он сам резким тоном задал мне вопрос: "Почему вы не носите обручальное кольцо?" Смеясь, я ответила, что в свое время мы не удосужились обзавестись кольцами, да так все и оставили... Тон его, однако, не изменился, когда он осуждающе произнес: "Но кольцо надо носить обязательно!" В этот момент кто-то шутя спросил у него, понравилась ли ему "летняя прохлада в Плетцензее"[44], где он только что отбыл срок за оскорбление Его Величества. Я нашла забавным — и не скрыла этого — что именно из его уст исходит такой высоконравственный упрек в мой адрес, но он так и остался в дурном расположении духа, хотя до этого был общителен и разговорчив.

Вскоре мы подружились, и через несколько недель, когда мы вместе возвращались с одного собрания, он признался мне в любви, сопроводив свое признание непонятными для меня, но, видимо, долженствующими извинить его словами: "Вы не женщина, вы — девушка".

Мой испуг, вызванный этим его неведомо откуда взявшимся знанием, настолько подавил все остальные чувства, что — не только в тот момент, но и позднее — я так и не смогла осмыслить свое отношение к этому человеку. Вполне возможно, что и я испытывала к нему ответное чувство; но пока оно подспудно вызревало во мне, его напрочь вытеснило другое — чувство страха, быть может, даже более сильное, чем то, которое испытывает высоконравственная мужняя жена, когда замечает, что неожиданно для себя начинает влюбляться в другого. Ибо верность брачному таинству или общепринятым условностям значила для меня много меньше в сравнении с той *нерасторжимостью*, которая ради натуры и характера моего мужа исключала всякое разъединение.

Довольно быстро я снова столкнулась с тем самым страхом, который мы однажды уже испытали накануне нашего "торжественного обета верности на вечные времена". Возбужденное состояние мужа, который не был слепым, но тем не менее предпочитал быть им, когда жаждал уничтожить соперника, а не поговорить с ним, стало обычным явлением нашей жизни. Отсюда, в свою очередь, во мне рождалось иное отношение к *этому сопернику*, чем просто влюбленность: это было желание убежать от ужаса, перед которым я была бессильна и который превращал наши дни и ночи в муку. То, как друг пытался помочь мне в редкие часы наших встреч, с истинным дружеским участием и благородством помыслов, навсегда оставшихся в моей памяти, было избавлением от почти невыносимого одиночества. Но этим дело не кончилось: волнения и опасения друга по моему поводу возбуждали его самого и доводили до крайностей, которые растравляли мои раны и угнетали и терзали меня не меньше, чем поведение мужа.

Насколько он не уступал мужу в силе ненависти, еще раз проявилось двадцать с лишним лет спустя. Крайне озабоченная политическими преследованиями своих родственников в России, я в кратком запечатанном письме попросила его навести справки и помочь советом. Он узнал мой почерк по написанию своего имени и слов "чл. Рейхстага". Письмо вернулось с почтовым штемпелем: адресат отказался принять.

Когда-то все закончилось тем, что я уступила требованию мужа не встречаться с другом.

Но истинное значение этого приключения для нашего брака заключалось в том, что оно показало полную невозможность дальнейшего продолжения нашего союза. О разводе, как и раньше, не могло быть и речи, и то, почему муж исключал этот вариант, очень характерно для его образа мыслей: он говорил не о надежде на будущее, не об ошибках прошлого, которые еще можно было бы исправить, а, вопреки всему, о приверженности тому *реальному* положению вещей, которое между нами сложилось. В памяти моей навсегда запечатлелся момент, когда он сказал: "Я не могу перестать *знать*, что ты моя жена".

После месяцев мучительной совместной жизни, прерываемых расставаниями, которые помогали справиться с одиночеством вдвоем, утвердился новый взгляд на вещи. Внешне не изменилось ничего, внутренне — все. Последующие годы были заполнены многочисленными путешествиями.

Однажды, в минуту трогательного примирения, я спросила у мужа: "Хочешь, я расскажу тебе, что со мной случилось за это время?"

Быстро, без колебаний, не оставив ни секунды для другого слова, он ответил: "Нет".

С тех пор между нами и тем, что нас связывало, повисло тяжелое, упорное молчание, которое нам так никогда и не удалось преодолеть.

Причина заключалась не только в особом складе моего мужа, но и в мужском характере вообще, какими бы разными ни были конкретные поводы для такой реакции. Много лет спустя ответ одного моего друга на подобный вопрос после того, как я по совершенно невинной причине долго не могла с ним встретиться, был почти таким же — не вникая в суть дела, он на мое предложение все объяснить на минуту задумался и решительно ответил: "Нет. Я не хочу этого знать".

Из-за нашей привычки к уединенной жизни о нас могли думать все что угодно; должно быть, люди по своему обыкновению полагали, что муж мне неверен или я неверна ему. Никто и вообразить не мог, с какой страстью в любой период моей жизни я желала, чтобы у моего мужа была жена или ласковая, добрая, прекрасная возлюбленная.

Что до меня самой, то, вероятно, предыдущие борения и конвульсии, слишком грубо подавлявшие нараставшую тоску, способствовали тому, что впоследствии любовь встретилась на моем пути тихо и незаметно, как нечто само собой разумеющееся[45].

Я приняла ее не из строптивости, без какого бы то ни было чувства вины, а как благодать, благодаря которой мир обретает совершенство — не только мир отдельного человека, но мир вообще, сам по себе. Свершаются события, приход которых неотвратим и одобрен помимо нашего к ним отношения; нам остается только принять их, не прилагая к этому никаких усилий.

Поэтому совершенно недопустимо сравнивать или измерять *силу* и *продолжительность* подлинной страсти: заполнила ли она собой целую жизнь и навсегда вошла во все ее практические дела или же допускались повторения. Первое можно воспринимать как нечто до непостижимости великолепное и при этом скромно осознавать собственную неполноценность, так как именно в этом случае все особенности любви легче поддаются как субъективному, так и объективному анализу и оценке. Но мы так мало знаем о тайне любви *вообще* именно вследствие нашей ограниченности чисто личностным моментом — вследствие того, что пони-

маем любовь только как любовь к определенному человеку. Взаимодействие между тем, что есть в нас человеческого, сугубо человеческого, и тем, что страстно тянется к сверхчеловеческому, искажается в наших оценках явлений, о которых сердце никогда еще не говорило разуму всей правды.

Поэтому разуму не остается ничего иного, как попытаться проникнуть в тайны *телесных* процессов, которые в результате таких попыток лишь до крайности опошляются. Но не обстоит ли с этим дело точно так же, как с вином и хлебом святого причастия, которое благоразумно прибегает к вполне материальным питью и еде ради того, *чтобы быть*?

Человек, которому отдана наша любовь, независимо от степени духовной и душевной растроганности обоих, остается священнослужителем в церковном облачении, который едва ли сам догадывается, какому Богу он служит.

Поздно, но все же на целых два с половиной десятилетия моему мужу досталась профессорская должность в Гёттингене; впрочем, уход на пенсию мало что изменил в его жизни: ученики и зарубежные коллеги, с ним работавшие, его не оставили. Однажды его едва не пригласили работать в Берлин, но приглашения так и не последовало из-за того, что готовившуюся к публикации работу нужно было завершить быстрее, чем полагал возможным мой муж. Вообще требования, которые невольно встают перед авторами работ научно-публицистического характера, помимо счастья заниматься любимым делом, доставляли Андреасу еще и немалую толику раздражения, которое рождалось из естественного желания возложить ответственность за свою медлительность на какие-нибудь внешние помехи; так, например, в нем разгорелась почти безмерная по интенсивности ненависть к хозяину расположенного напротив трактира, из которого к нам доносился звук (правда, весьма слабый) патефона.

Полностью отдавая себе отчет в недостатках его своеобычной личности, нельзя пройти и мимо того, что именно эта своеобычность подарила ему прекрасную молодость и сохранила в нем юношеский задор. Над чем бы он ни работал, все было овеяно мыслями о будущем; о благословенном или обреченном будущем, но о будущем вне каких бы то ни было временных рамок. Иногда он чувствовал себя беспомощным, иногда работал, не зная усталости, иногда впадал в состояние беззаботного ничегонеделания, но всякий раз его внутреннее содержание обновлялось с такой силой, какую я не встречала больше ни у кого. Даже в преклонном возрасте все оставалось прежним: годы согнули плечи, он хуже слышал, но седая голова придала его облику большую выразительность, а темные глаза, вопреки синим старческим кругам под ними, казалось, обрели еще большую проницательность, точно их сиянию мало было одной только темной глубины.

Я во всех подробностях помню его семидесятилетие. Празднование, устроенное официальными лицами и друзьями, застало его врасплох, тем более, что его шестидесятилетие и шестидесятипятилетие невозможно было отметить столь торжественно в силу тогдашних исторических потрясений. Его, ложившегося спать только под утро, в буквальном смысле слова подняли с постели. С каким внутренним волнением он стоял тогда среди собравшихся, отвечая экспромтом произнесенной речью на поздравления, на слова искреннего восхищения — и на дели-

катные напоминания тогдашнего ректора университета, что от него еще многого ждут. Пылко и убежденно Андреас набросал картину того, что вообще в состоянии дать наука; в грядущие десятилетия ему виделось уже начинавшееся взаимодействие филологических дисциплин по примеру естественно-научных... Кое-кто многозначительно улыбался, у других на глазах выступили слезы...

Я всегда живо интересовалась его внутренней жизнью, но она никогда не была темой наших разговоров. Мне кажется, в течение многих лет мы затрагивали ее лишь дважды. Нам была свойственна эта манера: не смотреть друг другу в глаза, а жить, как бы повернувшись друг к другу спиной; взаимоотношения наши менялись, но манера эта сохраняла свою немудреную и неизменную основу. Кроме того, мои занятия были сопряжены с молчанием, поскольку то, что я узнавала во время психоаналитических сеансов о переживаниях других, не предназначалось для пересказа; к тому же своими рассказами я легко могла отвлечь мужа от главного дела его жизни. Абсолютная свобода, с которой каждый из нас отдавался своему делу, в то же время осознавалась нами как *общность*, которую мы старались сберечь; пожалуй, можно даже сказать: элементарное уважение друг к другу, к которому мы в конечном счете пришли, воспринималось нами как общее достояние и взаимная защищенность. Ибо об одном только муж проявлял удивительную заботу, даже если был очень занят: чтобы другой уверенно и радостно шел своим путем. В доказательство приведу запомнившийся мне случай. В виде исключения я начала сочинять рассказы — урывками, так как с началом занятий психоанализом я совершенно отошла от прежнего своего увлечения, и необходимость концентрации в том и другом случае заставляла меня с головой погружаться в работу; терзаясь угрызениями совести, я потом со смехом восклицала: "Наверняка все это время я была ни на что не годна и невыносима!" На что муж с таким просветленным лицом, которое невозможно забыть, отвечал с ликованием в голосе: "Ты была такой счастливой!"

В том, что мы могли радоваться успехам друг друга, была не только доброта, как бы сильно она ни проявлялась. Способность *радоваться за другого*, эта замечательная его черта, всегда означала, что он относится к другому как к равному себе, понимая, что в обоих действует одна и та же первопричина. Отсюда мощное, впечатляющее выражение на лице, которое у него появилось, — выражение открывшейся ему *реальности*. Даже и сегодня, вопреки смерти, о которой он никогда не думал, которая никогда его не интересовала, это выражение находит свое продолжение во мне: каждый раз, когда я погружаюсь в глубочайшие глубины своего естества, я встречаюсь с этой способностью радоваться вместе с другими. Быть может, именно он научил меня этому, когда, несмотря ни на что, признавал правоту каждого из нас?

Не было ли восхищавшее меня выражение его лица связано с тем, что оно отражало знание некоей конечной истины? Не знаю. Прости, прости: не знаю. Но в такие мгновения радости мне казалось, что они, *эти мгновения*, знают это лучше меня.

Вспоминая о тебе, я думала не о том, что миновало, а о том, что ждет впереди. Не поминовением усопшего это было, а постижением жизни.

Комментарии

Основной текст воспоминаний Лу Андреас-Саломе создавался в 1931—1932 гг.; в 1933 г. была написана главка "О том, чего нет в "Воспоминаниях", послужившая существенным дополнением к крайне скупой на подробности личной жизни главе "К. Ф. Андреас".

Впервые Эрнст Пфайфер опубликовал эти воспоминания в 1951 г. Затем последовали другие издания, уточненные и дополненные, снабженные пространными, почти не уступающими по объему основному тексту комментариями издателя.

Комментарии представляют собой по необходимости сокращенный вариант обширных и чрезвычайно подробных пояснений к тексту, сделанных Э. Пфайфером.

1. *...у Мальвиды фон Майзенбуг...* — Мальвида фон Майзенбуг (1816—1903) была замешана в революционно-демократических событиях 1848 г., в 1852 г. выдворена из Берлина и нашла приют в эмигрантских кругах Лондона, где познакомилась с А. И. Герценом и Дж. Мадзини. После смерти Герцена она удочерила его дочь Ольгу. Ее воспоминания, названные "Мемуары идеалистки", вышли анонимно в Германии; в 1898 г. было опубликовано дополнение к ним — "Идеалистка на закате жизни". В 1872 г. при закладке Вагнеровского оперного театра в Байройте она познакомилась с Ф. Ницше и пригласила его провести каникулы на ее вилле в Сорренто, что Ницше и сделал в 1876 г., прихватив с собой, с разрешения хозяйки, и своего друга, философа Пауля Ре.

2. *...вошел молодой Пауль Ре...* — Пауль Ре (1849—1901) — немецкий философ, занимавшийся проблемами этики; был дружен с Ницше. В конце жизни отзывался о знаменитом философе резко отрицательно: "Читать его я не мог никогда. Он остроумен, но беден мыслями".

В свою очередь Ницше, познакомившись с вышедшим в 1877 г. сочинением Ре "Происхождение моральных чувств" ("мне, пожалуй, никогда не доводилось читать что-либо, чему бы я в такой степени говорил про себя "нет"), задумал наставить молодого философа на путь истинный и вынудить его отречься от альтруистического способа оценки морали, основанного на сострадании, самоотречении и самопожертвовании.

Это ему, однако, не удалось. Тем не менее в книге "Се человек" Пауль Ре назван "одним из самых сильных и холодных мыслителей", другом, которого "я озарил всемирно-исторической славой..." Отказавшись от мысли завершить и защитить в качестве диссертации книгу о "возникновении совести", Ре несколько семестров изучал медицину в Берлине и Мюнхене и после разрыва с Саломе до самой смерти жил отшельником и самоотверженно помогал беднякам — лечил их чаще всего бесплатно, занимаясь философией только на досуге, для себя. Осенью 1901 г. во время одной из своих одиноких вылазок в горы в Энгадине (Швейцария) он сорвался со скалы и погиб. Судя по всему, он так и не смог перенести разрыв с Саломе.

3. *...приезд Фридриха Ницше...* — Ницше приехал в Рим из Генуи, заинтригованный рассказами Пауля Ре о необыкновенной девушке из России. "Передайте привет от меня вашей русской, если в этом есть хоть какой-то смысл: меня неудержимо влечет к таким натурам, — писал он накануне отъезда. — Скоро я отправляюсь завоевывать ее — она нужна мне, если иметь в виду мои планы на ближайшие десять лет.

О женитьбе разговор особый, я мог бы в крайнем случае согласиться на двухгодичный брак, тоже принимая во внимание мои планы на ближайшие десять лет". После встречи и близкого знакомства с "этой гениальной русской" от самоуверенности Ницше не осталось и следа.

4. *...изъявил желание стать третьим в нашем союзе.* — Саломе подает дело так, будто приезд Ницше был для нее неожиданностью, но сам он письмами Пауля Ре и Мальвиды фон Майзенбуг был подготовлен к тому, чтобы войти в "союз", тем более что ему сообщали о страстном желании русской девушки познакомиться с ним.

5. *...возобновить отношения с Иваном Тургеневым, с которым я была знакома еще по Санкт-Петербургу.* — Саломе могла познакомиться с И. С. Тургеневым в 1880 г., когда он приезжал из Парижа на родину в связи с открытием памятника А. С. Пушкину и был восторженно встречен соотечественниками. Встреча Пауля Ре с русским писателем произошла в 1875 г. в Париже.

6. *...ее приемные дочери Ольга Моно и Наталья Герцен...* — Ольга Герцен в 1873 г. вышла замуж за французского историка Габриэля Моно.

7. *...очаровала близлежащая гора Монте-Сакро...* — Вспоминая в старости об этом эпизоде, Саломе со смущенной улыбкой заметила: "Уже не помню, поцеловала ли я Ницше на Монте-Сакро".

8. *...Ницше решил заехать в Базель к Овербекам...* — Франц Овербек (1837—1905) — профессор Базельского университета, специалист по истории церкви; несколько лет жил с Ницше в одном доме и, вопреки глубоким расхождениям духовного свойства, до конца сохранил к нему дружеское расположение; именно он после умопомешательства философа в январе 1889 г. забрал его из Турина и поместил в базельскую клинику для душевнобольных.

9. *К этому времени относится наш совместный снимок...* — На этом снимке у Ницше, инициатора и режиссера затеи, отрешенно-визионерское лицо, в то время как Пауль Ре кажется безучастным, а Саломе откровенно позирует. Впервые ставший знаменитым снимок опубликовал Э. Ф. Подах в своей книге "Фридрих Ницше и Лу Саломе. Встреча в 1882 году", Цюрих и Лейпциг, 1937.

10. *...с началом Байройтского фестиваля...* — За несколько дней до открытия музыкальных торжеств 1882 г. в Байройте, начавшихся 26 июля представлением оперы "Парсифаль", Саломе приехала из имения Пауля Ре. Ницше, чтобы не встречаться с Вагнером, в Байройт не приехал; вместо него приехала его сестра Элизабет, тогда же состоялась ее первая встреча с Лу Саломе.

11. *...сдружилась с русским художником Жуковским...* — Имеется в виду Павел Жуковский (1845—1912), сын поэта В. А. Жуковского и внук прибалтийского художника Г. фон Ройтерна. Павел Жуковский был в дружеских отношениях с Рихардом Вагнером и помогал ему в художественном оформлении спектаклей.

12. *...лишенная музыкального слуха...* — Хелена Клингенберг заметила по этому поводу, что Саломе часто не могла слушать музыку, так как она приводила ее в состояние глубокого возбуждения.

13. *...мы с Ницше решили провести несколько недель... в Таутенбурге, недалеко от Дорнбурга...* — Эта "совместная жизнь" продолжалась с 7 по 26 августа 1882 г. Лу фон Саломе и Элизабет Ницше жили в доме священника Штельтена, сам Ницше поселился в частном доме. По словам Саломе, сестра философа, враждебно относившаяся к русской девушке, "не мешала" их продолжительным беседам.

14. *Алоис Эмануэль Бидерман* (1819—1885) — один из крупнейших протестантских теологов XIX в.; проявлял заинтересованное участие в судьбе приехавшей из России девушки. Подводя итог своим впечатлениям от первой встречи с ней, он писал ее матери: "Ваша дочь — совершенно необыкновенная девушка:

детская чистота и веселость нрава сочетаются в ней с недетским и почти не женским направлением ума и независимой волей, а то и другое вместе представляет собой настоящий *алмаз*".

15. ...*мы провели вместе несколько насыщенных недель.* — Позже Саломе признавалась, что очень хотела разобраться в Ницше, понять, что происходит в его голове и в его душе. Многие его мысли восхищали ее, но кое-что (в частности, резко отрицательное отношение к религии) вызывало внутреннее сопротивление.

16. ...*что беседуют два дьявола.* — Далее в этом письме говорится: "Близки ли мы друг другу *совершенно*? Нет, все-таки нет. Словно какая-то тень от тех представлений, которые восхищали Ницше всего несколько недель назад, встает между нами и разделяет нас. И в какой-то тайной глубине наших существ мы бесконечно далеки друг от друга".

17. ...*мы еще раз сошлись с Ницше на три недели (?) в Лейпциге.* — В конце этой встречи в Лейпциге Лу фон Саломе приглашает приехать Генриха фон Штайна "от имени нашей троицы, то есть Ницше, Ре и моего собственного". Это выражение — "наша троица" — встречается в заметке после посещения лейпцигского театра, где шел "Натан Мудрый" Лессинга. Но уже в следующей дневниковой записи (без даты) чувствуется недовольство поведением Ницше: "Как христианская мистика (подобно любой другой) именно в момент наивысшего экстаза оборачивается грубой религиозной чувственностью, так и самая идеальная любовь — благодаря непомерному взвинчиванию чувства при всей его идеальности — снова становится чувственной. Несимпатичная штука, эта месть человеческого, — я не люблю чувств там, где они в своем круговороте снова приходят к исходной точке, ибо это точка *ложного пафоса*, утраченной правды и искренности чувства. Не это ли отдаляет меня от Н.?"

18. ...*Ницше хотел выставить Пауля Ре в моих глазах в дурном свете...* — Саломе вспоминала, как однажды Ницше сказал о Пауле Ре, который всегда носил с собой ампулу с ядом, что он "трус каких мало".

19. ...*стало известно лишь из одного более позднего письма.* — Имеется в виду письмо Ницше к госпоже Овербек (конец июля 1883 г.), в котором он пишет, что сестра "открыла ему глаза" на фройляйн Саломе, "да еще как открыла: на передний план вдруг выходит д-р Ре...".

Сначала гнев и возмущение отвергнутого философа были направлены на Лу, затем он обрушился на Ре, считая, что она всего лишь "рупор" Ре. Постоянные подзуживания сестры довели его до болезненного состояния, и он с ней разругался.

Поскольку почти все письма Лу Саломе и Пауля Ре к Ницше были сестрой философа уничтожены, то практически невозможно документально восстановить, как менялось отношение Лу к Ницше и как распадался "тройственный союз". Отношение же Саломе к Элизабет Ницше достаточно ясно изложено в ее письме к Фриде фон Бюлов, написанном предположительно в феврале 1905 г.

Ссылаясь на цитату из письма Мальвиды фон Майзенбуг, она говорит в нем также о беспочвенных "подозрениях" Ницше. Именно сестра внушала ему мысль о том, что Лу Саломе и Пауль Ре сожительствуют. В своих позднейших высказываниях она называла Лу Саломе "финкой" и "еврейкой" и утверждала, что ее книга "Фридрих Ницше в своих сочинениях" — это "акт мести оскорбленного женского тщеславия", искажение сути и характера учения Ницше.

В своем письме Саломе писала, что она как могла прославляла Ницше. "Разумеется, эта Фёрстер (т. е. Элизабет Фёрстер-Ницше. — *В. С.*) только делает вид, что так думает, на самом деле ей хочется, чтобы я еще больше восхваляла Ницше, но ее ненависть ко мне (о которой я во время написания книги совершенно за-

была) уходит далеко в прошлое, а ее истинный источник мне неизвестен, во всяком случае, он личного свойства (ревность); меня предостерегали от нее еще до того, как я с ней познакомилась".

Поскольку инсинуации сестры философа не ограничивались кругом знакомых, а попадали на страницы печатных изданий (так, Максимилиан Харден опубликовал в своем журнале "Цукунфт" в январе 1905 г. статью Э. Фёрстер-Ницше "Легенды о Ницше"), Саломе приходилось думать об опровержении ложных сведений.

"Что касается моего возражения, — продолжает она в цитируемом выше письме, — то я давно уже могла бы его высказать, очень давно, в сердитой или деловой форме, если бы смогла смириться с тем, что эта особа лишит меня частички моей радости, моего спокойствия и рабочего настроя. Если уж отвечать, то необходимо объяснить истоки всего этого.

Но в моем отношении к Ницше заключены очень личные вещи — предложение руки, отказ и его *очень* некрасивая реакция, бешеная ревность к Ре, которая запачкала нас до невозможности. М(альвида) ф. М(айзенбуг) писала тогда мне: "Ницше дал выход своей ревности", и возмущалась, что мы с Ре "из-за взаимной симпатии бросили несчастного Н.".

В новом томе Н. эта Фёрстер пишет еще более мерзкие вещи, чем в статье, опубликованной в журнале Хардена, например о том, что я безуспешно бегала за Ре, ожидая, что он предложит мне выйти за него замуж. И такое нужно "опровергать"?.. Нужно или разворошить это осиное гнездо, или не реагировать вовсе..."

20. *Генрих фон Штайн* (1857—1887) — философ, эстетик и поэт, автор книги "Идеалы материализма" (1877); познакомился с Паулем Ре, когда учился в Галле в 1874—1875 гг. В августе 1884-го посетил Ницше в Сильс-Мария и произвел на него благоприятное впечатление.

21. *...ничего не читать на эту тему...* — Дошло до того, что Саломе оставила неразрезанными те страницы в написанной Э. Фёрстер-Ницше биографии философа, где речь шла о его встрече с ней.

И даже в пору написания первого варианта главы о "тройственном союзе" она не знала о некоторых набросках писем Ницше, давно опубликованных его сестрой. В беседах со своим секретарем она говорила, что к Ницше нельзя было питать доверие и что в нем было тоже кое-что от интриганского характера его сестры.

22. *"Фридрих Ницше в своих произведениях"* (1894) — в этой работе Лу Саломе приходит к выводу о трех периодах в духовном развитии Ницше: а) Ницше в поисках собственного взгляда на мир (влияние Вагнера и Шопенгауэра); б) философ, бесстрастно познающий мир в духе позитивизма (начиная с "Человеческого, слишком человеческого"; в) Ницше как "мистический философ воли" (свое "учение о вечном возвращении всех вещей" он сам излагал Лу Саломе — "тихим голосом и со всеми признаками глубочайшего ужаса").

23. *...особенно счастливым было лето в Челерине, в Верхнем Энгадине...* — Скорее всего, речь идет о лете 1885 г., когда в Санкт-Квирин-Тегернзе Пауль Ре познакомился с Гиллотом. "Мне доставляет необыкновенное удовольствие видеть двух мужчин вместе, прошлое и настоящее причудливо переплетаются в моем воображении, и я чувствую себя очень счастливой", — писала Лу Саломе в одном из писем той поры. Гиллот остался для нее фигурой таинственной, так и не постигнутой до конца и потому привлекательной.

24. *...мой брат Евгений учился несколько семестров у Нотнагеля...* — Получив медицинское образование, Евгений Саломе некоторое время работал в Первой медицинской клинике, которой руководил венский терапевт Герман Нот-

нагель (1841—1905); с 1886 г. Евгений Саломе работал детским врачом в Санкт-Петербурге.

25. *...я написала свою "первую книгу".* — Ницше прочитал роман Лу Саломе "В борьбе за Бога" в год ее выхода в свет (1885): "Вчера заглянул в книгу Ре о совести — сколько пустоты, скуки и фальши! Говорить можно только о вещах, которые сам пережил. Совершенно иначе воспринял я полуроман его soeure inseparable* Саломе, забавным образом бросившийся мне в глаза в то же самое время. Все формальное в нем по-девически расплывчато, а претенциозность (повествование доверено вымышленному старику) производит прямо-таки комическое впечатление. Но само *дело* изложено с полной серьезностью и ничуть не принижено; если эту девушку явно не *привлекает* вечно-женственное, то, может быть, привлекает вечно-мужское".

26. *Генрих и Юлиус Гарты* (соотв. 1855—1906 и 1859—1930) — немецкие критики и поэты; их деятельность сыграла заметную роль в формировании эстетики натурализма.

27. *Людвиг Галлер* — немецкий философ, его книга "Всё во всех" (Alles in Allen) вышла в 1888 г.

28. *Назову, к примеру, Фердинанда Тённиса и Германа Эббингхауса...* — Фердинанд Тённис (1885—1936) — философ, основатель новейшей немецкой социологии, в то время приват-доцент в Киле, приобрел известность своим трактатом "Общность и общество" (1887). Лу Саломе считала его, наряду с Ницше, одним из самых остроумных людей, встретившихся на ее пути. Герман Эббингхаус (1850-1909) — немецкий ученый, занимался экспериментальной психологией и был в то время приват-доцентом в Берлине. В одном из писем Ф. Тённис писал о той поре: "Фройляйн Саломе управляется с домашним хозяйством с уверенностью и тактом, достойными восхищения. Это и впрямь совершенно необыкновенное существо. В этой 21-летней девушке столько ума, что могло бы бросить в дрожь, если бы не ее непритворная душевная мягкость и нравственная чистота".

29. *...в наших отношениях появилась трещина.* — Зимой 1885—1886 г. Лу Саломе познакомилась с Ф. К. Андреасом, который сразу влюбился в нее и предложил выйти за него замуж. Это было далеко не первое предложение в ее жизни, она всем отказывала, но тут спустя некоторое время сообщила Паулю Ре, что решила "общаться" с иранистом, если Пауль "не имеет ничего против". Ре ответил: "Как ты сделаешь, так и будет", но, судя по всему, затаил обиду.

30. *...он сорвался и разбился насмерть.* — Лу Саломе глубоко переживала гибель друга. "Некоторое время я жила только старыми письмами, — писала она подруге, — и мне многое стало ясно, все прошлое вдруг ожило, как в призрачном сне. Мое основное впечатление: слишком много! Слишком много мне было дано доброго и щедрого для одной только человеческой жизни. Это учит смирению".

31. *...мы с Фридой фон Бюлов...* — Баронесса Фрида фон Бюлов (1857—1909) — немецкая писательница, близкая подруга Лу Андреас-Саломе.

32. *...Рене Мария Рильке превратился в Райнера.* — Осуществилась идея Саломе изменить имя Рене на Райнер.

33. *...задумали большое путешествие в Россию.* — Первое путешествие в Россию, предпринятое вместе с проф. Андреасом, длилось с 25 апреля по середину июня 1899 г. Саломе и Рильке посетили в Москве Л. Н. Толстого, отпраздновали в Кремле русскую Пасху, но основное время провели в Петербурге, у родственников Лу. Второе, *большое* путешествие началось в начале мая 1900 г., уже без Андреаса. Будучи в Москве, Лу Саломе и Рильке нанесли (второй) визит Л. Н. Толстому в Ясной Поляне. В Тулу ехали поездом вместе с Леонидом Пастернаком и

* Неразлучной сестры (*франц.*).

Борисом Пастернаком, сопровождавшим отца. Б. Пастернак позже описал эту встречу в "Охранной грамоте". Из Тулы путь вел на юг, в Киев, из Киева вниз по Днепру в Кременчуг, из Кременчуга через Полтаву, Харьков, Воронеж, Козлов — в Саратов на Волге, из Саратова на пароходе вверх по Волге через Самару, Симбирск, Казань, Нижний Новгород — в Ярославль, из Ярославля на перекладных в деревню Креста-Богородское, где Лу и Рильке провели несколько дней и вернулись в Москву. Через полторы недели совершили из Москвы еще одну поездку — в Тверскую губернию, где побывали у крестьянского поэта Дрожжина в деревне Низовка и нанесли визит графу Николаю Толстому в Новинках. Оттуда через Новгород Великий приехали в Санкт-Петербург. 27 июля Лу Саломе уехала к своим родственникам в Финляндию, а Рильке остался ждать ее в Петербурге до отъезда из России (22 августа).

34. *Эта вторая встреча с Толстым...* — состоявшуюся 19 мая по старому или 1 июня по новому стилю встречу в Ясной Поляне описали в своих дневниках как Лу Саломе, так и Рильке.

35. *...довелось пожить... в русской избе.* — Дольше всего — четыре дня — в деревне Креста-Богородское под Ярославлем, а также в деревне Низовка у Дрожжина.

36. *...гостили у крестьянского поэта Дрожжина...* — Спиридон Дмитриевич Дрожжин (1848—1930), выходец из семьи крепостных крестьян, писал стихи о природе, любви, крестьянской жизни. Рильке перевел несколько его стихотворений на немецкий язык. Дрожжин написал статью "Современный германский поэт Райнер Рильке" ("Путь", 1913, № 12). Впечатления от пребывания в доме Дрожжина и в имении графа Николая Толстого нашли отражение в повести Лу Саломе "Родинка".

37. *...русский бог Лескова, обретающийся "в левой подмышке".* — Этот же образ содержится и в книге Лу Саломе, посвященной памяти Рильке; вероятно, реминисценция из рассказа "На краю света". Саломе живо интересовалась творчеством Н. С. Лескова (1831—1895), откликалась на переводы его произведений на немецкий язык (рецензия на роман "Соборяне", опубликованная в журнале "Литераришес эхо").

38. *...моей восприимчивости к глубинной психологии Фрейда...* — Лу Андреас-Саломе впервые встретилась с Фрейдом в сентябре 1911 г. на психоаналитическом конгрессе в Веймаре, но о его грандиозных открытиях была наслышана и раньше, так как приехала на конгресс специально.

39. *...вряд ли можно выразиться лучше, чем это сделал Мефистофель.* — В "Прологе на небе" гётевский Мефистофель так отзывается о "божке вселенной" — человеке: "Он лучше б жил чуть-чуть, не озари // Его ты божьей искрой изнутри. // Он эту искру разумом зовет // И с этой искрой скот скотом живет".

40. *Хелена Клингенберг* (1865—1946) — писательница, приятельница Лу Саломе и Рильке.

41. *...начались долгие годы его страданий.* — В 1923 г. у Фрейда был обнаружен рак челюсти, ставший после нескольких операций причиной его смерти в 1939 г.

42. *...не сообщив... своему другу правду об этом поступке.* — Лу Саломе полагала, что, сказав другу всю правду об этом браке, исключающем физическую близость, она унизила бы Андреаса в глазах Пауля Ре.

43. *...встретили человека, который был замечен и отмечен нами обоими.* — Имеется в виду Георг Ледебоур — политический деятель, социал-демократ. Лу Саломе долго боролась с глубоким чувством, возникшим у нее к этому человеку, и в конце концов отказалась от любви — во имя верности странному, овеянному тайной "супружеству" с Ф. К. Андреасом.

44. ... *Плетцензее* — название тюрьмы в окрестностях Берлина.

45. ...*любовь встретилась на моем пути... как нечто само собой разумеющееся.* — Лу говорит здесь о своей любви к Р. М. Рильке. Странность этой связи, обусловленная не только разницей в возрасте, проявилась во время второй поездки в Россию и по России. В то время как Рильке связывал "все надежды" на будущее с Лу, она, охладев к поэту, с "радостной готовностью" вернулась под кров своего загадочного "супружества". Однако уже через полгода после поездки в Россию она ревниво отговаривала поэта от очередной любовной связи, напоминая ему об их первых встречах в Вольфратсхаузене и о том, что она относилась к нему "как мать".

По мере роста славы поэта росло и чувство Лу к нему, как и в случае с Андреасом, не признававшее физической близости. Это была скорее глубокая привязанность чисто духовного свойства. Вообще трудно сказать, в какой мере эротическая жизнь привлекала и затрагивала эту женщину. Но можно утверждать, что духовная и душевная близость с Рильке, ради которой она могла решиться и на близость иного свойства, до конца дней осталась ее самым глубоким переживанием.

Джон Робертс

"Говорите прямо в канделябр"

Культурная политика Британии и России в 1973–2000 годах

Отрывки из книги

Об авторе

Джон Робертс, автор книги мемуаров "Говорите прямо в канделябр", почти двадцать лет возглавлял ассоциацию "Великобритания—СССР" (сейчас центр "Британия—Россия"). Созданная в период "холодной войны" по инициативе Британского правительства и на средства Форин оффис Ассоциация была учреждена с целью установить культурный диалог между двумя различными, а порой и откровенно враждебными, политическими системами. Книга Робертса впервые дает читателю возможность узнать, как велся этот диалог и какие препоны приходилось порой преодолевать президенту Ассоциации, чтобы добиться поставленной цели: познакомить Британию с самыми талантливыми людьми России и привезти в Россию известных деятелей британской культуры. Вот что пишет о Робертсе в предисловии к его книге Ле Карре: "Джон любит Россию: ее народ, ее историю, музыку, литературу, ее гений... Его не переставали возмущать те ужасные кровопускания, которые... уносили из нее все живое и талантливое. Русские видели это в нем даже в самые мрачные годы, когда друзей России в наших официальных учреждениях можно было пересчитать по пальцам... Он делал дело, фактически задуманное и поставленное им самим, суть которого его равнодушные работодатели понимали не лучше, чем русские, и делал, несмотря ни на что, с заметным успехом".

Писательские посиделки

Визиты Евтушенко в Великобританию принесли свои плоды. В частности, он устроил, как и обещал, приглашение пяти британским писателям посетить весной 1977 года Москву, Ленинград и Тбилиси. Группа была именитая: Илэйн Файнстайн, известный автор научно-фантастических романов Брайан Олдисс, поэт Джон Столлуорси, драматург Тед Уайтхед, писатель, поэт и музыковед Чарльз Осборн. Осборн был литературным директором Совета по искусствам Великобритании. Вот отрывок из статьи, написанной им по возвращении:

Некоторым из тех, с кем мы встречались, трудно было понять, что мы как группа писателей вовсе не придерживались общих политических, философских или нравственных воззрений. Не то чтобы в нас подозревали политических консерваторов, но, думаю, все же полагали, что мы пятеро христиан или, по крайней мере, четверо христиан и одна еврейка. Как это ни казалось странно нашим хозяевам, но как раз такого рода вещей мы друг о друге не знали. Толь-

© 2000 John C. Q. Roberts; Curzon Press
© Л. Ю. Столярова. Перевод, 2001
Полностью книга публикуется в издательстве "РОССПЭН" ("Российская политическая энциклопедия").

ко благодаря русским мы сделали открытие, что в качестве консерваторов и христиан производим грустное впечатление, ибо не проявляем никаких политических или религиозных пристрастий.

Некоторые наши вопросы, должно быть, приводили наших хозяев в замешательство, но они отвечали охотно, хотя и не всегда удовлетворительно. Взять, к примеру, нашу встречу с главным редактором "Литературной газеты". Мы сидели за столом с Александром Чаковским и редакционной верхушкой, обсуждали литературные темы. Затем Чаковский объявил, что, если у нас есть другие вопросы по поводу жизни в СССР, необязательно связанные с литературой, он постарается на них ответить. У меня был вопрос, и я попытался сформулировать его тактично, хотя мои коллеги говорят, что такт не входит в длинный список моих достоинств. "Советский Союз, — сказал я, — в настоящее время наверняка должен чувствовать себя достаточно уверенным в своих силах, чтобы позволить своим гражданам свободно путешествовать за границу, даже эмигрировать, если они того пожелают, как делаем мы на Западе. Мне это кажется главным различием в нашем образе жизни, и для многих в нашей стране это камень преткновения при оценке действий вашего правительства".

Я получил пространный ответ, включавший традиционное недоверие русских к иностранцам; западную интервенцию в годы революции; Ялту; речь Черчилля, положившую начало "холодной войне"; наконец, проблемы с иностранной валютой. Все это были интересные причины, объяснявшие, почему русские могут не хотеть ехать за границу, но отнюдь не объяснявшие, почему Советский Союз должен по-прежнему так усиленно им в этом препятствовать. Старый лис социализма, как назвал сам себя Чаковский, улыбнулся и ушел на заседание парткома.

Только-только наши писатели покинули Лондон, как неофициальный курьер привез срочное письмо от Евтушенко; адресат на конверте был назван весьма забавно: "Ассоциация 'Великобритания — Великий Советский Союз'". В письме содержались важные известия о контактах, установленных им от моего имени с Тарковским, Окуджавой и другими людьми, которых мы хотели бы видеть в Англии. Очевидно, Евтушенко уже был наслышан о составе британской писательской делегации, потому что дальше писал:

К сожалению, ваш Совет по искусствам посылает третьеразрядную делегацию. Как я понимаю, из-за тяжелой политической ситуации. По-моему, это как раз лишний повод повысить уровень группы. Но ваша английская сторона этого не понимает. Я предлагал срок пребывания тридцать дней. Как мне дали понять в Союзе, его сократили до четырнадцати по требованию британской стороны. Если так, то это глупо.

Наша сторона очень боится, что кто-нибудь из гостей потом напишет о нашей стране что-нибудь неблагоприятное и т. п. Программа пребывания будет составлена с некоторой осторожностью. И все же пусть никто из приезжающих не боится, что его "используют" в политических целях. Этого не будет. Я не стану пробовать расквитаться за политические вопросы Мелвина Брэгга о "диссидентах", задавая собственные вопросы о "зверствах в Ирландии". Несмотря на наши недостатки, мы мыслим шире.

Мы ожидаем визита писателей, надеюсь, у вас это понимают. 25 апреля я лично даю вечер, на котором будут хорошие писатели. На 26 апреля я устро-

ил — совершив почти невозможное! — посещение Театра на Таганке, где будет идти "Мастер и Маргарита" Булгакова (премьера). Спектакль будет великолепный! Было бы чудесно, если бы они перед этим прочли роман. Иначе не все будет понятно. Любимов примет их после спектакля.

Я пытаюсь также договориться в Союзе писателей, чтобы желающие смогли потом съездить в Сибирь, в Братск, сверх официальной программы. Вы с ними не приедете?

Целую. Тоскую по Англии. Горячий привет от Джан.

Ваш
Евгений Евтушенко

<...> В другом своем письме Евтушенко подтверждал, что Булат Окуджава готов принять мое приглашение. По неофициальным каналам мы с Окуджавой договорились, что его будет сопровождать жена. Ольга должна была ехать в качестве его переводчика. На самом деле она не говорила по-английски, но Окуджава указал мне эту лазейку в правилах, позволявшую им путешествовать без сопровождения. Союз писателей, должно быть, поверил на слово, что его жена знает английский. (Сын их оставался в Москве.) Они не любили летать самолетом и собирались ехать поездом через Голландию. Мы договорились, что они прибудут в Англию в конце ноября 1977 года и совершат концертное турне по стране.

Окуджава, имевший почитателей во всем мире, занимал в сердцах русских людей особое место. Он давал им редкую возможность бежать от мрачных реалий советской жизни. Родился он в Москве. Его отец, грузин, был партийным функционером, его расстреляли в 30-е годы. Мать, армянка, десять лет провела в лагерях. После своего освобождения и возвращения в Москву во время хрущевской "оттепели" она прожила недолго. Первый роман Окуджавы был в значительной степени автобиографическим и рассказывал о переживаниях молоденького солдата, попавшего на передовую. После войны он учился в Тбилисском университете, потом вернулся в Москву, работал журналистом. Окуджава был первым моим гостем, согласившимся выступить перед "вражескими микрофонами", и дал интервью Русской службе Би-би-си, — он признался, что был плохим журналистом: никогда не мог по горячим следам описать то, что видел, ему требовалось обдумать происходящее.

Окуджава начал публиковать свои стихи в 50-е годы. Позже, с распространением магнитофонов, он завоевал огромную популярность как бард, не меньшую, чем Высоцкий. Он был героем для многих советских либералов-шестидесятников, считавших его диссидентом. Слушатели могли при желании увидеть в черном коте, который, пряча в усах улыбку, терроризирует жителей подъезда, — Сталина (как в Тараканище Чуковского). Песни Высоцкого были смелы, он пел их неистово, хриплым голосом, рвал струны гитары. Манера Окуджавы была тихой, задумчивой, подтекст песен тоньше. Мягко перебирая струны, он пел о любви и печали, о надежде и тоске. Под конец он редко вступал в открытую полемику и однажды сказал мне, что слишком стар и устал, чтобы "вести борьбу". Его песни, например, о старых названиях московских улиц или "Полночный троллейбус", походили на ностальгические романсы Дональда Суонна, в частности тот, в котором они с Майклом Флендерсом с

нежностью вспоминают названия исчезнувших станций на разобранных железнодорожных ветках. Суонн, отчасти русский по происхождению, всегда поддерживал мою деятельность в Ассоциации и рад был встретить родственную душу, когда поэт наконец добрался до Лондона.

За несколько дней до прибытия четы Окуджава из советского посольства, как обычно, поступил запрос по поводу отеля. На этот раз мне также сказали, чтобы я не трудился встречать гостей: посольство возьмет это на себя. Меня спросили, во сколько поезд, согласованный с прибытием парома, приходит на лондонский вокзал Ливерпуль-стрит. Я сообщил, но, повинуясь озорному порыву, умолчал о том, что решил сам встретить поэта с женой в Харидже, когда они сойдут с парома. <...> Чета Окуджава приехала всего через несколько недель после появления Табакова на вокзале Сент-Панкрас, и их приезд точно так же положил начало нашей тайной и крепкой дружбе.

В 1994 году Окуджава получил премию "Русский Букер" за роман "Упраздненный театр". Это наполовину автобиографическое произведение дает ответ на вопрос, как удается тоталитарной системе улавливать в свои сети и развращать вполне порядочных людей. Последний раз я видел Окуджаву в Лондоне в 1993 году. Вскоре после этого он написал мне последнее письмо, в котором вспоминал годы нашей дружбы, рассказывал о запланированных турне по Франции и США. Казалось, его пугала перспектива столь изнурительных поездок, хотя он и радовался, что его, как свидетельствуют приглашения, не забывают. В конце он писал, что крепко обнимает меня и Элизабет.

Оплаканный миллионами людей, он умер 12 июня 1997 года в Париже, где остановился отдохнуть после цикла лекций в Германии. Все британские газеты отдали печальную дань этому событию. В некрологе в "Скотсмен" отмечалось, что Окуджава "до конца жизни оставался одной из влиятельнейших фигур в кругах российской интеллигенции и в 1996 году был среди тех, кто неохотно, но все же поддержал на перевыборах президента Ельцина, несмотря на серьезные опасения в связи с конфликтом в Чечне. Как и другие, он боялся возврата коммунистов к власти. <...>

Внесем более светлую ноту и позволим себе краткую интерлюдию на тему "Русского Букера". Сэр Майкл Кейн, председатель Букеровского комитета, пригласил меня на обед в клуб "Реформ": ему нужен был мой совет в связи с учреждением новой премии. Он спросил, не могу ли я рекомендовать ему в Москве кого-нибудь, кто помог бы организовать церемонию вручения. По его словам, он уже консультировался с Британским советом в Лондоне. На это я со всей возможной деликатностью заметил, что, насколько я знаю, у Совета мало контактов с московскими литературными кругами. Главный мой совет Кейну заключался в том, чтобы он не старался в точности воспроизвести обычную лондонскую процедуру вручения Букеровской премии. У русских нет традиции выпивать и вести светскую беседу перед обедом, пояснил я. По их обычаям, гости садятся за стол сразу, как только пришли, но горячие блюда не подают, пока все не соберутся. В то же время на столе уже бывают сервированы различные закуски (холодная рыба, холодное мясо, соленья, редиска, огурцы, хлеб и т. п.), водка и другие напитки. Новичок с Запада может наесться досыта уже на этом этапе, решив, что горячее не пре-

дусмотрено, и его ждет конфуз, когда появляются суп, потом жаркое с картошкой, а следом еще и сладкое.

Мне довелось быть в Москве в декабре 1992 года, когда вручался первый "Русский Букер", меня пригласили на церемонию. К советам моим никто не прислушался. Час, если не больше, люди стояли и пили на пустой желудок. В нужную минуту оказалось очень трудно перекрыть гул голосов и пригласить собравшихся в столовую. Как только все уселись, подали первое блюдо. Затем гости, предпочитавшие сидеть в своей компании, а не так, как их рассадили устроители, принялись ходить между столиками и пересаживаться. Вскоре русские, сидевшие за главным столом, последовали их примеру. Когда с едой покончили и настала пора речей и телевизионной съемки (телевизионные юпитеры почему-то горели все время, и жара от них только усиливала жажду), за главным столом оказалось почти пусто. Там остались только Алла Латынина, председатель жюри, сэр Майкл Кейн и Ганс Раузинг, мультимиллионер, владелец "Тетрапак", спонсировавший церемонию. Пустовавшие рядом с ними места позволяли телезрителям любоваться хозяевами, которых покинули их почетные гости.

Вновь с трудом установили тишину, но ненадолго. Кейну повезло больше всех — по-видимому, сыграло роль естественное сочувствие к сильно заикающемуся человеку. Почти полная тишина воцарилась, когда Латынина встала, чтобы объявить победителя. Но как только она назвала Марка Харитонова, тут же возобновился нормальный, то есть громкий, шум. Благодарственную речь Харитонова совершенно не было слышно, так же как и речь Ганса Раузинга, совершившего фатальную ошибку: он читал ее по-русски, явно не понимая смысла слов и не зная толком, как их произносить. Шум чуть-чуть ослаб, когда я прокричал по-русски, что центр "Британия — Россия" (так называлась теперь наша организация) приглашает победителя в Лондон. От этого вечера, достойного пера Гоголя, у меня сохранилось еще одно воспоминание: в представителе Британского совета я узнал человека, с которым встречался 25 лет назад на воскресных занятиях по русскому языку в Эшфорде, штаб-квартире Разведывательного корпуса. Он заметно смутился, когда я его заметил. <...>

Ассоциация "Великобритания — СССР" внесла свой вклад в потепление культурных отношений между нашими странами, когда в конце 1981 года приняла еще одного важного литературного гостя из СССР — Андрея Вознесенского. <...>

Почти всю свою первую неделю в Лондоне Андрей давал интервью газетам и радио и совещался с известным актером Эдвардом Фоксом, который должен был читать английские переводы его стихов в "Раунд-хаусе". Однажды вечером он выкроил время для встречи с "художником-абсурдистом" Гленом Бакстером на закрытом просмотре его работ. Жаль, я еще не видел тогда в "Совьет уикли" двусмысленного объявления о выставке в Лондоне "работ советских художников, изгнанных из страны", а то сказал бы об этом Глену.

Выступление в "Раунд-хаусе" должно было стать отправной точкой последующего большого турне, и Андрей беспокоился, как бы не пришло слишком мало народу. Я заверил его, что все будет хорошо. "Файнэншл таймс" 10 ноября сообщала:

На первом концерте Андрея Вознесенского в Англии зал был почти полон, причем в основном за счет платных мест. По-видимому, трения с советским литературным начальством остались для первого поэта России позади (его стали считать гадким мальчишкой, когда он присоединился к протестам против цензуры). С тех пор его рок-опера "Юнона и Авось" стала гвоздем московского театрального сезона, и к популярности Вознесенского добавилась слава поп-звезды.

В его стихах можно найти и глубоко личное, и общественное — этим он обязан своим кумирам: Пастернаку, Шагалу, Гоголю. Одно прекрасное стихотворение посвящено его первой встрече с Пастернаком, другое — выражает российский взгляд на технический прогресс: "Посылаем Терпсихору — получаем пепси-колу" (остроумная игра слов: "Терпсихора" — "пепси-кола"). У него мало откровенно политических деклараций, но тут и там постоянно раздаются меткие выстрелы, как в том же стихотворении о НТР:

Я — попутчик научно-технической революции.
При всем уважении к коромыслам
Хочу, чтобы в самой дыре завалющей
Был водопровод и свобода мысли.

Вечер закончился воспроизведением записанных на магнитофоне отрывков из рок-оперы на стихи поэта. Главный успех этого концерта в том, что в обстановке постепенно теплеющей "холодной войны" он дал нам возможность увидеть другую Россию — Россию Пушкина, Гоголя, Достоевского и Пастернака. <...>

Мне в особенности помнится, как тепло нас с Вознесенским принимали в Ирландии. Для Шеймаса Хини и Андрея то была их первая встреча после того, как они вместе участвовали в Международном фестивале поэзии в Мехико. В Дублине после концерта из зала, переполненного восторженной публикой (присутствовавшие на концерте советские дипломаты говорили, что первый раз видят такое), мы вернулись в дом Хини, чтобы в неофициальной обстановке встретиться с людьми, дружески настроенными и горящими энтузиазмом. Среди них были: Энтони Кронин, советник премьер-министра по культуре и искусству, с которым можно было обсудить нелегкие проблемы литературных контактов с СССР; три известных ирландских писателя, только что вернувшихся после совершенно бесплодного визита в СССР, куда они поехали по приглашению Союза советских писателей; владелец независимой компании, выпускавшей записи произведений Джона Филда — композитора, родившегося в Дублине, но переехавшего в Петербург и прославившегося там своими ноктюрнами. Когда гости ушли, мы сидели возле угасающего огня и Шеймас и его жена Мэри просто, очень искренне исполняли для нас берущие за душу ирландские плачи.

В Оксфорде невозможно было остаться равнодушным, видя, как переводчик уступает место одной из сестер Бориса Пастернака, Лидии Леонидовне, прочитавшей свой перевод на английский язык стихотворения Вознесенского "Кроны и корни" ("Несли не хоронить, несли короновать..."), посвященного похоронам ее покойного брата. О Пастернаке и других великих поэтах мы говорили с еще одним "титаном" — Исайей Берлином, которого навестили на следующее утро в колледже Всех святых. Андрей вспомнил, что его первый визит в Англию в июне

1965 г. совпал с приездом Ахматовой в Оксфорд. По настоянию сэра Исайи, мы, вернувшись в Лондон, отыскали среди мозаичных фигур, изображенных на полу вестибюля Национальной галереи на Трафальгарской площади, портрет Ахматовой, олицетворяющий Сострадание. (Эта мозаика, как и мозаики в галерее Тэйта, Вестминстерском аббатстве и других местах, была сделана русским эмигрантом Борисом Анрепом.)

С сентября 1945 по январь 1946 года Исайя Берлин по поручению Форин Оффис был в России. В Ленинграде он зашел к Ахматовой и, по его воспоминаниям, провел в ее маленькой комнатке часов двенадцать. Они проговорили всю ночь и съели одну тарелку картошки на двоих. На Берлина эта встреча произвела глубочайшее впечатление, а в стихах Ахматовой много строк, свидетельствующих о том, какое огромное значение она имела для поэтессы. Для советских властей Берлин был всего лишь иностранец и шпион. Его всегда терзала мысль, что он стал причиной гонений на Ахматову. Она же, как говорят, думала, что именно их встреча поставила под удар британско-советские отношения и вызвала "холодную войну".

Впоследствии Ахматова нанесла ответный визит в Англию, когда, по рекомендации Берлина, Оксфордский университет присудил ей степень почетного доктора и пригласил на церемонию вручения диплома. Спустя годы я при поддержке Брайана Картледжа, занявшего пост посла в Москве, принялся уговаривать Берлина преодолеть свою неприязнь и вновь посетить Россию. Вот его письмо ко мне от 18 января 1988 г., где он просит извинения за то, что не может встретиться с писателем из СССР.

Дорогой Джон,
я хотел бы прийти к Залыгину — но, к сожалению, должен сегодня вечером обедать с "Пилгрим Траст"... Я знаю, что Залыгина развлекают Джон Ле Карре, лорд Уэйденфельд и бог знает кто еще, и думаю, ему придется обойтись без меня.

Между тем мои планы отправиться в Москву и Ленинград, которые зародились под Вашим влиянием, набирают силу... Предполагаю съездить... на неделю, потому что Госконцерт именно столько отвел Бренделю... Посол очень мил и гостеприимен.

Ваш
Исайя

Залыгин с женой приехали в Англию по приглашению Ассоциации в январе 1988 года. Залыгин был тогда главным редактором "Нового мира" — первым беспартийным главным в государственном журнале. В отличие от своего предшественника Карпова, он давно был известным прозаиком. В своих книгах он оставил потомкам картину крестьянской жизни, а в романе "На Иртыше", завоевавшем ему не слишком хорошую репутацию в глазах властей, откровенно показал, с какой жестокостью проводилась сталинская коллективизация сельского хозяйства в 30-х годах. Когда Залыгин был у нас, "Новый мир" только что опубликовал "Доктора Живаго" — впервые в СССР. Мы съездили на один день в Оксфорд, и

мне приятно было познакомить Залыгиных с сестрой Пастернака Лидией, находившейся тогда уже в очень преклонном возрасте.

На другой день Люба Залыгина отправилась погулять на зимнем солнышке, мы с ее мужем тем временем обсуждали литературные дела у меня в рабочем кабинете. Вернувшись, она стала рассказывать, где побывала, и указала на "парк" через дорогу. Должно быть, садовники оставили открытыми ворота Букингемского дворца, сделав тем самым бесполезными все дополнительные охранные системы, установленные после знаменитого взлома. Представляю, как ухватилась бы пресса за это "советское вторжение"! Я рассказал Залыгиным о нашем с женой и падчерицами визите в Букингемский дворец в качестве членов Королевского общества лесоводов, когда Ее Величество придирчиво расспрашивала меня, какую часть парка видно из окна моего кабинета и видел ли я когда-нибудь там ее. Я признал себя виновным по некоторым "пунктам обвинения" — в частности в том, что видел ее верхом на лошади (по-видимому, она тренировалась для церемонии выноса знамени). <...>

Мастер английского шпионского романа Джон Ле Карре пригласил меня быть его гидом и ментором во время вылазки в СССР — первого его путешествия в страну Восточного блока. Он начал тогда работу над романом "Русский дом". <...>

Привожу статью, которую я написал по заказу "Телеграф мэгэзин" в июне 1989 года, незадолго до выхода в свет нового романа Ле Карре.

Ле Карре в России: дневник путешествия в неведомое

Напоминающий пещеру ресторан гостиницы "Международная" в Москве и в лучшие свои времена был невеселым местом. В конце декабря 1986 года он и вовсе представлял собой мрачное зрелище. Только что началась антиалкогольная кампания Горбачева, и в зале был занят всего один столик. За ним в полутьме сидели моя жена, две ее дочери подросткового возраста и я — нас угощали обедом два чиновника из Союза писателей. Официанты ползали как улитки. Мы чокались бокалами с "Фантой". Гласность еще не наступила; беседовать было непросто, и мы старались ограничиваться литературными делами.

Один из наших хозяев, сделав вид, будто ему только что пришла в голову удачная мысль, предложил нам пригласить в Англию Генриха Боровика, члена правления Союза писателей, отвечающего за международные связи. Склоняясь перед неизбежным, я сказал, что такой визит может дать возможность дальнейшего обсуждения вопросов, о которых мы сейчас говорим.

— О нет! — последовал ответ. — Мой коллега хочет побывать в вашей стране из-за своей новой книги. Он думает, что вы, с вашими связями, могли бы помочь ему встретиться с людьми, знавшими его героя и посетить его родные места.

— А кто этот герой?

— Патриот Ким Филби.

Ошеломленный, пытаясь собраться с мыслями, я вяло возразил:

— В моей стране не считают Филби патриотом.

— Ну, а у нас в Советском Союзе его считают человеком, оставшимся верным своим идеалам, борцом за коммунизм.

Тут ласково вмешивается моя жена Элизабет:

— Думаю, это неплохая идея. (Ну все, пропала моя карьера!) Взамен можно было бы прислать к вам какого-нибудь британского писателя, например Марка Фрэнкленда. (У меня отлегло от сердца: Фрэнкленда несколько месяцев назад выслали из СССР как шпиона.) Несомненно, вы, с вашими связями, могли бы помочь ему посетить знакомые места и встретиться с приятелями покойного патриота полковника Пеньковского (агента MI-6, расстрелянного в СССР за государственную измену).

После козырного хода Элизабет этой темы больше никто не касался. Вернувшись в номер, я не поленился высказать — "прямо в канделябр" — все, что я думаю о Союзе писателей и его провокационном предложении. Зайдя на следующий день в посольство, я пересказал весь этот эпизод Брайану Картледжу. Он рассмеялся и кстати заметил, что получил недавно письмо от Дэвида Корнуэлла, больше известного под псевдонимом Джон Ле Карре, с которым они много лет назад вместе служили в армии. Он собирается посетить СССР и просит совета. Посол предложил свести Ле Карре со мной в Лондоне.

Среда, 28 января 1987 г.

Обед с Ле Карре в "Коннот-грилл". Как в плохом романе, мы узнаем друг друга и знакомимся в уборной. Он предлагает мне называть его Дэвидом. По первому впечатлению, это аккуратнейший человек, безукоризненно одетый, с изысканными манерами. Скоро начинаешь понимать, что под обычной оболочкой скрывается сложная, яркая личность.

Я говорю ему о том, что сцену со Смайли в фильме "Лудильщик, точильщик, сапожник, шпион"[1] телевидение снимало в нашей гостиной в Челси. Дэвид говорит, что всегда обедает в "Коннот-Грилл" с Алеком Гиннессом и тот неизменно жалуется на пережаренные хлебцы. Дэвида позабавил рассказ о моем потенциальном московском госте, желающем написать о "патриоте Киме Филби", — что косвенным образом способствовало нашей с ним встрече. Он очень хотел бы когда-нибудь увидеться с Филби — "конечно, из чисто зоологического интереса!".

Дэвид хочет, чтобы я помог ему подыскать в России прототипы для персонажей новой книги, над которой он уже начал работать. Он слыхал (вероятно, от посла), что у меня там много друзей и знакомых. Я предлагаю устроить ему поездку в СССР, может быть даже отправиться с ним вместе. Идея ему нравится — так я и сделаю. Я спрашиваю, как он смотрит на возможность познакомиться с Филби. Он отвечает, что не хочет встречаться с Филби во время этой поездки. На все предложения такого рода мы должны неизменно отвечать: "Спасибо, нет".

Вторник, 14 апреля 1987 г.

Продать Советам идею визита Ле Карре оказалось непросто. На мои телексы не было ответа несколько недель. Но вот я встречаю в Хитроу моего старого приятеля Владимира Карпова, первого секретаря Союза писателей, и провожаю его через терминал № 1 к самолету на Глазго, куда он летит получать

1. Инсценировка романа Ле Карре. (*Прим. перев.*)

почетную степень в университете Стрэтклайда. Я нарочно веду его мимо книжного прилавка, на котором, кажется, нет ничего, кроме огромного количества книг Ле Карре в бумажных обложках. Спрашиваю Карпова о визите Ле Карре. Он делает вид, что ничего не знает. (Пару недель спустя, как будто никаких сомнений по этому поводу не возникало с самого начала, я получил из Москвы подтверждение, что нас ждут в середине мая.)

Суббота, 16 мая 1987 г.

Пролетая над балтийским побережьем Латвии, мы с Дэвидом обедаем и обсуждаем предстоящее путешествие. Может быть мне следует дать ему возможность составить собственное впечатление? Нет, он смотрит на поездку как на "зоологическую экспедицию", и моя помощь в определении типов и видов (включая смотрителей зоопарка) ускорит дело.

Мы приземляемся, опережая расписание. Молодой пограничник на паспортном контроле приводит нас в трепет, ставя под сомнение тождественность фотографии в паспорте Дэвида и гораздо более позднего снимка в его советских въездных документах. Проходим в отделение выдачи багажа и отыскиваем встречающих из Союза писателей. Вдруг из окружающей сутолоки выныривает некто и радостно к нам кидается. Это кандидат в члены ЦК, Герой Советского Союза (а теперь и почетный доктор литературы Стрэтклайда) Владимир Карпов, по счастливой случайности только что прилетевший с писательской конференции из Праги.

Из самолета выгрузили весь багаж, кроме вещей Дэвида. Я заверяю, что не оставлю его без штанов, и, положившись на то, что чемодан в конце концов найдется (так и случилось), мы идем к ожидающей нас машине. Вокруг толпятся репортеры. "Как вы относитесь к России?" – "У меня нет общего отношения к людям как массе. Я люблю одних англичан и не люблю других, так же как французов или немцев. С русскими будет то же самое". – "Что вы думаете о происходящих здесь переменах?" – "Об этом я хотел бы услышать от вас. Наступили поистине волнующие времена".

Владимир Стабников и Татьяна Кудрявцева отвозят нас в гостиницу "Минск" на улице Горького. Ресторан закрыт. Мы заказываем закуски из буфета и открываем бутылочку беспошлинного виски "Чивас Ригал". Скоро мы уже погружены в типично русский разговор об искусстве, литературе, жизни – на мелочи тут не размениваются. Дэвида явно пленили высокий интеллект первых живых представителей советского мира, встреченных им, и их неподдельная страсть к серьезным дискуссиям при первом же знакомстве.

Понедельник, 18 мая 1987 г.

Переговоры в Союзе писателей проходят гладко. Перед самым концом вваливается – к явному неудовольствию наших хозяев – субъект с огромным бриллиантом на пальце и в армейском полевом обмундировании. Он говорит, что только что вернулся из США и хочет, как автор шпионских романов, побеседовать с собратом по перу, когда мы будем на следующей неделе в "Литературной газете". Это Юлиан Семенов, в прежнее время спускавший на Ле Карре всех собак. Дэвид не хочет этой встречи.

Перед обедом мы прогуливаемся в скверике, наслаждаясь ароматом сирени и стуком пишущих машинок, доносящимся из открытых окон обветшавшего, но все еще прекрасного особняка, который теперь занимает Союз писателей, а в свое время послужил Толстому "прототипом" московского дома

Ростовых в "Войне и мире". За обедом Карпов очень мил, но обслуживают нас медленно, и ему приходится уйти в середине трапезы. Когда он встает из-за стола, на него налетает какой-то разгневанный писатель с жалобами на обслуживание — пример гласности в действии.

Я всегда встречаю в этом ресторане кого-нибудь из знакомых. На сей раз это Юрий Рытхэу, писатель с Чукотского полуострова, от которого до Аляски меньше 50 миль через Берингов пролив. Он говорит о бессмысленности символического проекта встречи на льду посреди пролива в середине зимы, потому что местные племена давно потихоньку так делают. Дэвид подтверждает, что когда-то это был обычный маршрут тайной шпионской "миграции".

Вторник, 19 мая 1987 г.

Чрезвычайно интересный разговор с Коротичем в редакции журнала "Огонек", где он стал главным редактором. Он собирается опубликовать статью об обществе "Память", представляющем ультраправые националистические силы. Во время визита нашего премьер-министра в марте этого года миссис Тэтчер спросила его, какой степени достигла гласность. Он ответил, что "Империя" наносит в "Звездных войнах" ответный удар. Создается впечатление, что он скачет, отпустив удила, рискуя почти безрассудно. В следующем номере журнала будет помещено последнее письмо Андрея Тарковского отцу (отец пережил Андрея, умершего в конце 1986 года), в котором он возлагает вину за свою "судьбу" на бюрократов от киноиндустрии.

Коротич предлагает Дэвиду, прежде чем тот уедет из Москвы, написать статью о его взгляде на литературу. Статья могла бы пойти вместе с объявлением, что журнал собирается публиковать "Маленькую барабанщицу", роман, известный в СССР до сих пор только по нападкам советских критиков на его автора. Дэвид говорит, что хочет затронуть тему необходимости гласности во всех странах: важнейшие решения повсеместно принимают втайне, граждан не ставят о них в известность, хотя принимают якобы от имени "народа". Этим объясняется его интерес к спецслужбам, вокруг которых сосредоточено действие в его романах, как в романах Агаты Кристи — вокруг сельских усадеб.

Вечером наш первый частный визит — к Евгению Пастернаку, сыну автора "Доктора Живаго". Засахаренные фрукты, которые я привез из Англии, удостаиваются названия "музейных экспонатов", а мы, как в музее, совершаем экскурсию по квартире, рассматривая семейные портреты, по большей части работы деда хозяина — Леонида Пастернака, но некоторые принадлежат кисти его матери и сына Петра, театрального художника. Квартира загромождена мебелью и всяким барахлом — результат внезапно полученного, невзирая на протесты общественности, предписания властей освободить дачу в Переделкине.

Все вместе переходим в квартиру Бориса Биргера, что напротив. Он был когда-то в числе молодых художников — участников выставки, которую Хрущев подверг печально известному разносу, заявив, что такие картины мог бы намалевать хвостом осел. Исключенные из Союза художников, эти люди могли существовать только на частные заказы от сочувствующих им радикалов. Я до сих пор не встречался с Биргером, но давно восхищался его работами, которые видел у друзей, особенно портретами Булата и Ольги Окуджава и Любы Гориной. Надеюсь когда-нибудь залучить Биргера в Англию.

Как здесь часто бывает, разговор становится все более серьезным и философским. Биргер кажется человеком, обретшим ясность духа через страдание, — неудивительно, что в его речах слышится Достоевский. Дэвид потеша-

ет всех рассказом о нападках одного советского журнала на его "Маленькую барабанщицу". Журнал включил в свою статью длинную цитату из романа, и агент Дэвида подал в суд, требуя авторский гонорар, — Дэвид настаивал, чтобы деньги направили не ему, а в фонд помощи преследуемым писателям, учрежденный Генрихом Бёллем.

Мы вспоминаем вчерашний разговор с Карповым о том, что литература должна исцелять раны прошлого. Если бы вещи, издающиеся ныне, были опубликованы тогда, когда написаны, они могли бы остановить зло. Пастернак говорит, что сейчас публикуется много рассказов об Афганистане, но все в героическом духе. <...>

Четверг, 21 мая 1987 г.

Горничная пришла поменять белье. Она узнала Дэвида по фотографии в "Литературной газете". Подозреваю, что среди британских горничных немногие читают литературное приложение к "Таймс". Сначала мы идем в посольство — снять фотокопию со статьи, которую Дэвид написал для Коротича. Кремль на другом берегу реки сияет в лучах утреннего солнца. Затем — в ВААП, агентство авторских прав, где встречаем самый дружеский прием. Боборыкин сообщает, что роман Замятина "Мы", долго бывший под запретом, недавно вышел, правда без большого шума, в Воронеже. В ВААПе думают, что хорошо сделали, запросив 100 000 долларов за право публикации романа Анатолия Рыбакова "Дети Арбата". Дэвид считает, что они продешевили. (По слухам, впоследствии права были перепроданы за 250 000 долларов.)

Во второй половине дня встреча Дэвида с читателями в Библиотеке иностранной литературы. Часа два со всех сторон сыплются вопросы (их подают на клочках бумаги). Его замечания об участи советских женщин и о том, что правительства не должны совать нос в частную жизнь людей, вызывают аплодисменты. После короткого "нет" в ответ на вопрос, есть ли какая-нибудь польза от социологов и философов, раздаются смешки. Уточняющий вопрос: "А от Маркса, Энгельса и Ленина?" — "Нет, но я их всех люблю".

Пятница, 22 мая 1987 г.

Завтракаем в буфете на своем этаже. Единственный нож исчез, у нас одна тарелка на двоих. Чай и кофе кончились. Женщина за стойкой не спеша, словно нарочно желая нас позлить, открывает сок. Нам смешно чуть не до слез, хотя перед нами — печальный образ экономической разрухи в стране.

Мы отправляемся в Загорск, исторический центр Русской православной церкви. Он полон паломников — сегодня день одного из самых почитаемых в России святых, Николая Угодника. Некоторое время нас сопровождает молодой священник. Он считает визит миссис Тэтчер в Загорск самым важным событием современности и с гордостью показывает, что она написала. Что-то вроде: "Для меня честь побывать здесь. Желаю, чтобы вашу проповедь услышало все человечество".

Суббота, 23 мая 1987 г.

Чудесная дорога на Николину Гору. Здесь все содержится в порядке, чтобы угодить правительственной и партийной верхушке, живущей поблизости. Юсуповская усадьба закрыта, но мы прекрасно погуляли в лесу. Дэвид, кажется, очарован моей юной подругой Леной, почитательницей Уилки Коллинза.

Они обнаруживают, что у них есть точка соприкосновения: английский город Шерборн — у нее там старый друг, он же учился в тамошней школе. Он говорит, что был "выпущен" досрочно. Только после того, как он стал знаменит, школьное начальство пригласило его выступить перед мальчиками. В заключении своей речи он сказал: "Вас здесь учат конформизму; говорю вам — в истории именно конформисты, а не индивидуалисты принесли больше всего вреда. Вы обязаны обогатить свой мир достижениями своего личного гения". И сел. Директор школы — пока ученики хлопали — наклонившись к нему, заметил: "Вам не следовало этого говорить". (Позже я рассказал Дэвиду о столкновении Холройда с Карповым по такому же поводу.)

(Затем в Киргизии, нынешнем Кыргызстане, мы три дня были гостями Чингиза Айтматова. И в столице, которая теперь называется Бишкек, и на озере Иссык-Куль мы жили в роскошных партийных резиденциях, которые есть повсюду в СССР. Нас также привлекли к подготовке статьи для "Огонька". С нами приехал Дмитрий Бальтерманц, выдающийся советский военный фотокорреспондент. При моем предшественнике Ассоциация организовала его выставку в Лондоне. Статья с нашими фотографиями и с портретом Айтматова на обложке появилась в 28-м номере "Огонька" за 1987 год.)

Среда, 27 мая 1987 г.

Ясно, что номер посвящен великому человеку Киргизии — у Дэвида роль эпизодическая. Если он и понимает это, то не показывает виду — для этого он слишком джентльмен.

Вечер. Возвращаясь в столицу, мы сворачиваем с дороги "передохнуть" и случайно обнаруживаем совершенно не тронутую цивилизацией постройку; древний морщинистый киргиз сидит во дворе, старуха возится у костра, детишки бегают босиком. Нам предлагают миску жидкой каши. Мимо пробегает дикий кот, кто-то замечает яка. Разговор идет о волках, снова ставших настоящим бичом этих мест. Солнце опускается за темные скалы, пламя костра обнадеживающе вспыхивает. Неотретушированная картинка напоследок.

Четверг, 28 мая 1987 г.

После заключительных встреч в Москве Дэвид предлагает поужинать вдвоем в "Центральной". Он находит, что там интерьер "Титаника", клиентура "эпохи 30-х" и атмосфера разложения — а все в целом, включая фарцовщиков и всяких подозрительных типов, "довольно забавно".

Он считает, что попытки реформ предпринимаются всерьез, но противодействие они встречают тоже серьезное, а не выдуманное отделом дезинформации КГБ. Им придется сделать уступки на идеологическом фронте, если они хотят заставить систему работать. Мне на ум приходит печальная аналогия, проведенная одним из моих советских друзей: сколько ни совершенствуй даже лучший в мире автомобиль, например "роллс-ройс", летать он все равно не будет.

Но в тот день одна попытка полета удалась: легкий самолет с отчаянным юным немцем за штурвалом ускользнул от советской системы ПВО и приземлился на Красной площади неподалеку от "Центральной", где мы с Ле Карре, ничего не подозревая, ужинали в тот последний вечер. <...>

Планы Фрэнка Данлопа устроить Эдинбургский фестиваль с широким участием русских летом 1987 года наконец осуществились. Присутство-

вали несколько знаменитостей, уже упоминавшихся на страницах этой книги, такие, как Геннадий Рождественский и ленинградский театральный режиссер Георгий Товстоногов. Отдельную группу пригласили на фестиваль для участия в открытом круглом столе, посвященном вопросам свободы творчества и эксперимента в искусстве. В этой группе тоже были знакомые лица: Ефремов, Карпов, Коротич и, в качестве ложки дегтя в бочке меда, Боровик.

Шотландское отделение Ассоциации, как уже указывалось, порой имело политические и тактические расхождения с лондонской штабквартирой. Опубликованный им отчет о фестивале 1987 года старательно обходит молчанием еще одного важного участника, писателя, у которого долго были неприятности с литературным начальством. Речь идет о Фазиле Искандере, вечер в обществе которого Майкл Фрейн назвал кульминацией своего первого визита в Москву. Вместе с Аксеновым и Окуджавой (с ними Фрейн тоже хотел познакомиться) Искандер входил в группу известных писателей, бросивших в 1979 году вызов литературному начальству и самовольно выпустивших альманах "Метрополь" — антологию своих произведений, которые наверняка были бы отклонены (или уже были отклонены) государственными издательствами. Аксенова это в конце концов привело к эмиграции в США; Искандер стал невыездным. Его прибытие в 1987 году в Эдинбург ознаменовало собой некий переломный момент.

Во многих произведениях Искандера с юмором повествуется о детстве и юности автора в Абхазии. Рассказчик, воссоздавая экзотический "местный колорит", мягко посмеивается и над собственными причудами, и над сумасбродствами окружающих его отдельных людей и общества в целом. Широкое признание Искандеру принесла повесть "Созвездие Козлотура", опубликованная в "Новом мире" в 1966 году. Это сатира на генную инженерию, как ни странно, оказавшаяся пророческой. В ней рассказывается, как удалось скрестить козла с туром и вся страна помешалась на разведении козлотуров. В коротком, но обстоятельном очерке об Искандере его переводчица Джан Батлер писала:

> Он создал собственный повествовательный стиль: обманчиво легкий, остроумный, стиль этот достигает блестящего эффекта, еще резче подчеркивая катастрофические последствия нелепого увлечения козлотурами и вообще любого отклонения от истины и здравого смысла.

Далее она описывает, как рассказчик в одном из произведений Искандера жалуется на отсутствие чувства юмора у партии: "Социализм, дамы и господа, — это великая шутка. И когда в конце концов юмор овладеет партией, а партия овладеет юмором, мы смеясь избавимся от всех наших социальных и экономических проблем".

Это говорит рассказчик, не автор. В мае 1988 года Фазилю Искандеру снова разрешили посетить Англию. Он и его жена Тоня несколько дней гостили у нас в Лондоне. Выступив перед многочисленной аудиторией с рассказом о положении литературы в СССР, Искандер с женой и друзьями вернулся к нам домой, и мы устроили веселый ужин. На следующее утро Искандер написал в книге посетителей Ассоциации:

> Дорогой Джон. Вечер в твоем доме был чудесным. Не знаю, чего больше было — смеха или вкусностей. Во всяком случае одно другому не мешало. Твоя

жена несколько раз остроумно пошутила по-русски. По Марксу, способность понимания юмора на другом языке — высший признак знания языка. По-видимому, это так же верно, как и все остальное в учении Маркса. Как сказал один наш знакомый: "Хелло, Джон".

P. S. Подобно ему, я, оказывается, попал не в ту клетку.

Обнимаю.
Ф. Искандер

После падения режима Союз писателей СССР, проклятие всей его жизни, раскололся на множество региональных и политических группировок. 150 подлинных творцов из числа 12 500 "писателей", входивших когда-то в ССП, создали российский ПЕН-клуб, призванный защищать свободу литературного творчества.

Перевод с английского Л. Ю. Столяровой

Франсуа Миттеран
Эли Визель
Воспоминания на два голоса

Главы из книги

Перевод с французского Н. Сперанской

Предисловие

Политический деятель прежде всего выражает себя в своих поступках, по ним и нужно его судить. Речи и книги — лишь инструменты, помогающие ему действовать.

Но когда мандат заканчивается, труд завершен и с возрастом приближается горизонт, у него возникает потребность собрать рассеянные мысли и доверить письму править дальнейшим ходом его жизни.

Достигнув известного возраста, я также испытываю необходимость высказать в нескольких словах, которые слишком долго носил в себе, то, что для меня важно.

Такова цель этой книги, ради нее я вместе с Эли Визелем и предпринял этот мемуарный труд.

Одиль Жакоб убедила меня подготовить его к изданию и напечатать.

За это я ей благодарен.

Ф. Миттеран

1. *Вера*

Эли Визель. Вы были очень верующим ребенком и учились в Ангулеме у отцов-иезуитов...

Франсуа Миттеран. Нет, не у них. Епархиальный коллеж, каким был ангулемский коллеж св. Павла, — не школа-монастырь. Я учился в частной католической школе, некоторые преподаватели в ней были сельскими священниками. Это не была школа мысли, там был совсем другой настрой, чем у иезуитов.

Э. В. Я только хотел сказать, что для вас, как и для меня, вера с самого начала играла важную, если не центральную роль.

Ф. М. Нет, я бы этого не сказал. Я верил так, как меня научили в семье и в школе. Мой темперамент, пожалуй, можно было бы назвать религиозным. Эти вопросы интересуют меня. У меня естественная склонность самому их исследовать. Я лишь допускаю существование единого начала и возможность объяснения сущего, но мне бывает трудно выбрать способ объяснения. Такой склад ума очень повлиял на мои школьные занятия. Я повернут к изучению этих проблем и посвященных им трудов. Меня очень занимает литературная форма и стиль этих трудов. Поэтому кажется, что можно сказать обо мне так, как сказали вы, но на самом деле я агностик. Я

© Éditions Odile Jacob, avril 1995
© Н. Сперанская. Перевод, 2001

не знаю, знаю я или нет: едва ли это можно назвать верой.

Э. В. Тем не менее однажды, говоря о своем детстве, вы сказали: "Время и вещи говорили о Боге как о самоочевидном".

Ф. М. Да, мне знакома такого рода уверенность. Но когда речь идет об идее начала, правящего вещами, — чтобы не говорить об идее Бога, — я сказал бы, как агностик, что если я склоняюсь в какую-нибудь сторону, то скорее в сторону веры. Тем не менее я не являюсь практикующим католиком и опасаюсь догм.

Э. В. Мне кажется, что можно даже восставать против Бога. Иногда подлинная вера состоит в том, чтобы отказаться от нее или, по крайней мере, поставить под вопрос.

Ф. М. Я никогда не поднимал мятежа против Всевышнего. Я не расставался с церковью, "возвращая билет", мне не пришлось, так сказать, "рвать пуповину". Я отдалился от церкви постепенно, незаметно, эта эволюция произошла во мне сама собой.

Э. В. Значит, не было драматического разрыва, а лишь медленная эволюция... А вы можете вспомнить момент, когда ваша вера начала слабеть?

Ф. М. У меня не было ни ночи Паскаля, ни клоделевской колонны собора[1], я не могу зафиксировать этот момент. Но думаю, что во время войны.

Э. В. Я очень хорошо помню, как впервые не надел тфилин. Это было в 1949 году в Израиле. Я работал с одним журналистом, был очень занят в тот день и совершенно забыл обо всем остальном. Это страшно меня напугало, потому что я был очень набожен. Однако мир не обрушился. А я был уверен, что если совершу что-нибудь подобное, то тотчас умру от разрыва сердца!

Ф. М. Но вы выжили!

Э. В. Да, потому что Бог терпелив. Вы писали где-то: "Свобода — это разрыв".

Ф. М. Да, всегда разрыв. Прежде всего я говорил о том, что свободу нужно завоевать. Свобода — это переход от одного состояния к другому, стало быть — разрыв. Я основывался на собственном опыте: я был в плену и отвоевал свою свободу. Одним мартовским утром я должен был порвать с ежедневным лагерным распорядком и пойти на неизбежный риск. Пересечь колючую проволоку означало разрыв, и этот образ запечатлелся в моей памяти. Потеря свободы, вы понимаете, может быть довольно приятной, даже в нищете. Установленный порядок — очень комфортная вещь, даже если он играет против вас. Но для того, чтобы оказаться способным на разрыв, необходимо выбрать другой комфорт, дух свободы.

Э. В. Когда-то, очень давно, я попал в автокатастрофу и провел в больнице целый год. И в тот день, когда врач сказал мне: "Завтра вы выписываетесь" — я испугался.

Ф. М. Я это понимаю. Мой побег в марте сорок первого года чуть не сорвался из-за того, что накануне я в первый раз получил посылку от родственников, пару роскошных ботинок. Поскольку они были совершенно новые, я не мог их надеть, меня бы тут же поймали. Это звучит абсурдно, но я был готов остаться, чтобы сохранить эти башмаки.

1. Поль Клодель (1868–1955) считал моментом откровения, раскрывшего ему суть католической религии, видение, которое посетило его 25 декабря 1886 г. в соборе Парижской Богоматери; откровение, явившееся Паскалю ночью 23 ноября 1654 г., стало одной из причин его сближения с янсенистами. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Э. В. Свобода не быть свободным — тоже, вероятно, форма свободы.

Ф. М. Для этого необходимо, чтобы выбор был по-настоящему свободным. У меня был выбор остаться там, где я был. Моя свобода заключалась в том, чтобы уйти туда, куда я хотел, вернуться в мою страну, вернуться в бой, вернуться к тем, кого я любил, — словом, выйти из подчинения, в котором я находился. Разумеется, я имел возможность сказать: "Я могу вернуться домой, но предпочитаю остаться здесь". У меня был друг по имени Антуан Модюи, замечательный человек. Депортированный в Берген-Бельзен, после освобождения он остался там на несколько дней, чтобы ухаживать за другими, отказавшись сесть на первый поезд, как ему предлагали, и вернуться к жене, с которой я ждал его на перроне Восточного вокзала. И он заразился тифом и умер. Вот это высшая стадия свободы: свобода самопожертвования.

Э. В. Это свобода, превратившаяся в веру.

Ф. М. Именно так. Для него, принявшего католичество в зрелом возрасте и глубоко веровавшего, осознававшего религиозный смысл подвижничества, это была вера. Он мог действовать, только ориентируясь на абсолют.

Э. В. А до обращения?

Ф. М. Я не знаю, каков был его предшествующий религиозный опыт. Он не верил до того дня, когда — еще до войны — его посетило откровение, озарение. Сын очень состоятельных родителей, он стал наниматься сезонным рабочим на фермы, потом вступил в Иностранный легион, чтобы окончательно порвать со своим прошлым. Он воевал, потом попал в плен... Что с ним было сразу по возвращении, я не помню. Потом он организовал в Деволюи — это район Альп к югу от Веркора — род фаланстера, религиозную общину, объединившую самых разных людей, которые обрели в ней духовную опору. Потом его арестовали и депортировали.

Э. В. Камю задумывался над тем, нельзя ли быть святым, не веря в Бога.

Ф. М. Думаю, что можно. Бог — это ориентир, высшая мотивация. Некоторые невоцерковленные люди, некоторые неверующие достигали настоящей святости. Их единственной опорой была личная мораль, этика, а единственным вознаграждением — осознание выполненного долга.

Э. В. Мне кажется, что нечто похожее имеет место у коммунистов.

Ф. М. Вера выражает себя догмой, а догматиком можно быть в любом лагере. У коммунистов также были свои герои и свои святые, которые из высшего почитания своей догмы шли на самопожертвование.

Э. В. Лексикон коммунистов совершенно религиозен, если не сказать мистичен. Их учение очень похоже на религию. Маркс, Ленин и другие — ее пророки.

Ф. М. Совершенно верно. Обычно религия стремится взять под полный контроль жизнь человека, ничего не оставляя случаю. Язык, дух, даже повседневные поступки должны были быть подчинены коммунистической идеологии. Вы можете заметить в этой связи, что в католических странах Южной Европы коммунизм стяжал наибольший успех, здесь произошло превращение части наших последовательных католиков в воинствующих коммунистов. Это потребовало, конечно, многих разрывов — но не перемены натуры.

Э. В. Вы действительно полагаете, что вера обязательно связана с догмами? Вы не думаете, что возможна недогматическая вера?

Ф. М. Я сказал это только применительно к коммунистам. За исключением нескольких великих умов большинство людей нуждаются в том, чтобы их вера чем-то поддерживалась, сохранялась. А для того, чтобы поддерживать свою веру, простому смертному необходимо структурировать ее вокруг ключевых идей и определенных обрядов. Это роль церквей, и они создают догмы. Оставаться верующим, не принадлежа к какой-либо церкви, — это очень сложный путь индивидуального духа, требующий большого героизма.

Э. В. Возможно ли и до́лжно ли иметь веру, в то же время ища ее? Остается ли это для христиан даром, милостью?

Ф. М. "Ты не искал бы меня, если бы ты меня не нашел", — говорит Паскаль. Люди продолжают искать веру, хотя уже обрели ее. Мы знаем много рассказов о подобном опыте. Возьмите Терезу Авильскую, великого мистика, или же Терезу из Лизье, неграмотную монашку. На самом деле великие мистики проводят половину жизни в сомнениях, хотя имеют веру внутри себя: я сомневаюсь, я в пустыне, Бог оставил меня, но я продолжаю ве́рить в него и служить ему.

Э. В. Другими словами, вера — это вызов.

Ф. М. Настоящая вера — да. Сомнение — неизбежный спутник веры. Речь не идет, конечно, о тех, кто просто унаследовал ее от родителей и поддерживает как слабый огонек, как удобную привычку.

Э. В. Мистицизм интересует вас, не так ли? Я чувствую, что он интригует вас и притягивает. Почему?

Ф. М. Все мы знаем мистические порывы. Но может быть, вы правы. Почему он влечет меня? Потому что он поэтичен. Мистики придают вещам и живым существам ореол поэтичности, который вызывает у меня желание постигнуть мир и жизнь по каким-то иным законам, чем законы разума или постулаты науки.

Э. В. Вы продолжаете читать книги о мистицизме?

Ф. М. Во всяком случае, книги о мистиках. Тереза Авильская, Франциск Ассизский, Хуан де ла Крус, даже последняя "маленькая Тереза", Тереза Младенца Иисуса — очень сильная личность. Это классические имена, и их книги есть в любом книжном магазине.

Э. В. Вы не читаете ничего об иудейской, буддийской или суфийской традиции?

Ф. М. Специально нет. Я знаю книги Библии, и только. Но Библия — не очень мистический текст...

Э. В. В Библии все основы иудейской традиции. И потом, в ней много иррационального.

Ф. М. Но не все иррациональное — мистика. Библия — это родовая книга, выражающая смысл существования одного народа.

Э. В. Только что вы противопоставили науку вере. Но разве чистый интеллектуал, представляющий себе Вселенную как мыслительную категорию, не нуждается также в вере?

Ф. М. Я не знаю, нуждается ли он в ней, но многие ученые в наших западных обществах сохраняют христианскую веру. Они допускают возможность чуда, существование Троицы, тайну, окутывающую рождение Христа... Это доказывает, что когда вера овладевает умом или душой человека, она сильнее рассудка. Самый сильный интеллектуал, который требует от мысли, как вы

сказали, ясности категорий, вдруг может растеряться: когда он задумывается о своей личной судьбе и не находит ответа, то, если у него есть вера, он находит успокоение в ней.

Э. В. В Оксфорде и Гарварде я встречал физиков — ярых католиков, верящих даже в догмы.

Ф. М. А вот если у них нет веры, это совсем другое дело. Выдающиеся ученые и великие интеллектуалы приходят к вере через свое знание; других же, напротив, наука отдаляет от религии.

Э. В. Однажды специалисты НАСА пригласили меня прочесть лекцию о мистицизме. Меня это удивило, но я согласился. Я спросил, почему такие люди, как они, занимающиеся наукой, космосом, интересуются мистицизмом. На это они ответили, что, достигнув пределов знания, хотят узнать, что́ стоит за ним, и если истинная вера существует, она может быть только мистической природы.

Ф. М. Спросите кого-нибудь из крупнейших современных ученых, и он скажет вам, что сегодня человеческий разум не имеет ответа на вопрос "почему". Он накапливает ответы на вопрос "как"; но между самым утонченным, самым последним "как" самых смелых современных открытий — в математике, биологии или астрономии — и "почему" остается необъятная пропасть. Впрочем, очередное последнее "как" назавтра сменится новым. Качественного изменения не происходит. Поэтому мне кажется, что надо, если позволено так выразиться, броситься в воду. Самый требовательный аналитический ум должен в какой-то момент принять самую наивную, ребяческую веру. Ту, о которой говорил Христос.

Э. В. "Почему" — это вопрос вопросов. Почему Бог создал мир? Зачем он существует?

Ф. М. Происхождение мира... Пока что в этом вопросе также умножаются "как": нам говорят о кварках, о черных дырах, но даже если еще тысячи лет продвигаться в познании исходных феноменов, мы не найдем ни "зачем", ни "почему".

Э. В. Тайна начала — это сфера мистицизма.

Ф. М. В начале было Слово.

Э. В. У евреев не так. "Берейшит Бара...": "Вначале сотворил Бог небо и землю". Сотворил Словом. Но что было до Слова?

Ф. М. Если бы у меня был ответ, у меня была бы вера.

Э. В. А я думаю, что если бы вы его знали, то как раз не верили бы.

Ф. М. В любом случае я был бы уверен. Если бы я искал объяснения, рассуждая чисто материалистически, я все равно считал бы, что надо искать чего-то иного, кроме познания механизмов. Мне всегда кажется, что должно быть что-то, что приводит машину в движение. Об этом говорил Вольтер в апологии часовщика.

Э. В. А каковы ловушки веры?

Ф. М. Самая очевидная — успокоиться на каком-то ответе, отказаться от самостоятельного поиска. Это́ источник обскурантизма: Галилея и алхимиков предали анафеме, любое научное открытие, всякое экспериментаторство клеймилось как колдовство.

Э. В. Такой подход называется еще и фанатизмом.

Ф. М. Именно так. Вера — точнее сказать, догматизм — ведет к сектантству, нетерпимости, а значит, к преследованиям. Инстинкт снова берет верх в человеке: начинаются репрессии, а те, кто их проводят, утверждают свою власть. Самое надежное средство для церкви — утвердить незыблемость своего учения, своей религии, то есть получить

власть. История изобилует такими примерами.

Э. В. Религия не должна превращаться в фанатизм, но это происходит сплошь и рядом. Вера, глубокая и всеобъемлющая, и нетерпимость кажутся несовместимыми...

Ф. М. Не для меня. К сожалению, каждый проходящий день подтверждает эту истину: верующие люди редко бывают терпимы. Им так хотелось бы, чтобы те же правила, что властвуют над их жизнью, господствовали над всем миром...

Э. В. Мистики, какова бы ни была их религия, это особый случай. Можно сказать, что они лучше понимают друг друга.

Ф. М. Потому что они поднимаются выше.

Э. В. Между христианами, иудеями и мусульманами есть разница, и тем не менее она лишь мнимая. Мистики встречаются над этими различиями, в едином. Но из-за этих расхождений вера переходит свои границы и превращается в фанатизм.

Ф. М. Возможно, какие-то религии создавали терпимые учения, но я, кажется, не могу припомнить ни одного примера. Отдельные люди, в силу своего опыта и полученных знаний, могли примирить веру и терпимость: скажем, святой Франциск Ассизский. Но гораздо больше было тех, кем владел воинственный дух и кто кричал: "Смерть неверному!"

Э. В. Сегодня происходит то же самое. Не беспокоит ли вас новая волна фундаментализма, поднимающаяся на наших глазах?

Ф. М. Она возмущает меня. Чтобы избежать слишком сильных выражений, скажу, что, на мой взгляд, фундаменталисты не очень умны. Какое откровение они получили? Что дает им право судить обо всем, наказывать...

Э. В. ...и убивать? Сегодня убивают в Алжире, убивают в Иране. Фанатизм слеп и делает людей глухими и слепыми.

Ф. М. В моих глазах любое проявление фанатизма — это проявление глупости. Он вызывает у меня отвращение. Это одно из главных зол, угрожающих человечеству.

Э. В. Потому что он отрицает возможность задавать вопросы, то есть — культуру.

Ф. М. Потому что он отрицает жизнь.

Э. В. И кроме того, фанатик не задает себе вопросов, у него нет сомнений: он знает, то есть думает, что знает.

Ф. М. Сомнение очень полезно.

Э. В. Да, только когда оно толкает к тому, чтобы задавать вопросы. А это и дает жизнь культуре. Как бороться с фанатизмом?

Ф. М. Не противопоставлять ему другого фанатизма.

Э. В. Вы хотите сказать, что антифанатизм столь же опасен?

Ф. М. Разумеется. Очень велик соблазн прибегнуть к тому же оружию: он ударил меня, так я отвечу тем же. Но необходимо соблюдать собственные законы и не отступать от них, хотя фанатизм часто провоцирует нас. И это вопрос тем более деликатный, что при всем том нельзя допускать слабости. Осторожность, твердость и проницательность позволяют добиться успеха: уже полвека, со времени гибели фашистской и нацистской идеологии, фанатизм и терроризм не побеждали в западных обществах.

Э. В. Благодаря чему это происходит, благодаря кому? Благодаря смене эпох? Является ли противоядием от фанатизма образование? Кажется, что да, причем единственным.

Ф. М. Да, это лекарство, но не единственное. Вам известно, что Пико делла Мирандола был одним из самых фанатичных приверженцев Савонаролы... Он один из величайших гуманистов — и он же сжигал книги на кострах вместе со своим учителем.

Э. В. Он был также учеником великого еврейского философа и мистика Авраама Абулафии[1]. Вы только что сказали, что можно быть святым, не имея веры. А меня занимает другой вопрос: можно ли быть человеком нецерковным, даже агностиком — и в то же время иметь веру?

Ф. М. Семантически эти термины несовместимы: агностицизм есть не-знание, в данном случае — веры.

Э. В. Пожалуй, я имел в виду вот что: возможно ли примирить веру в Бога и веру в человека?

Ф. М. Этот вопрос еще шире. Очень многие имеют веру в человека, тем более сильную, что она не прибегает ни к каким сверхъестественным объяснениям. Но мне кажется, что человек — в завоевании своей свободы, в своем последовательном освобождении, в утверждении своего господства над миром, в развитии своего разума — несет некую идею, которая больше его самого. Вера в человека и вера в Бога не исключают друг друга, совсем наоборот.

Э. В. Я задал этот вопрос потому, что часто веру в Бога отрицали во имя веры в человека.

Ф. М. Эти два типа мышления сосуществуют и очень часто дополняют друг друга. Но есть еще один взгляд на эту проблему — у людей, которые верят в человека и считают, что гораздо благороднее, не имея надежды на загробное вознаграждение, строить свою жизнь на основе определенной этики, определенной морали, некоего высшего императива.

Э. В. Я хорошо знал Франсуа Мориака. Он был почти влюблен в Христа. Иисус привлекал его больше, чем христианство. Интересует ли вас смерть Иисуса?

Ф. М. Да, очень. Это человек, который для своих учеников является одновременно Богом. Как такое возможно? С первых лет христианства люди задавались вопросом, был ли Христос больше человеком, чем Богом, или больше Богом, чем человеком. Вокруг этого вопроса секты дрались одна с другой не на жизнь, а на смерть.

Э. В. Нельзя ли предположить, что любой человек — немного Бог и немного человек?

Ф. М. С мистической точки зрения безусловно, потому что для христиан человек создан по образу и подобию Божьему. В образе неизбежно есть отражение Бога, и, возможно, больше, чем отражение...

Э. В. Что было бы, если бы Христос умер естественной смертью?

Ф. М. Он не передал бы вести. Христос умер, служа человечеству...

Э. В. Значит, он принял на себя страдание за людей.

Ф. М. И смерть. Без нее его миссия не была бы выполнена.

Э. В. Вы думаете, что возможно страдать за другого?

Ф. М. Эта идея правила жизнью и смертью Христа.

Э. В. И вы в нее верите?

Ф. М. Я прочел все, что об этом написано: исторически я верю в существование Христа и думаю, что человек может взять на себя эту роль. Это ему по силам. Святые или герои — есть немало людей, чье вдохновение заставляет их принять смерть ради спасения других.

1. Авраам Бен Самуэль Абулафия (1240–1291) — мистик, каббалист.

Э. В. Я понимаю, что такова была мысль Иисуса и такова мысль тех, кто в него верит. Но сам я, как иудей, ее не понимаю. Для нас страдание за другого невозможно. Я могу страдать вместе, может быть даже умереть вместе с кем-то, но я не могу ни страдать, ни умереть за другого.

Ф. М. Что касается меня, я считаю, что смерть Иисуса была связана с вестью, которую он должен был передать.

Э. В. В моменты отчаяния человек либо приближается к Богу, либо отдаляется от него.

Ф. М. Чаще все-таки приближается, но это не самое благородное устремление к Богу: в такие моменты мы охвачены страхом перед неизвестным. Все страхи, накопившиеся за историю мира, внезапно обрушиваются на нас, и мы начинаем искать прибежища. Это же может и отдалять нас от Бога. Те, кому довелось видеть страшную жестокость, часто отшатываются от Бога.

Э. В. Мне доводилось встречать верующих людей, которые во время войны сделались атеистами; и напротив, я знал атеистов, которые во время той же самой войны уверовали. Наполеон говорил: "Атеистом не становятся по собственной воле".

Ф. М. Откуда берется у человека желание стать атеистом? Смысл такого движения мне непонятен.

Э. В. Это бунт против авторитета. Коммунизм, например, представлял стремление освободиться от Бога.

Ф. М. Коммунисты считали, что церковь угнетает народ и сотрудничает с правящими классами, с существующим режимом, мешает массам мыслить и просвещаться. Так что ваша точка зрения не совсем неверна. И тем не менее сами коммунисты заменили одну форму церкви на другую, но не могут похвастаться результатами. Возвращаясь к вашим словам, скажу, что во время войны естественное стремление толкало меня к Богу — таков был мой рефлекс, таково было воспитание. Но объективно этот и последующий период по-настоящему не приблизили меня к Богу. Иногда я, инстинктивно, был готов обратиться к Нему, призывая на помощь, но в целом из военных лет я вышел скептиком.

Э. В. Можете ли вы сказать, что вашу веру — назовем ее агностической — вы можете передавать другим?

Ф. М. Не стоит называть мои взгляды верой. Как и многие люди, я задаю себе вопросы, но, повторяю, я все же скорее спиритуалист. Я не могу рассуждать как верующий человек. Я отвечу вам, что не обладаю верой в такой мере, чтобы передавать ее другим.

Э. В. А ваша вера не укрепляется при общении с глубоко верующими людьми?

Ф. М. Если его жизнь согласуется с его словами, такой человек может произвести на меня впечатление, повлиять на мое мышление и поведение.

Э. В. Вам ведь довелось встречаться со многими великими верующими людьми? Вы встречались с несколькими папами римскими?

Ф. М. Да, со многими верующими. Мориак, Массиньон, Модюи, синайские монахи, один иезуит, отец Делобр и другие... Мой собственный отец. Я действительно встречался с папами: с Пием XII, Иоанном XXIII, Павлом VI. Я не встречался с Иоанном Павлом I, который занимал престол очень краткий срок. Больше всего я виделся, разумеется, с Иоанном Павлом II, поскольку с ним я имею возможность беседовать как глава государства.

Э. В. Франция — страна традиций, по большей части католическая. Каковы отношения церкви и государства? Находятся ли они в конфликте?

Ф. М. Когда церковь пытается отвоевать больше места в образовании, чем она имеет сейчас, когда начинает беспокоиться о религиозном образовании, случается некоторое повышение температуры. Если сопротивляться тому, чего желает церковь, возникает напряжение. Но это происходит нечасто.

Э. В. Как-то вы сказали: "Что такое несправедливость, я понял, читая Нагорную проповедь".

Ф. М. Это один из самых прекрасных текстов, какие я знаю. Ведь Христос произнес эти слова почти две тысячи лет назад, а практически ничего не изменилось! Он вполне мог бы явиться снова только для того, чтобы сказать то же самое. Просто вместо того чтобы всходить на гору, где Его могли бы не услышать, Он отправился бы в Бобиньи[1].

Э. В. И как, на ваш взгляд, его бы там приняли?

Ф. М. Префект, которого убедил бы епископ, пожалуй, попросил бы Его уйти в соседнюю общину...

Э. В. Случалось ли вам задаваться вопросом, справедлив ли Бог? Как в «Легенде о Великом инквизиторе» у Достоевского.

Ф. М. Я всегда слышал, что Бог справедлив. Я спрашиваю себя, на чем основано это утверждение. Вы замечали, наверное, что во многих проповедях и речах, произносимых по случаю чьей-либо смерти или какой-нибудь крупной катастрофы, ораторы обычно утверждают, что Господь справедлив и даже добр. Мне бывает трудно примирить этот постулат с событием, по поводу которого он высказывается.

Э. В. Надгробные речи произносят обычно не для мертвых, а для живых, чтобы утешить, чтобы облегчить боль.

Ф. М. То, чему меня учили и чему я хотел бы верить, — это одно. А то, что я вижу и знаю, — другое. И ничто не убеждает меня в существовании высшей справедливости.

Э. В. Речь идет о справедливости в глазах Бога, а не в глазах людей. Каждый раз, когда я задаю себе эти вопросы, я прихожу к выводу, что не могу их разрешить.

Ф. М. Я тоже. Я не утверждаю, что Бог несправедлив, я говорю лишь: "Я не знаю, справедлив ли Он". Полагаю, что мировой порядок — или беспорядок — не подчиняется никакому закону справедливости, по крайней мере как мы ее понимаем.

Э. В. Что такое для вас справедливость?

Ф. М. Это когда благородные деяния вызывают восхищение и желание подражать им, а жестокие признаются таковыми. Однако в обычной жизни я часто не вижу различия в последствиях добрых и дурных поступков. Может быть, в сознании того, кто совершает злые дела, присутствует какая-то легкость, с одной стороны, а с другой — грусть от того, что поступаешь не так, как следовало бы. Возможно, это так, и это называется совестью. Она есть не у всех, иногда не находишь ее даже у самого себя.

Э. В. Когда кого-то наказывают, человек переживает наказание не один, переживает и его семья, дети. Человек никогда не страдает один, всегда вместе с теми, кто страдает от его страдания. Возвращаясь к несправедливости — я достаточно хорошо вас

1. Многонаселенный индустриальный пригород Парижа.

знаю, чтобы видеть, что вы пытаетесь с ней бороться.

Ф. М. Безусловно, это побуждение и эта мысль руководят моими действиями в первую очередь. Сам я очень далек от совершенства, но прекрасно это сознаю.

Э. В. В конце концов, если после человека что-то остается, наверное, это та битва, что он вел против несправедливости.

Ф. М. Безусловно, это одна из самых прекрасных битв. Она определила мой политический выбор, и я по-прежнему считаю, что поступил правильно. Со временем к острому переживанию несправедливости, которое толкало меня действовать, прибавилось стремление самовыразиться. Потому что для того, чтобы победить несправедливость, недостаточно ощущать ее. Для того чтобы организовать общество, исправив его пороки, необходимо предпринять почти научное исследование этого общества. Откуда они взялись? Чаще всего причина их кроется в борьбе классов, в тех формах, которые принимает эксплуатация человека человеком и стремление каждого человека к власти. Одним словом, в том законе джунглей, который диктует уничтожать своего ближнего, чтобы выжить.

Э. В. Случалось ли вам быть несправедливым?

Ф. М. Вероятно, да. Должно быть, я допускал это, но никогда — сознательно. Это происходило либо под влиянием дурного настроения, либо потому, что я не обдумал как следует последствий какого-то решения.

Э. В. Что вы делаете в подобных случаях?

Ф. М. Пытаюсь исправить ошибку, а когда это невозможно, некоторое время сильно переживаю.

Э. В. Для меня самая страшная несправедливость — это унижение. Когда я вижу, что кто-то унижен, я испытываю потребность действовать, протестовать.

Ф. М. Я чувствую то же самое. Наверное, мне случалось унижать людей. Они простят меня, когда поймут, что я делал это невольно. Как бы то ни было, унижать людей означает выказывать недостаток самоконтроля, недостаток воспитания.

Э. В. А приходилось ли вам бывать униженным? Во время войны, когда вы были пленным, вы чувствовали унижение от того, что проиграли?

Ф. М. Отнюдь, личного унижения я не испытывал. Я разделял коллективный гнев, чувство национального унижения.

Э. В. В глубине души вы продолжали сражаться.

Ф. М. Конечно. Я никогда не думал, что война проиграна. Это не было результатом исторического анализа, я говорю о своем ощущении. Мне просто казалось, что завтрашний день исправит вчерашний.

Э. В. Вы согласились бы, что это можно отнести и к Христу? Сказать, что он жил в настоящем, но умирал во вневременном?

Ф. М. Причины осуждения на смерть и распятия Христа лежали в конкретной, локальной ситуации.

Э. В. И ответственность лежит на римлянах?

Ф. М. Нет, в сущности, они остались непричастными к делу. Оно касалось прежде всего иудеев и вечной борьбы между ортодоксией, освященной иерархией и догмой, и тем, что называется ересью, — отступлением от обычаев.

Э. В. У греков ересь означала сомнение и позднее каралась смертной казнью.

Ф. М. В любом случае я не читал ничего, что позволяло бы сделать другой вывод, даже у Ренана.

Э. В. Ренан — не авторитет в иудейских делах.

Ф. М. Он рассматривал евреев как арабское племя... Я вижу, что вам это неприятно. Почему? Ренан существенно продвинул дебаты. С другой стороны, эту историю рассказывали и неверующие и интерпретировали ее так же, как и я: Христос посягнул на иерархию, правившую в иудаизме. Теми же побуждениями руководствовалась наша церковь, преследовавшая христианские ереси с III по XVIII век. Подумайте только, в XVIII веке был осужден на смерть и казнен юноша девятнадцати лет, шевалье Жан-Франсуа Лефевр де ла Барр. Утверждалось, что, подойдя к причастию, он не снял шляпы и саркастически улыбался. Поскольку в то же время на каком-то мосту нашли сломанный крест, а компания молодых людей распевала озорные песни, этому несчастному отрезали язык, его остригли и... отрубили ему голову! Но на этом основании нельзя осудить целую Церковь; к тому же я уверен, что многие священники и сегодня испытывают стыд за это преступление. Вина за него лежит на иерархах, которые доходят до крайностей в следовании догмам. Поэтому довод, что Христос смущал иудейских религиозных вождей, кажется мне убедительным. Позднее многие христиане были убиты за то же самое. Это случилось с Иаковом, с Филиппом, со Стефаном Первомучеником, которые в глазах ортодоксальных иудеев были мятежниками.

Э. В. Однако Иеремия, например, мешал царю гораздо больше, чем Христос, но его не приговорили к смерти.

Ф. М. Из всех пророков Иеремия мне наиболее антипатичен. Он крикун, амбициозен, немного коллаборационист. Поэтому я всегда удивляюсь, когда мои друзья называют его именем детей, хотя Жереми — действительно звучное имя.

Э. В. Я с вами не согласен. Вы несправедливы к Иеремии. Он не стремился стать царем, он даже, бедняга, не хотел быть пророком. У меня он вызывает сочувствие. Он говорил таким прекрасным языком, почти как Исайя. Позднее я попытаюсь оправдать его в ваших глазах, а сейчас я хотел бы вернуться к Достоевскому. Оправдано ли, по-вашему, утверждение "Если Бога нет, все позволено"?

Ф. М. Нет, оно неверно. Конечно, Бог — большая опора в жизни человека, но даже если бы ее не было, это утверждение неверно.

Э. В. Что меня смущает у Достоевского, так это то, что Бог у него повсюду — он и с победителями, и с побежденными, с теми, кто страдает, и с теми, кто причиняет страдания. Когда обе армии, отправлявшиеся убивать друг друга, получали благословение священников, это не доказывало, что Земля не вращается вокруг Солнца! Все же для тех, кто нуждается в вере, она должна быть лекарством от абсурда.

Ф. М. Я не из тех, кто говорит, что вера абсурдна; это означало бы заходить слишком далеко в утверждении неверия.

Э. В. Абсурд пугает.

Ф. М. Действительно, для того, чтобы прожить жизнь, рассчитывая исключительно на собственные силы, нужно слишком много самоуверенности. И потом, какая надежда! Идея трансцендентного несет огромную надежду.

Э. В. Вы молились, когда были молоды?

Ф. М. Да, конечно. Горячо и искренне.

Э. В. А сейчас не чувствуете в этом потребности?

Ф. М. Иногда чувствую, но по-своему. Я думаю, у человека есть потребность молиться, искать мысленного контакта. Один из самых красивых моментов католического обряда — литургия всех святых. Она восходит к эзотерическим практикам, и смысл ее в общности молитвы. Когда вы знаете, что одновременно с вами за тысячу километров другие люди произносят те же слова, что и вы, и это происходит по всей планете, между участниками службы устанавливается некий контакт. Рискуя показаться примитивным, скажу, что, если волны в эфире способны передавать звук и образ, я думаю — почему они не могут передавать мысль большой интенсивности? Это совсем не кажется мне абсурдным; в любом случае, это очень красивый образ. Честно говоря, когда мне случается молиться — не в обычном, а в подлинном смысле слова, я ощущаю себя человеком, ходящим по тем же земным путям, что и все мы.

Э. В. Когда вы молились в последний раз?

Ф. М. Не могу сказать. Все зависит от того, что понимать под молитвой. Если мы говорим о том, чтобы устремить свою мысль к высшей и, в сущности, неведомой силе, это случается со мной довольно часто. Может быть, это не очень разумно, но я расположен к этому в силу моего воспитания и склада характера, вот и все. Однако мой рассудок очень быстро заставляет меня прекратить диалог, на самом деле, возможно, монолог.

Э. В. А Бог нуждается в молитвах?

Ф. М. Вы говорите как верующий!

Э. В. Да, я нахожусь внутри веры.

Ф. М. Я воспринимаю это иначе, чем вы. Если речь идет о том, чтобы повторять заученные слова, чтобы просить о божественном вмешательстве, вступать в контакт с трансцендентальным миром — то да, мне случается молиться, я повторяю эти слова по привычке, как меня учили, иногда действительно по душевной потребности. Но я молюсь не так, как верующий человек с его потребностью быть услышанным.

Э. В. Традиционно различают два вида молитвы: просьба и благодарение. И все же для того, чтобы молиться, нужно быть верующим.

Ф. М. Человек склонен искать защиты в трудные моменты и забывать благодарить, когда счастлив. Это-то и кажется мне подозрительным.

Э. В. Но когда вам сообщили о вашей болезни, когда вы вошли в хирургическое отделение клиники, вы молились?

Ф. М. Я не храбрее других! Я знал, что болезнь серьезна, может быть, смертельна; но в глубине души я в это не верил. Когда меня оперировали, я был исполнен пассивной безмятежности: я отдался в чужие руки. Знаете, бывают такие моменты, как при аварии, когда перестаешь воспринимать себя главным действующим лицом происходящей драмы.

Э. В. Я видел вас 10 сентября 1992 года, то есть накануне вашей первой операции. Вспоминая об этом, я поражаюсь: у вас был совершенно беззаботный вид! Я не мог бы представить себе...

Ф. М. Я не склонен к доверительности. К тому же я считал, что, хотя происходящее и важно для меня лично, сама по себе ситуация весьма банальна, заурядна. Конечно, это не доставляло мне

удовольствия. Я не люблю страдать, я всегда отворачиваюсь, когда мне делают укол или берут кровь, я далеко не герой! Но если уж что-то подобное настигает меня, я терплю. Я покладистый пациент. Боль, которую воображаешь себе, непереносима, а та, которую действительно чувствуешь, почти всегда терпима.

Э. В. Да, люди, которые подвергались пыткам, говорят, что ожидание пытки гораздо страшнее, чем она сама. Меня всегда это пугало. Я не знаю, смог ли бы я перенести пытку молча.

Ф. М. Все люди нашего поколения задавали себе этот вопрос, и никто не дерзал заявить: "Я выдержу".

Э. В. В интервью, которое вы дали по поводу вашей болезни, вы цитировали Артура Эша[1]. Вы сказали, что, когда узнали свой диагноз, подумали: "Почему я?" Это хорошая мысль. Когда однажды утром мне сообщили, что я получил Нобелевскую премию мира, моей первой мыслью тоже было: "Почему я?" Этот вопрос тревожил меня весь день. Неужели я заслужил награду больше, чем другие? Конечно нет. Я вспоминал Бухенвальд. Первые числа апреля. Немцы начали эвакуировать лагерь. Несколько раз я был в одном шаге от большой железной двери, откуда дорога вела к смерти. Но квота была выбрана. Кто шагнул за эту дверь передо мной, может быть, вместо меня? Вот о ком и о чем я думал в день церемонии вручения премии.

Ф. М. Вы можете приписать это случаю. Жизнь — потрясающая лотерея. Почему выпадает тот, а не другой номер?

1. Артур Эш (1948–1993) — американский теннисист, первый чернокожий победитель крупных соревнований среди мужчин в одиночном разряде. Первая ракетка мира 1975 г.

Э. В. Вы знаете Никоса Казандзакиса, автора романов "Жизнь и дела Алексиса Зорбаса" и "Христа распинают вновь"? Он приводит прекрасную этрусскую пословицу: "Не потому, что сошлись две тучи, сверкает молния, а для того тучи сходятся, чтобы молния сверкнула". Я считаю, что тайна — во встрече. <...>

2. *Творчество, литература*

Франсуа Миттеран. Надо стараться быть профессионалом в своем деле и говорить только о том, что знаешь. Если приходит более широкое, более универсальное знание — оно является само, это следующий этап. Некоторые люди достигают универсального знания через философскую или религиозную рефлексию, но вообще охватить совокупность отдельных умопостигаемых фактов дано лишь единицам. Для этого, однако, — возьмите, к примеру, Канта — они вынуждены вести совершенно особый образ жизни, где вся внешняя деятельность может свестись к одной-единственной прогулке под липами по сто шагов в день. Этим они в значительной мере отрезают себя от мира и от познания, прежде всего — от действия, являющегося особой формой культуры. Существует наука действия, которая имеет дело с повседневной жизнью и управляет ею.

Эли Визель. Вы всегда были восприимчивы к искусству, и при этом вы — бесспорно человек действия. Имеет ли эстетика влияние на ваши поступки?

Ф. М. Многие руководители государств игнорируют эстетический критерий. Другие, напротив, придают ему особое значение, они уверены, что это поможет управлять вверенной им страной, будет

способствовать развитию общества. Я причисляю себя ко вторым. Помогает ли это мне в работе? Думаю, что да. Все, что позволяет создать определенную дистанцию между собой и людьми или вещами, при этом не теряя контакта с ними, кажется мне необходимым для действия. Это дистанцирование от самого себя, от других, расстояние между мыслью и поступком позволяет увидеть закономерности, которые иначе просто не разглядеть. Самый сложный момент — найти точную меру. От этого зависит успех действия.

Э. В. Но вы еще и пишете.

Ф. М. Пишу, когда не поглощен полностью политической жизнью. Кому как не вам известно, что невозможно писать, не достигнув "единства мысли", которое может быть достигнуто лишь при соблюдении единства времени. И все же чаще всего работа мешает мне обрести нужное внутреннее равновесие. Размышление перед листом бумаги с пером в руке требует времени. А усталость, груз ответственности, расходование сил на ежедневные дела не позволяют сберечь необходимый запас энергии. Есть время действовать и время писать. Иногда, конечно, удается соединить то и другое: речи, обращения к коллегам, предисловия.

Э. В. Для меня, и думаю, что не для меня одного, в акте письма есть какая-то тайна. Являются слова, вы выстраиваете их, организуете... Но почему именно те, а не иные слова?

Ф. М. Писать начинаешь тогда, когда знаешь, о чем хочешь сказать. Но как это будет сказано, к какому предмету тебя внезапно развернет — это, вы правы, остается для пишущего тайной. Вероятно, за это отвечают какие-то механизмы мышления, чувствования, познания...

Э. В. Вам случается удивлять самого себя?..

Ф. М. Да, я часто с изумлением обнаруживаю, что создал текст, совершенно неожиданный для меня самого. Если меня это не устраивает, я начинаю снова. А поскольку я редко бываю доволен результатом, приходится много работать.

Э. В. Что труднее для вас — начинать или переписывать?

Ф. М. Начинать. Когда двигатель наконец запущен, работа над текстом, которая в любом случае составляет потребность, может стать и удовольствием. Каких только предлогов я не изобретал, чтобы не садиться за стол, чтобы оттянуть начало очередной книги (я написал их тринадцать или четырнадцать)! То принимался рассматривать книжные полки, снимал какой-нибудь иллюстрированный фолиант по истории или альбом по искусству и не мог оторваться... То с улицы доносился собачий лай, и я выходил посмотреть, что происходит, и, разумеется, тут же отправлялся на прогулку. В другой раз меня не устраивала ручка, и так далее, и так далее... Это дикое нежелание писать может длиться несколько дней. Кроме того, мне необходимо, чтобы первые написанные строки были отшлифованы, имели столь же отделанную фактуру, как и результат долгого труда, поэтому еще несколько дней уходит на первые фразы. Мне кажется, что лучше сначала высказать как получится то, что еще не додумано, а потом, на базе этого материала, приступить к обработке. Для меня процесс начинается тогда, когда это "сырье" зафиксировано наконец на бумаге и я снова становлюсь оптимистом.

Э. В. Время, вложенное в литературный труд, никогда не бывает потрачено даром.

Ф. М. Да, и когда шлак отсеян, всегда остается что-то ценное. При этом, однако, я не воображаю себя писателем. Я просто стараюсь правильно писать на своем языке. Если бы я был писателем, я посвятил бы этому всю свою жизнь. Но все же это не мое призвание, поэтому большая часть моей энергии уходит на действие. Не знаю, занимался ли Бальзак чем-нибудь кроме сочинительства... Когда со мной говорят, как вы сейчас, о литературе, я считаю своим долгом подчеркнуть, что достаточно трезво оцениваю свои возможности.

Э. В. И все-таки вы писатель. Интересно, когда вы действуете, писатель в вас не размышляет уже о том, как об этом расскажет?

Ф. М. Мемуары занимают меня меньше, чем объяснение собственных поступков. Не могу представить себя за составлением многотомных мемуаров о своей жизни и событиях, в которых я участвовал. Зато мне было бы очень интересно дать свой комментарий по поводу нескольких важных политических вопросов, которые мне пришлось решать, и дать свой автопортрет через поступки. Биографы, обвиняющие меня в историомании, не правы, хотя меня действительно больше волнует мнение будущих историков, чем современников. Здесь мы возвращаемся к разговору о необходимости дистанции. Если я хочу говорить о положении Франции в Европе, я должен как можно лучше изучить истории соседних государств, чтобы, рассматривая их развитие, понять путь Франции. Моя же собственная роль занимает меня в последнюю очередь.

Э. В. Читаете ли вы то, что пишут о вас?

Ф. М. Это для меня не особенно важно. Книги обо мне регулярно появляются на моем столе, сам я их не ищу. Некоторые пролистываю, но далеко не все.

Э. В. Что касается меня, я взял за правило не читать о себе ничего. В любом случае, если говорят хорошее, это льстит моему тщеславию, если плохое — я переживаю. Поэтому я перестал читать критику. А вы чувствительны к ней?

Ф. М. Да, но обида или огорчение, боль или грусть от того, что меня неправильно поняли, никогда не мучают меня подолгу. Самое горькое — это несправедливость. Когда мне приписывают то, чего я не говорил, толкуют мои слова вкривь и вкось, это ранит мое самолюбие, я бываю оскорблен, иногда впадаю в ярость.

Э. В. Бывает ли у вас желание ответить на несправедливую, на ваш взгляд, критику?

Ф. М. Пожалуй, нет. Во всяком случае, я никогда этого не делал.

Э. В. Могли бы вы дать свое определение литературы?

Ф. М. Акт письма, а результат его заслуживает высокого звания литературного произведения тогда, когда достоинства языка, стиля и формы дополняют достоинства его глубинного содержания. Вряд ли я удивлю вас, сказав, что литература не одна, литератур много. Меня как автора не привлекает беллетристика, хотя я верный ее поклонник как читатель. Многие писатели, которые могли бы стать великими, ошиблись жанром: упрямо писали трагедии вместо романов, комедии вместо трагедий, новеллы или басни вместо философских эссе. Ошибившись в своем призвании, они не нашли в жизни самих себя. Великими, настоящими писателями удалось стать лишь тем, кто обрел собственный стиль и подходящий им литературный жанр.

Э. В. Каков ваш жанр?

Ф. М. Хотя я скуп на исповеди, я все же люблю рассказывать о собственном опыте, осмысляя его в контексте современной истории и тщательно выбрав угол зрения. Поэтому ближе всего мне политическая аналитика, жанр эссе. Работая над текстом, я пытаюсь установить свою позицию по отношению к Истории, подключая, конечно, свой личный опыт, понимание и восприятие вещей и событий. Холм, река, деревья на берегу, форма облаков могут сообщить мне о Франции не меньше, чем спор Клемансо и Пуанкаре.

Э. В. В книге "Моя доля истины" вы написали тридцать почти автобиографических страниц.

Ф. М. Да. Я хотел рассказать как можно подробнее о своей семье и своем детстве. Я полагаю, что точность выражения составляет в литературе императив. При этом точное слово не обязательно должно быть понятным. Таинственные, темные "Песни Мальдорора"[1] кажутся мне прекрасным образцом точного письма. Даже если повествование отклоняется от обычного способа мышления и чувствования, слова точно запечатлевают и мысли, и чувства. Для меня нет ничего прекраснее такой литературы! Если камень плоский, писатель должен сказать, что он плоский; если минерал имеет определенный цвет, он должен так и написать, привести точное название растения или животного. Вот почему мне близок "новый роман". Повествование мало занимательно, но зато каждая вещь названа своим настоящим и единственно уместным именем. При этом нет и излишней витиеватости, которая часто становится результатом чрезмерной точности, чрезмерного богатства лексики. Терпеть не могу, когда автор гоняется за редкими словами, которые в конце концов оказываются не точны: претенциозные, обозначающие понятия намеками, они отражают определенный момент истории языка, но не точны по отношению к своему современному употреблению.

Э. В. Двести лет назад сегодняшние редкие слова были обыкновенными.

Ф. М. Филология, история слов очень меня увлекает. Одно слово пришло из латыни, другое из кельтского или восходит к эпохе германских нашествий. С течением времени смысл слова меняется. Пусть это и не литература, мне кажется необычайно увлекательной задача восстановить подлинный диалог или характерное описание, например, XVI века, используя только те слова, что понятны сегодня.

Э. В. Можно ли назвать вас пуристом в языке?

Ф. М. Я люблю, чтобы слово имело точный смысл и соответствовало историческому времени. Разумеется, иногда можно позволить себе архаизм, смелое выражение, вставить английское или "франглийское" словцо, немного арго. Есть авторы, великолепно владеющие арго и прекрасно выражающие свою мысль.

Э. В. Вы изучали латынь, историю, литературу. Способствовали ли эти занятия формированию вашего характера? Повлиял ли Тацит на ваш ораторский талант, Цицерон на ваш ораторский стиль?

Ф. М. Конечно! Я очень любил латынь, и она сильно повлияла на становление — или на изменение — моего стиля. Сегодня я почти жалею, что в наших школах так мало преподают латынь. Мне кажется, что французский

1. "Песни Мальдорора" Изидора Дюкасса (1846–1870) были опубликованы полностью в 1890 г. под псевдонимом "граф де Лотреамон".

язык, близкий к латинскому по ритму и содержащий столько слов из него, был оторван от своего корня и сильно обеднел. Я согласен, что трудно продолжать всеобщее обучение предмету, не имеющему практического применения для большинства детей, но такова моя личная точка зрения. Я хорошо успевал во французском, в истории и географии и не очень в латыни. В переводах я грешил буквализмом, неважно писал сочинения. Зато я наверстывал в просодии. Заучивал наизусть длиннейшие пассажи из Горация или Вергилия, механически разрубая их в соответствии с латинскими стопами. Все мои латинские книжки были испещрены горизонтальными и вертикальными черточками. Я развлекался так целыми вечерами, а потом повторял эти стихи, которые из-за жесткой ритмовки часто теряли смысл.

Э. В. Отразилось ли это на ваших сегодняшних политических речах?

Ф. М. Возможно.

Э. В. Джакометти принадлежит прекрасная формула: "Я мечтаю вылепить такой маленький бюст, чтобы его можно было уложить в спичечный коробок, однако он будет таким тяжелым, что никто не сможет его поднять". Нельзя ли сказать того же о книге? Она должна быть такой краткой, чистой и правдивой, чтобы ее можно было удержать на ладони и охватить единым взглядом.

Ф. М. Мне иногда приписывают чрезмерное увлечение Шардоном[1]. В самом деле, я нахожу, что его стиль, такой по-французски лаконичный, был великолепен. Но спокойная обстоятельность Толстого, который не стремился к тому, чтобы каждая страница "Войны и мира" весила двести тонн, нравится мне не меньше. Эта книга — увесистая во всех смыслах слова.

Э. В. Толстого обычно противопоставляют Достоевскому...

Ф. М. Когда сорок лет назад меня спросили, какая из прочитанных мною книг кажется мне наилучшей, я отвечал — "Братья Карамазовы", но сегодня я предпочитаю Толстого.

Э. В. Если вернуться к разговору о письме, то для меня лично нет более тяжелого момента, чем тот, что предшествует началу работы. Почему? Потому что в первой фразе, в первой странице окажется вся книга. Можете ли вы сказать то же самое о себе?

Ф. М. Когда я решаюсь наконец записать первую фразу, чувствую: я словно "впрыгнул" в работу, словно держал пари, что начну, и выиграл. Но я бы не сказал, что моя первая фраза содержит первую страницу, а та — целую книгу, хотя образ очень красивый. Может быть, это оттого, что я не профессионал.

Э. В. Книга представляет собой единое целое.

Ф. М. Иногда я как читатель могу определить качество книги по первой фразе, по ее мелодике, интонации.

Э. В. Я знал одного автора, который считал себя лучшим в мире. Он был большой добряк, писал на идиш и на иврите и пользовался немалым авторитетом. Я познакомился с ним в ранней молодости, и он сказал мне: "Молодой человек, когда-нибудь вы станете писать. Писатель — это кучер, правящий фиакром. А что делает кучер, въезжая в деревню? Он щелкает хлыстом, чтобы все слышали, что он приехал. А что он делает еще? Он ударяет хлыстом, чтобы все слышали, что

1. Жак Шардон (наст. имя Жак Бутелло; 1884—1968) — французский писатель, прозаик, эссеист.

он уезжает. В промежутке между двумя щелчками он может делать что угодно, ездить куда угодно. Так же и в книге: важнее всего первый и последний удар хлыста, а между ними — все что хотите". Я запомнил это. Последнее слово действительно должно вмещать в себя все предшествующие.

Ф. М. Но щелчок хлыста не только предупреждает жителей деревни, он готовит лошадь, а она важнее, чем хлыст и даже кучер. Она может заупрямиться и не трогаться с места, а может и понести... Это ужасно: сколько бы вы ни сказали, всегда будет хотеться что-то добавить и переформулировать.

Э. В. Я расскажу вам одну историю про лошадь. Однажды мне позвонила некая дама и пригласила прочесть лекцию. По нашему разговору я понял, что она совершенно не представляет себе, с кем разговаривает, и несомненно не читала моих книг. Я решил: надо испытать этих людей. Меня просили рассказать об одной из книг. Я придумал совершенно нелепую историю, изменил время и героев и был уверен, что кто-нибудь в зале встанет и скажет: "Это не тот роман, который мы читали". Но этого не произошло! Лекция продлилась сорок пять минут, и в конце пригласившая меня дама спросила, будут ли вопросы. Поднялся один человек, я подумал "Вот оно!" — и услышал... вопросы о вымышленном романе! "Мы прочли вашу книгу, — сказал этот человек, — она великолепна". После чего все остальные принялись расхваливать мою фантазию.

Когда все кончилось, я отвел в сторону устроительницу и рассказал ей анекдот про раввина, которого пригласили отслужить службу. Он встретил кучера на тощей кляче и нанял его. Дорога шла в гору, кучер выходит и говорит: "Моя лошадь не может тащить повозку, давайте выйдем и подтолкнем". Раввин выходит, они начинают толкать и так проезжают не только холм, но и всю дорогу. Тогда раввин поворачивается к кучеру и говорит: "Я понимаю, зачем нужны вы: вам надо заработать денег. Понятно, зачем нужен я: меня пригласили на свадьбу. Но зачем мы тащили еще и лошадь?.." Как сочинитель романов я часто испытываю это чувство.

Некоторые писатели входят в литературу потому, что обожают писать. Другие, мне кажется, чтобы излить свой гнев. Я же хотел выразить благодарность своему народу и своей истории: я считаю, что благодарность необходима в литературе, как и в жизни.

Ф. М. Для меня задача запечатлеть увиденное была второстепенной. Вы знаете, первые книги рождаются спонтанно. Я вдруг почувствовал необходимость объяснить свое время своим современникам. Я хотел рассказать о проблемах деколонизации и через них показать, доказать, убедить.

Э. В. На каком поле вы выступали?

Ф. М. На политическом. Я пытался осмыслить ход событий через те страсти, которыми были охвачены люди моего времени.

Э. В. Вы стали писателем для того, чтобы убеждать. Но вы были также трибуном. Что успешнее приводило вас к цели, перо или слово?

Ф. М. Если мне не всегда удавалось убеждать, то все же удалось расширить круг людей, которых волновали те же проблемы, что и меня. Конечно, говорил я больше, чем писал. Может быть потому, что между актом мышления и актом письма огромная пропасть, и всегда кажется, что говорить легче. За время, что проходит с момента, когда вы почувствовали

толчок взяться за перо, до момента, когда вы приступите к делу, мысль остывает, события перестают быть животрепещущими и необходимое напряжение падает. Вся трудность в том, чтобы восстановить его, но это возможно только в состоянии равновесия, мира с самим собой.

Э. В. Это речь творца.

Ф. М. Я не стал бы употреблять это слово. Настоящие творцы — те, кто на самом деле создают целые миры, системы мысли. Написанная книга, придав форму аморфному материалу, конечно, представляет собой творение, но оно может принадлежать к разным уровням, от амебы до человека. Я полагаю, что мои произведения ближе к амебе, чем к венцу творения.

Э. В. Вам никогда не хотелось написать роман, повесть или новеллу?

Ф. М. Объединить в одном кратком повествовании что-то из пережитого мной опыта, отдельные сцены моей жизни, чему-то меня научившие, было бы интересно, но выстроить вокруг этого целый роман, подключив воображение, — нет.

Э. В. Есть красивая, хотя и вселяющая беспокойство легенда о том, что Моисей получил способность путешествовать в будущее и посетил урок мудреца, учившего Торе. Вышел пророк совершенно подавленным, потому что, хотя речь шла о его собственной Книге, он не понял ни слова. Боюсь, что такова судьба едва ли не всех писателей: часто приходится читать критику о самом себе словно китайскую грамоту. А ведь, пытаясь убедить, вы рассчитывали быть услышанным.

Ф. М. Обычно писатель волен в выборе средств самовыражения, но если исповедуемые им взгляды и методы письма не соответствуют вкусам, господствующим в обществе, его положение становится двусмысленным. Писатель может оказаться или великим проповедником, или изгоем.

Э. В. Может быть, в самом деле писатель осужден быть изгоем?

Ф. М. Есть писатели официальные, но много и тех, кто, добившись успеха, таковыми не становятся. Виктор Гюго и в изгнании никогда не был парией.

Э. В. Гюго был автором бестселлеров, его сборники стихов расходились стотысячными тиражами! Он черпал силу своего языка в обществе, где жил и действовал; для других же, напротив, творчество возможно только при условии противопоставления себя социуму.

Ф. М. В литературе столько разных родов и семейств, что мне трудно вывести закономерность.

Э. В. Каковы ваши предпочтения?

Ф. М. Как у читателя у меня очень эклектичные вкусы. В двадцать лет меня манила литература действия, ее героем был Мальро. Спустя пятнадцать лет я понял, что это кукольный театр, где подставные свидетели рассказывают о событиях, которых на самом деле не было.

Э. В. Но все-таки Мальро большой писатель! Он создал "стиль Мальро", целый "мир Мальро"...

Ф. М. Выдающийся человек, не спорю, но большой ли писатель — это вопрос. Роман "Удел человеческий" стал книгой целого поколения, хотя теперь отошел в прошлое. "Надежда" оставила более прочный след. И все-таки, когда нужно донести до читателя определенную мысль, я предпочитаю передавать сущность собственного опыта или красоту и реальность пейзажа че-

рез литературный прием, через описание.

Э. В. Перечитывая написанное раньше, вы убеждаетесь, что сумели передать эту красоту?

Ф. М. Признаюсь, это ощущение мне не чуждо. В процессе работы включается какое-то шестое чувство, которое подсказывает, чего не нужно делать. Я публикую только тексты, которые кажутся мне доработанными.

Э. В. Какой был первый прочитанный вами в жизни роман?

Ф. М. Вряд ли я могу точно ответить. Наша домашняя библиотека состояла в основном из великих писателей второй половины XIX века, правда, было мало Золя, но много Поля Бурже. Я начал с книг, которые давали мне родители: Бальзака, Стендаля, Флобера. Потом, в тридцатые годы, выбором руководил "Нувель ревю франсез": надо было читать Жида, Монтерлана, Бернаноса, Клоделя, Мориака, Дриё ла Рошеля...

Э. В. Но все же, положа руку на сердце, вы отдаете предпочтение одним литературным формам перед другими?

Ф. М. Пожалуй. Но я читаю то, что попадается мне на глаза, или то, что по какой-то неизвестной причине вызывает во мне внутренний отклик. Подчас даже потому, что книга удачно оформлена, или мне нравится, представьте себе, шрифт, или потому, что, пролистывая, я обнаружил понравившийся мне образ или фразу. Такое чтение, согласен, называется беспорядочным, но я в самом деле выбираю ту или иную книгу без всякого рационального мотива. Иногда я выхожу из книжного магазина совсем не с тем, за чем приходил.

Э. В. Что еще вы читали?

Ф. М. В молодости, когда в моде были английские романы, я читал Розамонд Леман и Чарльза Моргана. Потом открыл для себя Фолкнера, Хемингуэя, а еще позднее — и это на порядок выше — Джойса. Большую слабость питаю к Стайрону. Но я поглощал в больших количествах и Бальзака, и Стендаля, и Флобера, и Шатобриана — все, что, как я говорил, стояло на полках дома.

Э. В. На меня особенно повлияли, после религиозных книг, еще несколько. В первую очередь это очень близкий мне Кафка (я считаю, что есть мир до него и мир после него) и Достоевский.

Ф. М. Была еще одна очень важная книга, антипод "Братьев Карамазовых" по стилю, объему и теме — "Тесные врата" Андре Жида.

Э. В. А "Замок"? Впервые я прочел его — это было ночью, я этого никогда не забуду... Когда наступило утро и дворники вышли подметать улицу, я хотел выйти и благодарить их за то, что они напомнили мне о существовании этого мира. А ведь сам Кафка считал, что пишет комедии. Читал свои романы друзьям и корчился от смеха. Но разве это не величайшие трагедии? Он мечтал уехать в Палестину и работать официантом в кафе. Последние его слова, адресованные врачу, были: "Если вы не убьете меня, вы — убийца".

Ф. М. Неужели он так страдал?

Э. В. У него был туберкулез, он умер совсем молодым. Вы знаете, что он почти каждый день писал своей сестре? И ни в одном письме ни слова о войне! Тем не менее Кафка — один из главных свидетелей этого века: в 1914 году он видел войну, видел раненых — и ни слова в письмах... Сегодня на нас, писателях, лежит огромная ответственность: мы уже не можем, как это было раньше, безнаказанно говорить что угодно.

Ф. М. Да, но заметьте, что во все времена ангажированные писатели платили за свою роль: в 1945 году расстреливали их, а не тех, кто участвовал в постройке "Атлантического вала". Конечно, ответственность интеллектуала больше, чем ответственность финансиста или бизнесмена.

Э. В. В Советском Союзе тоже именно их казнили в 1936-м и в 1952-м.

Ф. М. Это не ново. Цицерону и Сенеке — вспомним хотя бы их — пришлось покончить с собой.

Э. В. У римлян самоубийство было почти обычаем. Пример Сократа, хотя он и имел возможность выбрать изгнание, кажется мне более уместным.

Ф. М. И те и другой исповедовали нонконформистские взгляды. Берясь за перо, писатель знает, что идет на риск.

Э. В. Бывает ли у вас, как у меня, ощущение, что главное осталось невысказанным?

Ф. М. Если мне не удалось выразить свою мысль, я продолжаю работать. Но, думая о том, чего я ждал от своих книг, я никогда не испытываю угрызений совести по поводу написанного мной. Для того же, чтобы сравнивать их с неким идеалом, нужна установка, какой у меня, как я уже говорил, вовсе нет.

Э. В. Я написал около тридцати книг, но часто мне кажется, что я и не начинал.

Ф. М. Видимо, вы очень требовательны к себе. Если вы желаете объяснить этот мир, то довольно велика вероятность, что вы умрете, так и не добившись успеха.

Э. В. Все зависит от того, кто стоит у меня за плечом, чтобы прочесть написанное. А какое место вы отводите молчанию?

Ф. М. Это хороший помощник, он необходим внутри нас, менее важен во внешней жизни. Для того чтобы писать, необходимо построить на основе молчания внутреннее равновесие. Внешний шум не помеха, но если страсти раздирают вас изнутри, писать невозможно.

Э. В. Противопоставляете ли вы молчание слову?

Ф. М. Нет, по-моему, они дополняют друг друга.

Э. В. А слово заключает ли молчание в себе?

Ф. М. Да, необходимо время, чтобы вздохнуть. Молчание дает читателю возможность остановиться и подумать.

Э. В. Полагаете ли вы, что во французской литературе сегодня все более или менее благополучно?

Ф. М. В целом да, в области романа — нет. Мало кто из сегодняшних романистов может претендовать на универсализм Фернана Броделя или Клода Леви-Строса.

Э. В. Кто нравится лично вам?

Ф. М. Некоторые из политических деятелей, больше люди из мира искусства и философии.

Э. В. Почему вы так строго проводите грань между художником и политиком? Культурный мир сотрясают те же кризисы, его раздирает та же зависть и ненависть, что и мир политики. Это также мир власти.

Ф. М. Я лучше знаю политическую среду, чем художественную.

Э. В. Что привлекает вас в последней? Творческая энергия?

Ф. М. Да, дар художника создавать картины, дар композитора писать симфонии, талант, позволяющий создавать скульптуры или философские системы, передающие чувства и познание от человека к человеку. Мне видится в этом что-то магическое.

Э. В. Я пишу книги, художник — картины, композитор — му-

зыку... Но сколько читателей сегодня у романиста, сколько слушателей у композитора? Очень немного. Вы же, политики, работаете для миллионов. Отчего не признать творческого аспекта политики? Вы сами отвели решающее место культуре, вы дали толчок великим проектам: реставрация Лувра, строительство Оперы на площади Бастилии, Арки Дефанс и, самое главное, Национальной библиотеки.

Ф..М. Разумеется. Я попытался сделать так, чтоб эти сооружения стали значимыми. Но это лишь составная часть избранной мною политики. Это придает смысл моим действиям или, во всяком случае, позволяет вдохнуть в политику немного поэзии, которую трудно найти в законах.

3. *Власть*

Эли Визель. Власть притягательна... Почему люди стремятся к ней? Что она дает? Каковы ее цели, ее тайные ловушки? Какое определение вы дали бы власти?

Франсуа Миттеран. То же, какое дает словарь. Главное заключается в том, что власть может принимать множество форм. Она влияет на частную жизнь человека, на устройство семьи; она присутствует в любом социуме, от крошечной деревушки до мегаполиса; она проявляет себя в нации. Но есть также и власть ума, духа, выражающая себя в литературе, искусстве, системах образования... В любом случае это способность отдельного человека или группы людей передавать свою волю и свои представления более широкому сообществу, ориентируя определенным образом судьбу коллектива.

Э. В. Обязательно ли власть подразумевает превосходство, доминирование одной личности над другими?

Ф. М. Я сказал бы скорее, что для того, чтобы управлять, нужен особый дар. Обязательно ли он означает превосходство? Если говорить о повседневной жизни и жизни общества — может быть. Но тот, кто управляет, вовсе не обязательно лучше других, просто он больше приспособлен для выполнения этой функции. Это только вопрос способности.

Э. В. Что дает силу человеку власти?

Ф. М. Я уже сказал: одаренность ума, когда речь идет об обучении, сочинительстве, художественном творчестве, в той мере, в какой он точно отвечает, в определенный момент времени, какой-то потребности нации. Если же рассматривать социальную организацию — это умение пользоваться рычагами управления: государством, административным аппаратом, получая при демократических выборах мандат от народа.

Э. В. Можно ли сравнить в каком-то смысле власть художника — Гёте, например, или Гойи — с властью президента?

Ф. М. Это разные формы власти. Если попытаться установить их иерархию, то самая благородная, конечно, та, что основывается исключительно на силе духа и творчестве. Затем идут более очевидные и осязаемые — политическая, экономическая, социальная.

Э. В. Эта власть известна.

Ф. М. Могущество чудотворцев и харизматиков, властителей настроения масс, таинственно. В Средние века Винсент Ферье[1],

1. Винсент Ферье (Висенте Ферреро, 1350–1419) – испанский проповедник. Проповедовал во многих европейских странах, был прозван "ангелом Апокалипсиса". Причислен к лику святых.

Абеляр или Бернар[1] управляли огромными толпами народа. Позднее явились Гамбетта, Жорес, Ленин.

Э. В. Не является ли иллюзия непременным компонентом власти?

Ф. М. Политическая власть основывается не на иллюзии, но на надежде, которую она воплощает, хотя эта надежда, в свою очередь, может быть беспочвенной. Что же касается иллюзии власти, то это понятие философское. Разумеется, всякая власть — только условность, шутка по сравнению с судьбой личности. Ясно одно: когда речь идет о возможности разлучить любящих или уничтожить целый народ — это уже не иллюзия. Я думаю, что власть всегда опасна, и тот, кто обладает ею, должен если не испытывать страх, то ни на мгновение не позволять себе забывать о природе и особенности своего положения. Если он мудр, то сам станет искать силы, которые будут противостоять его могуществу. Люди, над которыми установлена власть, всегда будут организовываться, чтобы компенсировать ее избыток. Поэтому политическая философия со временем переориентировалась на демократическую концепцию: разделение властей позволяет контролировать их, а децентрализация — лучше распределять. Профсоюзы также представляют собой важнейший противовес в экономической и социальной сфере. Так же в искусстве: время от времени необходимо ломать конформизм, академизм и прокладывать путь новым школам мышления, которые разрушат старые стереотипы и породят новые стили.

1. Пьер Абеляр (1079–1142) — французский философ, богослов и поэт; Бернар Клервоский (1090–1153) — теолог-мистик.

Э. В. Какая же власть настоящая?

Ф. М. На этот вопрос отвечает история. Я вспоминаю людей, поднимавших народные мятежи — Этьена Марселя[1] или Спартака — и побежденных существовавшей властью. И других, таких как Ленин, которые победили. Христа политические власти также рассматривали как возмутителя, за это он и был казнен. Его победа — посмертная: от Его личности и учения родилась Церковь, чья власть была уже отнюдь не эфемерной. Для возмутителя маленькой провинции это было совсем немало! Власти думали, что Он проиграл, но ошибались.

Э. В. А я думаю о Моисее и о Сократе.

Ф. М. В случае Сократа, как и в случае Христа, я заметил бы, что ни тот, ни другой, в отличие от большинства возмутителей народных масс, не стремился к политической власти: они выражали себя некоторым проектом, идеей, моралью, жертвой. Тем не менее из учения Христа родился социальный институт — тогда и произошел "захват власти", захват, я бы сказал, запоздалый, через третьих лиц. Сократ же остался в сфере чистой мысли.

Э. В. Власть Сократа — это Платон. Я же говорю о власти отдельной личности: о власти священника, пророка, царя. Из этих троих пророк представляется мне в наибольшей степени мятежником, индивидуалистом. Он не имел никакой поддержки ни со стороны народа, ни со стороны царя. И тем не менее от этих времен дошли только слова пророков.

1. Этьен Марсель (?–1358) — руководитель Парижского восстания 1357–1358 гг., вызванного усилением налогового бремени во время Столетней войны 1337–1453 гг.

Ф. М. Иногда народ встает на сторону пророка.

Э. В. Считаете ли вы, что политическая власть сегодня нуждается во властном противовесе?

Ф. М. Безусловно. Если речь идет о реальной власти над определенным обществом, механизмы противодействия абсолютно необходимы, чтобы ограничить — не разрушить, а именно ограничить — ее действие. Любой человек стремится достичь пределов своей власти, будь то власть исполнительная, законодательная, судебная или пресса. Поэтому, чтобы защититься от безумцев, необходимо обеспечить равновесие.

Э. В. Меня очень взволновало то, что вы написали о немецких концлагерях для военнопленных. Вы рассказываете о человеке, немецком плотнике из Тюрингии, который оказался вашим хозяином. У него была власть.

Ф. М. Да, мне довелось побывать в военном плену. Я был совершенно в том же положении, что раб, чьи мускулы осматривают на рынке. Плотник выбрал меня, хотя и не считал меня рабом. Честно говоря, мне вовсе не было неприятно, что каждый день охранники отводили меня в мастерскую, где пахло деревом, опилками и грохотали станки. Мой прадед был лесоторговцем, и все это было мне знакомо... У плотника были большие плоские карандаши, какими отмечают замеры и проводят линии для раскроя. Это был славный человек. Он считал меня скорее товарищем, чем подмастерьем. Страстный поклонник Наполеона, он писал мне на досках даты — Аустерлицкого, Йенского сражений, свадьбы Марии-Луизы. Дома у него была коллекция фотографий, которые он вырезал, читая газеты и журналы.

Э. В. Но при всей симпатии, которую вы испытывали к нему, разве вас не угнетало ваше бессилие?

Ф. М. Власть этого плотника доставила мне наименьшие переживания. В марте 41-го в тюрьме я страшно страдал от одиночества. Я говорил себе: "Сейчас 1941 год, я в камере, в средневековой тюрьме, в сердце Германии; сейчас правит человек по имени Гитлер, который захватил власть над Европой и объявляет — русские тогда еще не вступили в войну, — что она продержится тысячу лет. Мои родные не знают, где я, и в армии меня считают без вести пропавшим. То же думают мои товарищи по лагерю. В городе, где я нахожусь, кроме тюремного надзирателя и, может быть, жандарма, никто не знает о моем существовании". Единственное доступное мне чтение был молитвенник моего товарища по побегу. Это была моя единственная связь с обществом. Я перечитывал псалмы, чтобы занять время, и вспоминал латынь.

Мне уже никогда не придется вновь пережить подобного страдания, подобного одиночества, к тому же тогда я не ведал, не проведу ли таким образом весь остаток жизни.

Но я не терял и веры. Одна из тех вещей, что недоступны человеку — это представить себе будущее. Мы всегда выстраиваем его по подобию настоящего. Иногда причиной служит благородное чувство: когда мы испытываем горе или скорбь, наша боль усиливается при мысли, что они могут ослабнуть, стать менее жгучими; инстинкт подсказывает нам, что счастье недолговечно. Но представьте себе другую ситуацию: разочарование, например, в выбранной вами карьере. Вы чувствуете себя проигравшим, от-

брошенным на обочину; вам кажется, что это необратимо, и вы сдаетесь — тогда как на самом деле жизнь всемогуща и завтра утром, на следующей неделе или, если вам хватит терпения, через год-другой части головоломки поменяются местами. Таков мой темперамент: меня можно назвать оптимистом; я никогда не считал препятствия подобного рода непреодолимыми. Из-за того, что человек по натуре своей консерватор, нам трудно абстрагироваться от фактов настоящего. Надо больше доверять своему инстинкту, удивительной способности жизни меняться самой, при этом одновременно меняя и нас.

Э. В. А вот я не умею представить себе прошлое.

Ф. М. Прошлое, пережитое вами, отмечено ужасом, кровью и смертью. Это особый феномен, через который, как и вы, прошли, к несчастью, миллионы людей, но который остался неизвестным большинству человечества. Мне не довелось этого испытать, поэтому у меня нет тех же реакций, что у вас.

Э. В. Вы говорили о том ужасе, что вы испытывали, когда чувствовали себя всеми забытым; мы тоже узнали такое забвение. Я был уверен, что не переживу войну, депортацию, не выйду живым. Но я хотел, чтобы мы вернулись к власти, и в том числе к ее пределам. Бог обладает абсолютной властью и тем не менее, согласно Новому Завету, сам полагает ей известный предел. Как в случае с людьми?

Ф. М. Оставим в стороне творческую силу, силу писателя, уединившегося в своем кабинете: я не могу утверждать, что вдруг, поняв, что его гений — злой, он сознательно совершит ошибки во французском языке! Человеку нельзя доверить самому ограничить собственную власть. Общество должно организовывать собственные структуры так, чтобы наделять необходимой властью тех, кто призван говорить и действовать от его имени, но оно должно также создавать, в рамках своих институтов, и противовесы этой власти. Я думаю, что общество может существовать, только если оно институциализировано: гражданские свободы сами по себе не могут противостоять тенденции к анархии или простому желанию большинства. Устанавливая институты власти, общество создает иерархию ее ступеней: политическая, профсоюзная, экономическая, культурная, власть медиа — в конечном счете, если вы разумно построите здание, его равновесие будет обеспечено игрой ветвей власти и противовесов. Это подтверждает вся история человечества. Периодически возникают перевесы в пользу той или другой силы, но через существующие институты они сами будут возвращаться к балансу. Вот почему я верю в полезность юристов. Конечно, осуществление некоторых из моих полномочий как президента Республики зависит только от моей собственной совести. Право на помилование, решение о применении ядерного оружия, право роспуска Национального собрания и другие. Эта власть, над которой нет никакого контроля, зависит только от воли человека, оставшегося наедине с самим собой. Когда я должен принимать подобные решения, меня никто не может заменить — но никто не может и помочь мне.

Э. В. Может ли осознание руководителем государства его положения ограничивать его?

Ф. М. Я знаю только два ограничения: санкция избирателей и чувство долга.

Э. В. Почему творческая власть не подчиняется тем же правилам?

Ф. М. Потому что она другой природы. Зачем, например, ограничивать силу философа?

Э. В. Однако я это делаю. Есть вещи, которых я никогда не скажу и не напишу.

Ф. М. Когда человек разговаривает с самим собой, для него есть лишь один ограничитель: совесть — вот нравственный контролер. Когда мы начинаем говорить о власти личности, выражающей себя духовно или умственно, нужно понимать, что только сам человек, обладающий этой силой, знает, где те границы, что он не должен преступать. Если они наложены внешним порядком, то это цензура — страшнейшее из зол.

Э. В. Вы утверждаете: государственные институты должны гарантировать, что закон не будет узурпирован тираном. Но как распознать тот момент, когда существующая власть превращается в тиранию?

Ф. М. О власти судят по ее действиям. До рождения демократии и ее недавнего прогресса жизнь в обществе толкала людей к тому, чтобы предоставить полноту власти кому-то одному, наделив его абсолютным могуществом.

Э. В. Существуют ли качественные или количественные различия между абсолютной властью, сосредоточенной в руках одного человека, и такой, что находится в руках группы людей?

Ф. М. Нет. Они одной природы, идет ли речь о партии, о церкви, о клане или об этносе. Впрочем, эта группа обычно также подчиняется некоему внутреннему авторитету, часто одному человеку. Иначе бывает довольно редко; одним из нечастых примеров коллективного правления может служить венецианский Совет Десяти.

Э. В. Если о власти надо судить по ее делам, должны быть выработаны критерии дел хороших и дурных, и первыми надо признать те, какие одобряет народ...

Ф. М. Невозможно предсказать, окажется ли то или иное действие хорошим или дурным. Судить можно, только дождавшись его результатов: умножились страдания человечества или уменьшились, если удалось создать больше условий для радости, свободы, равновесия, размышления, знания. У нас нет иного критерия для суждения о власти, кроме результатов ее действий. Когда ее институты толкают людей на преступления, их нужно реформировать. Абсолютная власть, уходя от игры с противовесами, может вначале иметь добрые намерения, но диктатор неизбежно кончает тем, что преступает границы и начинает творить произвол.

Э. В. Я думаю о том посте, который вы занимали в 1944 году, после освобождения Парижа: вы были генеральным секретарем Союза военнопленных и обладали определенной властью.

Ф. М. Я принадлежал к команде людей, которым было поручено обеспечивать соблюдение закона, в теории — на всей территории страны, на практике — в Париже и в нескольких освобожденных областях. Моя власть была делегированная; формально решения должны были приниматься генералом де Голлем и Комитетом освобождения Алжира. Но поскольку мы были отделены от них физически, мы вынуждены были импровизировать, принимать решения самостоятельно. Это был недолгий период.

Э. В. Эта власть была такого же рода, что та, какой вы обладаете сегодня?

Ф. М. Нет. Нас было пятнадцать человек, и я был самым молодым, играл второстепенную роль. Я даже не общался непосредственно с де Голлем и руководством Алжира. Власть, которая действительно зависела только от меня, я получил лишь в 1981 году.

Э. В. Были ли вы готовы к ней?

Ф. М. Да. Я был избран после тридцати пяти лет жизни в политике. У меня был семилетний опыт управления, научивший меня обращению с механизмами власти, и я понял, что́ на деле означает принятие решений. Затем, в течение двадцати четырех лет, я состоял в оппозиции, где, рассуждая от противного, имел возможность подумать о том, что бы я сделал, если бы пришел к власти, кого взял бы себе в помощники.

Э. В. Столько лет, проведенных в оппозиции, наложили на вас какой-нибудь особый отпечаток?

Ф. М. Находясь в оппозиции, постепенно входишь во вкус. Я мог бы остаться там и был бы вполне доволен. Казалось невероятным, что ход вещей может измениться, поэтому мне не приходилось делать над собой специальных усилий, чтобы смиряться со своим положением. Просто это было так. Но я хотел, чтобы мой голос всегда был слышен, независимо от успеха.

Э. В. Расстраивали ли вас ваши политические провалы?

Ф. М. Нет, никогда. Поражение терпел мой лагерь. Вернуть ему силы и снова привести к победе — я принял вызов, хотя никто не гарантировал мне успеха. Аналитики твердили, что я всегда проигрываю, но это была пустая болтовня. Леон Блюм потратил пятнадцать лет, с 1921-го до 1936-го, чтобы привести к победе Народный фронт. Мне понадобилось десять лет, от создания Социалистической партии в 1971-м до моего избрания в 1981-м. Между двумя этими датами — цепь мнимых поражений, тогда как на самом деле шел непрерывный прогресс.

Э. В. Когда вы пришли к власти, оказалась ли она такой, какой вы ее себе представляли?

Ф. М. Я достаточно близко подходил к ней раньше, чтобы составить довольно точное о ней представление, но все же не думал, что она будет столь обширна. С 1958 года президент Французской Республики, имея одобрение народа, мог действовать практически во всех областях. Единственный тормоз он мог найти в самом себе. Я воспользовался им, добровольно ограничив собственную власть. При этом, однако, я думаю, что мудрее все же поступает тот, кто опирается не на собственное суждение, но на мнение соответствующего института.

Э. В. Значит, все-таки настоящая власть — это власть над самим собой. Испытали ли вы свою долю тревоги и беспокойства?

Ф. М. Когда беспокойство одерживает верх над тем, кто наделен властью, его охватывает нерешительность. Тревога за последствия своих решений — благородное чувство, но оно может породить и вечное противоречие. Осознание риска — важный критерий. Я испытывал, конечно, особый подъем чувств, поскольку власть давала мне возможность исполнить собственные устремления: действовать против какой-нибудь структуры, брать тот курс, который, с моей точки зрения, обеспечивал безопасность страны, благо людей, бóльшую справедливость по отношению к отдельным социальным группам и т. д. Но вечно жить в состоянии эк-

зальтации невозможно, да, в сущности, и не приходится: в какой-то день вы убеждаетесь в том, что ваши действия имеют самые счастливые последствия для большинства людей, а назавтра жизнь сама позаботится вам напомнить, что ответственность имеет и другие стороны. Некоторые великие реформы правительства Пьера Моруа[1] наполняли меня радостью, но я не жил ею: каждый час моей жизни напоминал мне о том, что предаваться романтическому настроению не стоит.

Э. В. То, что остается от человека, это его дела, а также его слова. Я думаю, что ваши дела оценит история, но что можете сказать вы сами?

Ф. М. Будучи по натуре человеком неудовлетворенным собой, я думаю, что добился очень немногого из того, к чему стремился. При этом в целом я соглашаюсь со своими критиками, даже если мои противники были неправы, осуждая мои действия в целом. Конечно, я не приемлю тотального очернения и сужу себя не так сурово. Во всяком случае, я надеюсь, что, если кому-нибудь когда-нибудь это будет интересно, то в моих словах и книгах так же, как в моих поступках, можно будет найти пищу для веры в будущее человечества, в будущее Франции, в новую Европу и что потомки разделят некоторые из моих идейных и моральных принципов.

Э. В. Чем вы более всего гордитесь? Вашими поступками, умением повлиять на огромные массы людей, внушить энтузиазм — или же возможностью сказать: "Это мне не удалось, но все же я остался самим собой"?

1. Пьер Моруа (р. 1928) — премьер-министр Франции при Ф. Миттеране (май 1981 — июнь 1984); в 1988–1992 гг. — Первый секретарь Социалистической партии.

Ф. М. Для меня больше значат записанные слова, законодательные акты: отмена смертной казни, новое лицо Франции после децентрализации, защита в нескольких критических ситуациях угнетенных народов третьего мира; и, кроме того, выход на решающие позиции в строительстве Европы. Я считаю, что это составляет часть итога, которым я мог бы гордиться, если бы имел к этому склонность.

Э. В. Иными словами, цель вашей работы — объединять людей, собирать их вместе.

Ф. М. Да, это то, что меня привлекает.

Э. В. Чтобы иностранец не чувствовал себя иностранцем, чтобы беззащитный человек обретал защиту в группе.

Ф. М. По своим наклонностям я скорее интернационалист. Но если национальная общность, к которой я принадлежу, оказывается в опасности, я действую как патриот.

Э. В. Сожалеете ли вы о чем-нибудь?

Ф. М. Да, о том, что не сделал все, что должен был сделать. Например, для борьбы с безработицей. Я прекрасно знаю, что Франция не одинока в данном отношении, но Франция страдает от этого, и я вместе с ней. Иногда я недооценивал инертность общества, сложность его механизмов. Общество невозможно изменить одним законодательным актом. Но многое во Франции решительно изменилось с 1981 года. В судебной системе, в решении исключительных судебных дел, в уголовном кодексе; в положении женщин, их брачных, семейных, финансовых правах, защите детей, борьбе против сегрегации... Мне лестно, что я принимал в этом участие.

4. *Моменты*

Эли Визель. В конечном счете жизнь предстает перед нами как сумма самых запомнившихся моментов. Каждый из них напоминает о тех, что были прежде, и порождает последующие. Я хотел бы поговорить о самых значительных моментах в вашей жизни. Каковы они? Например, Освобождение...

Франсуа Миттеран. Есть исторические моменты, в которых я принимал участие, пусть и косвенно, и которые заняли важное место в моей жизни и в моих раздумьях. Чтобы перечислить их, достаточно сосчитать все важные события с 1936 года до сегодняшнего дня. Вы говорите об Освобождении... Да, это один из лучших моментов моей жизни. Но были и другие, во время войны и Сопротивления, — например день, когда мне удалось бежать. Тогда я испытал неповторимое чувство, словно обрел новое дыхание. Еще некоторые выборные кампании, особенно первая, 1946 года. Или переизбрание в сенат, после моего единственного поражения, в 1958 году: возвратясь из Невера в Париж, я переживал настоящую эйфорию. Ну и, конечно, избрание меня президентом Республики в 1981-м. В личной жизни также были похожие мгновения, неповторимые и уникальные минуты счастья — вечер на террасе во Флоренции, на заходе солнца; прогулка по улочкам в Венеции; в Везле, в Сен-Бенуа; воспоминаний множество! Однажды в Ландах я испытал чувство удивительной свободы, глядя на полет диких гусей. Я помню их крики, неповторимую красоту клина...

Э. В. Попробуем все же вспомнить эти эпизоды. Например, день Освобождения. Что происходило? Вы встали утром, и...

Ф. М. Я почувствовал его тогда, когда был освобожден Париж. Это был не конец войны, потому что целые области Франции еще оставались оккупированными, но я был в Париже как член секретариата временного правительства. Мы пережили трудные дни...

Э. В. Где вы жили?

Ф. М. На пересечении бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель, совсем рядом с местом, где шли главные бои. Я ездил на велосипеде. Мы встречали немцев, проезжали танки, иногда раздавались выстрелы. Но люди все равно ходили по магазинам, стояли в очереди за хлебом и молоком. Вдруг начиналась стрельба, и несколько человек падали. Остальные на мгновение бросались на землю, а потом жизнь снова продолжалась. В соседних кварталах Парижа, совсем рядом, даже не знали, что здесь воюют. Однажды вечером, ожидая генерала Леклерка в ратуше (в конце концов он приехал, с опозданием), мы пережили момент невероятного душевного подъема. Это была ночь святого Людовика — короля, который ассоциируется с величием Франции. В нашем ожидании было что-то волнующее, символическое, мистическое. Но вам так же, как и мне, доводилось переживать и самые простые радости — смотреть на ясное августовское небо или на звездопад. Это часто случалось со мной в детстве, когда я гостил у бабушки и дедушки, — это удивительное чувство полноты. Так что вмешательство истории мне не обязательно.

Э. В. Но в тот день совершилось великое событие. Париж освобожден, враг повержен и бежит, и вы могли сказать себе, что в этом есть и ваша заслуга. Что означала для вас эта победа? Свободу? Возврат к старому порядку вещей?

Ф. М. Не возврат, а начало. Может быть, это была иллюзия.

Э. В. Счастье?

Ф. М. Какое-то счастье, не счастье вообще. Может быть, в тот день у меня болели зубы, кто знает?

Э. В. Но вы были не один, рядом с вами были друзья.

Ф. М. Да, целая толпа парижан, это был необыкновенный день. Я испытал то же волнение, что на некоторых митингах во время моих избирательных кампаний. Там было семьдесят, может быть, сто тысяч человек, и они вели себя как на концерте классической музыки: тишина — а потом гром оваций.

Э. В. Вас не пугает коллективный восторг?

Ф. М. Я сознаю ответственность за подобные моменты. Вечером в день моих первых президентских выборов я находился в Шато-Шинон. Это было в мае. Разразилась гроза. Помню, как возвращался на машине под страшным ливнем. Наша машина, залитая потоками дождя, забрызганная грязью, едва ползла. Я чувствовал радость победы и предстоящей ответственности, но в то же время эта гроза казалась мне символом трудности моей задачи. Знамение оправдалось, да иначе и не могло быть.

Другие особенные моменты? Один вечер, когда я обнаружил, что нахожусь среди истинных друзей, и сердца всех собравшихся вдруг забились от волнения, без всякой видимой причины... Или один день, во время "странной войны", в 1939 или 1940 году. Я был одним из голодных и оборванных солдат, наша часть находилась в самом плачевном состоянии. Вдруг раздалась песня, и она показалась мне такой прекрасной, что я, в этом чаду, почувствовал восторг перед жизнью, хотя мне предстояли дни, которые не были ни славными, ни счастливыми.

Э. В. Может быть, это из-за близости смерти, которая бродит на войне вокруг каждого?

Ф. М. В то время мне не казалось, что смерть близка, я даже не думал о ней. Я был молод...

Э. В. Могли бы вы прожить какую-нибудь другую жизнь?

Ф. М. Думаю, что да. Я мог бы посвятить ее размышлению, жить в деревне, в окружении деревьев, животных и нескольких любимых людей. Может быть, это идиллическая мечта, но я действительно думаю, что мог бы так существовать. Приключения ума, вы знаете, столь же увлекательны, как и политика, а мне, чтобы чувствовать себя счастливым, не нужна постоянная новизна. Но, наверное, зуд действия был сильнее, чем любовь к размышлению, раз в конце концов я пустился в политику.

Э. В. Мы стоим на пороге нового века. Как вы видите будущее Истории, в которую внесли свой вклад?

Ф. М. Прогресс науки и технологии будет продолжаться, спутывая карты, принуждая людей строить общество с совсем другим типом производства. Культурный компонент будет играть все более важную роль. Отсутствие веры будет рождать все больше различных сект... Многие будут ждать чудотворца, как в эпохи великих трагедий Средневековья. Будем надеяться, что нам не предстоят политические эксцессы, как в Германии в 1933 году.

Э. В. Хотели бы вы дожить до 2010 года, чтобы увидеть, что будет происходить? Что больше занимает вас, настоящее или ближайшее будущее? Думаете ли вы о нем?

Ф. М. Нет. Как Вилли Брандт, который велел написать на своей могиле прекрасную эпитафию: "Я сделал все, что мог".

Литературный памятник президенту

Карел Чапек. Беседы с Т. Г. Масариком. Перевод с чешского В. А. Мартемьяновой. М., Издательство "МИК", 2000 (Издание осуществлено при поддержке Министерства культуры Чехии.)

Мемуарами сейчас никого не удивишь: воспоминания политиков, общественных деятелей, чиновников, не только "бывших", но и состоящих на службе, стали сегодня, наряду с красочными еженедельниками и кроссвордами, пожалуй, самым ходким товаром на рынке печатной продукции. Но и в таких обстоятельствах издание "Бесед с Т. Г. Масариком" представляется мне событием исключительным, хотя и... безнадежно запоздавшим: оба собеседника ушли из жизни шестьдесят с лишним лет назад, а книга эта впервые вышла в свет в середине 30-х годов. Самое же парадоксальное (если не сказать резче — дикое) состоит в том, что о ней в СССР старались не говорить, а в Литературной энциклопедии (она начала издаваться в 60-е и справедливо очень высоко ценилась в литературных и вообще интеллигентских кругах), подробно писавшей о выдающемся чехословацком писателе-гуманисте, его "Беседы" с первым президентом Чехословакии не упоминались вовсе!

"Виной" тому, естественно, был не Карел Чапек, но именно Томаш Масарик, слывший в СССР чуть ли не прислужником мировой буржуазии и уж точно антисоветчиком, организатором, как тогда говорили, "корпуса мятежа белочехов": то были тысячи чехов и словаков, подданных Австро-Венгрии, воевавших на стороне Германии и оказавшихся в российском плену. Признанный лидер чешского и словацкого демократического движения Томаш Масарик приехал осенью 1917 года в Россию и сумел помочь своим землякам пересечь всю охваченную гражданской смутой Россию и в конце концов добраться на родину. К концу октября 1918 года, на обломках Австро-Венгрии, уже образовалось — впервые в истории и, как теперь мы знаем, всего на восемьдесят лет, — новое государство, Чехословакия.

Во главе его оказался почти семидесятилетний философ, литератор, университетский профессор и политик (по удивительной иронии истории — получех, полусловак, сын бывшего крепостного и кухарки!) Томаш Масарик, проработавший в пражском Граде, Кремле, семнадцать лет. Конституция Чехословакии взяла за образец американское законодательство, предоставив Президенту большие полномочия. Это объяснялось и гигантскими задачами, вставшими перед молодой республикой, и необыкновенно высоким авторитетом самого Масарика, и, в определенной мере, сплоченностью группы выдающихся политиков либерального толка, на которых он опирался (любопытная подробность: тогдашняя чехословацкая оппозиция окрестила их *кремлевским окружением*, тем самым пытаясь избежать обвинений в оскорблении главы государства!).

Карел Чапек годился президенту в внуки: он был моложе Масарика на сорок лет. Но они не

просто тесно сошлись, они стали друзьями, в течение десяти лет, с конца 20-х, постоянно встречались и откровенно разговаривали обо всем на свете. Может быть, это случилось еще и потому, что оба они по образованию были философами, а по характеру и призванию моралистами: первый в литературе и публицистике, второй в философии и политике.

В "Беседах" почти не видно и не слышно Карела Чапека, в книге присутствует один лишь Масарик. Кажется, что вы слышите его голос "во всех подробностях", хотя и не знаете, каков он был, этот голос: басовит или высок, хрипловат или мягок. Но вы его явственно слышите, причем так же ясно, как и ...видите высокого, худощавого пожилого господина, словно сидите в театре или перед экраном телевизора. Вся книга, в сущности, неторопливый монолог много пережившего и много повидавшего человека, много знающего и много обдумавшего, но и на склоне лет неутомимо набиравшегося новых знаний и нового опыта, осмысливавшего и переосмысливавшего то, что волновало его всю жизнь и что он сам определил как свою *философию истории*.

Масарик с молодых лет считал себя демократом, но вовсе *не* либералом и *не* философом на немецкий лад: ни атеизма, ни скепсиса в духе немецкой философии, прежде всего Канта и Гегеля, ни тем более Маркса и марксизм, он не жаловал. Масарик готов был даже принять социализм, но понимал его лишь как любовь к ближнему и гуманность, которая, однако, по его словам, ищет способа поправить отношения законом и порядком в стране.

Сам он называл себя индивидуалистом и демократом, но полагал, что главное — самосовершенствование: "не просить у другого, чтобы он тебе давал то, что ты должен и можешь сделать для себя сам... Это и политично, и социально, и нравственно. Хозяин самому себе: это понятие включает в себя свободу и дисциплину". Собственно говоря, именно эта мысль, отнюдь не похожая на "афоризмы" завзятых политиков, и была, если так можно сказать, точкой опоры всей общественной и политической деятельности Томаша Масарика, по крайней мере сам он связывал идею национальной государственности с нравственностью. Вот еще одна выдержка из "Бесед", подтверждающая и объясняющая этот принцип: "Мы всегда составляли и будем составлять в мире ничтожное меньшинство, но если небольшой народ чего-нибудь добивается своими слабыми силами — это имеет особую и безмерную нравственную значимость — так же как грош евангельской вдовы (...). Это очень важно, когда небольшой народ не плетется в хвосте у великих, а вносит свою лепту в дело достижения все большей человечности (...). Делать больше, чем другие, и проявлять расторопность; но если кому-либо захочется насильно поработить нас — не поддаваться... Не поддаваться — и все тут". Ярослав Гашек, еще один великий чех XX столетия, раскрыл стране и миру это самое „не поддаваться — и все тут" в бравом солдате Швейке, который подчинение обстоятельствам никогда не приравнивал к смирению с ними, а защиту собственных интересов и собственного достоинства не обязательно отождествлял с лобовой атакой на навязанные судьбой обстоятельства.

Да, конечно, понятие "нравственность" не терпит множественного числа, но ведь бесспорно, что национальный характер, национальная традиция, национальная психология накладывали и накладывают весьма своеобразный отпечаток на то, как нравственные начала проявляются в поведении общества, особенно же в критические, кризисные моменты его развития. В 38-м, 48-м и 68-м годах Чехословакия под напором

внешних обстоятельств, казалось, безоговорочно проигрывала. Но чехи и словаки, как показала история, не поддавались и все тут! И в конце концов, в ноябре 89-го, они вернулись на круги своя: и в этом огромную роль сыграл Вацлав Гавел, который не раз давал понять, что Масарик для него — образец во многих отношениях.

И не поэтому ли в небольшой стране, очень древней и славной, немало внесшей в формирование не только европейской (и общемировой) культуры, но и европейской (и общемировой) государственности, в стране, не раз бывавшей яблоком раздора в схватках соседних держав, так вот, не поэтому ли в *такой* стране в XX столетии появились два незаурядных политика, которые дважды на протяжении восьмидесяти лет не просто возрождали страну из пепла и небытия, но и оказали большое воздействие на перестройку европейских и мировых международных отношений.

Масарик, в отличие от Гавела, не стал профессиональным писателем, хотя в молодые годы писал стихи, пробовал и прозу. Однако он был страстным читателем, в частности русской литературы, она, как он говорил, еще в юности захватила его целиком. Оба они, Масарик и Гавел, прежде всего люди культуры, в которой видят, помимо всего прочего, и основу истинного, то есть нравственного, духовного прогресса человечества, и один из основных источников познания жизни, общества, человека. Масарик признавался Карелу Чапеку, что пришел к твердому убеждению: "...поэты и художники думают о жизни и ее проблемах никак не меньше философов, но гораздо конкретнее; тому, кто умеет читать, они дают очень много; а если мы хотим познать душу и дух других народов, искусство — лучший и самый надежный для этого путь".

Масарик, как и Гавел, был, по его собственному признанию, европейцем и западником, терпеть не мог российского славянофильства, которое хорошо знал и о котором интересно писал. Но он не был европейским интеллектуалом, он был интеллигентом именно в русском, российском смысле этого родившегося у нас понятия. Масарик, как и Гавел, своей судьбой, своей жизненной позицией решительно опроверг безнравственную, в сущности, точку зрения, будто интеллигенция должна всегда и везде, так сказать, ex officio[1], быть в оппозиции к властям. Он относился к политике не как к неизбежному злу, но как к инструменту "преодоления любой анархии", которая, по его убеждению, представляет собой благодатную почву для всякого рода закомплексованных, обиженных на всех и вся завистников и крикунов, рассуждающих просто: раз масса чего-то хочет, стало быть так тому и быть. А это, полагал Масарик, "весьма удобная теория для диктаторов и демагогов". И добавлял: "Свобода, сударь, так же тяжка, как и долг", а потому, как бы важны ни были сами по себе политические программы, не менее важна работа администратора, проводящего эти программы в жизнь, и, следовательно, "именно политическая практика должна быть нравственной".

Давно нет в живых ни автора этой удивительной, захватывающей воображение книги, ни ее героя. Давно стали историей события, тревоги, злоба дня, которыми жил первый президент Чехословакии. Ушли в прошлое и XX век, и второе тысячелетие, но в "Беседах" Карела Чапека с Томашем Масариком, хотя они и превратились уже в факт истории культуры, по крайней мере мы, граждане новой России, можем отыскать немало для себя поучительного и... нового.

Австро-Венгрия была чем-то вроде *советской империи*, вернее, чем-то вроде *советской системы*; и

1. По должности (*лат.*). (*Прим. авт.*)

вот она рухнула, на ее обломках стали строить (каждый по-своему) новые государства прежние "субъекты" империи. И вот на что обращает внимание Масарик: "Мы освобождались от деспотов-господ, теперь мы должны освободиться от господства великих деспотичных слов". Более того, он считал, что настала пора превратить лозунги и идеалы в практическое руководство. Главную проблему "переходного периода" для политики и политиков Масарик видел в том, что люди угнетенные, несвободные, деформированные рабством, не могут легко, одним махом превратиться в людей свободных и смелых духом. Поэтому в едва родившейся Чехословакии было очень много тех, кто, по словам Масарика, чурался государства — недоверием, отрицанием государственной администрации, дурным отношением к целым слоям сограждан: "грубо говоря, есть еще люди, которые берут скорее сторону убийцы, а не полицейского". И первый президент Чехословакии считал, что свой патриотизм "мы теперь должны проявлять в осознанном отношении к государству". К слову, именно поэтому Масарик одной из своих главных задач считал отделку пражского Града, стремился "Кремль монархический превратить в Кремль демократический", сделав его символом не только прошлого, но и будущего.

Рассказывая об истории возникновения этой книги, Карел Чапек вспоминал, что их задушевные беседы-споры обычно начинались в 9 часов утра и, в самом деле, велись в... беседке — в резиденции Масарика, в Топольчанах. Ни о каких диктофонах в те поры никто и слыхом не слыхивал, стенографистки рядом не было, да и Чапек не делал никаких пометок. Только спустя какое-то время он по свежим следам стал записывать основное содержание их утренних разговоров, а потом записанное давал на просмотр президенту, который многое собственноручно правил, вычеркивал, дописывал. После этого Чапек перерабатывал отрывок и снова отдавал его Масарику, тот опять редактировал текст. Порой так продолжалось довольно долго. Ни писатель, ни политик не торопились, дело двигалось неспешно: около десяти лет ушло на расспросы, обдумывание, припоминание, разговоры и... молчание. Масарик признавался Чапеку, что не любит говорить и писать, что он предпочел бы только размышлять, то есть, по его же собственным словам, познавать и думать. Поэтому, пишет Чапек, "фразу Масарика нужно читать неспешно, не единым духом; побудьте с ней, и она выдаст вам не только весь свой смысл, но и характерную интонацию и духовный склад того, кто ее произнес".

Вот так и сложилась эта книга, не похожая ни на традиционные диалоги-интервью, ни на журналистскую запись мемуаров, к которой мы так привыкли в последнее время, ни на традиционный „литературный портрет". Это, скорее, своеобразный литературный памятник человеку и политику, который так много сделал и для своей родины, и для Европы, в том числе, и для России. Мы, благодаря стараниям издателей, редакторов и переводчика, В. А. Мартемьяновой, получили возможность познакомиться с "Беседами". Правда, не по их вине лишь спустя без малого семьдесят лет после выхода книги в свет. Но вот уж действительно: лучше поздно, чем никогда.

А. Ермонский

Вера, факты и воображение

Давид Флуссер. Иисус, свидетельствующий о себе. Перевод с немецкого Константина Мамаева. Серия "Биографические ландшафты". Челябинск, Урал LTD, 1999.

В ряду биографических сочинений, представляющих собой русский вариант серии, уже в течение нескольких десятилетий с успехом издаваемой немецким издательством "Ровольт", книга об Иисусе безусловно занимает особое положение. Позитивистский настрой серии, в которой жизнь той или иной личности представлена по возможности через документы (тексты и изображения), а авторский текст биографа словно только дополняет их и служит "связками" для документов, приходит в данном случае в противоречие с объектом исследования.

Дело, разумеется, не только в том, что документальные свидетельства об Иисусе во многих отношениях сильно ограничены (например, мы не располагаем изображением Христа, не знаем ничего о большей части его жизни). Возникает принципиальный вопрос: можно ли строить объективное жизнеописание личности, если практически все документы, ее касающиеся, представляют собой проявления *веры*, поскольку и сама жизнь Христа была для тех, кто эти документы создавал и хранил, предметом веры?

Давид Флуссер эту проблему прекрасно сознает и не случайно начинает свою книгу именно с этого — с возможности найти объективность в вере. При этом он достаточно убедительно доказывает, что поскольку именно личность Иисуса послужила основанием веры, то и свидетельства веры в данном случае — точны и касаются сути дела, в то время как свидетельства сторонних наблюдателей, если бы они были доступны нам в достаточно большом объеме, дали бы не так уж много.

Начиная с эпохи Просвещения, данная проблематика занимает умы не только теологов и историков (которым она принадлежит, так сказать, по роду профессии). Она вторгается в область философии и идеологии — здесь первой значительной фигурой был Гегель и левогегельянцы (кстати, это обстоятельство совершенно незаслуженно исключено из книги Флуссера). И в то же время Христос как личность постоянно оказывается в поле зрения поэтов и художников. Художники, собственно говоря, были первыми, кто вообще столкнулся с неизбежной необходимостью *изобразить* Христа — просто потому, что иначе картину создать нельзя. Но и литература, правда, со значительной задержкой, вышла на рубеж, где реальный Христос, жизненная ситуация Иисуса должны были быть конкретизированы, стать ощутимыми, переживаемыми так же, как и другие жизненные истории.

Можно, конечно, сказать, что Иисус литературы, вплетенный в повествование с другими, в том числе и полностью вымышленными персонажами (как это происходит, например, в "Мастере и Маргарите" Булгакова, романе, остающемся, пожалуй, самым значительным явлением такого рода), — совсем не то, что *реальная историческая личность* Христа. Но и оставляя в стороне разного рода "промежуточные" случаи, вроде беллетризированной историографии (в духе Ренана), нельзя не признать, что даже самая строгая научная реконструкция невозможна без участия воображения. Как, впрочем, и без определенного эстетического подхода. Так что приведенные в конце книги — в числе других цитат — слова Новалиса о том, что жизнь Христа представляет собой поэму, имеют далеко не только символический смысл. Как и сожаление Ницше,

что рядом с Иисусом не оказалось своего Достоевского (впрочем, так оно чаще всего и бывает).

Книга Флуссера сосредоточена на реконструкции совершенно определенной стороны жизни Христа: на окружавшей его иудейской среде. "Для того чтобы понимать Иисуса, необходимо знание современного ему иудаизма", — эти слова из предисловия очень точно характеризуют позицию автора. Позиция эта не нова, и в настоящее время существуют подробные своды иудаистских параллелей к евангельским эпизодам. Известно и то, что многие высказывания Христа обретают удивительную ясность, стоит только "перевести" их на арамейский — язык, на котором учитель и говорил с апостолами.

Флуссер достаточно подробно и в то же время вполне доступно для неспециалиста рассматривает исторические обстоятельства происхождения Иисуса, начало его вероучительской деятельности, его отношения с представителями религиозной традиции (это касается, в частности, многочисленных запретов и предписаний, постоянно всплывающих в евангельских повествованиях), с фарисеями (которые были гораздо сложнее, чем это обычно полагают; так, были моменты, когда фарисеи становились на защиту ранних христиан). Подробно разбираются основные понятия проповедей Иисуса — любви и морали, отношения веры и власти. Автор очень наглядно характеризует Иерусалим евангельского времени, что позволяет лучше представить себе последние дни жизни Иисуса и обстоятельства его смерти. Обстоятельства эти автор разбирает подробно, нередко отходя от традиционной версии событий (например, он считает, подкрепляя это аргументами, что никакой синедрион Иисуса к смерти не приговаривал, а фарисеи протестовали против ареста и казни Иисуса).

Книга Флуссера — наглядное свидетельство того, что ни личность Иисуса, ни происхождение христианства не могут быть полноценно поняты без обращения к религиозной и социально-культурной ситуации Палестины двухтысячелетней давности. В то же время исследование заставляет задуматься о том, что при всех своих конкретно-исторических корнях христианство "невыводимо" из иудаистской традиции[1] и что уникальность христианства состоит именно в его общечеловеческом потенциале, который и привел к его широкому распространению.

Впрочем, позитивистская сдержанность текста Флуссера вполне "уравновешивается" текстами приложений к русскому изданию, которые носят скорее медитативный характер. Здесь помещены, помимо апокрифического евангелия от Фомы, размышления о личности Иисуса, принадлежащие С. Кьеркегору, Свами Вивекананде, Ошо (Багвану Шри Раджнишу), а также редактору-составителю всей серии, в которой вышла книга, Н. Болдыреву. Все они в своих рассуждениях выходят далеко за пределы древней Палестины, причем три последних текста указывают на "азиатскую" перспективу Иисуса. Наиболее радикален Ошо, прямо утверждающий, что Иисус провел молодые годы в Египте и Индии, где прошел курс обучения мистическим дисциплинам. Этот текст, более похожий на проповедь, бессмысленно разбирать с точки зрения научной аргументированности: религиозное вероучение, а Ошо был именно вероучителем, должно рассматриваться в совершенно определенной перспективе, отличной от перспективы исторического сочинения. Однако многое в мыслях Ошо заставляет

1. См., например: Лёзов С. О непроисхождении христианства из иудаизма. Библия: литературоведческие и лингвистические исследования. Вып. 3. М., 1999. С. 209–235. (*Прим. авт.*)

задуматься; например, почему, в самом деле, евангелия ничего не говорят о пути, которым шел Иисус к учительству (в Индии и на Дальнем Востоке именно путь учения, совершенствования — один из основных мотивов подобной биографии) — Иисус сразу появляется как "готовый" учитель без всякой предыстории (схема, кстати, повторяется затем в христианской агиографии).

Книга плавно "закругляется" текстом отца Александра Меня "Иконография Христа и загадка Туринской плащаницы". Постоянно трудившийся над гармонией знания и веры Александр Мень и здесь аргументированно и с изящной неторопливостью подводит читателя к мысли, что подлинный облик Иисуса нам все же доступен — и через анализ исторических данных, и через иконографическую традицию, восходящую, по-видимому, к образу, сохраненному плащаницей. Эта статья служит достойным завершением интересной и познавательной книги.

Сергей Ромашко

Великобритания

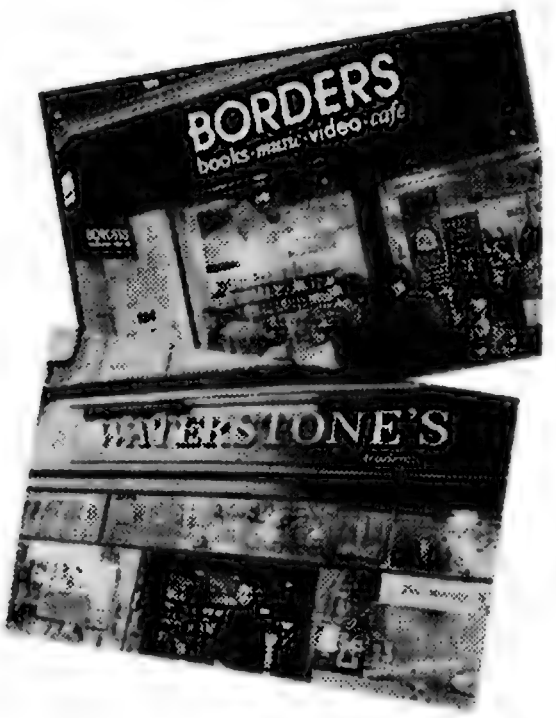
Книжное царство для всех

Британская книжная индустрия переживает период настоящего расцвета. По сообщению лондонского консультационного центра Хенли, англичане покупают книг больше, чем когда-либо (на сумму свыше 3 миллиардов фунтов стерлингов) и тратят больше времени на чтение. В прошлом году опубликовано рекордное число книг: свыше 100000 наименований. Этому буму отчасти способствовал Интернет, облегчающий покупку книг, отчасти — снижение цен на книжную продукцию, а также новый подход к организации продажи книг.

Книжные магазины перестают быть просто местом, где приобретают некое печатное произведение. Открывшиеся недавно в Лондоне супермагазины сети "Уотерстоунс" и "Бордерс" — это настоящее книжное царство, в котором можно провести целый день. Например, новый гигантский "Уотерстоунс", расположенный на Пикадилли, является на сегодняшний день крупнейшим книжным магазином в Европе: четверть миллиона наименований на полках длиной в шесть миль на шести тысячах квадратных метров торговой площади, семь этажей (пять — для книг, один — для периодики и сувениров, один — с залом для презентаций). Кроме того, к услугам посетителей имеется компьютерный зал с выходом в Интернет, магазин подарков, безалкогольный бар, ресторан и специальный уголок для детских игр. Не отстает от конкурента и сеть магазинов "Бордерс": к уже имеющемуся гиганту на Оксфорд-стрит добавился круглосуточно работающий магазин на Черинг-кросс.

Новые супермагазины прекрасно вписываются в наметившуюся тенденцию воспринимать книгу не только как источник знаний и элемент культуры, но и модную и престижную вещь. Книга становится признаком определенного статуса, стиля жизни, и эту тенденцию активно поддерживают писатели: не случайно на открытии нового гигантского магазина "Уотерстоунс" присутствовали такие литературные знаменитости, как Сальман Рушди и Дорис Лессинг, Кадзуо Исигуро и Джилл Купер, Антония Байетт и Маргарет Дрэббл.

Писатели, особенно знаменитые, не меньше читателей заинтересованы в появлении книжных супермагазинов, поскольку именно на самые известные имена делают ставку издатели и книготорговцы сегодня, когда выбор наименований огромен, а цены постоянно снижаются. Кстати, снижение цен на книги — принципиальная политика конкурирующих между собой крупных магазинов, в которых большинство книг стоит на 20 % ниже их обычной розничной цены. Изменившиеся обстоятельства заставили крупнейшую английскую книготорговую сеть "У. Х. Смит" снизить на 40 % цены на детские книги. Читателям (и покупателям) остается лишь выбирать произведения по вкусу, прогуливаясь по книжному царству.



Лондонские книжные супермагазины "Бордерс" и "Уотерстоунс" (журнал "Ньюсуик")

Италия

"Итальянцы — необыкновенный народ"

Карло Туллио-Альтан, 84-летний священник, писатель и ученый, первым среди итальянских исследователей еще в 1962 году стал заниматься культурной антропологией. Недавно издательство "Мулино" выпустило в свет его книгу "Итальянцы в Европе", которую справедливо можно считать итогом его научной деятельности, начатой еще до войны, до получения степени по юриспруденции и семи лет армейской службы, итогом кропотливой работы в библиотеках и архивах Вены и Парижа. В этом историческом очерке сравниваются национальные особенности европейцев и дана реалистичная оценка итальянской культуры и особенностей национального характера в сравнении с другими странами.

Падре Туллио-Альтан анализирует особеннос-

Рисунок Альтана к книге Карло Туллио-Альтана "Итальянцы в Европе"; надпись к рисунку: "Итальянцы – необыкновенный народ, но лучше бы они были просто нормальным народом" (еженедельник "Стампа-Туттолибри")

ти итальянцев как нации в свете пяти символических элементов: это эпос (коллективная память), этос (моральные ценности), логос (языковое и художественное наследие), генос (родственные связи) и топос (общественное и личное пространство). Такой подход к проблеме был выработан после тридцати лет исследовательских трудов, проведения масштабных опросов общественного мнения и написания нескольких книг на смежные темы. В итоговой работе автор приходит к парадоксальному выводу: у итальянцев вовсе нет эпоса; этос сводится к политическому оппортунизму; в области языка и культуры предпочтение отдается всему местному; по-прежнему в большой чести семейственность; личному пространству придается большее значение по сравнению с общественным.

Карло Туллио-Альтан не считает эпохальными даже такие исторические вехи, как Рисорджименто (эпоха воссоединения Италии) и движение Сопротивления, поскольку оба явления, на его взгляд, носили слишком элитарный характер, а "возбудить национальное чувство с помощью одной только пропаганды невозможно". Корни политического оппортунизма итальянский исследователь усматривает в том, что государство родилось без подлинного правящего класса, и ответственность за происходившие события ложилась в основном на католическую церковь. Отсутствие согласия по проблемам гражданских ценностей и традиционное стремление использовать родственные связи как в торговле, так и в политике не вызывает оптимизма относительно будущего итальянского общества.

Тем не менее, Карло Туллио-Альтан считает, что еще не все потеряно и что диагнозы ставят не в целях констатации фактов, а для проведения необходимого лечения. В частности, по его мнению, культурное самосознание народа необходимо формировать в школе, на самом раннем этапе. В Италии мало кто разделяет радикальные взгляды этого почтенного господина: левые считают его анализ вредным с точки зрения популизма и своих идеологических установок, а правые предпочитают, так сказать, не выносить сор из избы. Зато Франческо — сын исследователя, известный художник, подписывающий свои работы псевдонимом Альтан, — в знак солидарности с позицией отца снабдил его книгу забавными сатирическими иллюстрациями.

Канада

Герои Джейн Остин — на экране

Произведения Джейн Остин пользуются большой популярностью не только у читателей, но и у кинематографистов. Свою экранизацию третьего романа английской писательницы предложила кинорежиссер Патриция Розима, известная не только в Канаде. Фильм, как и книга, рассказывает о судьбе Фэнни Прайс (ее играет Франсис О'Коннор), бедной девушки, оторванной от семьи и отправленной на проживание и воспитание в поместье Мэнсфилд-парк к Бертрамам, богатым родственникам. Эта история, напоминающая о Золушке, пронизана трезвой и острой социальной сатирой.

Однако "канадская" Фэнни сильно отличается от пассивной, забитой и мало кому симпатичной литературной героини. Используя письма и дневниковые записи самой Джейн Остин в качестве первоисточников для творческой переработки образа, П. Розима делает экранную Фэнни более решительной, наделенной проницательным умом и духовно крепкой. Она представлена как начинающая писательница, и в ее образе соединились черты вымышленной Фэнни и реальной Джейн Остин. Такой поворот придает действию драматизм, и зритель поневоле возмущается тем, что такая замечательная девушка терпит унижения от глупых сестер Бертрам и вынуждена подчиняться назойливой тетке.

Ее положение меняется с приездом гостей — брата и сестры, Генри и Мэри. Пока сестры Бертрам вздыхают по обаятельному Генри, видя в нем потенциального жениха, сам он обращает внимание на Фэнни. Но ее сердце отдано кузену Эдмунду, хотя девушка и не решается признаться

Кадр из фильма "Мэнсфилд-парк": Ф. О'Коннор и Г. Пинтер (еженедельник "Ньюсуик")

в своих чувствах, а тем временем более искушенная в подобных делах Мэри делает все, чтобы очаровать его. В фильме превосходно показаны всевозможные ухищрения, на которые идут персонажи, добиваясь своих целей. Безусловная находка режиссера — известный драматург Гарольд Пинтер в роли сэра Томаса Бертрама, властного патриарха, воплощения благопристойности и хороших манер, а на самом деле — бывшего работорговца с сомнительной нравственностью. Подобная трактовка этого образа канадским режиссером, конечно же отличается от литературного первоисточника, но современные интерпретации такого рода придают экранизации классических произведений особый шарм и стиль, перед которыми трудно устоять сегодняшнему зрителю.

Литва

О памяти и воспоминаниях

В Вильнюсе прошла очередная встреча из цикла "Литовско-немецко-польских бесед о будущем памяти", организованная при содействии посольства Польши, Польского института и Института имени Гёте. Ранее на подобных встречах о своем отношении к Холокосту, о наследии служб государственной безопасности в Польше, Германии и Литве, о проблеме коллективной и индивидуальной памяти и о так называемой "терапии воспоминаний" говорили видные политики, публицисты и историки, в том числе Рихард фон Вайцзекер, Казимера Прунскене, Кшиштоф Козловски и другие. В последней встрече принимали участие Вислава Шимборска, Гюнтер Грасс, Чеслав Милош и Томас Венцлова. На заключительном заседании речь шла о культуре памяти. Для литераторов Запада и Востока память и воспоминания служат исходным материалом для творчества.

— Для писателя воспоминания — это часть профессии, — сказал Гюнтер Грасс. — Он описывает свои воспоминания, а при необходимости — воспоминания вымышленных персонажей. Эти воспоминания служат для него кладовой, архивом, шахтой... Они требуют такого же бережного отношения, как первые ростки зелени.

Немецкий лауреат Нобелевской премии говорил о коллективной памяти. Войны и военные преступления легли тяжким грузом на коллективную память европейцев. По мнению Грасса, в Германии коллективная память создает проблемы главным образом для старшего поколения, стремящегося забыть страшный опыт прошлого. Молодежь, напротив, хочет сохранить память о Холокосте, об убийствах и расстрелах, депортациях, о десятках тысяч работоргов, насильно угнанных из оккупированных стран.

— Создается впечатление, что дети и внуки готовы стать хранителями памяти вместо отцов и дедов, предпочитающих хранить молчание.

Выступление Чеслава Милоша было в значительной степени посвящено истории Вильнюса, города, с которым связано огромное количество легенд:

— История этого города настолько удивительна, что так и просится в сказки, а сюжеты сказок меняются в зависимости от того, кто их сочиняет — литовцы, поляки, евреи или белоруссы. Прошлое, живущее в древних камнях Гданьска или Вильнюса, напоминающее о себе на каждом шагу, взывает к нам о сочувствии и помощи, требует, чтобы мы были правдивыми, когда думаем и пишем о том, что было.

Восьмидесятидевятилетний Чеслав Милош, выросший в Вильнюсе, с горечью говорил далее о том, что в родном городе его не оставляет ощущение, как будто он идет по тонкому льду:

— Здесь недостаточно быть просто человеком. Новый знакомый сразу спросит тебя, кто ты — литовец или поляк, еврей или немец. Поляки и литовцы не хотят вспоминать о том, что в прошлом Вильнюс, город на границе между Римской империей и Византией, был оплотом русского купечества с огромным количеством деревянных православных церквей. Забывают и о том, какое огромное значение имел Вильнюс для евреев — город называли "северным Иерусалимом". Можно подумать, что грустный период этнических разделов не канул в прошлое.

Вислава Шимборска открывает мемориальную доску Иосифа Бродского на вильнюсской улице Лиеиклос в присутствии Чеслава Милоша, Гюнтера Грасса и Томаса Венцловы

В последний день встречи на улице Лиеиклос была открыта мемориальная доска в память о еще одном лауреате Нобелевской премии — русском поэте Иосифе Бродском.

США

Дамы предпочитают быть блондинками

Когда остроумная Анита Лус (1891—1981) писала свою знаменитую книгу "Джентльмены предпочитают блондинок", то ее вдохновляла конкретная любовная история: интрижка между известным критиком Х. Л. Менкеном и некой ослепительной, но глупой и пошлой блондинкой. В 1953 году был снят поразительный, ставший культовым фильм с участием Мэрилин Монро и Джейн Расселл и с незабываемой песенкой "Лучшие друзья девушки — бриллианты". Блондинки и брюнетки с одинаковым рвением стремились завлечь в свои сети какого-нибудь миллионера.

Бесспорно, что блондинки — натуральные или же крашеные — являются неотъемлемой частью мифологии кино и в целом массовой культуры США. Во многих американских фильмах 1940 и 1950 годов человеческие качества женских персонажей напрямую зависели от цвета волос. Блондинке полагалось быть доброй и мужественной; брюнетке — злобной и коварной, в лучшем случае — легкомысленной. Блондинка всегда была невестой, жаждущей любви, или верной супругой и самоотверженной матерью. Брюнетка оказывалась либо шпионкой, либо особой с претензиями, либо крайне бедной и несчастной женщиной, а то и явной истеричкой или страдающей буйным помешательством психопаткой.

Обо всех этих мифологических типах женщин в зависимости от цвета волос рассказывает книга Натальи Ильин "Блондинка, как и я" (издательство "Тачстоун"), подзаголовок которой звучит так: "Корни мифа о блондинке в нашей культуре". Пожалуй, такую книгу можно было бы продавать в комплекте с флаконом с осветляющим средством для волос. Ведь последние несколько десятков лет даже в средиземноморских странах блондинкам и рыжим женщинам несть числа, а брюнетки и шатенки чуть ли не стали редким явлением.

Франция

Издательские новости о Валери Ларбо

Французский литератор В. Ларбо (1881–1957) никогда не считался особенно популярным писателем, причем не только за границей, но и у себя на родине. Он прославился не собственными книгами, а своим умением знакомить читателей с другими авторами и стремлением нести в широкие массы великую мировую литературу. Бесстрашный и любознательный путешественник, человек, досконально разбиравшийся едва ли не во всех серьезных проблемах своего времени, яркий критик и прекрасный переводчик, Ларбо принимал участие в публикации во Франции произведений таких писателей, как Уолт Уитмен, Джозеф Конрад, Джеймс Джойс, Рауль Гомес де ла Серна, Габриэль Миро и Мигель де Унамуно.

Недавно издательство "Клэр Полам", которое ранее опубликовало "Дневник" Валери Ларбо 1931—1932 годов, выпустило в свет еще одну ценную и изящную книгу — фрагменты дневника 1934—1935 годов, которые автор не уничтожил. Записи в этом интереснейшем ежедневнике обрываются незадолго до трагического случая, после которого писатель до конца жизни лишился здоровья и потерял речь. Впрочем, эта публикация — всего лишь "аперитив" для поклонников и любителей творчества Валери Ларбо: начиная с 2000 года, престижная серия "Плеяда" предпринимает издание полного собрания сочинений писателя.

По материалам газет "Паис" (Испания), "Стампа-Туттолибри" (Италия), "Культура" (Польша), журнала "Ньюсуик" (США)

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров журнала Publishers Weekly (список от 18 декабря 2000 г.)

1 JAMES PATTERSON
Roses Are Red

2 JERRY B. JENKINS, TIM LAHAYE
The Mark

3 CAROL HIGGINS CLARK, MARY HIGGINS CLARK
Deck the Halls

4 BARBARA KINGSOLVER
Prodigal Summer

5 TOM CLANCY
The Bear and the Dragon

6 KEN FOLLETT
Code to Zero

7 PATRICIA CORNWELL
The Last Precinct

8 ROBERT JORDAN
Winter's Heart

9 JONATHAN KELLERMAN
Dr. Death

10 ROBERT LUDLUM
The Prometheus Deception

Антония С. Байетт
Antonia S. Byatt
[р. 1936]. Английская писательница, литературовед, лауреат Букеровской премии [1990].

Автор романов *Тень солнца* [*The Shadow of the Sun*, 1964], *Игра* [*The Game*, 1967], *Натюрморт* [*Still Life*, 1985], *Одержимость* [*Possession*, 1990] и др., книг о творчестве А. Мердок, У. Вордсворта, С. Т. Колриджа.
В *ИЛ* опубликованы ее рассказ *Розовые чашки* [1992, № 7], повесть *Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"* [1995, № 10].
Рассказ *Китайский омар* [*Chinese Lobster*] взят из сборника *Рассказы с Матиссом* [*The Matisse Stories*. London, Chatto & Windus, 1993].

Милан Кундера
Milan Kundera
[р. 1929]. Чешский прозаик, драматург, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий Франции и Италии.

С 1975 г. живет во Франции. Пишет на чешском и французском языках. Автор сборника стихов *Монологи* [*Monology*, 1957], пьесы *Владельцы ключей* [*Majitelé klíčí*, 1962], романов *Жизнь в другом месте* [*Život je jinde*, 1970], *Прощальный вальс* [*Valčik na rozloučenou*, 1972], *Книга смеха и забвения* [*Kniha smichu a zapomění*, 1978]. В *ИЛ* были напечатаны романы *Шутка* [1990, № 9, 10], *Невыносимая легкость бытия* [1992, № 5–6], *Бессмертие* [1994, № 10], *Неспешность* [1996, № 5], *Подлинность* [1998, № 11], эссе *Когда Панург перестанет быть смешным* [1994, № 7].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Смешные любови* [*Směsné lásky*. Brno, Atlantis, 1969]. На русском языке сборник *"Смешные любови"* выйдет в издательстве "Азбука".

Юбер Монтелье
Hubert Monteilhet
[р. 1928]. Французский писатель.

Автор романов *Нерополис, роман времен Нерона* [*Neropolis, roman des temps néroniens*, 1984], *Возвращение к нулю* [*Retour au zéro*, 1984] и др., книги эссе *Рим больше не в Риме* [*Rome n'est plus dans Rome*, 1977], полицейских романов, часть из которых была экранизирована.
Вышедший в 1979 г. роман *Профессия – призрак* [*Un métier de fantôme*] печатается по изданию Éditions Fernand Nathan, 1990.

Киёко Мурата
[р. 1945]. Японская писательница, лауреат ряда литературных премий, в том числе премии Акутагавы за роман *В котле* [1987].

Наиболее известны ее произведения *Белая гора, Полуночный велосипед, Крабиха, Двойное самоубийство в Сернистой долине.*
Сиоманэки – заглавное произведение сборника, вышедшего в 1998 г., за который писательница была удостоена литературной премии Ясунари Кавабаты.

Хироми Каваками
[р. 1958]. Японская писательница, биолог, лауреат ряда литературных премий, в том числе премии Акутагавы за произведение *Наступить на змею* [1996].

Новелла *Медвежий бог* – премия Паскаля за дебют в малых жанрах [1994] – является заглавным произведением сборника новелл [1998], получившим литературную премию Мурасаки Сикибу и премию Бункамуры Домаго.

Луиш-Манюэль [настоящее имя Луиш-Мануэл душ Сантуш]
Luis-Manuel dos Santos
[р. 1935]. Швейцарский поэт, пишущий на португальском и французском языках.

Автор поэтических сборников на французском языке *Оракул тьмы* [*L'Oracle des ténèbres*, 1979], *Лето мира* [*L'Été du monde*, 1986], *Кочующие сердца* [*Les coeurs nomades*, 1991] и др., на португальском языке *Коварный молот памяти* [*O Pérfido martelo da memória*, 1989], *Жестокая Европа, мать утопий* [*Cruel Europa mãe das utopias*, 1995] и др.
Публикуемые стихи взяты из сборников *Пыль и реки* [*La poussière et les fleuves*, 1986] и *Зима взглядов* [*Dans l'hiver des regards*, 1995], вышедших в издательстве Editions Eliane Vernay.

Иоганнес Марио Зиммель
Johannes Mario Simmel
[р. 1924]. Немецкий писатель, кавалер Почетного креста Австрии за науку и искусство I степени.

Автор романов *Можно обойтись и без икры* [*Es muß nicht immer Kaviar sein*, 1960], *Ура, мы еще живем* [*Hurra, wir leben noch*, 1978], *Весной жаворонок поет в последний раз* [*Im Frühling singt zum letzen Mal die Lerche*, 1990] и др., книги *Материя, из которой сделаны сны* [*Der Stoff, aus dem die Träume sind*, 1971].
Повесть *Человек, который рисовал миндальные деревца* издана в ФРГ в 1993 г. [*Der Mann, der die Mandelbäumchen malte*. München, Drömer].

Лу Андреас-Саломе
Lou Andreas-Salome
[1861–1939]. Немецкая писательница.

Автор романов, повестей и рассказов, часть которых написана на основе воспоминаний о России, где прошли ее детские и юношеские годы, в том числе: *Фенички [Fenitschka*, 1898], *Родинка [Rodinka*. Russische Erinnerung, 1923] и др., а также эссе по теории и практике психоанализа.
Публикуемые в номере фрагменты воспоминаний взяты из книги *Прожитое и пережитое. Воспоминания о некоторых событиях моей жизни [Lebensüberblick. Grundriß einiger Lebenserinnerungen*. Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1968, первое издание – 1951].

Джон Робертс
John Roberts
Английский специалист по русскому языку, в 1973–1993 гг. директор ассоциации "Великобритания – СССР", с 1994 г. – сопредседатель Международного попечительского совета Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Перевод выполнен по книге *Говорите прямо в канделябр* [*Speak Clear into the Chandelier*], вышедшей в 2000 г. в английском издательстве Curzon Press.

Франсуа-Морис-Мари Миттеран
François-Maurice-Marie Mitterand
[1916–1996]. Французский политический и государственный деятель, президент Франции в 1981–1995 гг., первый секретарь французской социалистической партии в 1971–1981 гг.

Автор книг *Китайский вызов* [*La Chine au défi*, 1961], *С розой в кулаке* [*La rose au poing*, 1973], *Политика* [*Politique*, 1977–1981], *Здесь и сейчас* [*Ici et maintenant*, 1996] и др.
Книга *Воспоминания на два голоса* [*Mémoire à deux voix*] издана во Франции в 1995 г. [Éditions Odile Jacob].

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❐ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❐ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❐ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❐ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины П[illegible]ера Брейгеля [illegible]него /1530—1569 *[illegible]пики на снегу"*

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7,
"Англия" —
Хлебный пер., д. 2/3,
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д. 46,
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 54.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать XX. XX. 2001.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3497.
Тираж 12 500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

ПЕРСОНА — журнал для широкого круга читателей, ставящий своей целью раскрытие качеств, которые формируют персону. У нас это личность, обремененная культурными традициями. Герои журнала — те, кто определяет лицо России в XXI веке. Мы рады всем, кому небезразлично состояние нашего общества вообще и культуры в частности. Наша задача — напомнить о вечных ценностях, рассказать о выдающихся современниках и уже вошедших в историю персонах.

ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Подписной индекс 38678.
Объединенный каталог «Подписка-2001».

[3 .0 1

РОМАН НОРМАНА МЕЙЛЕРА "КРУТЫЕ ПАРНИ НЕ ТАНЦУЮТ" . СТИХИ ФРАНЦУЗСКИХ СИМВОЛИСТОВ / ПОВЕСТЬ ЖАН-ФИЛИППА ТУССЕНА "МЕСЬЕ" / ЭССЕ МИГЕЛЯ ДЕ УНАМУНО / ВЕНГЕРСКИЙ ЖУРНАЛ "JELENKOR" / "СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ" ОЛИВЕРА САКСА / РАССКАЗЫ ДРАГАНА ВЕЛИКИЧА И УРСА ВИДМЕРА / ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АСТ"

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР

019. Ник Кейв “И узре ослица Ангела Божия” **020.** Х.Л.Борхес/А.Бьой Касарес “Шесть загадок для дона Исидро Пароди” **021.** Том Вулф “Костры амбиций” [в двух книгах] **022.** Джозеф М.Кутзее “Осень в Петербурге” **023.** Алессандро Барикко “Шелк” **024.** Алессандро Барикко “Море-океан”

В нашей новой книжной серии “**Иллюминатор**” читайте
лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@rinet.ru

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2001, №1, 2-288